

Н. Г. Помяловский

П О В Е С Т И

Н. Г. Помяловский

П О В Е С Т И



Московский рабочий

1981

P1
П55

Тексты печатаются по изданию:
Помяловский Н. Г. Избранное.— М.: Советская Россия, 1980.

Помяловский Н. Г.
П55 Повести.— М.: Моск. рабочий, 1981.— 400 с.

В книгу входят повести «Мещанское счастье», «Молотов» и «Очерки бурсы».

П 70301-016
М172(03)-81 Без объявл. 4702010100

P1

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ

П о в е с т ь

Егор Иваныч Молотов думал о том, как хорошо жить помещику Аркадию Иванычу на белом свете, жить в той деревне, где он, помещик, родился, при той реке, в том доме, под теми же липами, где протекло его детство. При этом у молодого человека невольно шевельнулся вопрос: «А где же те липы, под которыми прошло мое детство? — нет тех лип, да и не было никогда». Припомнился ему отец-мещанин, слесарь, жизнь в темной конуре, грязь и бедность, и первые детские радости, смех и горе, и молитвы. — Матери он не помнил; отец же ему представлялся очень живо. Он помнил, как, бывало, отец долго работает, пот выступит на его широком лице, а он, Егорка, тут же копается. Отец вдруг оставит работу, вздохнет на всю комнату, ущипнет ребенка за щеку и скажет: «А поди ко мне, чертенок!», посадит его к себе на колени, любится на сынишку, целует его крупными губами, поднимает к потолку, хохочет.

— Чего ржешь, тятка?

— Что, Егорка? а?

— Ржешь чего?

— А стих такой нашел.

— Ишь ты! — отвечает Егорка.

— А спеть тебе песню? — спрашивает отец.

— Спой, тятка.

И поет отец дрянным голосом песню. Детская жизнь Егора Иваныча совершилась в грязи и бедности, а вот и теперь он вспоминает ее с добрым чувством. Егорушка был мальчик бойкий: подпилки, клещи, бурава, отвертки, обрешки железа и меди заменяли ему дома игрушки.

— Из тебя, Егорка, лихой выйдет мастер; много у тебя будет денег.

— О! — говорит Егорка.

— Тогда не забудешь своего тятку?

— Я тебя, тятка, не забуду...

Отец беседовал с Егоркою как со взрослым, разговаривал обо всем, что занимало его: побранится ли с кем, получит ли новый заказ, болит ли у него с похмелья голова — все расскажет сыну.

— Башка трещит, Егорка: вчера хватил лишнее. Вырастешь, не пей много.

— Я, тятка, пиво буду пить...

— И молодец!.. Ты у меня молодец ведь?

— Еще бы! — отвечает сын.

Иногда отец советуется с ним.

— Вот, Егорка, деньги получил за работу, а завтра праздник: так мы шей сварим, пирог загнем, да еще чего бы? Киселя аль каши?

— Каша не в пример лучше...

— Ну, так каши,— соглашается отец.

И во всем так: идет ли отец гулять, в церковь, в гости — везде с ним Егорка. Мальчик свободно относился к отцу, точно взрослый, да и живет он дома не без пользы: он и в лавочку сбегает, и заказ отнесет, сумеет и кашу сварить, и инструмент отточить, и пьяного отца разденет, спать уложит, да еще приговаривает:

— Ну, ложись!.. ишь ты, нарезался!..

— Молчи, Егорка!

— Ладно, не разговаривай, лежи себе...

Вот в подобных случаях выпадали тяжелые минуты в жизни Егорки. Иногда придет отец сильно пьяный, злой, непокладный и ни с того ни с другого поколотит сына...

— Не озорничай, тятка!.. черт этакой!.. право, черт! — отвечает ему сын.

— Врешь, каналья, врешь!.. Я тебе овчину-то на-треплю...

При этом отец ловит Егорку за вихор и обижает его. На другой день отец все припомнит; ему совестно, он не знает, как и взглянуть на Егорку, как приступить к нему. Отец молчит, и сын молчит; у обоих лица пасмурные. Под вечер, выглянув исподлобья, отец сказал:

— Полно, Егорка; ну тебя...

— А! теперь и рожу в сторону!.. стыдно, небось, стало?.. А ты не дерись!..

— Да ну тебя...

- Ишь нарезался, на стены лезет!

Отец замолчал. Прошло несколько мучительных минут. Отец тяжело вздохнул на всю комнату. Егорка выглянул сердито и сказал:

— В лавочку, что ли, надо? давай! Чего молчишь-то? гут нечего молчать!..

Такая уступка со стороны Егорки служила шагом к примирению, и у отца отлегло от сердца. Впрочем, случилось, что отец и в трезвом виде давал своему сыну потасовку. Заспорят иногда: отец хочет киселя, а сын каши; отец закричит: «Молчи!», а сын отвечает: «Чего молчи? я тебе дело говорю». Отец и натрясет ему вихор. Только тогда уже отцов верх, и Егорка не знает, как подойти к нему. Но ссоры редко случались; отец большею частью соглашался, что «каша не в пример лучше киселя», тем дело и кончалось.

Слесарь был человек безграмотный; знал он свое ремесло, несколько молитв на память и без смысла, много песен и много сказок; работу он любил и часто говаривал: «Бог труды любит, Егорка», «Кто трудится, свое ест». Вот и весь нравственный капитал, который он мог передать своему сыну. Бог знает, что бы вышло впоследствии из мальчика? Вероятно, второй экземпляр отца, слесаря Ивана Иванова Молотова.

Но судьба готовила ему иную жизнь. Егорушка скоро лишился отца. Тогда один профессор, по имени Василий Иванович, — а фамилию не скажем, — у которого слесарь работал и которому понравился сын его, взял Егорушку к себе. Василий Иванович был странный старик, и судьба его была странная. Смолоду ему трудно было победить науку, но он победил ее; хворал от бессонных ночей, но все-таки взял свое, веря в истину, что терпение и усидчивость все преодолевают, что в терпении гений. Он в прежние годы даже водку пил на том основании, что умный человек не может не пить; не любил жёнщин — тоже на ученых основаниях; был неопрятен, рассеян, нюхал табак. Он довольно поработал на своем веку, много перевел немецких и французских книг, а некоторые из его статей и теперь еще имеют значение как материалы. За наукою он так и позабыл жениться. Но чем он становился старше, тем делался опрятнее, водки терпеть не мог и с завистью смотрел на женатых людей. Жизнь, построенная на ученых основаниях, сказала; ему хотелось наверстать бессемейность,

и он полюбил своего воспитанника страстно. Беда к старой деве попасть на воспитание, но если старый холостяк полюбит ребенка, то он полюбит его горячо: так бабушки любят своих внуков. И Василий Иваныч скоро превратился в бабушку, — и то умная была бабушка, хотя довольно старопечатная, древлеславянская. Егор Иваныч как теперь видит честное лицо старика, его широкий лоб в морщинах, его добрые глаза под синими очками. Но Егорушка не сразу сошелся с своим воспитателем; он слушался его во всем, учился прилежно, но все дичился чего-то и боялся: сам не вздумает подойти к старику, а все надобно позвать; не приласкается к нему, ничего не попросит; капризов никаких; всегда скромн, тих и застенчив. Старик заметит ему что-нибудь — без строгости, ласково и осторожно, чтобы не обидеть, а мальчик все-таки испугается, съезжится и потом усиленно следит за каждым своим шагом. «Что это значит?» — думал с беспокойством старый человек. А дело было очень просто. То же бывает в сельских школах: он в глазах ребенка был «на барина похож». Если учитель говорит ученикам-мужичонкам: «Эй вы!.. тише!.. Слушай!.. когда входите в школу, то сапоги, а у кого их нет, то ноги — вытирайте в сенях; в ладонь не сморкаться; на улице должны мне шапку снимать; не говорить мне ты, а вы», и т. п., что найдет он нужным заметить, — поверьте, школьник-мужичонко редко заставит повторять сказанное, почти всегда сразу запомнит и потом строго следит за собою. Как бы то ни было, учитель, если он только не деревенский дьячок, все же ходит в сюртуке, подчас в шляпе и с тростью в руках; значит, он на барина похож, а барина мужичонко слушает полным ухом. Сначала и Егорушка с тем же чувством относился к своему воспитателю. Кроме того, у Егорушки не было товарищей. Потребность товарищества для детского сердца старый человек опустил совсем из виду, и понятно, что вначале Егорушке тяжело было, дико было среди комнат профессора, которые ему казались уже очень чистыми и громадными после отцовской конуры. Ему хотелось бы повидаться с Микиткой беспалым, с которым он познакомился в кабаке, куда, бывало, отец посылал его за вином, повидаться с Лешкой столяровым, с Машуткой-подкидышем, которой он покровительствовал и за которую часто дирался с уличными друзьями; хотелось бы, задравши лихо рваный козырь на шапке, запустить свин-

читку в кон; часто ему чудился молот наковальни, визг железа и меди; его тянуло за церковную ограду, куда целыми стаями собирались оборванные дети. Потому-то он иногда где-нибудь в углу плакал потихоньку, чтоб никто не видел; он любил заходить в кухню к лакею профессора, человеку старому, как сам профессор,— там ему было привольнее.

— Что ты, Егорушка, все скучаешь? — спросил его однажды слуга.

— Домой хочу,— ответил мальчик и вдруг разрыдался.

— Что ты?.. что ты?.. бог с тобой! — говорил оторопевший слуга,— ведь ты теперь барчонком стал.

Мальчик плакал...

— Ну, на, голубчик мой, съешь вот это, съешь, Егорушка.

Лакей гладил мальчика по голове и совал ему в рот кусок сахара; но тот все плакал.

— Эка беда! — сказал лакей и пошел позвать профессора...

— Домой хочу,— твердил Егорушка и Василью Ивановичу.

— А у меня жить не хочешь? — спросил старик.

— Не хочу.

Крепко задумался профессор...

— Ведь здесь лучше, Егорушка!

— Нет, дома лучше...

— Пойдем же домой,— сказал старик...

И вот пришли они на старую квартиру, где прежде Егорушка жил с отцом. Там теперь поселился сапожник, все переменялось; мальчик не узнал своего старого гнезда.

— Сходимте на ограду,— попросил он.

И здесь Егорушка не встретил никого из старых знакомых... Тогда Егорушка остановился с недоумением, подумал, взглянул пытливо на профессора и потом застенчиво, потупясь в землю, шепотом сказал:

— К Машутке сходимте...

— К какой Машутке?

— Вон там живет...

Старик подумал, покачал головой, однако согласился... Но оказалось, что Машутку отдали в науку, на другой конец города. Тогда-то понял Егорушка, что старая жизнь никогда не воротится, нигде ее не отыщешь,

пропала она. Мальчик инстинктивно прижался к старику. Это тронуло старика.

— Ты мой теперь, Егорушка,— сказал он.

Много было доброго, стариковского чувства в этих словах. Егорушка невольно поддался их влиянию и с той минуты стал доверчив к старику и полюбил его. Они весь вечер провели вдвоем. Егорушка рассказывал о своей прежней жизни, и профессор подивился, как сильно был привязан этот мальчик к своему углу, к отцу, старым товарищам и играм.

С тех пор старик внимательно следил за Егорушкой, слушал его рассказы, выпытывал его понятия и наклонности и скоро увидел, что мальчик имел доброе сердце и хорошие способности, но грубоват, неотесан, с дикими понятиями о боге, людях, жизни и природе. Старик стал проводить с ним вечера, рассказывал совершенно о ином боге, какого он и не знал до сих пор; ему не верилось сначала, что бог совсем не тот старик, которого он видел на иконе. То же самое случилось, когда старик усердно и радушно старался объяснить ему явления природы и рассказывал об исторических лицах и событиях. Многие внушения и взгляды впоследствии, когда Молотов развился, отведал новой науки и стал самостоятельно вглядываться в природу и жизнь, были отвергнуты им: тогда снова, в третий раз, он увидел, что бог и люди совсем не то, что он думал; но теперь все было для него в речах старика поразительно и ново, он увлекался, для него открылся новый, до тех пор неведомый, роскошный нравственный мир. Недолго совершалась борьба в детской душе; Егорушка скоро бросил старую жизнь. Он не перестал любить своего отца, старых знакомых и товарищей, но ему жалко было их, и он усердно молился за них богу. Иному невероятным покажется, что в детской душе на двенадцатом году жизни могла бы совершиться серьезная моральная борьба, какая бывает в душе юноши. Да, невероятно, потому что мы родились в более или менее образованной среде, и многие истины приняли обыденный характер в нашей жизни; а неужели вы думаете, что двенадцать лет невежества легко уступят новой жизни? Он до сих пор помнит, каких мучений моральных и сомнений стоила ему та истина, что не Илья-пророк производит гром. Ничего сразу не давалось, ничему новому не верилось, его не тому учил отец. Спорить с профессором он не мог, сил

не хватало, но его детские убеждения были органическими убеждениями, вошли в него с молоком матери, развились под влиянием отца. Потому и совершалась в его душе борьба серьезная, с болью, хотя исход она получила скоро, потому что Егорушка был молод, а старик умен и вкрадчив. Нравственная работа принесла пользу Молотову: он научился не верить старине и авторитету, — и то, что нами в молодости принимается на слово, вот так, как он принимал на слово, что Илья гремит на небе, у него было переварено собственной головой; он привык к самостоятельности, к уменью отрешаться от ложных взглядов. Он стал человеком, способным к развитию, и потому-то впоследствии он бросил многие убеждения, воспитанные в нем стариком: у него стало на то силы; но он не посмеялся над стариком, потому что когда-то верил ему. Мальчик полюбил науку; он инстинктивно чувствовал, что чрез нее только станет человеком, потому что он не был породистым мальчиком. Старик радовался, глядя на ребенка, как он усидчиво занимается книгою, и чрез год нельзя было узнать в Егорушке прежнего Егорку — грязного, оборванного, босоногого, из уст которого нередко слышалось площадное бранное слово. Микитка беспалый, увидав его, не поверил бы, что этот мальчик, так прилично, по-барски одетый, так скромно идущий по улице, был слесарский Егорка, прежний друг его закадычный. Перемена в жизни Егорушки, очевидно, была к лучшему. Но у него по-прежнему не было игрушек, дамочек фарфоровых и гусаров деревянных, бубенчиков и лошадок, барабанов и солдатских киверов; он после уроков что-нибудь строгал, лепил или рисовал; страсть к таким занятиям у него осталась навсегда. Если же ему не хотелось ничего мастерить, он уходил в кухню к лакею, или садился у камина и смотрел в огонь, или же был подле старика. Эта уединенная жизнь в товариществе старых людей, редкие ученые гости, редкие выезды, причем мальчик на короткое время виделся с другими детьми, отсутствие женщин, серьезные речи положили особый отпечаток на личность дитяти. Жизнь в кабинете старика сделала его застенчивым, против чего он после долго боролся. Он остался несколько угловат и неловок, тем более что и сам профессор не был светским человеком. Егорушка был не по-детски серьезен, но в то же время у него не было идеальной худобы в теле

и бледности в лице; это был не заморенный мальчик; он был очень здоров.

Быстро пролетел гимназический курс. Молотов вырос, развился, но, в сущности, жизнь его мало переменялась. Он стал больше ростом и учение, с товарищами мало сошелся, в гимназии был только во время классов, считался умным мальчиком и шел в первых учениках. Только за полтора года до университета он узнал дружбу, коротко сблизившись с сыном одного чиновника Андреем Негодяшевым. Они оба попали в университет казеннокоштными студентами. Дружба их была оригинальная; их называли «непримиримыми друзьями», потому что они постоянно бранятся и спорят между собою, а один без другого жить не могут. Бывало, придут после лекции, станут читать какого-нибудь поэта или философскую статью, заспорят, раскричатся, дело коснется личностей, обонх заберет самолюбие, начнутся насмешки, чуть не брань. Как ужиться при подобных условиях? Но в следующий раз они опять встречаются с радостью и, нисколько не стесняясь, сообщают один другому всевозможные вопросы и все личные взгляды, и это не по обязанности, что друзья должны быть откровенны, а просто им не удержаться было от разговору. Оба они не любили пресной дружбы, а потому часто они выводили один другого на свежую воду. Профессор удивлялся их ярким речам; иногда вставит и свое слово; тогда оба дружно сцепятся со стариком, начнут доказывать отсталость его идей. Добродушный Василий Иванович замахает руками. «Ладно, ладно! — кричит. — Мы стары!.. где нам?» — «Так что ж такое, что стары?» — напустятся на него студенты. «Отстаньте!» — ответит им старик, закроет уши руками и уйдет в кабинет. Наши друзья продолжают воевать. И как могли сойтись эти совершенно противоположные характеры? Один был сын мещанина, другой чиновника; один вырос в большой семье, между братьями и сестрами, другой в товариществе старого профессора. Молотов любил говорить о широких началах, общемировых идеях и замогильных вопросах; «жизнь, природа, человечество» — на этих предметах постоянно вертелись его мысли; он смотрит идеалистом, хотя, странно, он всегда осторожен, аккуратен, осмотрителен, и всегда у него есть деньги; Негодяшев же терпеть не мог общих рассуждений, говорил все о карьере, называл себя практическим человеком, хотя

и часто бывал без деньжонок, любил кутнуть и иногда пропускал лекции, необходимые для студента. Негодяшев был на юридическом факультете и говорил, что он пойдет в чиновники; Молотов — на историческом и никогда не думал, что из него выйдет. Негодяшев был ловок, речист, иногда лгал немного, мастер подделываться под характер людей; он был франт и всегда одет щегольски; а Молотов — тяжел, говорил много — не когда угодно, а лишь в минуту увлечения, прям был на слова и резок, неподатлив; на нем мундир сидел не так ловко. Молотов не сразу усваивал принципы новой жизни, но они крепко вращались в его душу; Негодяшев увлекался быстро. Негодяшев уже успел влюбиться и поклясться дочери одного чиновника в вечном и пламенном чувстве, в чем и сознался другу в задушевной беседе; а друг отвечал, что он не понимает еще этого чувства, что он мало видал женщин и совсем их не знает. Негодяшев говорил, что он довольно опытный человек и людей несколько знает. Негодяшев был более пессимист, а Молотов — оптимист. Они и наружностью не похожи: Негодяшев высокого роста, бледнолицый, черномазый и с волосами до плеч, а Молотов среднего роста, плечистый, с румянцем на широком лице, коротко острижен, глаза у него серые... Так, по законам дружбы, существующим искони, сошлись между собою люди противоположных характеров. Но дружба, основанная на этих законах, редко бывает прочна и кончается добром; такая дружба обманчива, ее разъедает постоянное противоречие, в ней зреет вражда. Случилось то, что часто случается с такими друзьями: Молотов попрекнул чем-то Негодяшева, и они разругались не на живот, а на смерть. Тогда Молотов испытал ту молодую ненависть, когда вчерашний друг представляется ни больше ни меньше как гадinou, оскверняющей человечество, когда думается, что самое ужасное наказание другу — презрение к нему, хотя друг то же самое думает, и когда оба рады примириться, только не хочется первому просить мира. Молотов и Негодяшев воображали, что они ненавидели друг друга, а между тем они любили друг друга; они еще не знали, что значит ненавидеть.

Тогда же с Молотовым случилось и другое несчастье. Его старик опасно занемог. Молотов дни и ночи проводил у постели больного. Горькое настало время. На шестнадцатый день старый человек сказал Молотову:

— Скоро умру, Егорушка... вся грудь высохла... не забывай меня... поминай...

Молотов наклонился и поцеловал его руку.

— Утешил ты меня, Егорушка... спасибо... и я тебя любил...

Молотов заплакал.

— Полно... не плачь... что ж делать? — говорил шепотом умирающий. — Пора!..

Старик тоскливо посмотрел на Молотова. Потом он стал говорить о завещании, — это самая бывает трудная и мучительная минута для присутствующих, когда человек актом, на гербовой бумаге совершенным, отказывается от всех прав собственности и власти, какие успел приобрести во всю жизнь свою... Молотов рыдал, а старик говорил, что у него есть статьи, приказывал отослать их в Москву, деньги за них назначил на раздачу нищим, велел поминать Евдокию, сестру его, умершую давно уже, и давал предсмертные увещания:

— Честно живи, Егорушка... богу молись... старших почитай...

Потом больной велел принести образ и, благословивши своего воспитанника, забылся на время. Молотов отошел к окну и долго смотрел бессмысленно на улицу. Чувство сильного горя и одиночества охватило душу восемнадцатилетнего юноши. «Один во всем мире!» — эта мысль подавляла его душу, жала мозг его. Но... настала развязка старой жизни. Молотов подошел к постели: старик лежал неподвижно; глаза были открыты...

— Добрый мой учитель, — прошептал Молотов, поцеловал его в лоб, поцеловал его руку и закрыл глаза.

Долго он смотрел в лицо мертвому — оно было спокойно и безответно.

На третий день похоронили профессора. На похоронах была всё ученая братня, всё старики, один лишь молодой человек — Молотов, и ни одной женщины. Пояннем добрым словом человека доброго и немало потрудившегося на веку своем...

Наследства Молотов получил около четырех тысяч ассигнациями, большую часть мебели он продал, переехал на новую квартиру, где и повесил портрет старика над диваном. На новой квартире скучно проходили каникулы. Молотов пошел однажды к товарищу, Череванину, о котором говорили, что он «с философским направлением» (мы с ним встретимся еще), и у которого

любили собираться студенты. Здесь он встретился с Негодяшевым. В душе Молотова шевельнулось все доброе старое, слезы стали к горлу подступать. Негодяшев отвернулся в сторону. Молотов первый заговорил:

— Андрей, полно злиться...

Что, если бы его оттолкнул Негодяшев? Но этого быть не могло. Возвращение от вражды к дружбе было внезапно. Негодяшев бросился на шею к Молотову. Они поумнели, вспомнили вражду, хохоту было немало.

— Андрей,— сказал Молотов,— мы теперь будем осторожнее.

— А что?

— Опять поссоримся.

— И помиримся опять — вот и все.

— Опять переедаться будем?

— Будем.

— Ну, как хочешь.

Тем и кончили. Быстро понеслось время. Теперь только, на втором курсе, Молотов сошелся с товарищами. Его полюбили. Молотову прекрасными людьми представлялись товарищи — бодрые, смелые, честные, за общее благо готовые на все жертвы, оригиналы. Не думалось тогда Егору Иванычу, что многие из них потеряют и бодрость, и смелость, и оригинальность, и способность к жертвам, а некоторые даже... и честность. Но тогда верилось и жилось хорошо. Вообще он мало знал жизнь; у него было мало знакомых: знаком он был с семейством Негодяшева и с семейством еще одного чинювника, Игната Васильевича Дорогова, с купцом, у которого учил сына, да с хозяйкой своей квартиры. Он жил товарищеской и университетской жизнью. Между тем Молотов никогда не имел претензии на ученую или художественную карьеру; ему придется действовать в чисто практической сфере, одному, без друзей, без родни, без знакомых, без ясного сознания цели в жизни, но с детски ясным взглядом на мир божий. Как-то он будет жить в людях с подобною подготовкою?

По окончании курса Негодяшев уехал в губернию на службу. У Молотова от наследства остались кое-какие крохи, и он несколько времени промышлял в столице дешевыми уроками и вот уже три месяца живет у помещика Аркадия Иваныча Обросимова.

С балкона барского дома открывается во все стороны прекрасный вид: деревня в яблонных и липовых садах; направо, налево виднеются еще деревушки; на горе церковь, отовсюду леса, пашни и луга; к западу бежит речка — небольшой приток Волги. Тишина стоит в воздухе; природа облита заревом вечернего солнца. На балконе Егор Иванович Молотов и Елена Ильинишна Илличова — молодой человек и молоденькая, хорошенькая девушка; значит, повесть начинается. Они смотрят на дорогу, на дороге поднялась пыль, слышны голоса животных, идет стадо с поля; с другой стороны шлепает огромное стадо гусей и уток — все это повалило мимо барского дома. Леночка имела полное право сказать:

— Какая поэзия!.. прелесть!..

Молотов молчал.

— Посмотрите же, Егор Иванович...

— Где поэзия? — спросил он.

— Да вот — стадо.

Молотов усмехнулся.

— Ну какие вы! — сказала Леночка.

— Что же?

— Тут чувство нужно, а нечего умничать.

Молотов уклонился от разговора о поэзии. Он, не смотря на то, что был юноша двадцати двух лет, не часто говорил об интимных предметах и важных материях. «Говорить о таких вещах, — думал он, — так говорить серьезно». А серьезно говорить приходилось редко. Он боялся фразерства и потому не проповедовал новых идей, не кричал о прогрессе, редко позволял себе нежные слова и возвышенные речи, хотя в университетском кружке, а особенно с Андреем, он, бывало, спорил до слез и до глубокой ночи о том самом, о чем теперь он смалчивал. Он стеснялся завести с женщиной разговор о ее призвании, о поэзии, о любви; он никогда не был влюблен, читал о любви, слышал, размышлял о ней, но сознательно не понимал любви и потому боялся наговорить о ней вздору. Он вообще не любил петь с чужого голоса, проповедовать заученное, кидаться из стороны в сторону, находясь под влиянием только что прочитанной статейки. Заговорят, например, о любви, и кто-нибудь обратится к нему за мнением, он всегда как-то съежится и неловко уклонится от ответа, не потому, чтобы считал разговор о таком предмете пустым или неприличным, а по какой-то непонятой застенчивости,

робости и стыдливости, хотя он и не был тем, что называется «красною девушкою». Боясь инстинктивно говорить о высоких предметах, он в то же время не мастер поддерживать дамский вздор и дребедень, хотя бы и не прочь от того: «Что же, не все серьезное: наука, да искусство, да восход солнца»; а потому в обществе держался ближе к мужчинам и пожилым дамам. Самая фигура его показывает, что он не создан дамским кавалером. Егор Иваныч был среднего роста, плотию сложен и широк в плечах, несколько сутуловат; его нельзя назвать красавцем, но выражение лица доброе, и в серых огромных глазах светился ум; лоб большой, ноздри широкие, крупные губы плотно сжаты, подбородок выдался вперед. Он казался мужественнее своих лет. Егор Иваныч имел большие руки, сильные и мускулистые, с толстыми пальцами и коротко остриженными на них ногтями; ступня ноги была большая. Внешние приемы его не были безукоризненны: походка тяжеловата, с перевалом и крупными шагами; французский язык знал, но имел плохое произношение, потому и воздерживался от этого элегантногo диалекта; он смеялся слишком громко, стеснялся при женщинах в первую минуту, а потом говорил с ними как с мужчинами, вставляя часто словцо, нетерпимое в дамских речах. Но он не был циник, был опрятен и чистоплотен, любил порядок и немало сокрушался о своих внешних недостатках. Но эти недостатки обнаруживались сами собою, особенно когда он, увлекшись, не вытерпит и заговорит, как прежде, в кружке товарищей: тогда, в монологах, его голос поднимался несколькими нотами выше, но лишь только ему возражали, он выслушивал спокойно, отвечал хладнокровно, и чем более направляли на него насмешек и острот, тем он становился хладнокровнее, заметно сдерживая себя и сосредоточиваясь. Он в этих случаях был очень деликатен, на остроты не сердился: смешно, так и сам смеялся, но терпеть не мог, когда не давали человеку высказываться. «Зачем говорить с человеком, если его самого не выслушивать? он тогда ничего не поймет», и потому голос его тогда лишь поднимался, когда его была чередa говорить. Он не любил горлом брать. Однажды к Обросимову заехал один помещик, человек с авторитетом и во всем околотке считавшийся умным. Он разговорился с Молотовым, скоро напал на современную тему, взял молодого человека за пуговицу и целый час развивал

свои идеи. Молотов целый час усиливался вставить свое слово; авторитет закричит: «Помилуйте, как этого не понять?» Молотов продолжает слушать, но лишь улучит минуту и вставит свое слово, помещик опять кричит: «Помилуйте, как этого не понять?» и продолжает сыпать снова. Наконец авторитет истощился, и последние слова его были: «Кажется, ясно?» Молотов ответил: «Ясно, но у меня есть *свои* возражения». — «Помилуйте, какие же могут быть возражения?» — «Может быть, неосновательные, но если они останутся, то я все-таки...» — Могут ли они быть основательными?» — перебил его помещик и перешел к новой теме. «Зачем же он говорил со мной?» — думал Молотов и назвал его в душе болваном, хотя помещик говорил неглупо и с этим соглашался и Егор Иваныч. Зато с самим Егором Иванычем говорить было легко... Леничка не первый день знакома с Егором Иванычем. Она часто бывает у Обросимова, своего крестного отца, и не раз проводила время с Молотовым; он тоже бывал в гостях у матери Илличовой. Леничке случалось слышать, как Молотов, подавив в себе застенчивость, увлекался разговором. Она однажды прямо ему сказала: «Я люблю, когда вы говорите», после чего он постарался замять разговор. У Ленички и сегодня явилось невинное желание вызвать Молотова на разговор. Желание не исполнилось.

На балкон вышел Аркадий Иваныч с дочерью Лизаветой Аркадьевной. Лизавета Аркадьевна была женщина высокая, стройная, красивая. Она года полтора назад лишилась мужа, директора одного из петербургских департаментов. Вдова приехала к отцу гостить весну и лето. Скоро вбежал на балкон Володя, сын Обросимова, а наконец явилась и сама хозяйка, Марья Павловна. Аркадий Иваныч предложил прогулку на воде; все были согласны и минут через двадцать сидели в лодке. Молотова просили грести. Под его руками лодка пошла быстро. Речка бежит среди липового леса и яблонь, отряхивающих розовые цветы в ее тихую воду.

— Вы устанете, — заметила Марья Павловна.

— Ничего-с, — ответил Молотов и в один прием подвинул лодку на полсажени.

— Я люблю быструю езду, — сказала вдова, — она — как все сильное, энергичное, выходящее из ряда обыденных...

В это время лодка на повороте реки обогнула угол, и

неожиданно из-за яблонь солнечные лучи ударили прямо в глаза гребцу, что заставило его опустить весла. Когда женский страх прошел, все стали смеяться.

— Вам солнце мешает,— сказала Леночка и защитила его зонтиком.

Леночка быстро овладела разговором, с удивительною легкостью переходила с предмета на предмет; рассказала, как она тонула однажды; что у них-новый дьячок; про козу свою рассказала; от козы перешла к дяде, к няне, подругам; после этого ей ничего не стоило говорить о цветах, о новом платье; а чрез несколько минут она говорила, что терпеть не может пауков и тараканов, что она любит толстые пенки на сливках, клубнику и запах резеды. Черноглазая болтуня была неистощима. Лизавета Аркадьевна смотрела на Леночку пристально, наблюдала ее, *изучала*, как любила выражаться, нарочно вызывала на болтовню, причем и делала тонкие иронические замечания. Егор Иваныч видел, что Обросимовы об Илличовой имели понятие как о девочке пустой и легкой. Только отец поддерживал свою крестницу и гостью и, казалось, понимал ее иначе. Леночка не догадывалась, что над нею смеются и с намерением заставляют говорить.

— Я завидую легкости вашего характера,— сказала Лизавета Аркадьевна с едва заметною улыбкою.

— Я веселая!..— отвечала простодушно Леночка и при этом ударила в ладошки.

Проехали еще около версты и потом положили вернуться домой. Молотов повернул лодку; ее понесло вниз по течению. Он сложил весла.

— Папа, позвольте мне править.

Обросимов уступил дочери руль. Она довольно верно повела лодку. Когда доехали до деревни, где жила Леночка, она просила остановиться. Высадили ее на берег, простились и отправились дальше. Немного погодя Лизавета Аркадьевна сказала:

— Кисейная девушка!

— Лиза! — начал с упреком отец...

— Да что, папа! — перебила Лизавета Аркадьевна, — ведь жалко смотреть на подобных девушек — поразительная неразвитость и пустота!.. Читали они Марлинского, — пожалуй, и Пушкина читали; поют: «Всех цветочков боле розу я любила» да «Стонет сизый голубочек»; вечно мечтают, вечно играют... Ничто не оставит

у них глубоких следов, потому что они неспособны к сильному чувству. Красивы они, но не очень; нельзя сказать, чтобы они были очень глупы... непременно с родимым пятнышком на плече или на шейке... легкие, бойкие девушки, любят сантиментальничать, нарочно картавить, хохотать и кушать гостинцы... И сколько у нас этих бедных, кисейных созданий!..

— Ты Леночку не знаешь,— сказал отец,— оттого и говоришь так. Она девица очень добрая.

— Добрая? — ответила дочь с досадою.— Знаю, очень хорошо я это знаю. Они все у нас добренькие: всегда спасут муху из паутины и раздавят паука...

— Я тебе советую познакомиться с нею покороче; тогда ты ее полюбишь...

— Я ее и теперь люблю, папаша, разумеется, как можно ее любить... как птичку... цветок... как хорошенький узор... не больше... Она не способна отвечать на привязанность глубокую, на страсть сильную...

— Держи от берега дальше, Лиза: там очень мелко.

— Хорошо, папа... Скажите, чем можно привязать ее? подарить фунт конфет? шелковое платье?

— Жениха хорошего,— сказал Обросимов.

— Что, папа?

— Хорошего жениха... только не дари ты ей портрета Жорж-Занда.

— Вы, пожалуй, правду сказали. Да, для этих девушек одно спасенье — в женихе... Пока не замужем, они мечтают... вы думаете, об идеале? нет, о душках, и между тем очень хорошо понимают, что вся цель их стремлений — жених, о чем и хлопочут мамыши и папаша... душка сам по себе... Да и к душкам своим эти девушки имеют какие-то странные отношения: они не способны ни к какому решительному шагу, они не полюбят без позволения папаша...

— У ней, Лиза, нет отца.

— Все одно — мамыши.

— Мамаши она не боится, потому что командует всем домом. Как же это, Лиза, не зная человека, говорить о нем? Могла ли ты так скоро понять Леночку?

— Она дала мне три сеанса — этого довольно: ее портрет я могу написать во весь рост... Я пыталась развить ее...

— В три сеанса?

— По крайней мере понять, может ли она развиться.

Бывают натуры нетронутые, а эти? Кисейная девица, девица-душка!

Лиза, ведь ты бранишься,— сказал отец.

Лизавета Аркадьевна вспыхнула.

Я знаю Леночку лучше тебя,— продолжал Обросимов,— она умная и добрая девица, только необразованная и держать себя не умеет — в этом не она виновата... Наконец, ты не имеешь права говорить так резко о Леночке...

Почему же, папа?

Потому что ей жених нужен, пойми ты это.

Фи, какие понятия!

Самые здравые понятия. Ведь она неспособна к страсти глубокой? да? сама сказала, что для таких девишек — одно спасенье в женихе... Так не сбивай же ее, пожалуйста, с толку, не навязывай ей того, к чему она неспособна!.. зачем это? Оставь ты ее в покое... А то ведь «кисейная девица», «душка» — это такие выражения, что могут испортить ей репутацию...

— Но, папа, могу же я иметь свое понятие о ней?

— Не совсем...

— Как так?

— О девушке не только мужчина, но и женщина должна выражаться осторожнее; между девушкой и женщиной большая разница.

— Разумеется, большая: девушке жениха нужно.

— Непременно-с...

— Отчего же, папа, после этого не сказать и так: о мужчине не только женщина, но и мужчина не должен говорить худо, потому что ему невеста нужна?.. То же самое, папа!..

— Совсем не то, несколько не похоже... Впрочем, Лиза, оставим этот разговор...

— Отчего же, папа?

— Ну, мне неприятно продолжать разговор... оставь, пожалуйста...

Лизавета Аркадьевна замолчала. Близко была Обросимовка.

— Этак говорить нельзя,— прибавил отец,— и твоего Жорж-Занда можно на смех поднять.

— Ведь мы оставили, папа, этот разговор...

Отец замолчал. Лодка причалила к берегу. Все отправились домой. Но Обросимов не утерпел и прибавил еще:

— Тебе хочется жить по-своему, и другим хочется. Что тебе за дело до Леночки? пусть живет как знает...

— Ах, папа!.. это скучно наконец,— ответила дочь.

Тем и кончили. Обросимов пошел с женой и сыном, а Лизавета Аркадьевна подошла к Молотову. Молотов был согласен с принципами вдовы, но не хотел согласиться относительно Леночки. «Она, кажется, не такая,— думал он,— если она неразвитая, так развеите; не можете, нельзя, так не троньте». Так он сумел согласиться с обоими спорившими...

— Какой чудный вечер! — сказала Лизавета Аркадьевна, и, начав с этого, она незаметно разговорилась, припомнила другие вечера, проведенные ею некогда в Италии; потом вспомнила Жорж-Занда, а там перешла к Татьяне Пушкина — Татьяну побранила за то, что она не отдалась Евгению, который оттого и погиб. Много о чем говорила вдова... Егор Иваныч больше молчал; Лизавета Аркадьевна не то чтобы разговаривала с ним, а больше поучала его, хотя он и не догадался о том. Когда они расстались, Молотов подумал: «Какая разница бывает между женщинами — Леночка и Лизавета Аркадьевна!.. Положим, Илличова — кисейная девушка, а эта? Не знаю. Только с каждым днем я убеждаюсь, что попал к добрым людям...»

Егор Иваныч отправился на крыльцо. Здесь он сидел один-одинешенек, опершись подбородком на ладони и глядя на длинные седые облака, которые еле тянулись по небу... Настали сумерки; горит заревом лишь то место, где закатилось солнце... Он сидит, ни о чем не думая... Ветры утихли, спать легли; дневные птицы молчат, а ночные не подали еще своих голосов; одни насекомые наполняют воздух жужжанием, свистом и стрекотом, да кричат играющие ребятишки — где это: у реки или на задах?.. Промычала корова... раздаются плач ребенка: «Ой, бойно, бойно; мамка, бойно!» — чего он плачет?.. Какие-то неуловимые звуки, неопределенные: то будто шум пронесется в воздухе; не было ветру, а вот покачнулась берега; в ухе звенит... Все становится темнее и темнее... тихо... но вдруг набегаёт чуть заметный ветерок; он отстал от майских братьев своих, а братья ушли туда, где спряталось солнце. Это он поднял из саду запах сиреней и тополей; от него, как мошки, полетели липовые цветы и осыпали дорогу, крыльцо и плечи Молотова. И сидит Егор Иваныч и глядит — чего

он тут глядит? Он, отдаваясь безотчетно природе, сливается с нею и в свою очередь составляет одно из явлений ее. Вон и старуха целый час глазеез из своей избушки и на Молотова, и на облака, и на кресты кладбищенские, и на туманную полосу воды на западе; и Обросимов глазеез из своего окна; и кляча, вытянувшись и положив на изгородь морду, тоже глазеез на все окружающее. Все сливается в одну картину, в единую жизнь природы, в которой всякое мелкое явление, всякая былинка, звук, вздох и шорох поют вместе с вами что-то кроткое, тихое, душевное, благоуханное... Совсем сливаются предметы... По реке, по горам встали длинные, безобразные, громадные тени... Что это?.. чудная птица, стоголосый соловей пустил над рекою свой яркий, сладострастный рокот. Долго поет прекрасная птица, а река спит под темно-голубыми небесами, спит деревня, леса, поля и теплый воздух; заснули люди и животные... и соловей задремал... тише... тише... Озноб пробежал по телу; брезжит утро; загорается ранняя заря, а с ней опять майская жизнь... Так совершаются в природе майские погоды, цветут весенние звезды, темно-голубые и темно-синие ночи и первые зори!.. Все это наше!.. Будем гулять, охотиться, купаться и, измаявшись, поужинаем с деревенским аппетитом и заснем здоровым сном на сеннике... Вот и отжит день; он уже никогда не повторится в жизни: не те будут цвета и подробности, не тот смысл дня. Но жалеть ли о нем? Нет, пусть идет себе жизнь... А ведь хорошо жить на свете? — Хорошо. Ну, и пусть его хорошо.

Мы не сказали еще, зачем и на каких условиях Молотов живет в Обросимовке. У Аркадия Иваныча была заматорелая тяжба, которую он непременно хотел покончить — так или иначе; для этого дела ему нужен был человек, который бы следил за тяжбою, ездил в город, сносился с чиновниками, потом ему хотелось составить подробную ведомость своему имению; потом надобно было привести довольно большую библиотеку в порядок и составить ей каталог. Когда Молотову предложили заняться всем этим за сорок рублей в месяц, причем предлагали готовый стол и комнату с отоплением и освещением,— он отказывался совершенным незнанием судейского дела и деревенской статистики; но его успо-

коили, обещая поучить на первых порах. После этого Молотов, долго не думая, продал все, что было у него движимого, оставив у себя только образок, которым благословил его воспитатель, портрет его, некоторые книги и вещицы, сосчитал несколько рублей в портмоне и покати в Обросимовку. Ему понравились и деревня и обитатели деревни. Он живет здесь около трех месяцев и успел познакомиться со всеми. Особенно нравился Молотову сам помещик; он был прекрасный хозяин, человек образованный, бывавший за границею. Крестьяне называли его «отцом родным» и благоденствовали сравнительно с крестьянами других помещиков. В числе более полутысячи его крестьян можно было насчитать около двадцати, ни разу не бивших жен своих, что, как известно, не у нас только редкость. Наказывать женщин он строго запретил, считая это варварством. Обросимов даже школу хотел завести, но как-то не собрался. Он слыл отличным соседом-хлебосолом и отличным семьянином. Человек он был пожилой, с красивым и умным лицом — такие лица бывают у некоторых наших бар, и именно бар деловых; спокойствие, уверенность в своих достоинствах, степенность и приветливость разлиты были во всей его фигуре. По крайней мере он таким представлялся Молотову.

Молотову легче было войти в свет, нежели другим образованным юношам темного происхождения. Он спрашивал себя: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и отвечал: «Нет тех лип!» Это много значило для него; он не был связан ни с какою почвой. Посмотрите на большую часть людей, которых судьба так или иначе выдвинула из среды своей, как они относятся к среде. Как часто случается, купецкий сын, получивши образование, ненавидит свое сословие: отвратительно для него купечество, все купцы негодны и пошлы, и никогда не прибавит, что им трудно быть иными и что он не сам собою, а чрез образование стал выше их. Или вот иной помещик: выдернут его из степи, привезут в столицу, обломывают его понятия, пересоздадут натуру барскую, научат совершенно иной жизни — как он потом относится к степнякам своим? Послушайте вы семинариста, которому счастье благоприятствовало развиваться лучше собратьев своих: он зол на долбню, фискальство, формализм и прочую чепуху, копившуюся в родном гнезде веками... Все они — и дворянин, и купец,

и семинарист — отвернулись от своих собратий: «О, как им пошло все!.. дичь какая!» Откуда эта антипатия к родной грязи, которую человек только что успел от себя отскрести? Она понятна и законна. Как не возбудиться всей желчи, когда зло, понятое вами и отвергнутое, вы видите в самых дорогих вам людях, в том гнезде, где впервые узрели свет божий, где проснулся разум, заговорило чувство, воля попросила дел и работы? Откуда для многих вытекают нелепые положения. Вот, например, у откупщика, скопившего тысячи при помощи мерзостей и подлостей, сын усваивает гуманные начала современной жизни, и что же выходит? — противны ему стены отцовского дома, а и жаль отца — ведь кровь родная!.. Вот и пойдет мысль ломаным путем, хочется во что бы то ни стало доказать, что незачем бичевать того, в ком зло совершается; что не лицо виновато, а закон, обычай, форма, предание, сок и кровь житейские и народные; среда нас заедает, внешние обстоятельства виноваты, действуют исторические причины... Но отчего же он? отчего другие уцелели? — Неисходное положение! Молотов был происхождения темного, мещанского, но счастлив этот юноша: в нем не было разлада молодой жизни со старою, ему не пришлось жить в сословии, в котором он родился; он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство? — нет тех лип». У Егора Иваныча никого и родни не осталось, и вышло так, как будто он и не был мещанского рода, хотя он и не думал от того отказываться. Он был счастливейший homo novus¹. Все это дало ему особый отпечаток. Судьба, отстранивши от него борьбу, скрывши в далеком младенчестве его мещанскую грязь, дала ему светлый, невозмущаемый взгляд на себя; держался он спокойно, ровно, с достоинством; чувствовал себя честным и свободным так же, как чувствовал себя физически здоровым. Это же самое дало ему надежду на людей; он был снисходителен, он был оптимист и любил приникать к доброй стороне жизни, повсюду отыскивая искру божью. Зачем же он говорил: «Где те липы, под которыми протекло мое детство?» и с грустью отвечал: «Нет их!» Но это была минутная грусть и минутное раздумье.

Однако оправдывался ли его оптимизм? ведь он жил в чужих людях. Положение человека, живущего в чужой

¹ Новый человек (лат.)

семье в качестве ли учителя, секретаря, компаньона, приживальщика, в большей части случаев стеснительное, зависимое от нанимателя и кормильца. «Я тружусь, следовательно, независим, сам себя знаю и ни пред кем не хочу гнуть спины» — такая истина редко имеет смысл в наших обществах. Протекцию, деньги, поклоны, пронырство, наущничество и тому подобные качества надобно иметь для того, чтобы добиться права на труд; а у нас хозяин почти всегда ломается над наемщиком, купец над приказчиком, начальник над подчиненным, священник над дьячком; во всех сферах русского труда, который вам лично деньги приносит, подчиненный является нищим, получающим содержание от благодетеля-хозяина. Из этих экономических чисто русских, кровных начал наших вытекает принцип национальной независимости: «Ничего не делаю, значит — я свободен; нанимаю, значит — я независим»; тот же принцип, иначе выраженный: «Я много тружусь, следовательно, раб я; нанимаюсь, следовательно, чужой хлеб ем». Не труд нас кормит — начальство и место кормит; дающий работу — благодетель, работающий — благодетельствуемый; наши начальники — кормильцы. У нас самое слово «работа» происходит от слова «раб», хотя странно — мы и у бога не рабы, а дети. Вот отсюда-то для многих очень естественно и законно вытекает презрение к труду как признаку зависимости и любовь к праздности как имеющей авторитет свободы и человеческого достоинства. Существовал ли экономический национальный закон в отношениях Обросимова к Молотову? Если да, то как же Егор Иваныч мог сохранить светлый, невозмущаемый взгляд на себя? В том-то и сила, что скорее не существовал, хотя и нельзя сказать того вполне категорически, потому что когда же наниматель, хотя отчасти, не считает себя кормильцем? Но уже и то хорошо, что экономический закон действовал слабо, незаметно. Здесь скорее действовал какой-то другой закон. Обросимов относился к Молотову почти как к равному, ласково, добродушно, благодарил за всякую услугу, иногда советовался с ним по какому-нибудь делу, вводил в интересы свои, так что Молотову казалось, будто он не чужой в семье. Он не сразу дошел до такого убеждения, боялся навязываться и напрашиваться в «свои люди» в чужую семью; но помещик, как нарочно, давал ему случай оказывать себе услуги разного рода и чрез то сближаться

с ним. Молотов, посещая фабрику Аркадия Ивановича, в которой, разумеется, он не много смыслил, успел как-то заметить некоторые проделки управляющего и сообщил о них Обросимову. То была важная услуга, потому что помещик успел спасти при этом порядочный капитал. Молотову были благодарны. Однажды Егор Иванович спросил, отчего это Володя не учится; ему сказали, что Володя учился, но теперь учителя нет. Жена Обросимова при этом выразила опасение, что мальчик многое перезабудет и ему опять придется начинать снова. Егор Иванович с своей стороны выразил сожаление, что не имеет особенных педагогических способностей и что хотя и давал уроки в столице, но не по призванию. Однако вышло же так, что он сам предложил заняться некоторыми предметами с Володей, пока не найдут учителя, за что Обросимовы опять ему были благодарны. Так существовал ли здесь национальный экономический закон? Напротив, едва ли не наниматель был в большей зависимости от нанимающегося. Все были ласковы и любезны с Молотовым. В деревне люди сближаются скоро, и Егор Иванович, мало-помалу оставивши осторожность и боязнь навязаться чужим людям, стал незаметно для самого себя втягиваться в семейную жизнь Обросимовых; чужие заботы делались его заботами, точно он был член семейства. С Обросимовыми он ездил к соседям в гости и со многими из них познакомился. Плебейское происхождение пока не смущало Молотова. Ничто не тревожило его гордости. Он был молод, надежд впереди много, и, значит, Егор Иванович вполне наслаждался жизнью.

И вот Молотов, сын столицы, который родился и вырос в ней, который жил в огромных каменных домах, никогда не видал деревни, не видал весны во всем ее цвете и прелести, не знал и семейной жизни, — он теперь в деревне, среди приволжской природы, в доброй, по его убеждению, семье... Поле, река, лес, деревенский воздух, полная свобода — все это давало Молотову еще не испытанные им впечатления. Мириады невиданных предметов представлялись его любопытству, и на первых порах глаза его разбегались. Он впервые видел, как сеют хлеб, сажают капусту, как распускается целый лес, ползет и лезет трава из земли, как сразу цветет вся окрестность, как живет деревенский обыватель. С изумлением останавливался молодой человек, когда высоко в воздухе неслись гусиные стада; иногда он долго прислушивался

в лесу к шелесту листьев, голосам птиц и насекомых, ко всему лесному движению. Он с жадностью всматривался в невиданную им доселе жизнь и природу. Во всем этом резко выдавалась одна сторона его характера.— У нас есть тип особого рода людей, живых, подвижных, вечно занятых, тип человека хлопотливого, который все замечает, которому все надобно знать. Случалось ли вам встречать людей, у которых что вы ни спросите, они на все ответят вам; заговорите с ними о разных замечательных лицах, о картине, о цене на какую угодно вещь, где и как добыть тот или другой продукт, о том, что и вычитать нельзя и о чем говорят за углом и потихоньку, что угодно,— все до них как-то дойти успело. У людей такого рода много знакомых, в жизни их множество случаев, потому что они всюду нос суют. Понятно, что в полном развитии этот тип встречается в людях пожилых; иначе не может быть по самому свойству его. Такие люди вообще пользуются у нас уважением, хотя не скроем, что из них большею частью выходят пройдохи, народ ловкий, умеющий отовсюду извлечь высший процент. В них выразилась практическая сила. Молотов был застенчив и неловок, против чего он боролся сильно; такой недостаток иногда мешал ему сходиться с людьми; потом, он образования реального не получил; но в нем все-таки были задатки типа, рекомендованного нами читателю. Очевидно, пройдохой его назвать нельзя, но, с другой стороны, трудно определить смысл его деятельности, самой разнообразной и неутомимой. Его постоянно можно видеть наблюдающим на поле, на фабрике, в городе, столярной, в мужицкой избе, на реке, в лесу; он умеет резать, точить, пилить, несколько рисует; технические занятия он всегда любил, хотя до всего приходилось ему доходить самому, потому что его не учили никакому мастерству. Загляните в его комнату: чего-чего тут нет! модели, картины, книги, экземпляры из гербарiums, инструменты разного рода, цветы, скрипка, ноты, даже ружье, которым он не умеет владеть, но положил непременно выучиться. Иногда он берется за дело, которое совсем не по его способностям. Так, он любит музыку, но сам не может быть музыкантом; однако, несмотря на то, что у него пальцы онемели над грифом и струнами, он все-таки хотел добиться своего. По большей же части все ему как-то удавалось. Это натура упругая и терпеливая, что выражалось в самой фигуре

Егора Иваныча. Многогранность и неугомонность дались ему от природы; такие качества не приобретаешь, не сделаешь, не купишь; это дар врожденный,— хотя и странно, что вся деятельность Молотова была без всякой наперед заданной мысли, без определенной цели: ему просто хотелось все знать и все сделать — вот так, как нам есть хочется; то была деятельность без принципа, потребность природы, «комплексия такая». Одно ясно, Молотов еще не определился; его натура нетронутая; мы видим в нем пока одну силу без приложения; его нельзя назвать практическим человеком; вся его деятельность есть не что иное, как любознательность, продолжение учебного курса; он в настоящую минуту скорее идеалист, только с практическими задатками для будущего. Его все занимает: и поверье старой бабы, и рецепт деревенского лекарства, и песня Варламова, и рассказы об Италии, и распада капусты, и критическая статья в журнале. Он еще не сформировался, не получил полный, законченный образ. Изредка он задумывается о роде службы, но мысль о ней как-то недолго удерживается в его голове. Она всегда заканчивалась рассуждением: «Еще успею, ведь мне всего двадцать два года».

Егор Иваныч встал поутру бодрый, свежий; купанье окончательно поставило его на ноги. Он часто в свободное время отправлялся в поход, путешествовал по лесам и полям, ездил по реке, посещал соседние деревни. Его занятия не определялись известным часом; иногда он занимался по делам помещика целые дни, почти без отдыха, ездил в город, копался в библиотеке, разбирал бумаги, ходил к приказчику, священнику, составлял ведомости; иногда же выдавалось у него много свободного времени. Сегодня он на лодке отъехал версты две с половиной и остановился у леса, где он вчера заметил одно место и хотел теперь снять с него вид. «Значит, он хорошо рисует,— спросит читатель,— когда решается снимать вид с природы?» Он не художник, однако набросать вид может, рисует только для себя; искусство приобретено им для домашнего обихода; он учился рисовать, чтобы уметь сделать картинку, и сегодня он приехал сделать картинку. Но вот та же лужайка и тот же ручей, та же группа дубов, осин и кустарника, но не тот вид,— при другом освещении он принял иную физиономию. Молотов привязал к кусту лодку и отправился по лужайке в лес. Без всякой думы и заботы гулял он, как,

бывало, мы гуляли с вами на каникулах, перепрыгивал через пни и кочки; то кричит во все горло, и эхо откликается далеко в лесу, то рассматривает какую-нибудь невиданную им траву; или вот остановился он над муравейником, без всякой жалости разрыл его и смотрит с любопытством ребенка на возню насекомых. И в самом деле, он не что иное, как большой ребенок, поучившийся и кончивший курс хорошо. При нем оставалась юность; не прошли еще те беззаботные, медовые месяцы юности, которые не во всякой жизни и бывают, о которых иной и понятия не имеет, а разве только читывал в книжках, пасторалях разных и идиллиях: это то время в жизни человека, когда он развился, взрослый совсем, а доброта и вера в людей у него не тронута, когда он еще зла не познал,— все пред ним розово и свято, и в будущем ясно. Хороши эти медовые месяцы, но большая часть людей не верит в них, говорит, что их поэты выдумали. Мы ныне рано узнаем подлость и пошлость житейскую, едва не в пеленках обличаем и протестуем, все поражено иронией и смехом сквозь слезы. Неподделен этот смех, законен, из души он идет,— но легче ль оттого? Егор Иванович еще не познал подлости и пошлости житейской. Из кабинета своего профессора, где жила наука и куда жизнь заглядывала редко, он не видел людей. Он знал своих учителей и профессоров, которые читали такие прекрасные лекции, нескольких товарищей, два-три семейства — все это были прекрасные личности; он слышал, как одни говорили хорошо, и видел, как другие жили хорошо. Откуда же ему было почерпнуть мрачный взгляд? Кто мало видел добра, тот не верит в него, тому приходится выдумывать, вычитывать добро; кто видел мало зла, тот тоже говорит о нем понаслышке, да и говорит редко, потому что нас занимает только то, что мы знаем и испытали сами. Он кончил курс четырнадцать лет тому назад. И тогда знали, что борьба неизбежна, но не знали, как она трудна. «Нас много,— думал Молотов, окидывая взором аудиторию,— и там наших много»,— думал он, вспоминая профессора-бабушку, его ученых гостей и нескольких добрых знакомых. Не думалось ему тогда: «Нас много, а там, за порогом университета и кабинета ученого, бесконечно больше; нас тысяча, там тьма...» Вот он и вышел в свет большим ребенком, и стоит теперь он над муравейником и ослабляется весело. Правда, он слышал, что в чужих людях, даже

добрых, жизнь не всегда весела, «но что же они могут мне сделать? — думал он.— Денег не отдадут? сделают какую-нибудь несправедливость?.. велика важность!.. в один день можно собраться и уйти». И эти мысли посетили его на время, когда он собирался из столицы к помещику; но, проживши немного времени в деревне, он и Обросимова и семью его причислил к тем «многим», к которым он сам принадлежал. Что же может смущать его? И вот он кричит на весь лес, и весел, и спокоен, и живется ему, без сомнения, просто и легко.

Егор Иваиыч вышел на лужайку и на ней увидел две небольшие могилки. Это заняло его. «Кто бы тут похоронен был? — думал он.— Как странно — в лесу!» Оглянувшись кругом, он увидел, что его отовсюду окружает лес. Недолго думая, он влез на самое большое дерево и отсюда рассмотрел дорогу. Он вышел на дорогу и, заслышав бабьи голоса, пошел на них. Показались три бабы. Старшая тараторила что-то. Молотов обратился к старшей.

— Тетушка! — крикнул он.

Бабы оглянулись, отвесили по низкому поклону, в полспины, как обыкновенно делают деревенские простолюдины, встречая всякого одетого по-барски.

— Чего тебе, батюшка? — спросила старшая.

— Не знаешь ли, тетушка, чьи там могилки?

— Где это, барин, могилки?

— Вот тут и есть, у реки, на лужайке.

— А! — вскрикнула баба.— Есть могилки, есть... это Мироновы детки... двое померло...

— Отчего же они там похоронены?

— Кто... детки-то? а некрещены померли.

Она подняла глаза к небу, вздохнула и, сказавши: «Господи помилуй, господи помилуй», понурила голову. Но вдруг лицо ее оживилось, и она заговорила:

— Известно, некрещеное дитя да померло — это все одно что дерево... Где ни закопай, все равно... В нем и духу нет... это уж такой человек... без духу он родится... пар в нем... Этаконького и не окрестишь, так и помрет... бог не попустит, нет...

— Откуда ж ты взяла, что в некрещеном духу нет? — спросил Молотов.

— А чего ж христианское дитя да без крещения по-

мирает? разве можно? — не можно... Иной и вовсе мертвенькой родится... у этого и пару нет... Некрещеное дитя, так, знать, и родится не святое дитя.

Баба развела руками и замолчала. Подивился Молотов бабьему смыслу.

— Прощай, тетушка, спасибо,— сказал он.

— Прощай, батюшка.

Еще более подивился Молотов бабьему смыслу, когда после оказалось, что поверье о некрещеных детях у бабы было чисто личное, что оно в деревне никому не известно. Ему попалась баба-поэт, баба-мистик. Может быть, ей самой до сих пор не приходилось объяснять себе непонятную для нее судьбу некоторых детей, и вот, лишь только пришел ей в голову вопрос о детях, она, не желая оставаться долго в недоумении, сразу при помощи своего вдохновения миновала все противоречия и мгновенно создала миф. И очень может быть, что этот миф перейдет к ее детям, внукам, переползет в другие семьи, к соседям и знакомым, и чрез тридцать — сорок лет явится новое местное поверье, и догадайтесь потом, откуда оно пошло. Не одна старина запасает предрассудки, они еще и ныне создаются. Удивительно то чувство, с которым простолудин относится к природе: оно непосредственно и создает миф мгновенно.

Легкая грусть напала на Молотова. Он задумался и пошел медленно назад... Неужели судьба детей опечалила его?.. Но, во всяком случае, то была приятная грусть, которую жаль согнать с души. Он вздохнул, лег на траву и долго задумчиво смотрел на небо, голубое-голубое, как детские голубые глаза. Он следил за полетом золотистых облачков, которые тянулись по небу. Неужели он думал: «Куда это бегут облака?» — ведь это ребячество. Улыбнулся он задумчиво... Но вдруг раздался треск сухого дерева. Молотов не мог понять причину звука, встал на ноги и осмотрелся кругом. Потом пошел отыскивать лодку; пора было домой. Когда он на возвратном пути проезжал мимо Иллчовки, то увидел, как девушка какая-то в белом кисейном платье порхнула между кустами и быстро скрылась. «Кажется, Елена Ильинишна», — подумал Молотов. Ему вспомнился вчерашний разговор... «Что это, в самом деле, за девушка? — думал он. — Не знаю я их. Только, кажется, Лизавета Аркадьевна ошиблась». Егора Иваныча недолго занимал этот вопрос. Он вдруг

инлег на весла и стал работать ими что есть силы. Лодка полетела быстро, вода шла вьюром от весел и щелкала в бока. Молотов вернулся домой к обеду.

После обеда в комнату Егора Иваныча вошел Обросимов.

— Как ваши занятия идут? — спросил он.

— С библиотекою кончил,— отвечал Егор Иваныч.

— Совсем ныне отстал от учебного дела,— говорил Обросимов.— Вот уже лет десять, как у меня так и валят книги и журналы без всякого порядка... Не нашли ли еще чего-нибудь интересного?

— Нет, Аркадий Иваныч, не нашел...

Надо заметить, что Молотову удалось отыскать между разным хламом дневник, веденный дедом Обросимова.

— Там еще на чердаке есть шкаф с книгами, да по чуланам и подвалам надобно посмотреть; я уверен, что есть там кое-какие клочки.

— Я посмотрю,— отвечал Молотов.

— Вы, пожалуйста, Егор Иваныч, очень не беспокойтесь, не торопитесь; ведь дело не к спеху... Теперь гулять надобно.

— Какой у вас прекрасный лес, Аркадий Иваныч; я сегодня гулял в нем...

— Здесь прежде были заповедные леса с непроходимыми чащами, медведями и разбойниками... Что дубу одного было!.. теперь совсем не то, что прежде.

Но Молотов заметил, что у Обросимова есть что-то на уме, что он не договаривает.

— Вот нам и гулять некогда,— говорил Обросимов,— забот полны руки, посевы, по фабрике работы... да что, совсем закружился... книги давно не держал в руках... Хотел отыскать одну статейку в газетах... крайне необходимо... до сих пор не мог собраться...

— Не угодно ли, Аркадий Иваныч, я отыщу?

— Ведь листов двести придется перебрать.

— Помилуйте, у меня много свободного времени...

— Очень благодарен вам...

— Позвольте узнать заглавие статьи?

— Кажется, о компосте... только знаю, что об удобрении. Видите, вам немало будет работы, я даже и заглавия подлинного не помню.

— Я подобные заглавия все выпишу...

— Благодарю вас... Э, да что это у вас? — спросил Обросимов, переменяя разговор.— Никак тут вся усадьба старосты Мирона?

Дело в том, что Молотов давно уже ходил в крестьянскую избу, вникал в ее постройку, материалы, службы ее, считал бревна, доски и жерди и потом сделал модель избы точь-в-точь, со всеми ее подробностями...

— Подождите, я и до фабрики доберусь,— отвечал Молотов.

— Она к вашим услугам... Однако у вас врожденный талант...

Молотов показал ему еще разные вещицы своего изделия. В это время вошла в комнату Лизавета Аркадьевна.

— Егор Иваныч, я к вам с маленькой просьбой,— сказала она.

Молотов поклонился.

— Вы будете так добры, что перепишите мне вот эти ноты.

— Позвольте узнать, что это?

— Песни Варламова.

— Я и себе спишу...

— Благодарю вас. Впрочем, может быть...

— О, пожалуйста, не стесняйтесь...

Когда Молотов остался один, он подумал: «Вот какой ведь деликатный человек этот Обросимов... Право, преблагородно с его стороны, что он так просто обращается ко мне с просьбами своими». После обеда Егор Иваныч занялся отысканием статьи... Но статья не попадалась сразу.

Часу в пятом Володя вбежал в комнату Егора Иваныча.

— Что вам угодно? — спросил его Молотов.

— Письмо к вам,— отвечал Володя...

— Не Андрей ли пишет? — проговорил Егор Иваныч.

Он хотел посмотреть на адрес, но, к удивлению своему, адреса не нашел. «Не от него же»,— подумал он и сломал печать. Краска бросилась в лицо Егора Иваныча, когда он прочитал письмо.

— Кто принес письмо?

— Мальчик какой-то.

Где он?

Он ушел... Нет, но если вам очень нужен, папа велит отыскать его...

Нет, Володенька, не нужно...

— Вы, Егор Иваныч, хотели мне змея сделать...

Сделаю, Володенька, а теперь позвольте мне остаться одному.

• Володя ушел. Егор Иваныч прочел еще раз письмо. Заметно было, что он сильно взволнован и озадачен. Он ничего подобного не читал во всю жизнь свою. Вот письмо:

«Егор Иваныч!

У вас есть чувство, и вы завтра в 6 часов придете на реку к мельнице вечером и здесь встретите даму, и если любите, узнаете ее, и если нет, я останусь по гроб верная вам и любящая».

Письмо безымянное; оно как холодной водой обдало Молотова. «Что это такое? — думал он. — Кто эта по гроб верная и любящая?» По соседству немало было девиц, которых он знал, но все они очень мало знакомы ему. «Разве Елена Ильинишна? — пришло ему в голову. — Да нет, не может быть, с какой стати? Не сделает она этого...» Молотову невероятным казалось, чтобы какая бы то ни было девица решилась сама назначить свидание мужчине, и потому он подумал, не написал ли кто-нибудь письма нарочно, для мистификации. Но рука была женская, и притом некому над ним шутить. Он терялся в недоумении. «Как же это можно?» — говорил он и перечитывал письмо. Письмо не давало ответа. Интрига не представлялась ему в привлекательном виде; он не привык к интимностям подобного рода; самая форма дела казалась ему так эксцентрична; он отчасти трусил, отчасти ему просто было стыдно. Егор Иваныч был крайне неопытен. До сих пор он еще не целовал ни одной женщины и теперь спрашивал себя: «Как тут быть? Андрей все бы это разъяснил, он знает. Нужно идти или нет? Что из всего этого выйдет?» Ему нужен был авторитет, учитель, книга, которая пояснила бы непонятный случай. Но прошло несколько времени, он — будь Андрей подле него — пожалуй, и не сказал бы о письме своему другу. Этот случай, представлявшийся ему в таком неблагоприятном свете, мало-помалу получал иные оттенки. Его любопыт-

ство было раздражено, и хотя литературные достоинства письма охлаждали его, но слово «любящая», первый раз в жизни коснувшись его уха, действовало на него волшебным образом... Он начинал увлекаться; но, вглядываясь в буквы, изображенные амуром приволжским, он ощущал какую-то притворность в сердце, и вдруг с чего-то припоминалась ему одна актриса в сюртучке и панталонах, игравшая роль молодого мужчины на Александринском театре. Странная смесь и борение чувств поднимались в душе Молотова при этом интимно-комическом случае. Воображение его не может оторваться от письма, и вот, помимо всей любовной дряни, оно создает какой-то прекрасный образ, и не один, а несколько — и все они льнут к нему, толпятся в воздухе, летают, ласкают его; но лишь только появляется среди них «по гроб верная и любящая», пропадают все грациозные образы. «Что же это будет?» — говорит Молотов вслух. Он берется за газеты, чтобы отыскать статью о компосте или каком-нибудь другом удобрении, но между газетными строками укладываются другие строки и мешают изысканиям. Стал что-то строгать, обрезал палец. Тогда он бросил все, и резьбу и компост. Он пошел в сад, из сада вышел бессознательно на улицу, спустился под гору и очутился у реки. «Зачем меня сюда занесло?» — спросил себя Молотов, а сам как будто хотел угадать, кто завтра придет на это место. Он вернулся домой, разбирая со всех сторон интимно-комический факт, предъявленный ему амуром приволжским. Молотов увлекался.

Пили чай на балконе. Был прекрасный вечер. Теперь наступили постоянные погоды.

— Садитесь поближе, — сказала хозяйка.

Егор Иваныч недослышал. Он сидел, облокотившись на перила, и смотрел на реку...

— Егор Иваныч, поближе садитесь, — повторила хозяйка.

Молотов подвинулся и взял стакан. В улице там и сям выезжали крестьяне с боронами. Опять, как и вчера, повалило стадо. Как и вчера, тишь и благодать в воздухе. Но все то же, да не то: и в пении птиц, и в ворчанье самовара, и в легком плеске реки, и в воздухе, и в отдаленных голосах для Егора Иваныча пронеслось какое-то новое движение, как будто с души его поднялось что-то и вместе с вечерними тенями покрыло и реку,

и сад, и кладбище. К Молотову обратились с вопросом. Он не к делу ответил:

— Не знаю, хорошо ли.

— О чем вы говорите? — спросили его.

— О нотах.

Все засмеялись.

— Что это с вами, Егор Иваныч? — сказала Лизавета Аркадьевна, — о чем вы думаете?

Егор Иваныч покраснел.

— Уж не влюбились ли вы? — спросила она, причем отец посмотрел на нее сердито.

— Пожалуй, вы и угадали, — ответил довольно храбро Молотов, — только я и сам не знаю, в кого.

— Это прекрасно; в незнакомку, значит?

— И незнакомки нет...

— Так не в портрет ли чей-нибудь?

— И портрета нет...

— Что ж, вы выдумали, что ли, какую красавицу и теперь видите ее в воздухе? Но вы, кажется, такой солидный человек, мечтой не увлечетесь...

Отец переменял предмет разговора. Егор Иваныч воспользовался первой удобной минутой и оставил общество. Егору Иванычу было не до смеху. Письмо сбило его с толку, настроило его на странные душевные движения и породило фантастическую ночь. Долго он не мог заснуть в тот день; ему было жарко под одеялом. Молотов раскрыл окно и сел к нему в одной рубашке. Никакого голоса не было в природе. Туманы поднимались с реки Молотова жгло что-то, голова его горяча, нервы раздражены, и понять он не может, что с ним делается. Влюбился он, что ли? Да в кого же влюбился?.. в фантазию?.. в воздух?.. в письмо?.. О, молодые, горячие, полные жизненности годы!.. Боже мой, какие мечты поднимались в его голове, какие образы видел он в воздухе, какие грациозные, прекрасные тени выходили из тумана и плыли над рекою, а с кладбища, из лесу и с гор выглядывали безобразные дивы!.. Носятся грациозные тени, бесплотные образы, поют, манят его к себе, он видит, чувствует их. Но вот будто плачет кто-то... Рыдание слышно... слезы льются сердце сжимается от тоски... душно в приволжском воздухе.. среди образов появился новый. Отчего Молотову думается, что это «по гроб верная и любящая»? Чего она плачет, а вот теперь смеется?.. Зачем светлые тени побежали прочь, тонут, тонут и пропадают в воздухе?.. Волк взвыл —

сова откликнулась. Пусто в воздухе и глухо во всей природе. Жарко... Долго маялся Егор Иваныч. Когда он заснул наконец, то и во сне грезы тревожили его молодую душу... Странны молодые люди, и нам, старикам (проговорился автор), трудно понимать игру горячей жизни. Так что же?.. не хотим и понимать; а требуют ответа, мы скажем, что все эти волнения — не что иное, как химические процессы в организме молодого человека.

С утренними лучами солнца ночные фантазии и бредни, получившие под конец мрачный оттенок, явились в более светлом виде. Взгляд на письмо переменялся. Егор Иваныч прочитал письмо много раз, так что пригляделся к нему. По этой ли причине или по какой другой, только ему не приходили в ум мужские панталоны на актрисе и тому подобные разрушающие иллюзию атрибуты. Он уже примирился и с эксцентричностью письма и его литературными достоинствами; в письме было что-то заветное для него; гордость его затронута доверием незнакомой женщины. Читатель, вероятно, догадался, что письмо писала Леночка, иначе зачем автору было выводить ее на первых страницах; но Молотов не догадывался. Он представлял себе какую-то другую девушку, и после ночи мечтаний и фантастических образов, после многих дум и волнений он точно знаком был с нею, хотя и не сказал бы, каков ее рост, цвет волос, глаза, походка. Это был образ туманный и неясный, сформировавшийся из тысячи прежде нажитых впечатлений. Ему казалось, что и прежде он видел его где-то, и почему-то припоминалась ему семья Дороговых. Егор Иваныч вглядывался в этот образ и, помимо здравого смысла, не то чтобы верил, что у реки встретит именно того, кого он выдумал, — нет; но молодость, свежие годы, непотраченное чувство предъявляли свои права, и он любил кого-то, кто-то ему дорог был. И вот письмо стало ему заветным уже потому, что оно могло так возмутить его душу. Он ни за что и никому не показал бы его.

Егор Иваныч нетерпеливо ждал означенного часа. Поиски компоста по газетам или какого другого удобрения были неуспешны. Ноты он переписал, увидел, что наврал, и опять стал переписывать. Ожидаемый час крался еле ползущими минутами. Когда наступило время и Егор Иваныч отправился на место свидания, сердце его билось тревожно; он был возбужден, он трусил. Под горой ему встретилась баба и низко-низко поклонилась;

Молотов отвечал на поклон со смущением и проводил бабу глазами до тех пор, пока она не скрылась из виду. Он шел все медленнее и медленнее. Приближаясь к мельнице, он увидел женщину в белом кисейном платье, обивавшую концом зонтика цветы. Он рассматривал Лениochку. «Как некстати», — подумал Молотов, и — вот туманный образ воплотился, форму принял. Чего же смущается Егор Иванович? Или он не к тому приготовлен?

— Здравствуйте, Елена Ильинишна, — сказал он.

— Здравствуйте, — ответила Лениochка, стыдливо опустив глаза.

«Она!» — подумал Егор Иванович и кончил тем, что растерялся. «Елена Ильинишна? — вертелось в его голове, — тут несообразность какая-то, противоречие». Он, оглядываясь по сторонам, все еще не терял надежду увидеть другую женщину. Новое для него положение — свидание с девицей, которой он не ожидал, поставило его в тупик... Она молчала, он тоже. Прошли несколько шагов по берегу. Егор Иванович взглянул на спутницу искоса. Она вздохнула. Молотов чувствовал, что он должен сказать что-нибудь, но не было у него ни одного звука, ничего в голову не шло; он не знал, куда девать свои большие ладони. Он придумывал какое-нибудь слово, был бы рад самой пошлой фразе, а в голове только и было: «Черт же знает, что это я... ведь нехорошо...» Он решил, что напрасно трудится, что ничего не придумает, и махнул рукой: «Пусть себе!.. чем-нибудь да кончится!.. погубила меня проклятая застенчивость!» А Лениochка идет, опустивши длинные, прекрасные ресницы. Наконец она сказала:

— Вы очень скоро идете.

— Виноват, — ответил Егор Иванович...

— Какая сегодня прекрасная погода, — сказала Лениochка.

«Нашла же она что сказать!» — подумал Молотов. Но надобно отдать честь и ему. Он поддержал разговор:

— Да, хорошая стоит погода, — и тотчас сделал еще такие слова: — давно уж стоит такая... дождей совсем мало... отличное наступило время.

Молчание «Нет, — думал Молотов, — я обязан говорить».

— Вы любите природу? — спросил он, а сам про себя подумал: «Однако это с какой стати? Ведь это очень глупо!»

— Люблю.

— Я третьего дня просидел до рассвету,— продолжал Молотов и опять подумал: «Ну, это еще хуже». У него так и шло два разговора — один с Леночкой, другой про себя, как это всегда бывает у застенчивых людей.

— Такой был прекрасный вечер,— прибавил он. «Нет, стоило б меня хорошенько!» — рассуждал он.

Но вот Леночка совершенно оправилась, взглянула открыто и сказала:

— Я сама люблю вечером гулять... Я всегда почти гуляю. Особенно *смерть* люблю воду... У нас всегда речка перед глазами, и я привыкла к ней... Я люблю удить, только червяков гадко брать в руки... впрочем, теперь ничего... привыкла... Вы знаете иву? вон там,— показала рукой Леночка.

— Знаю,— ответил Молотов и вздохнул свободно, потому что надеялся, что Леночка не скоро остановится.

— Там очень хорошо клюет... Там я в третьем году вот какого язя поймала. (Она показала руками.) У нас дяденька гостил. Он очень хороших аглицких крючков привез.

— А мамаша не боится, что вы утонете? — «Очень прилично сказано»,— одобрил себя Егор Иваныч.

— Ах, нет; мамаша мне все позволяет. А вы любите удить?

— Никогда не удил, хочу попробовать. Скажите, в чем тут удовольствие?

— Ах, как же, очень весело!

«Дело очень прилично идет,— думал Молотов.— Впрочем, какая она странная, как будто ни в чем не бывало, а я-то?..»

— Очень весело! — повторила Леночка...

Она стала, как бабочка, порхать с предмета на предмет. О письме ни полслова. Оно-то сильно и беспокоило Молотова. «Неужели не намекнет? Что же я тогда стану делать? Однако нельзя сказать, чтобы она была неспособна к решительному шагу... Но что же это за девушка?»

Леночка болтала, прыгала, как козочка; а право, она была премиленькая козочка — гибкая, стройная, черноглазая. Стали они спускаться с берега реки. У мельницы над водой росла береза; под березой была скамейка...

— Сядемте здесь,— предложила Леночка.

Сели. Молотов подумал: «Сейчас намекнет». Он вздохнул.

- О чем вы, Егор Иванович, вздохнули?
- Так...
- Так никогда не бывает: вы вспомнили кого-нибудь?
- Нет, мне некого вспоминать...
- У вас есть родственники?
- Ни души, Елена Ильиншна...
- Никого?
- Решительно никого. У меня и знакомых очень мало. Я мало кого знаю...
- А друг у вас есть?..
- Есть.
- Хороший?
- Прекрасный человек.
- Как весело иметь друга,— сказала Леночка и задумалась.

«Сейчас о письме намекает,— подумал Молотов.— Что ж? я скажу ей деликатно...» Дальше мысль не шла. Что он хотел сказать ей деликатно?.. «Все-таки это обидит ее»,— закончил он прерванную мысль. Но напрасно он испугался. Слова: «Как весело иметь друга» — были сказаны без задней мысли, так, по ходу речи... Странно было смотреть на молодых людей. Леночка не менее Молотова боялась разговора о письме. Она лишь только увидела Егора Ивановича, ей страшно стало за свой легкомысленный поступок, который она, кажется, сделала так, спроста, по-птичьи... Любила ли она Молотова? Она не первый раз его видела; он говорит иногда так хорошо, хотя когда он говорит-то хорошо, тогда она его и понимает меньше; он такой добрый; он ей нравится, но предположить в ней серьезное чувство едва ли возможно. Письмо ее было одною из тех эксцентрических выходок, на которые способны иногда наши деревенские барышни и обитательницы Песков, Коломны, Петербургской стороны и других поэтических мест. Они не сробеют, напишут, хотя не думаем, что они по нравственности ниже тех, которые сробеют и не напишут. После они иногда и каются, но уже дело сделано. Так и Леночка теперь сама поняла, что следовало бы надрать ей хорошенькое ее ушко. Когда она увидела Молотова, ей страшно стало и прежде всего пришло в голову: «Боже мой, что я наделала? Что, если он возьмет да и прочитает всем мое письмо? Пропала я!.. Лиза Варакова, Таня Песоцкая, Саша Нечаева... все, все ему знакомы!.. ай, маменька узнает!» Она чуть не плакала и в первую минуту едва

не сказала: «Егор Иваныч, не говорите мамаше... я больше не буду». Но увидев, что Молотов едва ли не больше ее струсил, она сказала себе: «Он не страшный, он такой добрый» и рада была, что Молотов не говорит ничего о письме. Теперь она была спокойна...

Егор Иваныч наклонился и сорвал цветок.

— Дайте мне цветок,— сказала Леночка.

— Извольте.

— Это мне на память.

— Разве нельзя помнить без цветка?

Молотов сорвал другой цветок. Леночка опять:

— Дайте мне цветок.

— И этот на память?

— Дайте же,— сказала Леночка строго, вырвала неожиданно цветок и ударила им по руке Молотова.

Все это сделалось как-то уж очень наивно. Оба засмеялись. Оба были довольны, что о письме и намека нет. Леночка наклонилась и стала водить зонтиком по земле. С плеча ее скатилась мантилья, ветер шелестил кисейным рукавом; обнажилось белое плечо, на котором, как муха, сидело родимое пятнышко; ротик ее полуоткрыт; вся она замерла и затихла, как птица на ветке. Молотов и не заметил, как залюбовался ею. В это время Леночка взглянула на него. Он покраснел.

— Что это, Егор Иваныч, вы все молчите?

Молотов вынул часы, посмотрел на них и объявил, что ему пора домой. На желание Леночки посидеть он сказал, что у него есть дело.

— Жаль,— отвечала Леночка.— Посмотрите, какой хороший вечер. Ну, пойдете.

Они поднялись на берег. Молотов проводил ее несколько. Расставшись, она еще раз крикнула:

— Прощайте!

— Прощайте! — ответил Молотов...

Никакого дела у Егора Иваныча не было. Он просто струсил, когда Леночка заметила его взгляд. «Глупо, глупо,— твердил он,— надо бы узнать!.. Чего я струсил?.. Разве первый раз взглянул я на нее?» Он вспомнил, что и прежде встречались их взгляды. «Но тогда другое дело,— прибавил он,— не те были отношения».

Что же вынес Егор Иваныч из сегодняшнего события? Ничего определенного. Он только уверился, что письмо написала Леночка, и ему казалось, что рассеялись его грезы и иллюзии. Но что такое Леночка? что

это за девица? какие должны быть отношения к ней? зачем сходились они там у мельницы? как это так ничего не объяснилось? — всего этого он не понимал. «Неловко же мне было спросить ее, — думал он. — Впрочем, нельзя сказать, что она неспособна к решительному шагу... Но неужели она любит? Разве так любят, как она?.. А я тут что такое?..» Множество вопросов роилось в голове Молотова. Страннее всего со стороны Егора Ивановича спрашивать: «Разве так любят, как она?» В книжке, что ли, он вычитал, или Андрей ему сказал, что любят не так? И почему он знает, как она должна любить? Любовь — это такая книжка, которую всякий сам сочиняет и автор которой всегда оригинален. У него точно была какая-то скрытая мысль, в которой он не хочет сознаться, но которая сама собою слышится за всеми вопросами. Он стал прислушиваться к душе своей и чувствовал в ней тревогу и беспокойство; что-то ходило в нем, дышал он сильнее, сердце его сжималось и расширялось. Он сказал: «Вот теперь самому совестно за нелепую, непростительную застенчивость, из-за которой все дело осталось неразъясненным. Ведь она бог знает что подумает!» Он вспомнил, что такую же тревогу совести ему случилось ощущать и прежде. Такие же были в душе движения, когда он после ссоры увидел своего друга и, не смея глядеть ему прямо в глаза, сказал: «Полно злиться!» Когда он убедился, что это его совесть мучит, ему стало немного легче; но он долго еще обсуживал интимно-комический факт, предъявленный амуром приволжским, припоминая все мельчайшие штрихи события. Засыпая, он вспомнил, как скатилась мантилья с плеча Леночки, и прошептал с раскаянием: «Стыдно, стыдно!.. ты не должен был оставить дело в таком положении». На другой день Молотов отыскал статью о компосте и ноты переписал. С этого дня начались усиленные занятия по делам Обросимова...

Время летело быстро. Егор Иванович и не заметил, как прошли две недели. Он постоянно был занят, работал без устали, составлял ведомости, рылся на чердаках в книжном хламе, учился с Володей; кроме того, к нему было несколько особых просьб, которые он охотно и исполнил. Помещик иногда зайдет к нему, спросит, как идут его занятия, скажет, что вот такую-то статью не

худо бы окончить, посоветуется с Егором Ивановичем и всегда прибавит:

— Много, много дела, Егор Иванович, совсем сбился с толку... А вы-то что ж не гуляете?

— Нет, я гуляю,— ответит Молотов, только прибавит, что вот такую-то статью ему хочется поскорее кончить.

В воскресенье Обросимовы, и вместе с ними Егор Иванович, собрались к Аграфене Митревне Илличевой. Она была женщина толстая, сырая, находившаяся в строгом, праотческом законе у покойника мужа и потому немного поглупевшая. Аграфена Митревна рада была видеть в гостях богатого соседа и подняла тяжелую возню на весь дом. Скоро завязалась общая беседа, говорили о погоде, о посевах и всходах, о деревенских новостях. Немного спустя Лизавета Аркадьевна села на своего конька, то есть Жорж-Занда, и поехала на нем. Егор Иванович слушал невнимательно; Обросимов морщился и посматривал неприветливо на дочь, чего, впрочем, никто не замечал; Леночка половинку не понимала; мать ничего не понимала и тяжело дышала.

— Про какую вы это эманципацию говорите? — спросила Леночка. — Ученое что-нибудь?

— Вы не знаете, что такое эманципация? — спросила снисходительно вдова.

— Не знаю, расскажите о ней что-нибудь...

— Видите ли, ныне многие стремятся восстановить права женщины, дать ей воспитание полное, как и мужчине, свободу в выборе мужа, в выборе занятий, участие не только в семейной, но и гражданской жизни, личную независимость; хотят восстановить права женщины, которые не должны быть меньше прав мужчины. Понимаете, это и называется эманципациею.

Вдова говорила, как читала. Отец с беспокойством думал: «О чем говорит с девишкой!.. совсем без такта... это у нас не принято». Леночка задумалась.

— Нет, не понимаю,— ответила Леночка простодушно. — Что это такое, например, значит — свобода в выборе мужа?

Отец с беспокойством повернулся на стуле.

— Очень просто,— говорила вдова поучительным тоном, забывая слова свои, что Леночка не способна к развитию,— очень просто: женщина выбирает мужа себе

сама, как мужчина ее выбирает, и тут нет дела ни родственникам, никому. Она сама за себя отвечает...

— Этак иная бог знает кого выберет...

— Уж то ее дело.

— Этого не бывает никогда...

— Да, редко бывает...

— Так, значит, и нет никакой эманципации на свете; это, значит, ученость...

— Что ученость?

— Да вот эманципация... Ведь этого нет, и никто не позволит девице самой выбирать жениха; ну, значит, и неправду вы сказали.

— Bravo, крестница, bravo! — подхватил Обросимов.

Молотову занимательно было следить за этим забавным спором между двумя женщинами, из которых одна, очевидно, малоразвитая женщина, но от души говорила и верила тому, что говорила; а другая, образованная дама, ломалась, говорила свысока, и сомнительно, чтобы говорила с убеждением...

— Я никогда не понимала учености, — сказала Леночка.

Лизавета Аркадьевна с комическим участием спросила ее:

— Что же вас вооружило против учености?

— Это самая скучная вещь. Стихи я люблю, и то чтоб хорошие были. Я много знаю стихов.

— Какого же поэта больше вы читаете?

— А вот у Лизы Вараковой я недавно достала стишки Пушкина.

— Какие?

— Хотите, прочитаю.

Лизавета Аркадьевна изъявила желание. Леночка сказала: «слушайте» и стала читать: «Как пошел наш воевода вдоль по Клязьме погулять».

«Эх, бедняжка, — подумал Обросимов, — теперь поднимут ее на смех».

— Хорошо? — спросила Леночка, когда кончила чтение.

— Это не Пушкина стихи, — сказала вдова.

— Пушкина, Лизавета Аркадьевна, Пушкина. Мне Лиза Варакова говорила: она уж знает... Ах, вот Лиза Варакова ученость любит! Как начнет говорить: «Жизнь моя стремится... родник души... идеалы...» — просто смех!

— А вот вы читали, Елена Ильинишна, — сказала вдово-

ва: — что пляшут сам-друг мужик с бабою и они счастливей воеводы,— это правда?

Леночка задумалась.

— Как же можно, чтобы правда? ведь это стихи! — отвечала она.

Лизавета Аркадьевна засмеялась.

— Так и стихи лгут, как ученость?

— Ах, какие вы, Лизавета Аркадьевна! Зато это стихи, а то ученость. Неужели вы не понимаете? Смотрите, как хорошо выходит: «В минуту жизни трудную, теснится ль в сердце грусть...» — Она прочитала эти стихи с увлечением...

— Это худо? — сказала она. — Я много стихов знаю...

— Это прекрасные стихи,— ответила Лизавета Аркадьевна и потом перешла опять в область разных размышлений. Леночке стало скучно от «учености», и, воспользовавшись первым удобным случаем, она напомнила Егору Иванычу, что он хотел посмотреть ее козу и голубей.

Леночка показала свою любимую козу с голубой лентой на шее, голубей, свои куртины. Потом стали гулять по саду. Молотов не чувствовал особенного стеснения. Он быстро развивался.

— Ведь я правду говорила? — спросила Леночка.

— По крайней мере вы говорили то, что думали, чему верите.

— А она?

— Не знаю, верит ли она тому, что говорит.

— Так зачем же она и говорила?

— Хотела порисоваться.

— То есть хвасталась? Да ведь она не про себя говорила, а так... рассуждала...

— Это тоже хвастовство...

— Как же так?.. и не верила?.. ай, как это смешно!..

Леночка, по наивности своей, не знала, что можно вычитать какую-нибудь хорошую мысль; вычитавши, запомнить ее хорошенько и для того даже на бумажку записать, со всеми красивыми оборотами, и потом сделать из мысли игрушку. Обыкновенное лганье она понимала, но этого не могла себе представить. Ей на минуту пришла в голову Варакова Лиза: «Не так ли, как та?», но нет, у той, бедняжки, действительно «жизнь стремилась» из «родника души» и тому подобное, а эта не верит и гово-

рит; притом правду говорит и не верит. «Ведь смешно выходит»,— подумала Леночка.

— Этого не бывает,— сказала она.

— Бывает, Елена Ильинишна...

— Зачем же она говорит?

— Чтобы сказали: вот какая она умная женщина...

— Будто умными называют тех, кто так говорит?

— Да.

— За что же?

— Все умные люди проповедуют то же самое...

— Так правда и то, что она о женихах рассказывала?

— Правда,— отвечал Молотов, невольно улыбаясь...

— Когда же это сделают? скоро?

— Об этом толкуют пока да пишут...

— Ну, и что же?

— Больше ничего, Елена Ильинишна.

Леночка засмеялась и вдруг побежала, крикнувши: «Нагоните!»

Егор Иванович сразу поймал ее.

— Нет, снова; дайте мне уйти сначала.

— Ну-с.

Молотов опять поймал ее. Он заметно скоро развивался.

— Вы очень скоро бегаєте... Хотите, я запрячусь? Отыщите меня.

Молотов согласился. Он ушел в беседку.

— Пора! — закричала Леночка.

Он прямо пошел на голос и отыскал Леночку в густых кустах жимолости.

— Сразу нашли... теперь вы прячьтесь.

Он спрятался.

— Пора! — крикнул Молотов.

Леночка тоже пошла на голос, нагибалась под кусты, посмотрела за дерновым диваном.

— Пора! — раздалось совсем с другого конца сада.

— А!... вы перепрыгнули... подождите же!..

Молотов сидел в кусту. Он вдруг почувствовал прикосновение к шее нежной, мягкой руки; он схватил руку и крепко сжал ее в своей большой руке... Леночка хохотала.

— Довольно прятаться... Давайте гулять... Хотите, я еще прочитаю стихи?

— Хочу.

— Пойдемте туда.

Они пошли к забору в тополевою аллею. Аллея разрослась густо, и солнце пробиралось между листьями на черную, прораставшую травой дорожку белыми пятнами. С боков дорожки кустами росла малина, сирень, жимолость, между ними огромная крапива и какая-то жирная трава поднималась от земли. Пела пенка, маленькая желтая птичка, бойкая и шаловливая на свободе и не могущая трех дней прожить в клетке: сейчас стоскуется, наохлится и умрет. Еще меньшая птичка, гвоздок, порхала по кустам; москочки, чижи, пухляки, зяблы — всевозможная мелочь лесная и садовая — надували свои горла и издавали разнообразные пiski. Наверху стрижи визжат, воробей туда же путается со своим дрянным голосом... В самой глуши сада стоял дерновый диван, по бокам в черных плешах и с густой, сочной травой на середине. Над диваном полубеседка, оплетенная хмелем. Тысячи мелких звуков, производимых насекомыми, составляли аккомпанемент птичьему хору, какого не создаст ни один художник в мире. Сверчок барабанит, оса жужжит густо, кузнечик отколачивает металлические звуки, тонкой иглой вставил комар свой голос, а наверху с визгом несутся стрижи, а еще выше небо голубое, беспредельное, океан лазури и благодати божьей. Голосистый бабий крик слышен издалика. В воздухе аромат и песня.

— Сядемте,— сказала Леночка.— Ну, слушайте: «Кончен, кончен дальней путь, вижу край родимый».— Она долго читала стихи. Молотов не ее слушал, а другую песню, которая совершалась в природе.

— Хорошо? — спросила Леночка.

— Очень хорошо,— отвечал Молотов.

Леночка смолкла.

«Нет, вот что хорошо,— думал Молотов,— сидеть в такое время в беседке, оплетенной хмелем, да еще хорошо, когда тут же сидит какая-нибудь девушка: все одно, любит она вас или не любит, лишь бы кротко было выражение лица ее, лишь бы она не хохотала в это время и не сентиментальничала, а сидела бы молча и смиренно».

Лицо Леночки было именно кроткое и спокойное. Она уgomонилась и сидела теперь сложа руки, не шевелясь, забыла «стихи» и «ученость». Закутавшись в мантилью, она уселась так удобно и ловко, что ей жаль было потерять положение головы, рук, стана, пошевелить ногою,— приутилась, как котенок на солнце, как дитя, которое,

положив головку на руку, долго о чем-то задумается.

Но вот в душе ее непременно промелькнуло что-нибудь... Лоб ее наморщился, черные брови сошлись вместе, глаза посмотрели как-то нехорошо, и малиновые, как вишни, губки сжались, хорошенькое личико сделалось совсем нехорошо. Она отбросила мантилью, ее локти сверкнули на солнце, и раскрылась красивая шейка.

— Пойдемте, Егор Иваныч, на реку.

— Пойдемте,— согласился Молотов, неохотно оставляя диван.

Они отправились на реку. Пришли.

— Нет, здесь страшно, всякий год тонут; пойдемте вон туда, на горку.

Пришли на горку:

— Нет, опять пойдемте в сад; я устала.

«Что это с нею?» — подумал Молотов.

Когда они пришли и уселись под хмелем, Леночка совсем переменилась: скучная такая, усталая, а в хорошенькие черненькие, как угольки, глазки, опущенные вниз, просто не смотрел бы: так там нехорошо, точно зависть оттуда выглядывает. Брови еще ближе сошлись; нижняя губка выдвинулась вперед. Смотрит Егор Иваныч и недоумевает. Вздохнула Леночка так глубоко, так серьезно. «Боже мой, что же это с нею?.. ай, как она постарела!» — Молотову стало жаль Леночки.

— Что за перемена с вами, Елена Ильинишна? — спросил он.

— Никакой перемены нет,— отвечала она.

— Вы такая печальная,— говорил Молотов с участием.

— Скучно мне.

— Чего же вам скучно?

— Не знаю,— ответила Леночка.

У ней стали наворачиваться слезы.

Егор Иваныч не знал, что делать. Ему неловко было видеть девушкины слезы, как-то совестно. Он боялся оскорбить ее нескромными вопросами.

— Отчего же? — спросил он с замешательством.

— Я думаю, оттого, что жизнь моя худая...

Молотов посмотрел с удивлением на эту бойкую, розовую, кисейную девушку.

— И живешь здесь!.. ну что здесь?.. особенно зимой...

снегом занесет... волки воют... никого нету... одна маменька... Какое это житье?

— Зачем же летом зиму вспоминать, Елена Ильишна?

— Ах, Егор Иваныч, как иногда невесело бывает!.. Отчего это?

Молотов думал: «Ну, что я скажу?.. чего ей?.. право, какая она!»

— Я думаю, оттого, что так я росла... Что я видела? Ничего не видела... Хоть бы брат был у меня хороший... Сестра замужем и уехала...

— Ведь у вас есть брат? — спросил Молотов.

— Бог с ним, с этим братом... Отчего это братья не любят сестер своих? И другие подруги тоже жалуются.

— А вас брат не любил?

— Нет... Мы, бывало, у него не говорим, а дребезжим все... Всегда, бывало, с насмешкой, все назло... Маленькие росли, только и помню, что бил, да ломал все, да ябедничал, а отец был такой угрюмый, строгий, всегда за старших... Что-нибудь сделает худое, да на меня же и нажалуется... Прозвищ всяких надавал... Не мог азбуки выучить без колотушек... Теперь ему же маменька посылает деньги; разве это хорошо? Мужчина должен сам деньги доставать, а сестрам где взять?

Леночка помолчала.

— Была одна знакомая, — продолжала она, — стала учить по-французски, так братец же отбил охоту, коверкает нарочно слова, и сестрица тоже хохочет. Ну, вот и житье!.. А строгость какая!.. всем воля, всем праздник, лишь мы никуда... У папеньки и не заикайся выехать куда-нибудь... и на маменьку прикрикнет... как можно, в самом деле?.. Разве так получают образование?.. Все сама... потихоньку и манерам выучилась, и танцевать, и моду перенимать...

— У вашего отца, я слышал, было большое состояние?

— Давно прожили, я еще маленькая была... Тогда папенька стал богу все молиться... Станет какую-нибудь спасительную книгу читать, наставления делать, а потом бранить нас... просто тоска!.. Что мне богу молиться? я гулять хотела!.. Чем я хуже других?.. Говорят, Таня Песоцкая и умная, и хорошая, и все, — ничего нет хорошего, а вот одевается хорошо, потому что богата...

«Что же это за Леночка? — размышлял с недоумением Молотов. — Сначала я думал, что она хорошенькая,

наивная, бойкая провинциалка, которой ничего не стоит назначить свидание с женщиной, которое, разумеется, ни к чему не поведет, говорить разную наивную дребедень, играть в прятки, словом: делать тысячу детских шалостей. А теперь? Ее одолевает скука жизни, ей не сойтись с подругами, ей хотелось бы... хоть брата хорошего... Кстати, сколько ей лет?» Молотов не мог определить года Леночки: «восемнадцать ей или двадцать?»

Между тем Леночка продолжала жаловаться, и всего неожиданнее было, когда она перешла опять к брату и сказала:

— Ведь он хороший был... всем здесь девицам понравился... ловкий какой! смешил как!.. только как сестра ни любит брата, он не полюбит сестру.

Леночка замолчала.

— Что вам на это сказать? не поминайте старого — бог с ним... Можно еще поправить дело...

Леночка взглянула на него при этих словах.

— Читайте, учитесь,— продолжал Молотов и вдруг остановился, вспомнив, что юноши наши всегда предлагают это универсальное лекарство от всех дамских болезней.

— Я неспособная,— отвечала Леночка.

— Это неправда; вы так же способны, как и другие девицы.

— Знаете что, Егор Иваныч, одна цыганка мне предсказала, что я не буду счастлива... Ах, Егор Иваныч, как ее высекли тогда! и из деревни папенька велел выгнать ее. Я тогда еще маленькая была.

— Что ж, вы верите?

— Иногда и правда выходит. Та же цыганка предсказала, что моя сестра будет за офицером,— так и вышло.

— Но ведь ту же цыганку высекли, а она не могла это узнать...

— Да...— протяжно сказала Леночка: — а все же страшно. Зачем бы ей говорить, что вот бог тебе счастья не даст?

— Со злости.

— Ей не на что было сердиться.

— Этого нельзя знать, Елена Ильинишна.

— Ай, какая я странная! — вдруг сказала Леночка. — Зачем это я все говорила?.. Вы, Егор Иваныч, не будете смеяться?

— В ваших словах ничего не было смешного. Вы видели, как я вас слушал.

— Вам как будто удивительно было? Как я — не говорят девицы...

Молотов немного покраснел. Он действительно не без удивления слушал Леночку. Но у Егора Иваныча было много добродушия. Он верил, что человек редко бывает виноват в недостатках своих, что его портят воспитание и другие условия жизни; он давал громадное значение внешним обстоятельствам, верил, что в самой темной душе бывает искра божия, которая, лишь только подует благотворный ветер, может разгореться прекрасным пламенем. «Чужая душа — потемки» — это была одна из любимых его поговорок. Поэтому он не решался осудить Леночку, не думал и смеяться над ней; ее странная откровенность возбуждала его жалость. Может быть, тут действовала и еще какая-нибудь причина. Чего не случается на свете? Кто ж ее знает! Может, ей, и в самом деле, трудно было на душе, напала тоска, захотелось высказаться, — вот и явилась неожиданная исповедь. Она, быть может, сама себе бы рассказала, первому воробью стала бы жаловаться, цветку, кусту сирени. Да, бывают в жизни человека редкие моменты, когда возникает в душе жажда откровенности и речей, хотя после часто и стыдно бывает, особенно когда догадаетесь, что вас слушали без сочувствия. «Эк меня разносило! — думается увлекшемуся человеку. — Опять, опять не утерпел!.. Зачем было высказываться до таких подробностей? К чему эти вопли, которые не нормальное же мое состояние? Разве первый раз ощутил я прилив этих чувств? Надобно смотреть на других: все спокойны, не увидишь одушевленного лица — все, как доска, без выражения, не услышишь сильно поднятой ноты в голосе. Мало ли что вчера было больно, нестерпимо, кричать хотелось, а сегодня больно от неумеренного крику». Но напрасно человек закликает горячее слово и откровенную беседу; когда созреет вопль душевный, радостный или печальный, опять явится откровенность, потому что это закон физиологический и психический, это закон природы. Есть какой-то хмель в откровенности; она одуряет и увлекает; и как рад человек, когда найдет другого человека и когда он, оглядевшись, уверится, что над его мыслью никто не стоит, запрет двери — и тут-то польются речи рекой, и тогда именно можно заговориться до охмеления. Поговорить хоть, если нельзя де-

дать; хоть потихоньку, если нельзя вслух. Кто не испытывал этого блаженства речи?.. Вот и Леночка высказала жалобу, назревшую в душе ее: она не могла не говорить в данную минуту; хотела бы, да не могла. Каковы ее жалобы, го другой вопрос. Молотов не знал, что отвечать на Леночкины слова: «Вы не станете смеяться, Егор Иваныч?» Он чувствовал, что Леночка с болезненным напряжением ожидала ответа, что она боится за свою откровенность, и потому он отвечал с одушевлением:

— Уверяю вас, Елена Ильинишна, что ничего нет смешного в ваших словах... напротив...

— Что напротив?.. вам жалко было?

Молотов отвернулся в сторону, — так ему неловко было от подобного вопроса. «Неужели же сказать: жалко было?» — думал он. Егор Иваныч ощутил острое чувство, легко понятное для человека, который не любит, когда при нем режут пробку, скрипят дверью или водят гвоздем по стеклу.

— Вы только никому не рассказывайте, — просила Леночка.

— Помилуйте, я это понимаю.

— Вы добрый, Егор Иваныч... право... А я все-таки странная... чудачка... Ну, да ничего... вы никому не скажете.

Потом Леночка попросила у Молотова стихов Пушкина, которые он и обещал прислать ей. И Леночка совсем повеселела. Они отправились домой. Егор Иваныч думал, что давно пора. Он боялся, чтобы не обратили внимания на их долгое отсутствие. Но Обросимов с дочерью пошли прогуляться по деревне и не позвали молодых людей; мать же Леночки и не подумала о них. У нас на долю иных девушек выпадает удивительно широкая свобода — что хотят, делают. У иных очень умны матери, а у иных очень глупы. Мать Леночки была забита мужем, приучена к подчинению чужой воле, и когда Леночка стала подрастать, Аграфена Митревна поддала ее влиянию.

Так и завязывались отношения между молодыми людьми. Впрочем, они еще не определились, хотя и можно заметить, что Молотов был более страдательным лицом. Что это значит? бесхарактерность его? Он всему как-то странно подчиняется. Вот и Леночка — во всем указывала дорогу. Она первая написала письмо, первая руку пожала, первая пустилась в откровенности и едва

не слезы, да и во всем она как-то умела указать череду. Она била его цветами, едва не обняла, когда отыскала в кусту, кричала ему «пора» и его заставляла кричать «пора». Какой-то узелок завязывался в их отношениях. Характер Леночки несколько определился, а Молотов до сих пор стоит какой-то молчаливой фигурой. Мы до сих пор видели только, как он работает. Чем-то он скажется?

Время летело так быстро, как оно может лететь только в молодые годы. С каждым днём Егор Иваныч занимался усерднее, потому что с каждым днем прибавлялась срочная работа. Он по-прежнему беззаботен и юношески счастлив, по-прежнему верит в себя и ближних. Нам, старикам, досадно бывает видеть эту беспечность и веру юности. Нетрудно разочарование для того, кто смолоду ознакомился со злом, да и какое очарование для того, кто семилетним ребенком на грош не верил своему товарищу, что его надуют или сделают какую-нибудь пакость? Такой человек ходит всегда осторожно. Но вот такие люди, как Егор Иваныч, долго и упорно сохраняют розовый взгляд на мир божий. Правда, и он знает, что зла очень много в мире и очень много подлых людей. Но спросите же его, откуда это он узнал,— «слышал, читал»,— ответит он вам.— Где подлые люди? — Они представлялись ему «там», в «мире», в «свете». И ходил он, не глядя под ноги, не всматриваясь в окружающие его лица, не написана ль на них подлость. Неужели он долго еще не разочаруется, долго сохранит этот ясный, спокойный взгляд, который так досаден нам, старикам? Мы согласны, что юношеское неведение завлекательнее нашего старческого знания; но все-таки старческое знание лучше юношеского неведения. Да извинит читатель старика, который не мог посмотреть на юношу без зависти!

Воскресенье. Молотов свободен сегодня. Все дозревало в саду Обросимова, как и во всех садах приволжских. Громадные, в кулак величиною, яблоки гнули ветви деревьев; малина в полном соку, а вишня уже перезрела; тяжелые кисти красной смородины висят до земли. Легкий ветер приподнимет аромат в саду, в чистом и прозрачном воздухе, и ходит в огромной некошеной траве, ходит вольно и скромно. Ровные, степенные звуки в природе, птицы поют не весенними голосами. Хорошо в такую погоду забраться в малину и полной рукой обирать круп-

ные ягоды. Знаете ли вы то счастье, то довольство собою и всем миром, которое вытекает чисто из физических причин? Непременно знаете, если вы здоровый человек. Молотов наслаждался этим физическим счастьем. Он недавно выкупался; грудь дышит свободно; охладевшее тело согревается теплым солнцем, щеки его пылают здоровьем, в теле легко переливается молодая, неспорченная кровь. Он силен в настоящую минуту, что угодно поднимет; но это спокойная, сосредоточенная в себе сила. Он оперся о сук яблони, и суставы у него хрустнули в пальцах. Ветер приподнял воротнички его рубашки и пробрался за пазуху. Стриж резнул своим пронзительным голосом над самой головой его, оставив звук жести в воздухе, так что он поневоле закрыл ухо. Недозрелое яблоко, падая, ударило его по плечу. Он взял яблоко, насадил его на хлыст и, потешаясь, как мальчик, запустил его под облака. «Какая вкусная малина! — думает он. — Однако довольно». Но солнце так приветливо играет в пунцовом золоте одной ягоды, что сама рука протянулась к ней, а другая еще привлекательнее смотрит из-под зеленого листа, а третья еще соблазнительнее... и он эпикурейски роскошествует... Но вот его рука остановилась на полдороге к ягоде, взор его неподвижен, вся фигура не колыхнется. Увидал он что-нибудь? Ничего не увидел, а просто в полусонном, в полубодственном состоянии замер, вдыхая легко и ровно воздух. О чем же он задумался? Ни о чем не задумался, или, по крайней мере, самые незаметные, мимолетные, мелкие и легкие впечатления проходят по душе. Это самые простые, едва не животные отношения к природе. Так неподвижно иногда висит ветка в воздухе, так ребенок задумчиво смотрит на огонь, так пруд стоит, не колыхнется при вечернем освещении солнца. Мысль его замерла, ушла в глубь души. Ему хорошо, и черная зависть и злость тревожат мое старческое сердце, никогда не выдавшее таких безмятежных дней. Вот мягкий ветер пахнул ему в лицо и повел бархатом по щеке. Пенка обратила его внимание, а рука, остановившаяся в воздухе, поднесит ягоду к устам. В это время в калитке мелькнуло кисейное платьице.

— Елена Ильинишна! — проговорил Молотов.

— Здравствуйте! — отвечала Леночка.

— Вы одни?

— С маменькой... Что вы так пристально на меня смотрите?

Молотов покраснел.

— Говорите же...

— Да ничего... так... мало ли...

В их обращении заметно что-то новое. Они как будто стыдятся друг друга. Леночка, начавшая разговор, притихла и смолкла. Был шестой час вечера. Они отправились в одну из беседок сада...

Позвольте рассказать небольшую историю о стриже. По малиновой аллее бежал Володя с новым прутом в руках. Мимо самого носа его пролетел стриж. Володя побежал на другую беседку, огляделся, взлез на крышу и стал бросать в воздух перья и пух. Стрижи хватили их на лету. У Володи явилось страстное желание поймать стрижа, этого мошенника, который не боится ни ястреба, ни человека, который так досадно смел, что летит едва не между ног ваших, летит стрелой по улице и полю, вьётся с трепетом и криком на реке перед погодой.

— Подожди же, я тебя поймаю,— разговаривал Володя с птицей, а птица, как назло, летит мимо его.

— Хорошо! — говорит Володя.

Шевельнулась береза над его головой, закачались ветви, зашептали листья.

— А ты чего трясешь листьями?.. Тебе что смешно? Посмейся, когда я поймаю его!

Володя со всеми перессорился... Потом он, приложив палец ко рту, немного подумал и сказал:

— А!.. подожди же!

Он бежит по малиновой аллее к Егору Иванычу. «Егор Иваныч все знает; он поймает стрижа». Но что поразило его, когда он добежал до другой беседки? отчего он остановился у полуотворенной двери?

— Целуется кто-то? — проговорил он в раздумье. — Ах, какой я чудак! — прибавил он сейчас же.— Это мне послышалось.

И Володя резво вбежал в беседку.

Егор Иваныч сказал, что он не знает, как поймать стрижа, он обещал подумать. Тем и кончилась эта маленькая история.

Молотов и Леночка вышли из беседки. Молотов смотрел в землю, точно совесть у него нечиста. Леночка смотрела в сторону, изредка бросая косвенные взгляды на своего спутника. Глаза ее горели, они еще чернее стали, глубже и в то же время острее. Вы догадываетесь, куда они пошли? К мельнице. Леночка была тиха и застенчива.

Шли молча и скоро. Егор Иваныч не мог оторвать своего взгляда от земли. Но Леночка оправилась несколько; раз, другой взглянула прямо на Молотова, почти повисла на его руке и так близко наклонилась к его плечу, что жар ее щеки охватил его лицо.

— Очень скоро,— прошептала Леночка.

Молотов еще ниже наклонился, точно каждое слово Леночки имело особую силу, садилось на его спину и гнуло ее.

— Теперь очень тихо,— сказала она.

В душе Егора Иваныча совершалось небывалое, никогда им не испытанное. Он со страхом прислушивался к трепещущему своему сердцу. Леночка нежно смотрела на Молотова, а его душа ныла от тоски; что-то неопределенное, смутное, но тяжелое беспокоило его. Нехорошие мысли появлялись в голове. То краска выступала на лицо, то в глазах светилась грусть, а в то же время в крови жар, в голове туман; прохладный воздух душен для него. Пришли, сели... Сидит он молча, уйти ему не хочется, хотя он, долго не думая, и порывается соскочить и броситься бежать, но... хочется сидеть тут, взглядывать на Леночку, слушать шорох ее платья, ощущать жар близкой к лицу ее горячей щеки. Сердце расширяется, и тоскливое чувство, сухое и неласковое, переходит в робкое предчувствие еще незнаемого существования, в ожидание событий душевных, которых он никогда не знал и не понимал. На лице его было написано: «Что со мной будет? случится что-то хочет». Полумысли нехорошие, которые бог весть откуда выходили, из совести или рассудка,— пропадают. Все становится просто и понятно: и плеск реки, и киванье ивы, и долгий вздох Леночки, и птичья песня. Но вдруг он спрашивает себя: «Что я делаю?»

— Егор Иваныч,— шепчет Леночка.

Молотова лицо серьезно. Он обдумал решительный шаг. Он хочет встать...

Леночка положила голову на его плечо... Молотов вздрогнул и закрыл лицо руками... Леночка смотрела своими чудными глазами в голубое небо задумчиво, мирно, кротко. Какая тихая, прекрасная жизнь горела в глазах ее.

— Я в монастырь пойду, Егор Иваныч.

— Зачем?

— Спасаться буду...

— Что за мысли, Елена Ильинишна?..

Егор Иванович молчал, тоскливо глядя в воздух. Леночка то ляжет ему на плечо, то опять приподнимет голову; разбирает его волосы; одна рука ее лежит в его руке; вздохнет, прищурится и опять откроет свои блестящие глаза. Вот щека ее так близко к щеке Молотова... Егор Иванович взглянул ей в лицо, взоры их встретились, и — не знаем, кто из них кого поцеловал: губы их слились... У Егора Ивановича голова кружилась, в груди точно молоты стучат... Ветер отпахнул кисейный рукав Леночки и покрыл лицо Молотова...

— Люби меня, Егорушка,— прошептала Леночка. Молотов молчал.

— Хотя не навсегда, хоть немного.

Молотов молчал.

Леночка поцеловала его в лоб.

Молотов ни слова.

И пели птицы тихие песни. Река в крутых берегах поднимала грудь свою; винтом прошел луч солнца до самого дна реки; летит мошка над водой; кузнечик трепещет в осоке; толпы комаров венчают свадьбу; по траве прошел мягкий ветер и стыдливо прокрался в сочные волны ее; горит медный крест колокольни... И поют легкие птицы тихие песни, и радуется мое оскопленное, старческое сердце, глядя на счастье молодых людей... Чужая любовь расшевелила его. Играйте, дети, играйте!.. Мы, старые люди, будем любоваться на вас...

Егор Иванович встал. Лицо его озабочено. Он прислушивался к чему-то. На берегу показался Володя.

— Егор Иванович, вас папа просит к себе.

Молотов и Леночка пошли назад...

— Егор Иванович,— спросил Володя.

— Что вам угодно?

— Сделайте дудочку.

— Пожалуйста, сделаю дудочку.

Леночка с Аграфеной Митревной отправились домой. Все семейство Обросимовых было в кабинете, куда пригласили и Молотова.

— Вам завтра ехать в город, Егор Иванович,— объявил помещик...

— Хорошо-с,— ответил Молотов; но первый раз в его всегда покорном «хорошо-с» слышалась досада, которой, впрочем, никто не заметил.

— Кстати, Егор Иванович, будьте так обязательны, не

завезете ли письмо к Казаковой; к ней в сторону не больше четырех верст...

— Хорошо-с,— ответил Молотов.

— Мамаша, пусть Егор Иваныч купит барабан; вы давно обещались.

— Хорошо-с,— ответил Молотов.

— Кстати, захватите фунта три табаку.

— Хорошо-с.

— Заверните на почту, нет ли писем?

— Хорошо-с.

— Не можете ли узнать, почем ходят сукна?

— Хорошо-с.

— Вы бы записали, а то забудете что-нибудь...

— Я запишу-с.

Молотов раскланялся и вышел. «Черт знает что такое! — думал он. — На шею, что ли, хотят сесть? Не все же хорошо-с!.. конца нет разным претензиям». Но Молотову скоро совестно стало от своих мыслей. На него не смотрели как на наемщика; к нему обращаются, не стесняясь, не думая, что у него есть задние мысли. Ему надобно и самому купить кое-что в городе; он ожидал письма от Негодяшева. Он обязан ехать в город. Главное же то, что он любит Обросимовых, и если у него явилась досада, так будто мы не досадуем на того, кого любим?

Так наконец дошло и до того, что Егор Иваныч любит Леночку? Она положила на широкое плечо Молотова свою милую головку с роскошной косой, с черными, страстными глазами, вишневыми устами и розовыми, горящими ярким румянцем щеками... Он любит?.. Ему не заснуть сегодня спокойно, не усидеть дома. Он гуляет ночью, и, значит, по всем признакам, он любит. Прощальный поцелуй горел на его щеке... Он ощущает силу в сердце, полноту в теле... Вот он остановился у реки и смотрит в ее тихую воду; забылся совершенно, прислушиваясь к голосу какой-то ночной птицы. «Завтра в город поеду,— думает он,— нет ли письма от Негодяшева?» Сел на берег и напевает что-то; бросил камень в воду и прислушался чутко к падению его и всплеску реки... Опять поцелуй загорел на его щеке; но вдруг сердце сжалось, он со страхом огляделся вокруг, но ничего не увидел среди темной ночи. Егор Иваныч быстро встал и крупными шагами пошел к дому. Новые мысли заходили в голове. «Это слишком, это слишком! —

прошептал он.— Боже мой! к чему же все это поведет?» Поцелуи не горели на его щеках. «Что я тут за роль играю?» Егор Иваныч, наклонивши голову, шел быстро. Если бы не ночь, можно бы рассмотреть сильное волнение во всей его фигуре. «Ведь это значит»,— начал он вслух и не договорил, что «это значит», а неожиданно как вкопанный остановился на дороге. Егор Иваныч вслух говорит. Есть люди с сильно развитым воображением, имеющие привычку разговаривать с самими собою: они остаются до старости детьми, играющими вслух. Егор Иваныч не по той причине заговорил: по всем признакам, он любит... «Боже мой!» — прошептал он и двинулся большими шагами. Долго шагал он. Но вот... Молотов идет тише, дыхание ровнее, он видит что-то в воздухе, ноздри дышат широко, раскрываются губы, и он целует воздух... Но, черт возьми, зачем это лезут в голову думы, смущающие мысли? Зачем припоминается та страстная ночь, фантастическая ночь, когда он слышал плач и смех своей «по гроб верной и любящей» девы? Зачем старый образ тревожит душу? Иль он не старый, не пережитый, не забытый еще? «Эва, ученость-то!» — в ухе сам собою возникает этот раздражающий нервы звук, дразнит его, и сердит, и тревожит совесть. Он хватается за голову руками, а в голове жар от прилившей крови. «Неужели так любят? — раздумывает он.— Так ли?» — разводит руками и шагает сердито. «Говорят, кто любит, не стыдится своей любви... правда ли это?.. может быть, и все так?» Беспокойные, требующие ответа мысли не отстают от него. «Ведь это не шутка, серьезное дело!» Так, волнуясь, он дошел до дому, вошел в комнату. Он зажег свечу и сел к окну. Мрак ночной увеличивался от комнатного света. Он долго смотрел в открытое окно: темно, ничего не видать; лишь слышно, как шепчутся листья и скрипит калитка. Он засмеялся вдруг... хорош ли его смех? Трудно разглядеть предметы... Навесившиеся березы чрез забор кажутся гигантами, качают головой, наклоняются, приседают. Бездна мрачного воздуху... Из птиц одна только болотная птица кряхтит своим нехорошим голосом... В церкви ударило одиннадцать; дробью забили вдаль караульные... Не видно, но слышно, как волна идет по пашне. Но что это за крик несется с улицы? То мчится пьяный детина от кума; мчится он, стоя торчмя на телеге; намотал он толстую веревку на руку и дует со всего размаху по хребтам лошадиным. Кони, одурев, несутся, а пьяный де-

тина только ухает, стонет да свистит. «Эх вы, распроклятые!.. ну!» — и слышно, как вцепилась веревка в спину лошадиную... Опять все стихло... «Что, если заметил кто-нибудь? — думает Молотов, — ведь нетрудно было заметить», и он опять начинает волноваться... Петухи запели... Лениво помолится Молотов на икону и бросился в постель.

Молотов вернулся из города с множеством покупок и писем, но в этих письмах ни одного не было к нему. Друг его Негодяшев не писал. Были письма к Обросимову, его дочери, даже Володе писали поклоны от других детей и сообщали ему интересные для него новости... Все бросились с жадностью к куче писем. Молотову стало грустно, что с ним редко случалось. Ему завидно было, зачем нет у него матери, сестры, досадно, зачем Негодяшев ничего не пишет. «Неужели он забыл меня? Вот уже вторая почта, и ни строки от него». Молотов, отделавшись от вопросов, которыми закидали его, пошел в свою комнату, достал из шкатулки небольшую пачку писем и стал перебирать их — некоторые читал. «Что старые письма читать? — проговорил он. — Экой какой, ничего не написал». Чувство одиночества охватило его душу. Ничего не было у него ни за собой, ни перед собой... ни родственников, ни покровителей, не было угла своего, он — скиталец, вольнонаемный работник. «Обросимов — добрый человек? Но все-таки чужой!..» К скуке присоединилась физическая усталость. Он был в дурном расположении духа и сидел как в воду опущенный, перебирая старые письма. «Может быть, и дружбе конец? — подумал Молотов. — Такие ли друзья расставались? Может быть, он не хочет поддерживать старых отношений?» Но вот ему попался на глаза документ, на котором значилось: «по гроб верная и любящая». — «И забыл совсем!» — сказал он и с досадой спрятал шкатулку. Он пошел в сад. В природе все было кротко и тихо, а на душе Молотова досада, скука, утомление и чувство одиночества — состояние ненормальное для его натуры, редкое и потому особенно тяжелое.

«Кто это произнес мое имя?» — подумал Егор Иванович. Он подошел к беседке. Ясно слышался разговор между Обросимовым и его женою.

— Это клад достался нам, — говорил Аркадий Иванович.

— Признаться, я не совсем понимаю его,— ответила жена.

— Что же?

— Что ни заставь, все сделает...

— Это умнейший молодой человек,— ответил муж,— я все думаю, как бы приурочить его к нашему гнезду. Я бы и за жалованьем не постоял, но сама ты знаешь, какие у меня теперь расходы.

— Ах, душенька, поверь, он сам рад, что попал в нашу семью... сколько раз он об этом говорил! Этим людям кусок хлеба дай, и они что хочешь будут делать.

— Что делать!.. бедность! — сказал со вздохом Аркадий Иванович.

Аркадий Иванович оставался верен себе: он всегда и всех защищал и оправдывал.

— Нет, не то,— сказала жена,— ты согласишься, что у них нет этого дворянского гонору... манер нет...

— Что ж делать, мать моя! порода много значит.

— Они, я говорю, образованный народ,— продолжала жена,— но все-таки народ чернорабочий, и всё как будто подачки ждут...

— Что же? можно сделать ему подарок какой-нибудь. Он стоит того.

— Я думаю, часы подарить...

— Это привяжет его... А что ни говори, жена,— эти плебен, так или иначе пробивающие себе дорогу, вот сколько я ни встречал их, удивительно дельный и умный народ... Семинаристы, мещане, весь этот мелкий люд всегда способные, ловкие господа.

— Ах, душенька, все голодные люди умные... Ты дворянин, тебе не нужно было правдой и неправдой засушенный хлеб добывать; а этот народец из всего должен выжимать копейку. И посмотри, как он ест много. Нам, разумеется, не жаль этого добра; но... постоянный его аппетит обнаруживает в нем плебея, человека, воспитанного в черном теле и не выдавшего порядочного блюда... Не худо бы подарить ему, душенька, голландского полотна, а то, представь себе, по будням манишки носит — ведь неприлично!..

— Я не замечал этого...

— Где ж вам, мужчинам, заметить...

— О, бедность, бедность! — сказал со вздохом Обросимов.

— Мне кажется, душенька, ты очень много доверяешься ему...

— Помилуй, жена, я не так прост, как ты думаешь. Нынче очень много развелось скромных людей с удивительно хорошей репутацией, которые, кажется, воды не замутят; но этих-то людей и надобно остерегаться. Скромные люди ныне в большом ходу, дослуживаются до чинов, наживают именья и дома строят. Что ж? я ему желаю всякого добра... но надо быть осторожным да и осторожным. Выглядит такой невинной девушкой, а сам все видит, ничего не уйдет от его глаз. Вначале я говорил ему, чтобы он не очень хлопотал — деликатность того требует; а он точно не понял, в чем дело. Правда, займется неделю хорошо, а там, глядишь, день, другой, третий разгуливает. Я ему, стороною стал намекать, что не худо бы вот эту или эту статью поскорее кончить, — догадался наконец и сел поплотнее... Или, думаю, зачем он на фабрику так часто ходит? что же? — «Я, говорит, займусь на фабрике с годик, так и сам, пожалуй, управлюсь с ней». Догадайся, к чему это сказано?

— К чему же?

— Это он в управляющие метит...

— Будто?

— Честное слово!.. Он знает, что я управляющим недоволен; но тот украдет какие-нибудь пустяки — у меня много не украдешь... но зато свое дело знает.

Егор Иваныч не мог более слушать. Он опрометью бросился прочь от беседки, боясь, что заметят его. Разговор между тем продолжался...

— Впрочем, по моему понятию, Егор Иваныч очень порядочный человек... Терпеть не могу этих свистунов, которые ничего не делают, а только проповедуют разные идеи... Оно хорошо, да ты сначала сделай, а потом уж говори... Россия нуждается в работниках. Зачем же правительство дает им образование? Уж, разумеется, не затем, чтобы из них выходили просвещенные проповедники. И такие скромные, как Егор Иваныч, люди для меня лучше свистунов и крикунов, которые ничего не делают.

Зачем же убежал Егор Иваныч? его хвалили ведь? Между тем Аркадий Иваныч развивал свои идеи.

— У нас только дворяне, изредка поповичи да дети чиновников получают сносное образование. Массы косят в неисходном невежестве. Нам не пять, а двадцать надобно университетов. Тогда, если и понадобится дельный и образованный человек, его нетрудно будет найти; а то теперь все, что выходит из университетов, погло-

щается министерствами и губернскими правлениями. Запросу на ученых много, а продукта этого мало, оттого он и дорог. Посмотрите в других государствах — в Германии, например. Геттингенского университета кандидат сапоги шьет, табаком торгует. Там на самое последнее место является множество ученых претендентов... А у нас? терпеть не могу этого самохвальства: «Мы русские, шапки закидаем и немцев, и англичан, и французов!», а на деле дрянь выходит. Скажи же эти простые истины нашим помещикам, куда тебе! — либерал, вольтерьянец!..

— Отчего же, душенька, наш народ так невежествен?

— А правительство должно заботиться.

— Тише, Аркадий Иванович, кто-нибудь услышит.

— Никто не услышит... Сам народ никогда не поймет той пользы, которую принесет ему наука; от грамоты отрешивается и отплевывается. Правительство должно построить университеты, гимназии, училища, школы и насильно гнать туда народ. Всех, кто научился читать, можно освободить от телесного наказания. В Германии, например, не знаешь грамоты, тебе и причастия не дадут.

— Ты, Аркаша, не высказывай этих идей...

— Стану я в пустыне проповедовать... Вот хоть Егор Иванович — дельный человек, куда хочешь его употреби; а откройся место, сейчас в чиновники уйдет. Будь же у нас просвещение сильнее, таких Егоров Ивановичей явились бы тысячи. У нас бы каждая деревня имела своего учителя, врача, издавала бы каждая деревня свою газету. А теперь? нет людей, нигде нету, оттого они и дороги.

Значит, мы не ошиблись, когда сказали, что не наш национальный экономический закон существовал в отношениях Молотова и Обросимова. В основании этих отношений лежал принцип просвещенного человека, и, что всего удивительнее, этот принцип существовал уже лет четырнадцать назад, а разные обличители кричат, что мы спали все это время... нет, мы принципы вырабатывали, которые теперь во многих местах нашли уже практическое приложение. Многие гораздо ранее Севастопольской войны понимали, что образование нам необходимо, что тогда дешевле будут люди, и многие тогда уже из просвещенных видов отдавали *своих людей* в науку и дома устраивали школы. Усильте просве-

щение, ученых будет много,— оттого они сдешевают, придут к нам просить работы и за дешевую цену будут делать отлично дело. Словом, нам будет выгоднее. И выходит, что Аркадий Иванович был передовой человек... После доброй беседы всегда посещает душу и чувство доброе.

— Отчего это, жена, мы не целуемся давно? — спросил передовой человек.

— Стары стали...

— Будто старикам запрещено целоваться...

Раздался поцелуй в той самой беседке, по поводу которой мы рассказали небольшую историю о стриже.

— Господи, как время-то идет,— говорил Аркадий Иванович,— двадцать семь лет прошло после свадьбы, а ты и теперь еще недурна.

Раздался снова поцелуй... Только два поцелуя и было. Обросимовы отправились домой.

Егор Иванович однажды думал: «Отчего это здесь, в Обросимовке, хорошо так, легко живется?» Между прочими причинами отыскалась и такая: «Весело смотреть, как все счастливы здесь, а счастье заразительно». Как же он должен быть счастлив, когда двадцать семь лет спустя после свадьбы здесь раздался нежный поцелуй?

Всю душу его поворотило.

«Плебей?.. нищий?.. дворянского гонору нет?.. а я, дурак, думал, что они меня любят и доверяют мне... Черти, черти! они мне подачку готовят!.. Вот как они смотрят на меня! хорошо же!..»

А что «хорошо же»? Первая мысль, которая пришла ему в голову, это оставить дом Обросимова; вторая, что он издержался в городе и у него не много осталось денег. Думал, думал он, и конца не было тяжелым думам. Он дошел наконец до того, что сказал: «Ну, бог с вами!.. не нужны вы мне!», а потом не вытерпел и сряду же обругался: «Негодяи, аристократишки, бары-кулаки!» Припомнились ему думы в какой-то прекрасный вечер: «Жизнь Обросимова — это жизнь человека образованного, но не поломанного, жизнь под теми же липами, под которыми он родился и где протекло его детство». Теперь он смеялся над своими старыми мыслями. Шевельнулись неведомые до сих пор вопросы; они смутно пробивались: «Куда лежит моя дорога? кому я нужен на свете?.. один, один!.. и с Андреем, кажется, покончено?.. Но куда бы то

ни было, а уйду отсюда». Очень тяжело было молодому человеку, но он еще не сознал своего положения. Наступила ночь, и он скоро забылся.

Проснулся Егор Иваныч, как и всегда, в добром расположении духа. Он припоминал какой-то сон, который совершенно выскользнул из памяти, и оттого выражение его лица было неопределенное. Он не мог даже припомнить, каков был сон, хорош или худ. Но то не сон был, а действительность вчерашнего дня: она не сразу далась его сознанию, а сначала смутно, как забытый сон, представлялась ему. Мое старое сердце радовалось и питалось желчью: оно видело последние минуты детского счастья, золотого, молодого счастья; оно не завидует теперь, оно спокойно. Теперь плебей узнал, что его кровь не освящена столетиями, что она черна, течет в упругих, толстых, как верви, жилах и твердых нервах, а не под атласистой белой кожей, в голубых нитях и нежных... Мое старое сердце знает, что человек сам усомнится в своих достоинствах, когда познает этот общественный, мало того — общемировой закон, который так осязательно представился тебе... Ты почувствуешь силу, которая существует во всех странах мира, которой до сих пор не знал и которой не верил.

Егор Иваныч слово в слово припомнил разговор помещика, и в тот день он перекреститься еще не успел, а уже ругался. Он почувствовал в себе присутствие дурных инстинктов, которые теперь проснулись в нем: в нем злость заходила, драться ему хотелось. Потом в каждой черте его лица, в складке губ, в глазах, повороте головы выразилось глубокое, беспощадное презрение. В грубые и крупные слова одевалась мысль его. «Белая порода!.. чем же мы, люди черной породы, хуже вас? Мы мещане, плебей, дворянского гонору у нас нет? У нас свой есть гонор!» Так он глуп и горд был, что ему верить не хотелось в возможность вчерашних речей о породе. «Быть не может!.. за что же!.. чем мы хуже их?» Нелепостью ему представлялся вчерашний разговор, нарушением здравого смысла. «Неужели везде так?» — шевельнулся у него вопрос, и сердце у него упало. Иногда достаточно одного случая, чтобы убедиться в тысяче подобных; есть факты, в которых выражается идея, присущая многим фактам. Когда он понял, что Обросимовы

оттолкнули его под влиянием общественного закона, что ему предложили держаться дальше, не спрашиваясь его согласия, а не то его без церемонии отодвинут и он должен будет попятиться,— тогда тоска напала на него. «За что же? — прошептал он.— Да нет! этого быть не может!» Молотов не мог примириться с мыслью, что он явился на свет неполным человеком, с лишением некоторых прав; что для многих оскорбительно, когда он будет относиться к ним открыто и с достоинством, как к равным. «Не нужны вы мне! Но за что же?» — он спрашивал. Не нужны? Нет, ему тяжело было убедиться, что Обросимовы не могут уважать его, как они уважают своего собрата. Этот человек, не понимавший до сих пор, что он мещанский сын, был жалок в настоящую минуту. «При всем этом они думают, что я навязывался к ним, хотел быть своим в этой барской семье?» Совесть ему ответила: «Да, сначала ты по какому-то инстинкту не хотел сблизиться с этими людьми, а потом обманулся и считал помещика чуть не родственником; ты думал, что все, как старый профессор, будут тебе бабушкой». Он, как обожженный, соскочил от этой мысли и, разумеется, обругался, но теперь он себя бранил. Тогда сказала эта гордая натура. Ему совестно было самого себя. «Как я заискивал? это с какой стати? Разве они нужны мне?» — этот вопрос невыносимо мучил его. «Нет, я им скажу, что они лгут; я в них не нуждаюсь и знать их не хочу». Но лишь только явилась эта неразумная мысль, как Егор Иваныч отказался от нее. «Это значило бы, что я претендую, зачем не стал своим в их семье... Это та же навязчивость!» После того он решил не показывать и виду, что слышал несчастный разговор, так обидевший его гордость, возмущивший его душу; он понял, что тогда еще больней, еще обидней было бы для его гордости. И в то же время он почувствовал, что отделяется от общей массы людей, перестает быть какою-то неопределенною личностью, он находит свое место в обществе и занимает его. Люди, прежде близкие, стали ему чужды и далеки. Он, зорко наблюдая окружающие его лица, к удивлению своему находил, что они незнакомы ему, что он видел только похожие на эти, но не эти самые. У матери совсем не доброе лицо; в глазах папаши так и светится дворянникулак; у дочери лицо красивое, но посмотрите, какое надутое. «Это не наши,— говорил он.— Как же я не

разглядел ваши рожи?» (Он в патетических местах часто употреблял крупные выражения.) «Где же наши? — спрашивал он. — Кому же я-то нужен?» Все его беспокоит, дразнит, поднимает все силы, делать велит что-то. Новое тревожное чувство всею силою молодой жизни прошло чрез его душу; неведение и страх будущего охватили его. Но одна беда не ходит. Не сегодня, так завтра Молотов оставил бы Обросимовку; но, к несчастью, он издержался в городе, денег у него было мало, а еще одиннадцать дней осталось до конца месяца, значит — и до получения жалованья сорока рублей. Эти одиннадцать дней будут ему долго памяты. Часто он, понурив голову, ходил в саду крупным шагом и в забывчивости иногда остановится, подумает что-то, махнет рукой и опять шагает. С той минуты, как он остался в деревне на одиннадцать дней, к чувству оскорбленного самолюбия прибавилось постоянное чувство угрызения совести. В душе он бранился, а прямо в глаза людям, его окружающим, смотреть не мог... Положение среди чужих людей стало крайне фальшиво и бестолково. По обыкновению, по привычке жена Обросимова попросила его что-то сделать. Он не нашелся, сжал только зубы и проговорил: «Хорошо-с». Это наконец глупо! — скажут иные. Что же делать! он не приобрел еще той житейской наглости, при которой так легко отстранить желание ближнего сесть на вашу шею и прокатиться на ней. Впрочем, потом как-то он ухитрился отказаться раза два-три от поручений, которые он не обязан был исполнять. В нем быстро развивались подозрительность и мнительность; так и чудилось, что везде следят за ним, потому что «его насквозь знают», потому что он «умный молодой человек» и живет «не у дурака». Подозрительность его росла не по дням, а по часам... Сядет он за стол, боится лишний кусок взять, — так ему и припомнится этот прекрасный комплимент дамский: «Как он ест много!» Этот комплимент был плохою приправою к обедам, чаям и десертам помещика. Женщина сильнее умеет обидеть, чем мужчина: в ее жалобе, в ее упреке всегда слышится, как будто вы ее угнетаете, будто ей трудно вас победить, и смотрит она, точно просит пощады; захочет уязвить, так отыщет самую больную струну. Просто сказано: «ест много»; а эти слова всего тяжелее легли на сердце Молотова. Он слышал в этой фразе самое беспощадное презрение к своей плебейской натуре. Ему казалось, что Обросимовы в нем ничего

не рассмотрели, кроме брюха, что он в их глазах не что иное, как большой-большой живот. Это было обидно для Молотова. Бывало, заберется он в огромный сад, который так предлагали ему обязательно, и роскошествует в нем; а теперь каждое яблоко, слива и малина напоминали ему, что он батрак, которого надобно приурочить. Кажется, и конца не будет этому тяжелому месяцу, а он и приноровиться не может, как ему вести себя: то усиливается держаться с Обросимовым наравне, что прежде выходило без всяких усилий, само собою, то заберет вдвое выше, то смотрит обиженным. Он рад был уединению. Так прошли четыре дня. Все стали замечать перемену в нем. «Здоровы ли вы?» — спросила его однажды хозяйка. «Здоров-с», — ответил он, а сам подумал: «Следят за плебеем, следят!..» Он отказывался несколько раз от чаю, чтобы только реже видеться с семейством... Он похудел... В ответах его было что-то странное, резкое, большею частию они были односложны. Видели, что он полюбил уединение; видели, как он опускал над работой голову и долго о чем-то думал. Он есть меньше стал... Всё это обращало на себя внимание, всё это замечали. Для него наступило время, когда так легко портится характер.

Егор Иваныч сидел измученный и угрюмый в своей комнате. Вошел Володя.

— Что-с? — спросил неприветливо Молотов.

— Егор Иваныч...

— Что?

— Вы не будете сердиться за то, что я вам скажу...

— Нет, ничего, говорите, — отвечал Молотов мягче.

— Я вас нынче боюсь...

— Полно, дружок, — сказал ласково и грустно Егор Иваныч, — разве я обидел вас? Полно, Володенька, мы всегда были друзьями. Ведь вы меня любите?

— Да, вы хороший, добрый такой...

Егор Иваныч погладил его по голове.

— Что же вам нужно?

— Савелий привез вам письмо...

— Из города?

— Из города.

— Где же оно? Ах, да вы и не принесли!

— Я думал...

— Скорее же бегите и несите, скорее, Володя...

— Сейчас!.. я живо!..

Егор Иваныч заметно встрепенулся. «Это он, непременно он!.. что-то пишет?.. Спасибо тебе, Андрей!»

— Вот! — сказал Володя, вбегая в комнату и подавая письмо.

Егор Иваныч взглянул на адрес и вскрикнул:

— Он и есть!.. Володенька, я хочу один остаться... Вот что писал к нему Негодяшев:

«Задуманный друг,
Егор Иваныч!

Насилу время нашел, чтобы написать тебе письмо. Не поверишь, сколько дела: шесть следствий сряду произвел, изъездил четыре уезда, перевидал множество людей, переписал множество бумаги. Поздравь меня, я вполне чиновник, наглухо застегнутый, бескорыстный и бесстрастный, как сама Фемида, хотя и не завязаны у меня глаза. Я всегда говорил, что создан для следственных дел... Служу пока счастливо, но не без хитрости. Чиновник должен быть великим психологом... Ты думаешь, что если чиновник знает свое дело и не кривит совестью, так он уже и полезен обществу? Нет, при таких условиях успех не всегда верен, нужно еще быть и психологом. Необходимо изучить начальников, подчиненных, сослуживцев, их жен, знать весь город, как пять своих пальцев; всякую сплетню надобно уметь предупредить, всякую подлость и каверзу... Подкопов бездна! потому что я хоть и не великая птица, но тяжел им пришелся. Тот, кого у нас зовут «сам», в моих руках. Помню, что ты говорил против моей системы, доказывая, что в ней большая доля иезуитства. Но если тебя на неделю послать сюда, ты увидишь, что нет больше средств на свете. Здесь все враги закона, а нас самый небольшой кружок. Мы отбываем свой пост, насколько то возможно. Целый год я трудился, чтобы выворотить секретаря вон, — выворотили наконец!.. и никто не знает, откуда ему такое счастье. Я с тобою всегда был откровенен... Ты спросишь, кто я такой: наушник, доносчик, фискал? Ничуть не бывало!.. я дипломат и психолог: моя задача так вести дело, чтобы провалился негодный человек, подвести его на службе, напутать, повредить ему. Впрочем, я не прочь и шепнуть кому следует на ухо, что можно. Мы все знаем, что надобно делать, но не знаем, как делать. Пишу теперь вообще, сообщаю только свои служебные начала. Похождений своих не описываю.

Главная цель моего письма — ты. Я довольно хорошо основался здесь, имею некоторую силу и, руководствуясь своею системою, подвожу мину под одного чиновника. Это негодный человек, на совести которого немало черных дел. Он непременно провалится — час его пробил! Вот тебе и вакансия. Кроме того, «сам» ищет дельного чиновника. Я говорил ему о тебе, и он соглашается принять тебя. Вот и другая вакансия. Прошу подумать серьезно о моем предложении. Опять мы заживем по-старому; я посвящу тебя в наш кружок; здесь довольно весело; жалованья меньше, чем в Обросимовке, но зато есть шансы для будущего. И что ты забрался в Обросимовку? Там ли твое место? Ты должен делать другое дело, а не тратить жизнь на службу какому-то барнну. Разве в том твое призвание? Но я и забыл твои понятия о призвании. Ты обложил себя книгами, вглядываешься в жизнь, изучаешь себя и людей и только после такой работы хочешь добиться, к чему ты призван... Вопрос поистине громадного размера! Шутка ли, на двадцать третьем году он хочет понять себя за всю прошлую и за всю будущую жизнь, составить программу, да потом и выполнять эту программу! Но, друг мой, мы родились жить, а не составлять программы. Живи и учись, одно от другого не отдирай насильно, а то бог знает до чего можно додуматься. Не ты первый, не ты последний. Иной создаст себе норму жизни, носится с нею, кричит, трепещет, а чем кончит? Как идиот, упрямо тянет многолетнюю лямку, самим на себя наложенную, — и самому-то наконец ему тяжело, и люди на него пальцами показывают, и спину ему ломит, — но нет, несет свое ярмо, свою проклятую ношу, самим же на свои плечи взваленную, и оглянется потом бедняга, да уж поздно, часто сорок лет стукнуло, нет молодых сил и энергии. Что же остается? заплакать о даром потраченной жизни, озлобиться на весь мир, запить или сделаться лежнем, байбаком? Мало ли у нас этих рыцарей печального образа? Нет, мой друг, жизнь пускай нас учит, а не будем выдумывать жизни. Два-три следствия лучше познакомят тебя с человеком, нежели сто книг, — только смотри всему прямо в глаза, смело всему давай свое имя. Ошибешься — поправиться можно; тогда лишь не поправишься, когда упрямо пойдешь по одной дороге. Жизнь сама скажется. Ты опять спросишь, какое твое призвание? Ты все делать можешь. Притом, разве ты не можешь служить и в то же время изучать

свое призвание, если тебе уж очень нравится это занятие? Знаю я твои запросы от службы. Иногда подумаешь: что, если этот человек попадет на свою дорогу? Вон он сидит теперь сиднем, а как разомнет кости и пойдет шаггать, так куда тебе и Илья Муромец! Дайте ему только осмыслить все, привести в систему, понять всякое явление и всю жизнь связать одною идеею, а уж там ведь «тряхнул кудрями — дело вмиг поспело». Жизнь осмыслить? — никогда ты ее не осмыслишь! Где ее одолеть, и притом не зная хорошо? Бери ее наконец без смысла или добивайся смыслу и в то же время служи; для службы человек создан. «Мы не приготовлены к труду». — Сам готовься. — «Мы не чувствуем любви к той или другой службе». — Без любви служи. — «Этак засохнешь на службе». — Сохни, Егор Иванович, сколько тебе угодно! кому какое дело до бесполезного человека? От тебя и не потребуют любви к службе; нам нужны твой ум, честь и труд, а любви, пожалуй, и не надо; ее и в формуляр не вносят... А то вы и на службе ищете счастья, а не пользы общественной. И любовь, и удовольствие, и прогулка среди лесов, и луна, что ли, все это должно быть на втором плане в нашей жизни. Поэзию всякий любит; нет, надобно в прозе покупать — ведь от нее не убежишь. Наконец, вы и к поэзии притупляетесь, создаете бог весть какие стремления, которых и сами определить не можете. Мы тоже любим и закаты солнца, и май, и негу, и поцелуи, и вечернюю зарю, но мы и ломать себя умеем... Можно читать «Фауста» и служить очень порядочно, не носить докторской хламиды, а приличный вицмундир. Прочь вопросы! их жизнь разрешит, только бери ее так, как она есть, не прибавляя и не убавляя: без смысла жизнь, живи без смысла; худо жить, живи худо все лучше, чем только мыслью носиться в заоблачных странах. Прямая линия не ведет к данной точке, так есть ломаная. Ты бы хоть посмотрел на своих товарищей; большая часть населила присутственные места, немногие пошла в учителя и продают теперь старые познания; один уехал в Китай; очень немногие промышляют только частными делами, и между прочим наш любезнейший Патокин читает газеты у слепой княгини Зеленищевой, но и тот ищет протекции для чиновной же карьеры. Двое женились уже. А ты-то что же? должность твоя не много повыше Патокина. Правда, ты писал в последнее время, что занялся с сыном помещика и хочешь отыскать, по своему

обыкновенно, искру божью в этом болванчике; но ведь это все-таки служба частным лицам, а будто мы к тому готовились? Смотри, придется вспомнить мои слова, что частная служба хуже общественной и относительно гонору и относительно выгод. Ты опять спросишь, где же служить? Так считай же: ты не можешь быть доктором, не можешь быть купцом, архитектором, механиком, литератором, баринном, священником... ты можешь быть чиновником — это неизбежно. Больше и говорить не хочу. Я высказал откровенно свои мысли и прошу тебя подумать хорошенько о моем предложении. Пора начинать карьеру. А как мы знатно заживем!.. опять вместе, опять воротятся старые годы!.. Довольно, хотя и есть что написать. Завтра рано еду в Д* на следствие. Дела пропасть... Подумай о моем предложении, а теперь прощай!

Друг твой *Андрей Негодящев*».

Лицо Егора Иваныча было грустно и в то же время выражало недоумение. Он еще раз прочитал письмо все сполна, потом почитал его по местам, отрывками, а сам думал:

«Вот чиновные принципы, возведенные к вечным началам разума!.. трансцендентальное чиновничество!.. Фауст в вицмундире, Гамлет канцелярии его превосходительства!.. Боже мой, много ли времени прошло, а уж ты, Андрей, начинаешь подаваться! Ты ли это говоришь: «Если прямая линия не ведет к данной точке, то есть ломаная»? Остается один шаг до убеждения, что можно и дугой дойти до того же... Хорошо же ты философствуешь и обличаешь! Громи, добрый сын отечества, громи! Неужто надобно опутать всех, надуть, быть психологом и дипломатом? Да лучше бесполезным человеком остаться. Вот дорога: либо подличай, либо ходи по ломаной линии. Это возмутительно, этого быть не может! Иначе даю честное слово навсегда остаться бесполезным человеком».

Молотов опять открыл письмо. Его внимание остановилось на тех местах, где идет дело о призвании, карьере, службе. Эти места подействовали на него. Резко высказанные, они ясно встали пред его воображением и неотступно требовали ответа. Трудно было что-нибудь сказать против той истины, что Молотов готовился не для службы частным лицам, хотя и оскорбило его слово «болванчик», приложенное к Володе, мальчику очень

умному. Трудно было спорить с тем, что служба государству есть общечеловеческое призвание. Он сам уже дошел до вопроса: «Я уйду отсюда, но куда?» Потому письмо поразило его. «Неужто в канцелярские Гамлеты?» — он спрашивал себя. Вопрос требовал ответа настоятельно. Молотову хотелось отбиться от него, подавить его хотя на время, потому что тяжело, мучительно тяжело идти на службу сегодня, когда вчера еще не знал, какую избрать дорогу, да вовсе и не думал о том, а жил день за днем, как птица, без заботы, без будущего. Это минута критическая, потому что служба — полжизни нашей. Ему хотелось хоть на время обмануть себя, а когда человек захочет доказать что-нибудь, он непременно докажет. Я знал одного крайне упрямого господина, который если доказывали что-нибудь противное ему и если он не находился в данную минуту что-нибудь отвечать, то всегда говаривал: «Постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вам непременно скажу что-нибудь». Подумавши, он изворачивался и действительно изобретал резон. Если его ловили и на этом резоне, то он опять просил: «Постойте, господа, постойте, дайте подумать, я вам непременно скажу что-нибудь». Словом, за ним не угоняешься. Это к тому, что Егор Иваныч, напрягая силы, чтобы отвязаться от назойливых вопросов, успел изворотиться с удивительной ловкостью древнего диалектика. Он прибегнул к правилу: «Если тебя обвиняют, ты не оправдывайся, а обвиняй сам». Прочитав слова: «без любви служи», он пришел сначала к той мысли, что нигде не нужен слуга без любви к службе, потом, что он не машина, а человек тоже. А «тряхнул кудрями — дело вмиг поспело». Это что такое? Надо мной смеется или над поэтом? Боже мой, писать-то как легко! давайте, всех обличу, всем определю призвания и род занятий. А как горячо пишет? от души, так и кипит, и все-таки неправду, — значит, и от души лгать можно. Но нет, тут и правда есть, правда горькая. Не о себе ли ты пишешь? Думая обличить меня, ты обнаружил свою душу, ту болезнь, которую носишь в ней теперь. Ты уже выдумал норму и носишься с нею едва ли не так, как тот идиот, о котором говоришь, что он своими руками надел себе на шею проклятое ярмо. Верно, не легко ходить по ломаной линии, и ты уже чувствуешь тяжесть своей нормы, она гнет тебе спину, оттого ты и кричишь в письме: не меня, а себя обличаешь! О ком ни пиши, все одно: душевное состоя-

ние скрыть трудно, оно слышится в твоём письме с полуслова, сквозит между строками... Призвание?.. Ты уже Фауст в вицмундире, а я все еще Мологов; ты уже создал норму жизни, и какую норму! а я все еще нет. Я только одно понял: мое призвание — жить... всей душой, всеми порами тела жить хочу. «Бери жизнь, как есть она, не прибавляя и не убавляя»? Да вон она, вон смотрит в глаза; она идет, в дверь стучит. Я не могу пока постигнуть, что она такое, но без смысла не возьму ее; разгляжу я жизнь, разниму по частям, душу ее выну. Я и учился для того, чтобы жить; государству часть себя отдам, а весь не отдамся. «Эх, Андрей, поговорить бы с тобою. Да подожди, я напишу тебе». Видите ли, читатели, как легко отделаться от назойливых вопросов, но, поверьте, отделаться только на время. Он сел писать письмо и описал все, что случилось в Обросимовке, только о Леночке не упомянул, вероятно потому, что с расстоянием уменьшается откровенность. Письмо отвело душу Молотова, но не надолго. Ему хотелось живой речи, а вот уже несколько дней, как Егор Иваныч прервал все искренние отношения с окружающими лицами. Он все злился в это время; его мучила гордость. Горячая кровь ключом била в молодом, здоровом организме Егора Иваныча, и в это-то время пришлось ему испытать немолодую злобу. Его ломало и корбило. В чистую кровь благородного и добродушного плебея жизнь начала вливать дурные соки. Да, наступила пора, когда так легко портится характер человека...

В тот же день Марья Павловна сказала своему супругу:

— Ты ничего не замечаешь в Егоре Иваныче?

— А что?

— Он после поездки в город как в воду опущенный.

— Да; что-то странное с ним делается; никогда я не видал его таким... даже похудел...

— Нет ли у него каких неприятностей?

— Должно быть, есть. Стоит вчера у окна мрачный такой: «Ах, говорит, черти, черти!», потом махнул рукой и задумался. Я изумился, потому что никогда не слышал от него таких выражений.

— Ты бы, мой друг, поговорил с ним. Бог знает что с бедным делается. Может быть, надо помочь чем-нибудь.

— Ох ты, моя добрая!.. всегда одинакова,— отвечал Обросимов.— Хорошо, я поговорю...

В тот же день Аркадий Иванович зашел к Молотову и пошел прямо к цели.

— Извините, Егор Иванович,— сказал он,— мою нескромность. Уверяю вас, что одно только искреннейшее участие руководит мною в настоящем случае. Я заметил, что вы в последнее время сам не свой. У вас есть какое-то горе...

— Вы заметили... нет... что же... ничего не случилось...

Егор Иванович отвечал с трудом, с замешательством. Он невольно закрыл рукою только что конченное письмо, в котором относился о помещике не очень лестно. Такое движение Обросимов принял за желание скрыться от него. Он понимал, что глубокая печаль не всегда откровенна, что человек не сразу покажет душевную рану, что простое любопытство раздражает ее, и касаться раны может только любящая рука. Поэтому он деликатно и ласково сказал:

— Егор Иванович, доверьтесь мне как другу; вы встретите во мне не пустое любопытство. Я осмеливаюсь думать, что приобрел некоторое право на вашу откровенность...

Молотов ничего не ответил. Он спрятал в карман письмо и, потупясь, молча отошел к окну и стал писать вензеля на вспотевшем стекле.

— Егор Иванович!

Молотов писал вензеля и молчал.

— Послушайте,— сказал Обросимов, подошел к нему и взял его за руку,— у вас, право, есть какое-то горе... будьте откровенны... бог знает, я, быть может, и помогу вам... Все, что от меня зависит...

Молотов высвободил свою руку.

— Вы, Аркадий Иванович, заслужили полное право на мою откровенность... я знаю, что вы уважаете меня, но... поверьте, мне ничего, ничего не нужно...

Аркадий Иванович отошел в сторону и остановился в раздумье. На лице его заметно выразилось недоумение.

— Может быть, Егор Иванович, я действительно не в свое дело суюсь... может быть, сердечные обстоятельства...

Обросимов наблюдал за ним. Егор Иванович опустил

руки в карман и наклонился к стеклу. Он покраснел.
«Дурак же я»,— подумал Обросимов.

А на душе Егора Иваныча было одно чувство ожидания, скоро ли отстанет от него помещик, похожее на чувство школьника, которому учитель читает нотацию, когда у школьника не бывает ни раскаяния, ни внимания к словам учителя, а одно тягостное ожидание, скоро ли скажут: «Пошел, негодяй, на место». Потом у него повторилась в уме фраза помещика: «Может быть, сердечные обстоятельства», и почему-то Молотову припомнились фразы гоголевских героев; ему казалось, что гоголевские герои говорят точно таким языком. Молотову немного весело стало.

— Ну, так извините великодушно,— сказал Обросимов.

Егор Иваныч вдруг засмеялся.

— Бог вас поймет,— сказал помещик и пошел с этими словами к дверям.

Но у него явилось новое предположение, за которое он и ухватился с живостью. Станным может показаться, что Обросимов от души сожалел молодого человека. Но глядя на дело объективным оком (по старости, мы не пишем обличительной статьи, а просто анализируем данные явления), должно сказать, что он любил Молотова, хотя в то же время смотрел на него как на плебея. Тут нет никакого противоречия: разве вы, например, не любите свою старую няню, но смеет ли она думать о равенстве с вами? Можно любить собачку, картину, куклу,— это не подлежит сомнению; можно любить своего лакея, крестьянина, подчиненного,— это не подлежит сомнению; и при всем том можно собачку выгнать, картину продать, куклу разбить, лакея выпороть, подчиненному дать головомойку,— это не подлежит сомнению. Обросимов любил Молотова: ему жалко было молодого человека, хотелось помочь ему; он готов был сильно беспокоиться о нем. Егор Иваныч не понимал этого. Он думал, что его не любит Обросимов. Молодой человек, очевидно, заблуждался...

— Может быть, денежные затруднения, так вы не стесняйтесь, пожалуйста,— сказал помещик.

— Нет, благодарю вас,— ответил Молотов сухо.

Обросимов переминался.

— Не оскорбил ли вас кто, Егор Иваныч?

— Нет, нет! — с живостью заговорил Молотов.— Как можно?.. нет, никто не обидел, Аркадий Иваныч.

Обросимов пожал плечами.

— Но вас не узнать, вы совсем переменялись...

Наконец Егор Иваныч не вытерпел:

— Да, у меня есть... затруднения... большие затруднения...

Обросимов стал слушать с полным вниманием.

— Но мне невозможно высказаться... поймите это... Господи, да что же это такое?

Егор Иваныч взялся за голову руками и опять повернулся к окну...

— Извините меня великодушно, Егор Иваныч... Будьте уверены, я нисколько не претендую на вашу скрытность... есть такие чувства...

— Да, да, есть такие чувства! — нетерпеливо и с заметной досадой перебил Молотов.

— Ну, извините меня... Пошли вам бог мир на душу...

Обросимов отправился к двери, но опять остановился.

— Вот что, Егор Иваныч: вы теперь расстроены, поэтому вам не совсем удобно заниматься... вы не стесняйтесь, отдохните...

Молотов молчал. У него появилось судорожное движение в скулах... Еще бы немного, и он наговорил бы помещику грубостей; в голове его стали складываться довольно энергические фразы...

— Пожалуйста, не стесняйтесь,— и с этими словами помещик вышел вон.

— Насилу-то!..— проговорил Молотов.— Черти! мерзавцы!..

Тут изящного ничего нет: Егор Иваныч ругается, и ругается довольно грубо...

Егор Иваныч отвел душу энергическими выражениями, и мы будем продолжать.

После излияний Обросимова ему еще тяжелее; еще запутаннее и бесполокнее стали его отношения к чужой семье. Никогда он не ощущал такого сильного, неисходного, томящего чувства одиночества, какое теперь охватило все его существо. Слезы пробивались на его глазах, а он всегда стыдился слез, не любил их... Егор Иваныч напрягал мускулы, чтобы не заплакать, но непрошенные слезы сами ползли и, медленно пробираясь по щекам, падали тяжелыми каплями, и много было

соли в тех слезах... Пустое, беззвучное, глухое пространство охватило его. «Один, один на всем свете!» — эта мысль поражала его, холодом обдавала кровь, он терялся... «Пора жизнь начинать, надобно уйти отсюда, а куда идти? зачем идти? для кого?» Толпами идут из души мысли, самые разнообразные и доселе мало знакомые, — откуда они поднялись? Среди их основное чувство — досада и жалоба на обиду. Гордость, эта страшная сила в своем развитии, мучила его так, как мучит человека преступного совесть. Ему стыдно было, что его отталкивали от себя некоторые люди, а как примут его другие — не знал он, и являлось сомнение в своем достоинстве. И все один, некому слова сказать. Заперта в нем эта сила гордости, не разрешенная ни единым откровенным словом, сила жалоб на одиночество, тревога незрелых вопросов и предчувствия темной будущности. Перелом совершался в его жизни, а тяжелы те минуты, когда человек переходит тяжелым шагом из бессознательного юношества, ясного, как майский день, в зрелый, сознательный возраст. Это время дается легко и мирно одним дуракам да счастливым... Он просил смирения и спокойствия, не понимая, что смирение не в его натуре, которая теперь сказала, а спокойствие редко бывает в период его жизни...

Но вот он огляделся, пошел к двери, посмотрел в соседнюю комнату — там никого не было. Лицо его осветилось особым светом; в нем выразилось что-то доброе, смешанное с впечатлениями, только что согнанными... Надежда проливалась в его сердце. Неужели так сильна его натура, что, лишь только возникли в душе вопросы, он сряду же решил их?.. Вернувшись, он запер дверь на ключ, потом остановился в раздумье... Разнообразные впечатления пробежали по лицу его...

— Нет, не могу! — сказал он с тоскою.

Но он сделал усилие, и... как вы думаете, что он стал делать?.. он начал молиться.

Недолго он молился.

Молотов подошел к окну и несколько времени смотрел в него; потом подошел к столу, закрыл глаза и взял наобум книгу.

— Что это? — спросил он сам себя.

— Лермонтов, — сам же и ответил Молотов.

Началось пустое гаданье, которому человек образованный не верит; но кто не испытывал этого любопытства, смешанного с тайным, глубоко зарытым суеверием, которое говорит: «Дай открою, что выйдет!» Егор Иваныч раскрыл книгу... Лицо его покрылось легкой бледностью, и руки задрожали. Он прочитал:

«Несчастье мужиков ничего не значит против несчастья людей, которых преследует судьба».

Он судорожно скомкал книгу, бросил ее на пол и захохотал. Что-то дикое было в его фигуре; странно видеть молодое лицо, искаженное злобой,— неприятно. Он в эту минуту озлобился на поэта, лично на Лермонтова, забывая, что поэт не отвечает за своих героев, что б они ни говорили. Но он почти ни с кем не сообщался в это время, был в положении школьника, отвергнутого своими товарищами, в положении ужасном, при всем сознании правоты своей.

— Несчастье мужиков ничего не значит!.. их судьба не преследует! — говорит он.— Это господин Арбенин сказал!.. большой барин и большой негодяй!.. Черти, черти! — шептал он.— Господи, да с чего я выхожу из себя? Что мне до них?

Однако не скоро улеглась его злость.

Мало-помалу мысль Молотова перешла к тому, о чем писал Негодяшев. Быть может, и справедлива была догадка, что друг, обличая Молотова, высказал свои личные немощи, но за всем тем много резкой правды осталось в письме. При помощи письма недавно возникшие вопросы определились окончательно и с новою силою хлынули в его душу. «Призвание?» — вот вопрос, от которого он не мог отделаться всею силою диалектики. Это слово было так значительно, что не оставило его головы. С полным напряжением мозговой силы работал Егор Иваныч. Врасплох застала его новая задача; и учился он и жил, не думая о будущем. «Ты изучаешь свою старую жизнь и на основе такого изучения хочешь решить вопрос поистине громадного размера» — этого-то с ним и не было. Он раскаивался, зачем не думал о том прежде, зачем проглядел в своей жизни такой важный вопрос; Егор Иваныч не привык к нему, не подготовлен. Всего остается жить в Обросимовке несколько дней, а дальше? дальше виделась какая-то бездна пустоты, безбрежный океан жизни, в котором ничего не рассмотреть. «Господи, твоя воля! —

думал он.— Сегодня или завтра, на этих днях надобно решить задачу, зачем я родился на свет». Ему даже приходило на ум, не остаться ль в Обросимовке еще на месяц; но лишь только Молотов вспоминал, как он «ест много»,— злость закипала с тем большей силой, что он раздражен был душевными вопросами и измучен. «Черти, черти!..» — шептал он. Молиться Егор Иванович не мог, да ему казалось, и некогда молиться. Ужас охватил его страшным холодом, как человека, потерявшего надежду найти дорогу из лесу. «Призвание?» — ох, какая сила в этом слове для того, кто не успел отыскать в нем никакого смысла, а между тем понял все значение его. Многие у нас рождаются как будто взрослыми, сразу поймут, что им надобно делать на свете, и, не спрашивая, что такое жизнь, начинают жить; иные эту безвестность жизни возводят даже в принцип, как Негодяшев; иному скажут папаша и мамаша: «Будь юнкером, чиновником, дипломатом»,— и эти счастливыцы с пяти-шести лет знают, что они должны делать на свете. Егор Иванович был поставлен в иные условия. «О, проклятая, бессознательная, птичья жизнь!» — говорил он и не понимал теперь, как это он жил до сих пор; ему не верилось, что он провел несколько месяцев так безмятежно; представлялось прожитое время какой-то сказкой, лирическим отрывком из давно читанной поэмы, а между тем эта поэма кончилась всего несколько дней назад... От мучительной работы ослабели его твердые нервы... наконец, пусто стало в голове... Так ученый труженик после семи- или осьмичасовой работы архивной, после микроскопического вглядыванья в мелкие факты, цифры и штрихи исторические, в виду огромных, покрытых пылью фолиантов, которые еще предстоит одолеть ему,— наконец опускает обесмыслевший на время взор и не видит ничего в своей тетради, курит сигару и запаху в ней не слышит. Легко сказать: «Я прямо смотрю на жизнь!.. вон она!» — Как же!.. Лишь только жизнь глянула своими широкими, прекрасными и страшными очами, Молотов зажмурился от невыносимого блеску очей ее. Оно в поэзии, в пасторалях и эклогах — так, а на деле невыносимо трудно бывает, если только папаша не сказал: «Ты дипломат» или мамаша: «Ты юнкер»... Наступил покой в душе Молотова, тишина; никакая мысль не шевелится, ничего не хочется, не чувствуется... Сгорбившись, с помутившимся взглядом, с глупым выражением лица смотрит

он в воздух и ничего не видит... Вон трещина на штукатурке стены, и он следит за ее изгибами и сечениями: как будто нос выходит; потом начинает побалтывать ногою и внимательно смотрит на кончик сапога; с чего-то припоминаются слова сказки, говоренной еще отцом: «а Спирия поспиривает, а Сёма посёмаывает»; потом он стал разглядывать ладонь свою, близко поднес ее к лицу и важно и без смыслу глядел на нее; слышит он, как будто волоса шевелятся у него, а по ноге ползут мурашки; все мелкие явления останавливают его утомленную полумысль. Он вздохнул, но это вздох физический, как и спокойствие его — физическое спокойствие, мучительное, мир, от которого избави бог всякого, страдание без борьбы; так охватывает вода человека, так душит его тяжелая перина... Но наконец засидевшееся тело просило, чтобы в нем разбили кровь. Молотов вышел на улицу, пошел через поле, мимо пашни, обогнул кусты у реки, к лесу, оттуда к кладбищу. Спокойствие уже не душило его. Это был простой моцион. Движение и разнообразие предметов занимали его. Вот он у мельницы, на той скамейке, где сиживал с Леночкою. Теперь он едва ли не совершенно спокоен, даже выражение лица его довольно и кротко, взор ясен, мысль блуждает беспредметно. Он стал напевать что-то, как часто напевал сквозь зубы. Возвращались силы и способность к впечатлениям. Надолго ли он успокоился? Не всякому выдаются такие деньки, какие выдались на долю Егора Иваныча, хотя — что такое с ним случилось? ничего особенного. Это большой мальчик капризится, оттого что старшего над ним нет. Будь у него старшие, они, вероятно, объяснили бы Молотову, что ему иначе надобно понимать Обросимовых и иначе вести себя по отношению к ним, но у него не было руководителя, и пришлось все понимать по-своему, так, как бог на душу положит. Предоставьте человека самому себе, и выйдет с ним то же, что с Егором Иванычем: человек будет очень требователен. Хорошо ли это?.. хорошо?

Егор Иваныч занимался с Володей по грамматике.

— Извините, я, кажется, помешала вам, — сказала Лизавета Аркадьевна, входя в комнату Молотова.

— Ничего-с; вот мы и кончили, — ответил он.

— Я к вам с просьбой.

Молотов поклонился.

— Вы не достанете ли мне китайский розан?

— Но где же я могу достать, Лизавета Аркадьевна?

— У Леночки Илличовой есть китайские розаны.

Молотову показалось, что эти слова были сказаны насмешливо, не без задней мысли, но он не доверял себе, потому что потерял способность судить об окружающих его людях беспристрастно.

— Вам бы удобнее самим обратиться к Илличовой,— сказал он.

— Не хочется мне. Кажется, в последнее время вы довольно коротко сошлись с нею.

Молотов покраснел и с недоумением посмотрел на Лизавету Аркадьевну, которая отвечала ему испытующим взглядом.

— Вы так часто проводили с ней время — гуляете, говорите. Но скажите, пожалуйста, какие книги вы посылаете ей? Что читает эта девушка?

— Я давал ей Пушкина,— ответил Молотов неохотно.

— Так вы достанете мне розан?

— Хорошо-с...

— Я надеюсь, что это вам легко будет сделать.

Лизавета Аркадьевна ушла.

«Неужели это намеки? — думал Молотов.— Как это неделикатно с ее стороны!»

Это Молотова беспокоило.

«Еще Леночка!» — подумал он.

— Егор Иваныч,— спросил Володя.

— Что?

— Знаете, какая глупость мне пришла в голову?

— Скажите, Володя.

— Я в воскресенье бегал по саду; мне захотелось стрижа поймать...

— Ну-с...

— Вот я и побежал к вам...

— Ну-с...

— Вы были в беседке с Еленой Ильинишной.

— Ну-с...

— Мне показалось, кто-то целовался.

Молотов покраснел и с досадою сказал:

— Глупости вы говорите, Володенька.

Володя не понял, отчего ему сделали такое строгое

замечание, однако не продолжал истории о стриже. Егору Иванычу неловко было в присутствии этого простодушного и наивного мальчика.

— Я пойду,— сказал Володя.

— Ступайте,— ответил Молотов.

«Как запуталось все! — думал он.— Еще Леночка на моих руках — это дело чем кончится?.. Что, если следят за нами?.. Но никому нет дела до меня; всякий за себя отвечает... Мешаться в дела такого рода нельзя...»

Но никто и не думал мешаться, и напрасно Егор Иваныч беспокоился. Егор Иваныч долго обдумывал что-то.

В шесть часов вечера Молотов отправился в Илличовку. Не доходя до ней, он услышал с берегу знакомый голос:

— Егор Иваныч!

Он вздрогнул. Елена Ильинишна удила рыбу.

— Как хорошо клюет!.. ступайте сюда!

Когда Егор Иваныч спустился к реке, Леночка оставила удочку и пошла к нему навстречу.

— Здравствуйте, Егор Иваныч; что это вы не откликаетесь?

Егор Иваныч подал ей руку и поздоровался.

Леночка, казалось, вполне была счастлива; она смеялась и заглядывала в лицо Молотову. Но вдруг лицо ее приняло озабоченное выражение.

— Что это, Егор Иваныч, вас не узнать совсем... скучный какой!.. Егорушка, что с тобой? — говорила ласково и заботливо Леночка.

Она поправила его волосы и приложила ко лбу свою руку.

— Какая горячая голова!

Она поцеловала его.

— Да ну, Егорушка, перестань; что ты такой сердитый?

В ее голосе слышались слезы.

Егор Иваныч тряхнул головой и повел плечами.

— Ишь какой! — сказала Леночка.— Что дуться-то? муху, что ли, проглотил?

— Ах, Леночка, проглотил!

— Здоров ли ты?

— Здоров.

Оба помолчали.

— Так давно не выдались,— сказала Леночка.— А ты вот какой! а я про тебя все думала.

Они дошли до дому Илличовых и отправились в сад, на дерновую скамейку.

— Ну, что же выдумали вы? — спросил Молотов.

— Ах, какой ты сегодня!.. что выдумала?.. ничего не выдумала..

— Леночка

— Что?

— Хотите, я вам скажу о чем-то.

— Хорошо.

— Что бы вы сказали, когда бы привели к вам кого-нибудь и спросили: дайте этому человеку дело на всю жизнь, но такое, чтобы он был счастлив от него.

— Зачем это вам?

— Нужно.

— Да этого никогда не бывает.

— Бывает.

Леночка задумалась, наклонила голову и затихла. Хорошо выражение лица девушки, когда она занята серьезною мыслью, а Леночка почувствовала женским инстинктом, что ей не пустой вопрос задан. Она, ей-богу, от всей души желала бы разрешить его, но ничего не смыслила тут.

— Не знаю,— сказала она и посмотрела на Молотова — что с ним будет.

Он усмехнулся.

— Вы бы спросили умных людей, если это вам так надобно,— посоветовала Леночка серьезно...

— Умных людей? да они меньше всего смыслят в этом деле. Никто не знает такого дела, да и нет его на свете... Кого занимают такие вопросы? И говорят о них редко и слегка, и то для того, чтобы язык не залежался. А! пустяки всё! — сказал он и махнул рукою.

— Ты, Егорушка, не думай об этом...

Молотов не слышал ее слов. У него поднялись и заходили мысли о будущем. Опять вспыхнула внутри работа...

— Господи,— сказал он в глубоком раздумье,— не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою... выдумать ее, что ли?.. сочинить?.. у умных людей спросить?.. Умные люди оттого и умны, что никогда о таких вещах не говорят...

— Так и мы не будем говорить...

— Нельзя, Леночка...

Леночка слушала его с полным вниманием, раскрывши глаза широко. В ее чудных глазах любовь светилась; ротик ее полуоткрыт; яркий румянец горит на щеке...

— Неужели моя жизнь пропадет даром? Где моя дорога?.. Неужели так я и не нужен никому на свете?

Он крепко задумался. Леночка все смотрела на него, ожидая признаний; но при последних словах Молотова она неожиданно обвила его шею руками и осыпала все лицо поцелуями, крепкими и жаркими, какими еще никогда не целовала его.

— Егор Иваныч!.. душка!.. ты герой!..

Молотов пожал плечами и чуть вслух не сказал: «Душка!.. герой!.. вон куда хватила!..»

Поцелуи не разогрели его, несмотря на то, что Леночка первый раз охватила его так страстно. В ее поцелуях, горячих и бешеных, было что-то серьезное; стан ее выпрямился, она точно больше ростом стала; во всей ее позе была решительность и какая-то женственная смелость и отвага; грудь поднималась медленно и равномерно, и чудно откинула она в сторону свою маленькую ручку... Молотов ничего не заметил. Он смотрел угрюмо в землю...

— Милый мой!.. Егорушка!.. И мне тоже все чего-то хочется... Я перестала понимать себя... боюсь всего... такие странные сны... Я плакала давеча...

— О чем, Леночка?

— И сама не знаю о чем... Но теперь ты стал говорить, и мне так легко, так легко... Я никого на свете не боюсь... я птица!.. полетим, Егорушка!..

— Полетим,— сказал Молотов и засмеялся...

Леночку обидел этот смех...

— Всегда так... зачем чувство охлаждать?..

— Куда же лететь?

— А вот чрез кладбище, за озера, за Волгу.. туда, туда... Ты понесешь меня в объятиях... Пойдем в долину; хижину выстроим... Пусть все меня оставят; я никогда не хочу...

— Леночка, возможно ли это?

— Ах, какой ты несносный!.. я знаю, что нельзя, ведь не дурочка... Для того разве говорят?.. это так. Ведь я люблю тебя, Егорушка...

Молотов засмеялся...

— Ой, как ты громко смеешься!

Леночка замолчала, опустила ресницы вниз; досадные слезы пробивались на ее глазах, она гневно щипала мантилью.

— Господи, чем это все кончится? — вырвалось у Молотова.

— Да о чем же ты горюешь, Егорушка?

Не спросила бы его Леночка с такой любовью, если бы знала, о чем он думает. Молотов от злости стал несправедлив; у него желчь разлилась... Он думал: «„Полетим, Егорушка!..“ ах ты птичка, птичка!.. Полетим!.. „Я сама знаю, что нельзя!..“ Что это я наделал?.. Как так втянулся в эти странные отношения?» Припомнилась ему вся любовь, вся игра в поцелуи,жатие рук и сладкие глазки, припомнились страстные ночи, и досадно ему было, зачем все это случилось. Но, несмотря на все это, он как-то невольно тянул время последнего свидания. «Надобно покончить,— думал он,— сказать ей...», а сам все сидел, и не хотелось ему уйти так скоро...

— Егорушка, да что ты такой скучный?.. что с тобой сделалось?..

Егор Иванович не отвечал; он думал: «Ах вы божьи ласточки!.. Господи, как все это сделалось? Неужели наши отношения кладут на меня серьезные нравственные обязательства?.. Что нас связало? несколько поцелуев, бог знает каким образом полученных. Я и сам не знаю, что такое у нас вышло. Во всяком случае, один исход — расстаться».

— Егорушка,— говорила Леночка...

«Допрашивается! — думал Молотов.— Но, быть может, я напрасно беспокоюсь; вероятно, кончится все просто...»

Леночка опять обняла Молотова. Ему сделалось невыносимо.

— Елена Ильинишна,— сказал он серьезно...

— Что?

— Нам пора объясниться...

У Леночки сжалось сердце. Она предчувствовала какое-то горе; никогда Егор Иванович не говорил так с нею.

— Разве мы не объяснялись? — спросила она...

— Нет, не объяснялись; все у нас было, кроме объяснений.

— Ну, скажите,— ответила Леночка, боязливо глядя на собеседника.

— Вы меня любите?

Леночка хотела обнять его. Он уклонился.

— Я вас очень люблю...

— Но, разумеется, можете привыкнуть к той мысли, что мы не всегда будем поддерживать наши отношения.

— К чему же об этом говорить?

— Подумайте, пожалуйста, и выскажитесь откровенно.

Ей никогда не приходил такой вопрос на ум, и она с замешательством отвечала:

— Да, я вас люблю

— Простите же меня, Елена Ильинишна, я вам не могу отвечать тем же.

Леночка взглянула на него испуганным взглядом и вскрикнула. Болезненно отозвался этот крик в душе Молотова «Вот она так любила!» подумал он.

— Елена Ильинишна, кто же виноват? кто виноват? Вы должны помнить, что не я первый...— Молотов оборвался на полуфразе, потому что невольно почувствовал угрызение совести. «Что ж такое, что не я первый», — шевельнулось у него в душе, и он кончил иначе, нежели начал:

— Боже мой, что же это на меня напало!..

Он страдал. Леночка смотрела все молча и испуганно. Лицо ее было бледно; сердце сжалось и ныло страшно, рука ее как лежала на плече Молотова, так и осталась, и Молотов слышал, как рука ее дрожала слегка. «Зачем же она любила?» — думал Молотов со страхом.

— Что ж это, Егор Иваныч, разве можно так?.. вы говорили, что будете любить...

— Нет, Елена Ильинишна,— проговорил он с усилием, я никогда этого не говорил... припомните, пожалуйста... я и сам не понимаю, как все это случилось...

Леночка не возражала.

— Ведь это пройдет; вы меня не сильно любите...

Леночка заплакала.

— Этого еще не доставало,— прошептал Молотов.

Послышалось всхлипывание и тихое, ровное, мучительное рыдание; запрется в груди звук, надтреснет, переломится и разрешится долгой нотой плача; слезы капались градом... Прислушиваясь к ее плачу, Егор Иваныч невольно вспомнил ночь, когда видел «до гроба верную и любящую...».

— Вон из чего слагается горе человеческое,— про-

шепта^л он, — плачет она, бедная!.. что же я-то могу сделать?

— Никому мы не нужны... кому любить таких?..

Она зарыдала сильнее.

Молотов сидел ополоумевши. Последние слова задавили его. Мучительные минуты одна за другою еле ползли. Он слышал, как в висках его стучало... Наконец Леночка стихла.

— Кого же вы полюбили? — спросила она.

— Никого, Елена Ильинишна...

— Вы не хотите сказать... не бойтесь...

— Уверяю вас, никого не полюбил...

— Что же это? — спросила она с изумлением.

— Ах, как тяжело мне, — сказал Молотов...

Долго они сидели молча. Вечернее солнце уходило за лес, и листья сада зыблились и блестели красноватым светом. Мелкая птица кончала свои песни. Тени ложились углами и квадратами. Бледный серп месяца уже глядел с неба. Ласточки, вылетая из-под крыш, трепетали в воздухе, летели на реку, омакивали крыльями в воду и опять неслись с визгом... Кто не знает, что в птичьей песне нет человеческого смысла? но кто не отыскивает в ней смысла? И Егору Иванычу казалось, что птицы его дразнят. Зяблик все одну и ту же руладу повторяет... отчего?.. оттого, что одну только и знает... Не всегда бывает так тяжело расставанье для истинно любящего, как оно было тяжело для Молотова. «Итак, ко всем несчастьям еще подлость? — думал он. — Ты не должен был целовать ее, если впереди не видел ничего серьезного. Но кто же мог все это предвидеть? Бедная, бедная Леночка! как она плачет!.. как ей тяжело!..»

— Леночка, — сказал он, взял ее руки и крепко поцеловал их. — Леночка, простите меня... все это пройдет как-нибудь... не горюйте... не сердитесь на меня... скажите, что вы вспомните меня добрым словом...

Леночка опять заплакала... Она как будто предчувствовала, что в ней чего-то нет, за что любят других женщин, что ее полюбили так, нечаянно, по ошибке и теперь, так поздно, хотят поправить ошибку. И уже в ее слезах слышалась не только жалоба о потерянном счастье, но и жалоба на обиду, недоверие к себе... Между тем Молотов думал: «Ничем нельзя оправдаться: я подло поступил, подло!»

Он вслушивался в это новое для него слово, как че-

ловец, который вслушивается в только что родившуюся и начинающую расти мысль. Вот он что-то очень ясно понял и усвоил, так что это выразилось во всей его фигуре, и он прищурил глаза от внутренней боли. «Подлость? ну так что ж такое? — думал он.— С новым чувством познакомился. Опыты обходятся нелегко, ничего даром не узнаешь. Зато теперь вполне человек!» Ему противно стало от такого направления мыслей: «Но кому какое дело? — думал он.— Всякий сам за себя отвечает, а тут иначе и быть не могло». Ему хотелось остановить в себе это мучительное брожение мыслей.

— Елена Ильинишна, нам проститься надобно.

Она не отвечала.

— Не плачьте, Елена Ильинишна; простите меня.

— Егорушка, меня никто больше любить не будет.

Она бросилась к нему на грудь, обняла, поцеловала его. Рыдания ее надрывали душу Молотову... Жутко ему стало... слеза прошибла, и он с чувством отвечал на ее поцелуи... Жаль, невыносимо жаль стало ему этой бедной девушки... глупенькой, кисейной девушки... Она так жить хотела, так любить хотела и доживала последнюю лучшую минуту жизни. Впереди ее пошлость, позади тоже пошлость. Ясное дело, что она выйдет замуж, и, быть может, еще бить ее будут... Теперь она могла бы воскреснуть и развиться, но... суждено уже так, что из нее выйдет не человек-женщина, а баба-женщина. Молотов чувствовал это. Страшно ему было за Леночку. «Пропадет она!» — думал он.

— Леночка, прости меня,— шептал он...

— Я знаю, отчего ты не можешь любить меня...

Молотов целовал ее руки и сам не знал, что с ним творилось. Он сознавал, что не имеет любви к ней, но Леночка была дорога ему... не как сестра, не как друг... а за то, что она любила его... Никому и дела не было до него, а она?

— Я знаю,— повторила Леночка,— ты не можешь любить меня, потому что я глупенькая...

Молотов невольно закрыл лицо руками...

— Тебе жалко меня, потому что ты добрый.

— Боже мой!..— проговорил Молотов, и по какому-то инстинкту он прибавил: — Так женщины не говорят.

— Нас много таких девушек,— говорила Леночка,— но, Егорушка, и такие, как Лизавета Аркадьевна, не лучше нас.

— Леночка, ты ревнуешь?.. Я не могу ее любить... я уезжаю отсюда... я ненавижу их... Эти аристократы обидели, обругали меня...

Молотов, будучи рад, что нашел человека, пред которым мог высказаться, вполне открыл свою душу. Он рассказал Леночке все, что он пережил в последние дни, и как подслушал разговор Обросимовых, и что он думал, как помещик помочь ему хотел, как гадал он по Лермонтову, и о письме друга своего, и как страшна для него будущность — все, все, точно Леночка подругой его стала... Она слушала его с увлечением, положив на его плечо свою хорошенькую головку. Тогда она не сказала ему свое оригинальное: «Да этого не бывает...»

— Я их не люблю,— сказала она горячо...

Молотов поцеловал ее, но это был не страстный, а добрый поцелуй.

— Бог с ними,— сказал он...

— Никогда их не буду любить... Я тебя люблю; я не сержусь на тебя.

Они расстались добрыми друзьями, но Леночка всю ночь проплакала и все понять не могла, «отчего же нас любить нельзя?.. отчего?». Прошли для нее хорошие, добрые дни; но ей было жалко не только добрых дней, тихих вечеров и ясных поцелуев,— она чувствовала какую-то особенную горечь на сердце и все спрашивала: «Отчего же нас любить нельзя?» У нас немало встречается таких женщин, как Леночка, и многие увлекаются их щечками, щечки целуют, и хорошо, если останавливаются только на том, на чем остановился Молотов... Иначе для них невозможна будет и бабья карьера. Что тогда?.. Молотову пришло в тот день на ум: «Обросимов не хочет меня признать полным человеком, как сам он, а я Леночку не хотел признать полной женщиной. Но дело сделано, теперь не воротишь!» Однако и Молотов эту ночь провел беспокойно, несмотря на то, что в тот день измучился и физически и нравственно.

Егор Иваныч немало услышал добрых пожеланий от Обросимовых, когда они узнали, что он едет на службу по приглашению приятеля. Все были к нему внимательны, ласковы, добры. Вот уже в зале накрыт стол белой салфеткой, раскинут огромный дорогой ковер, из спаль-

ной комнаты принесена большая икона, свечи зажжены. Аркадий Иваныч настоял, чтобы отслужили напутственный молебен. Пришли священник и дьячок. Во время обряда, от которого Молотов хотел было уклониться, его посетили кротость и смирение. Ему представилось, что он, быть может, никогда не встретится с этими людьми, а после этого ему казалось дико и нелогично сердиться на них. Тогда возникло на душе его то чувство, которое создало афоризм: «О мертвых либо ничего, либо хорошо». «Все это прошло,— думал он,— а на прошедшее нечего сердиться. Все мертвое, все прошлое, все, что больше не встретится в жизни нашей,— не возбуждает злости».

— Ну, дай вам бог счастья на новом поприще,— сказал Обросимов,— не забывайте нас...

— Желаем вам всего хорошего; мы вас любили,— сказала Марья Павловна,— пусть все вас так любят. Лизавета Аркадьевна подала ему руку.

— Прощайте, Егор Иваныч,— сказал Володя.

Молотов поцеловал его в голову...

Прислуга толпилась и тоже кланялась Молотову и от души желала ему всего хорошего.

Его провожали, как родного, и умилительна была эта картина, когда чужому человеку чужие люди желали всего хорошего. Ведь это редко бывает.

Но не выдумывать же автору несуществующих пока примирений! Егор Иваныч все-таки ненавидел их, хотя и говорил: «О мертвых либо ничего, либо хорошо». — «Так где же счастье? — спросит читатель. — В заглавии счастье обещано?» Оно, читатели, впереди. Счастье всегда впереди — это закон природы.

МОЛОТОВ

П о в е с т ь

О сень глубокая. На Екатерининском канале стоит громадный дом старинной постройки. Он выходит своими фронтонами на две улицы. Из пяти его этажей на длинный проходной двор смотрит множество окон. Барство заняло средние этажи — окна на улицу; порядочное чиновничество — средние этажи — окна на двор; из нижних этажей на двор глядят мастерские разного рода — шляпники, медники, квасовары, столяры, бочары и тому подобный люд; из нижних этажей на улицу купечество выставило свое тучное чрево; ближе к нему, под крышами, живет бедность — вдовы, мещане, мелкие чиновники, студенты, а ближе к земле, в подвалах флигелей, вдали от света божьего, гнездится сволочь всякого рода, отребье общества, та одичавшая, беспашпортная, бесшабашная часть человечества, которая вечно враждует со всеми людьми, имеющими какую-нибудь собственность, окрадывает их, мошенничает; это отребье сносится с днищем всего Петербурга — с знаменитыми домами Сенной площади. Так и в большей части Петербурга: отребье и чернорабочая бедность на дне столицы, на них основался достаток, а чистенькая бедность под самым небом. В этом доме сразу совершается шесть тысяч жизней. Он представляется громадным каменным брюхом, ежедневно поглощающим множество припасов всякого рода; одни нижние этажи потребляют до осьми телег молока, огромное количество хлеба, квасу, капусты, луку и водки. На дворе беспрестанно раздаются голоса и гул, слышен колокольный звон к обедне, стук и гром колес по мостовой, в аптеке ступа толчет, внизу куют, режут, точат и пилят, бьют тяжко молотом по дереву, по камню, по железу; кричат разносчики, кричат старцы о построении храмов господних, менестрели и трюверы

нашего времени вертят шарманки, дуют в дудки, бьют в бубны и металлические треугольники; танцуют собаки, ломаются обезьяны и люди, полишинеля черт уносит в ад; приводят морских свинок, тюленя или барсука; все зычным голосом, резкой позой, жалкой рожой силится обратить на себя внимание людское и заработать грош; а франты летят по мостовой, а ступа толчет в аптеке, и тяжело-тяжко бьет молот по дереву, по камню, по железу.

Вечер. Тридцать минут седьмого.

В том же громадном доме, в среднем этаже, есть квартира на улицу окнами, которую занимает семья чиновника Игната Васильича Дорогова. Вся семья приютилась около круглого стола в небольшой комнате, освещенной стеарином. Направо сидит женщина лет сорока в чепце безукоризненной белизны, с лицом умным, моложавым и серьезным — это мать семейства, Анна Андреевна Дорогова; налево супруг ее — читает газету; старшая дочь Надя, девушка лет двадцати, вышивает; в то же время, под ее руководством, меньшая сестра занялась азбукою; здесь же приютился и гимназист с латинской грамматикой; два младших брата играют в медные солдатики; самый меньшой спит в люльке... Тихо... Всякий занят своим делом; изредка перекидываются незначительными фразами, которые для всех нас заготавливает повседневная жизнь. Слышен шелест газеты, треск в комнате, шорох платья, монотонные складки, тихий смех и разговор играющих детей, шелканье маятника и удары люльки... Уединилась эта жизнь, и глухо, точно из другого царства, пробивается сквозь двойные рамы шум и грохот городской. Таких тихих вечеров много бывает в этой семейной жизни, и мало слов говорится в те вечера. И зачем слова? Откуда взять материал для речей? У всякого возникает своя мысль, возникают и зреют думы и мечты, воспоминания и образы. Игла матери пробирается по краю платка, из-под ноги раздаются удары колыбели, сбоку складки дочери, а мысль ее летит по всему пространству прожитой жизни и хочет заглянуть в будущую. В душе девушки развиваются фантазии и воздушные замки, обдумывание разных планов и секретов, воспоминание домашней и институтской жизни. Многие женщины любят рукоделье, потому что во время его остается полная свобода для незанятой мысли. Эта семей-

ная группа в настоящую минуту полна смысла и мирного счастья, а между тем тут нет душевной тревоги, страстей, насильственных острот и фраз. Когда во всем Петербурге окна запираются двойными рамами, тогда в низших слоях среднего сословия начинается домашняя, комнатная, запертая в кружки жизнь, и в это время многих манило в светлые, чистые, тихие комнаты Дороговых, потому что зимой скучно и всякий ищет случая приютиться к чужому мирному гнезду. Такого гнезда ищут все бездетные и бес-семейные; часто холостяк, одуревший в уединении или разгуле, заходит в те дома, где горит тихая жизнь, хотя бы для того только, чтобы без дела и развлечения, а просто так, сложа руки, посидеть за семейным круглым столом. Иной и отец семейства бежит опрометью из своего дома, потому что там дети плачут, у жены зубы болят, прислуга расчета просит. А вот и бедненько одетый чиновник заглянул случайно в светлую комнату, и у него от зависти навернулись слезы на глазах. «Вот как живут-то!» — думает он. Но бедняк не знает, как трудно вырабатывается и добывается эта мирная жизнь. Если бы предложить ему, чтобы он прошел весь путь, после которого достигается такая жизнь, он, вероятно, махнув рукой, сказал бы: «Нет, трудно!» — и поплел бы опять горемычную жизнь, подумав про себя: «О господи боже, где бы денег украсть на честный манер, так чтобы можно было жить среди честных людей!»

Да, не сразу устроилась эта жизнь; лет сто, целый век должен был пройти прежде, нежели создалась эта мирная семейная группа, которую мы видим в светлой, уютной комнате за круглым столом. Лет сто назад, когда еще не было громадного дома старинной постройки, жили в Петербурге старик со старухой. Старик шил дрянные сапоги, а старуха пекла дрянные пироги, и такими трудами праведными они поддерживали с бедой пополам свою дрянную жизнь. Но дочь их Мавра была умна, хороша, выучилась грамоте, читала историю и псалтырь, Четьи-Минею и сонник, Бову и новейший песенник. Скоро случилось, что она осталась круглой сиротою, без состояния, без покровителей. На помощь явился Чижииков, мелкий-мелкий чиновник; ему понравилась Мавра Матвеевна, и он женился на ней. Тогда-то обнаружались ее таланты. Уже в медовый месяц началась ее трудовая жизнь; вставала она в четвертом часу, ложилась в одиннадцать, стряпала, стирала, шила, мыла, а потом, когда благословил ее бог, нянчила детей — все сама. Научилась

она бабничать, знакома была с мелкими торговками, умела все купить по крайне дешевой цене. При всех недостатках, Мавра Матвеевна с изумительным тактом сводила концы с концами и даже откладывала кое-какие гроши в запас, не на черный день, а, как мечтала она, на светлый. Жизнь ее день ото дня становилась светлее. В квартире Чижикова незаметно стали являться довольство и приличие, которых до того он не знал. Он, личность незначительная, смиренная, жившая до сих пор впроголодь, сразу подпал влиянию своей жены, что вышло для его же пользы. Он чувствовал себя хорошо и спокойно, не мог нарадоваться на свою хозяйку, на бедно, но чистенько одетых детей. Однако Мавра Матвеевна предоставила мужу не одно наслаждение жизнью; она доставала ему переписку нот и бумаг, по ее настоянию он выучился делать конверты, коробочки, вырезать из алебаstra зайцев с качающимися головами, лепить из воску мышей, кошек и медведей. Гордость маленького чиновника сначала оскорблялась подобными занятиями; но когда под руками жены мыши и коробки превратились в рубли и полтинники, а рубли и полтинники вносили достаток в его семью, он подавил в себе гордость и удвоил рвение к занятиям всякого рода. Между тем бог благословил Мавру Матвеевну — у ней было много детей. Когда знакомые по этому поводу соболезновали ей, она отвечала: «Хоть еще столько!» Так и вышло. Увеличение семьи составляет для иных несчастье, а здесь оно повело к лучшему. Деятельный дух матери перешел и к детям; они с первого молоду привыкали к хозяйству; шестнадцатилетняя дочь Анна заправляла всем домом. Тогда Мавре Матвеевне стало удобнее отлучаться от семьи; она появлялась на всех аукционах, во многих домах бабничала, доставала детям работу из хороших магазинов, и таким образом, многотрудным рачением в продолжение двадцати с лишком лет, Мавра Матвеевна единственно своим умом и энергиею сумела вывести семью из тяжелой, одурающей бедности. Наконец она почти руками могла ощущать ту мечту, которая когда-то представлялась ей так далека и недостижима, для которой много ночей не спала ее большая семья за срочной работой. У ней составилась порядочный капиталец. Тогда совершился переворот в ее жизни; алебастровые зайцы, конверты, собственноручное мытье полов и тому подобные чернорабочие промыслы и занятия были изгнаны из семьи, оставлена старая квартира, брошено знакомство с мелкими торговками.

В новом месте, на Песках, отрешившись от чернорабочей жизни, она стала полною чиновницею, в чепце с желтыми разводами, в салопе с длинной пелериной и с огромным зонтом в дождливую погоду. Муж ее достиг столоначальнического термина, и стали его посещать столоначальники, их помощники, архивариусы, экспедиторы, контролеры. Они мало-помалу прививались к древу Мавры Матвеевны, вступая в брак с дочерьми ее. А сама Мавра Матвеевна еще в большой силе; когда дочь ее Анна родила сына, тогда она родила себе еще дочь, другую Анну — это было последнее и самое любимое ее дитя, рожденное в светлой комнате и положенное в кружевные пеленки, это и была Анна Андреевна Дорогова. И вот поколение Мавры Матвеевны стало расти шире и шире, получая в наследство ее деятельный и практический дух. От нее-то и произошли Бирюковы, Касимовы, Дороговы, Рогожниковы, Ильинские, Бенедиктовы, Череванины; по крайней мере, ее духом связались воедино. Тогда Мавра Матвеевна, по ее понятию, достигла возможного счастья. Образовалась целая порода чиновников, особая корпорация, члены которой служили в бесчисленных присутственных местах столицы. По родственной связи поддерживая друг друга, они всегда давали знать своим о вновь открывшейся вакансии, за своих горой стояли, добывали протекцию, и таким образом поколение, созданное Маврою Матвеевною, проработывало себе карьеру во всех сферах чиновного царства. Многие тогда знали Мавру Матвеевну, и маленький чиновник считал за особое счастье попасть в ее кружок. Чтобы представить себе такое счастье, надобно отрешиться от обыкновенного понимания карьеры, с которым соединяются генеральские чины, многотысячные капиталы, внушающие звезды, аристократические жены, поместья — все, что добывается в высших сферах бытия, где и поклоняются высшим богам и богиням. Есть другого рода карьеры, не поднимающиеся выше столоначальнического термина, так что этот термин, как путеводная звезда, блестит для юноши где-то далеко, в глубокой старости. В этой-то сфере Мавра Матвеевна занимала высшее место, распоряжаясь силами многих душ чиновных. Так она приобрела в своем кругу значение и вес, которые успела упрочить и за детьми своими. На шестидесятом году она лишилась мужа, оделась в черное, оставила все дела, читала духовные книги и знала пол-Библии на память; часто можно было видеть, как она оделяла нищую братию грошами и копеечками, приговаривая: «поминайте

раба божия Андрея...» На осьмидесятом году она купила себе место на Волковом кладбище подле могилы мужа, «абонировалась», как выразился тогда один из ее внуков, обнесла место палисадником, насадила клену, малины и сирени. А поколение ее разрослось до осьмидесяти человек. Очень стара она была в то время; под чепцом ее все побелело; морщины на лице, на руках, на шее превратились в трещины; она сгорбилась; память ее отказывалась от сегодняшнего дня, хотя все случившееся давно старуха рассказывала с изумительными подробностями, повторяя одно и то же несколько раз, всегда одними словами и в том же порядке. Ее жити́я было девяносто один год, и похоронена она, как завещала, среди малины и сирени.

По мужской линии род Дороговых восходит до времен Анны Иоанновны. Первые известия о них сохранились в документе, который оставлен прапрадедом потомству, под именем: «Памятник событий», так что лет через тысячу род Дороговых будет очень древний. Из памятника мы узнаем, что прадед Дорогова был придворным коиухом, служил под начальством Волынского, который однажды пожаловал его сотней рублей, в другой раз — шубой, а однажды ни за что отодрал кошками; дед был приказным, а отец уже чиновником назывался; наконец в лице Игната Васильича древняя кровь окончательно очистилась и возвысилась. Таким образом, поколения прабабушки-мещанки и прадеда-коиуха слились воедино и так переродились, что теперь невозможно и подозревать, что предки их некогда стояли на такой низкой общественной ступени. Таковы исторические судьбы!

Во всякой черной работе есть идея, стремление осуществить в жизни свое желание, завести такой порядок, какой хочется, заставить судьбу совершать те события, которые нам нужны. Мавра Матвеевна народила много детей и при их пособии забрала судьбу в руки. Надо же наконец было воспользоваться ею. Чего хотели эти люди? Они из сил бились-выбивались, чтобы заработать себе благосостояние, которое состояло не в чем ином, как в спокойном порядке, с расчетом совершающемся существовании, похожем на отдых после большого труда, так чтобы можно было совершать обряд жизни сытно, опрятно, честно и с сознанием своего достоинства. Такой идеал у них определялся словами «жить как люди». Они справедливо думали, что до сих пор только работали, а не жили. Теперь отдых настал, и, естественно, им казалось, что

самое блаженное состояние на земле — это вечно отдыхать, чувствуя ежедневное спокойствие и упрочивая это спокойствие на завтрашний день. Больше ничего. Но семье все-таки поздно было начинать жизнь снова: много лет ушло, сил потрачено, горя помнилось; оставалась на сердце обида на двадцать лет трудной жизни; поневоле хотелось отведать на ком-нибудь из своих того идеала, который им был так любезен, прочувствовать день за днем, какое есть на свете существование хорошее, и вот вся страсть к жизни нашла исход, окончательно заверченный при появлении Аннушки, к дню рождения которой отец, мать, братья и сестры доработались своего благосостояния. Все заботы семьи выпали на долю последнего дитяти; все любили это дитя, наперерыв ухаживали за ним. Трудно представить себе то довольство, то бесконечное наслаждение, какое ощущали они, глядя на дитя в кружевных пеленках на руках здоровой и красивой няньки, дитя, начинающее жить так, как им хотелось. «Так бы и нам расти нужно было!» — думали они. Жизнь этого ребенка была произведением многих рук, непокладно работавших двадцать лет, потому он и был гордостью семьи. «Что-то будет?» — думали они, и ни на минуту не закрадывалось в их сердце сомнение, что Аннушка, быть может, не оправдает их надежд. Они не имели случая разувериться в ней. Когда Аннушка стала понимать, ей родные рассказали, что она сейчас же может начать благоденствовать, что они много трудились для нее и всё приготовили; рассказали, как они бедствовали, терпели нужду, не спали ночи над срочной работой, копили деньги; они дали понять ей, какая страшная сила в деньгах, и показали ей много денег. Они говорили, какая у них была квартира, каким пьяным, грязным, воровым соседством они бывали окружены, какое у них было знакомство, и при этом обнаруживали искреннюю радость, что она ничего подобного не испытает. Прежний быт казался Аннушке противным и тягостным; в то же время она чувствовала, что недавно еще все успокоилось после долгого выбиванья на свет божий, и убедилась, что цель достигнута, дальше некуда стремиться, до предела дошли. У ней под влиянием таких условий выработался склад души вполне ясный, определенный, удовлетворенный. Она любила своих родных, свое хозяйство, свое благосостояние. День за днем проходили ее девственные годы, без порывов из замкнутого около ее круга. Все шло у ней регулярно, чинно, благонравно; репутация ее была

в высшей степени безукоризненна. В таких девушках предвидятся отличные хозяйки. Она желала себе всего того, чего ей другие желали. Отсюда не следует, что у нее не было своего ума и своей воли; напротив, она была умна и настойчива, но ее ум и воля вполне совпадали с целями старших; она сама хотела всего того, что с ней случалось. Насилия не было. В ее натуре не было нравственной потребности сделать попытку — взглянуть за пределы семейного мира. Она родилась в такой положительный час, когда завершался результат долгой работы целого поколения, результат, которым осталось ей только воспользоваться. В ней воплотился идеал поколения, и вот к таким-то личностям невозможно относиться обличительно, представляя их ограниченный кругозор; нельзя досадовать, видя их спокойные лица, выражающие откровенное нежелание идти вперед. «Довольно!.. для нас лучшего не надо!» — написано на их красивых, дышащих счастьем лицах. Невольно соглашаешься, что такое спокойствие вполне законно, точно чувствуется, что жизнь и природа, долго работая в этом уголку сословия, хотели достигнуть пока ближайшей цели, достигли, сложили руки и отдыхают. Напрасно говорить Аннушке, что есть жизнь более полная и широкая, хотя часто сопровождаемая душевными муками и не так обеспеченная, — она ничего не поймет и ничему не поверит. Если же на минуту и возникнут в душе ее сомнения, она спросит мамашу, сестер, и те легко и ясно докажут ей, что нет счастья выше их счастья — сытного и спокойного, регулярно каждый день справляемого. Впрочем, на ее долю не выпало и случаев таких, которые заставили бы ее развиться в ином направлении. Книги ей попадались большею частью такие, которым нельзя было верить, — либо очевидно лгали, описывая то, чего нет на свете, — либо такие, которых она не понимала. Правда, она читала и лучших поэтов, но и они не расшевелили ее: в книгах она не нашла ничего похожего на свою жизнь, что отчасти случилось и с дочерью ее Надей, хотя у последней имело совершенно иной исход. Книги развили ее вкус и научили говорить хорошо. Не много она получила и от пансионного воспитания. Наконец, в кругу этой девушки не было тех образованных молодых и горячих на слово людей, которые могли бы увлечь ее, — все чиновники, чиновники и чиновники, ох, как много чиновников! Да и явись самый увлекательный мужчина и позови Аннушку на

нную жизнь, она, прислушавшись чутко к новым речам, увлеклась бы на несколько минут, а потом опять точно ничего не слыхала, ничего не узнала. Вот это-то и называется цельною натурою. Она всегда прилична, достаточно благочестива, старшим покорна, к хозяйству прилежна. Но полной женщиной она сказала во время замужества; тогда в ее характере развились новые стороны, которые в девушке лежали пока в зародыше.

Брак Анны Андреевны состоялся после семейного совета, в котором и она принимала участие. Когда обсудили со всех сторон дело и нашли, что Дорогов — отличная партия, она сказала матери и сестрам: «я согласна», заплакала, но тотчас же почувствовала влечение к Игнату Васильичу, который, надо сказать, был молод и недурен собою. Она по чистой совести в церкви сказала — «да».

Анна Андреевна незаметно сделалась царицей домашней жизни, хотя это было для нее труднее, нежели для ее сестер, которые уже в медовый месяц обозначались полными домовладычицами, чему мужа и покорялись после легкой борьбы. Но знаете ли, каков был некогда ее муж, да и теперь остался отчасти? Он, как большинство, думал смолodu, что холостая жизнь есть самая лучшая жизнь не только потому, что она удобна для разгула и частой перемены любовного продукта, а и потому, что пока человек не женат, он никого не знает и знать никого не хочет, не стеснен никем, ни о ком не заботится, никого не кормит, все деньги идут на его одного; несчастлив, так один несчастлив, — никто, кроме тебя, не тяготится, никто вместе с тобою не плачется на судьбу; а счастье посетило, так возьми первого встречного на улице — всякий с охотою разделит счастье. Не слышите ли чего знакомого в этой системе, по которой нам горько делить с ближним даже несчастье, потому что с какой стати будут вторгаться в мою душу посторонние люди? Этой системы смолodu держался и Игнат Васильич. Он женился бы в свое время, лет под сорок, когда бы понадобилась хозяйка, сиделка, стряпуха, когда нельзя ожидать большого плодородия, а следовательно, и больших расходов и забот по любовному делу. Так рассуждают самцы; такая система — дело расчета, коммерческий оборот. Но подошли же и сложились обстоятельства иначе. Игнат Васильич, — он до сих пор не понимает, как это с ним случилось, — страстно полюбил Анну Андреевну и до того запутался в этом деле, что увлекся и позволил себе жениться в молодых годах, на двадцать

осьмом году жизни. Когда прошел первый пыл увлечения, он стал раскаиваться; когда же молодая, горячая страсть совершенно остывала и должна была превратиться в тихую, ровную и прочную любовь семьянина, он просто сбесился и начал так кутить, что едва его не выгнали со службы. В это время он немного образумился. Между тем во время беспутной жизни мужа зрел характер Анны Андреевны. Будучи мещанского рода, она много сохранила в памяти рассказов о страшно изломанной семейной жизни, о деспотизме и полноправии мужей, о пьянстве их, домашней бедности и неисходном семейном горе. Анна Андреевна дрожала и бледнела от одной мысли, что и она может испытать такие же бедствия, она уже видела приближение их, и в голове ее проходили отвратительные картины разрушенного хозяйства, невоспитанные, быть может ворующие на улице дети, и в то же время она очень хорошо знала, что нет на свете власти между мужем и женою, жаловаться некому, судиться негде, что муж и жена так связаны между собою, что всякое наказание ему служит наказанием и ей, и детям, и всему будущему ее поколению. Она в ужасе падала перед иконою божией матери, и рыдала, и молилась. Бессонные ночи и полусонные дни летели чередой, но не было помощи ниоткуда. В один день она почувствовала, под сердцем ее что-то живет,— то была Надя; она сознала в себе силы и решилась бороться с мужем без слез и жалоб, требовать, тогда как до сих пор она только плакала, худела и умоляла мужа. Тогда ей жизнь дала новый урок. Игнат Васильич был страшно упрям и крепколюб. С ним трудно вести открытую войну; у него как-то особенно строились убеждения, организация их была оригинальна. Он, знаете ли, охотник и порассуждать, но, ради бога, не доказывайте ему ничего, не надейтесь приобрести в лице его адепта вашего учения, коль скоро заметите, что он с вами не сходится,— даром потеряете время. Лучше предоставить его самому себе: быть может, и догадается как-нибудь и сам дойдет до вашей мысли. Он долго слушает, запоминает слова ваши, соображает, и бровями поведет, и нос пальцем подопрет; он, по-видимому, увлекается, но под конец все-таки скажет неожиданно: «Да нет... все это не то... я не думаю так». — «Отчего?» Ответ старый. Трудно своротить Игната Васильича, потому, что своя мысль сильно врастает в его крепкую голову. Кто знает этого человека, тот не любит с ним

много говорить, а прямо приглашает к зеленому столу. При этом упорном характере в нем были развиты дикие инстинкты. Он смеялся над любовью, несмотря на то, что женился по любви. Этот мормонист по натуре имел некоторые и служебные неподвижные истины. Он некоторых начальников глубоко ненавидел, но ни разу не подвел их, хотя и имел к тому много случаев; службу он считал священнейшим долгом своим, хотя одно время, увлекшись разгулом, едва не лишился места; человека выгнанного, даже напрасно, он презирал; формалист был страшный, смешивал самым искренним образом службу делу со службою лицу; исполнительность и безгласное повиновение считал едва ли не выше самого знания дела. Вот этого-то господина — произведение департаментской фауны — пришлось укрощать Анне Андреевне. Она решилась твердо предъявить свои права. Прежде при слезах и упрасиваньях жены молодой супруг только охал да хмурился, выжидая первого повода уйти из дому; но когда она стала требовать от него порядочной жизни как долга, упрекала его, напомнила брачные клятвы, Игнат Васильич вышел из себя, обругал жену, надел пальто и шляпу и, на се же глазах положив в портмоне двести рублей, скрылся из дому на неделю. Анна Андреевна едва не захворала; но у ней был организм железный, и она перемогла обиду. Она поняла, что за человек был Игнат Васильич; попытка наступить на мужа прямо — была с ее стороны первая и последняя. Она нашлась наконец. С того времени муж редко видал ее недовольною. Родилась у них дочь — это несколько привязало Дорогова к дому, а между тем в ображении Анны Андреевны быстро развернулась целая система действий относительно мужа, влияние которой он и испытал на себе. Успех жены был полный, так что мы видим в Игнате Васильиче мирного семьянина, который изредка только отзывается по-старому холостяком, и то в слабой степени и в другом направлении. Анна Андреевна оказалась и умнее и сильнее своего мужа. Она незаметно сделалась полной царицей домашней жизни; ее планы, ее мечты осуществлялись, а муж должен был ступаться. Где же она нашла силы? Это женский секрет. Она принялась ткать дивную ткань тонкими шелками по канве семейной жизни, долго и усидчиво. С грубой силой, с незаконным правом вступил в тайную, подземную борьбу ум женский — изобретательный и изворотливый, гибкий и терпеливо выжидательный. Дорогов не замечал, как подводили

подкопы под его убеждения, перевоспитывали его, перестряпывали, отняли у него прежний характер и дали ему совершенно иной. Он не подозревал, что, при всех поцелуях, при всей любви к нему, Анна Андреевна ни разу в продолжении двадцати двух лет не была вполне откровенна с ним, изучает все его слабые стороны, знает, что и когда может иметь на него влияние. Здесь требовалась работа мелкая, а Анна Андреевна любила заниматься узорами. У ней для того и времени много; муж на службе, а жена сидит за шитьем; голова ее свободна; она многое передумает, все рассчитает, взвесит и предусмотрит. Под полным влиянием Анны Андреевны дети и прислуга; она искусно делает их орудием своих целей: дети всегда хотят того, чего она хочет, ласкаются к отцу, готовят его, просят. Она сумела заставить детей любить отца, угождать ему, а через это отца привязаться к ним. У самой у ней были дорогие для житейской практики свойства. Она, несмотря ни на какое расположение духа, могла держать себя ровно и прилично. Она говорит довольно связно и слушает настолько внимательно, что знает, что надобно отвечать, но в то же время думает о своем деле. Для собственных ощущений у нее не было выражения на лице; трудно догадаться, когда этот человек скучает или сердится; лицо ее сразу навсегда приняло известные формы, да так и не переменало потом. Она никогда почти не краснела, не увлекалась, не отступала от внешних обрядов жизни. При этом Анна Андреевна мастерица заставить делать то, чего ей хочется, не сказав о том ни слова, не попросив ни разу. «Над диваном бы повесить отцовский портрет», — говорит муж. — «Отчего ж и не повесить?» — соглашается жена, но ей это не нравится, и посмотришь — через полгода портрет висит в спальне за печкою. Потом Анна Андреевна сумеет навести мужа на мысль, что он захочет *сам* переменить место портрета, а жена, когда придет время исполниться ее затаенной мысли, притворяется и называет мужа бесхарактерным: тот захочет поставить на своем, а чрез это-то и делает то, что желает жена. Анна же Андреевна устраивает ему и пульку, и шахматную игру, и любимое кушанье, и беседу умных людей. Она знает все его привычки и прихоти, знает, когда можно с ним говорить, просить его, желание его не исполнить, как приготовить сигару, где поставить солонку во время обеда; она сосчитала все мозоли на его ногах и чулки к ним приноровала. Анна Андреевна старалась сделаться не-

обходимую для мужа, так, чтобы без нее у него весь день пошел бы навыворот от беспорядка, чтобы он жить без нее не мог. Все хозяйство было приноровлено к тому, чтобы каждая вещь нравилась мужу, и в умной голове Анны Андреевны домашняя обстановка является в тысяче комбинациях; вечно, безустанно мысль ее работает над одной и той же задачей. Анна Андреевна создавалась так, что удалство, резкость, крупное остроумие, громадные физические силы, распалюющие страсти, лирические порывы из верхнего этажа вииз головою и тому подобные идеально-широко-бесшабашные атрибуты, ценные в характере мужчины для некоторых женщин, для нее не имели никакого смысла. Она любила тишину, деньги и детей. Она решила добыть себе мирную жизнь и вот повела многолетнюю переработку своего сожителя, и после неимоверно напряженной и тайной, неуследимой борьбы у Дорогова оказалось не то лицо, не та походка, не те вкусы, не те речи, не те друзья и знакомые, которые были прежде,— так он переменился. Обуздали его и перевоспитали. И что удивительнее всего, во всем этом не вражда была; нет, это любовь была. Каких чудес не совершается в православной, русской жизни? Она любит своего мужа, всегда верна ему, о своих удовольствиях заботится менее, нежели о его удовольствиях; она скорее сошьет мужу шубу, нежели себе салоп, а еще скорее деньги употребит на детей. Она лелеет его, покоит, богу за него молится. Ведь Дорогов — произведение рук ее, — как же не любить ей Дорогова? Но главным образом любовь и терпение Анны Андреевны вытекали из ее положения. Любовь ее была обязательная, предписанная законом, освященная церковью и потому неизбежная. Ей нельзя было ненавидеть мужа, иначе она погибла бы. В иных слоях общества жена мужу говорит: «Я не хочу с тобой жить» — и уезжает на вольную квартиру, а здесь об этом и думать было невозможно... Бежать?.. куда?.. А проклятие матери, которая ее не пощадила бы? а ненависть родных? а бедность? а дети? — бросить их, что ли? а страстное желание жить, как люди? а, наконец, сила брачных обязательств? Все так сложилось в жизни Анны Андреевны, что она поставлена была в необходимость полюбить своего мужа, и она сумела полюбить душу его, наружность, общественное положение. Для этого она отыскала в муже добрые стороны, выдумала их, оболестила себя насильно, что было возможно только при ее холодном и степенном характере. Само собою разумеется, что

обязательная любовь Дороговой не могла быть страстной, романической. Это была сдержанная, спокойная, искусственно воспитанная привязанность к законному мужу. Из этой сферы, довольно узкой и душной, никогда не порывалась Анна Андреевна. За пределами заколдованного круга она не знала ни смысла, ни свету. Ей думалось, все, что она слышала о нравственном, изящном, святом, осуществилось наконец в ее жизни. Она была невозмутима; совесть ее спокойна; и если каялась Анна Андреевна духовному отцу, приговаривая: «грешна, батюшка, грешна», то единственно по христианскому смирению. На самом же деле она сознавала свое достоинство и считала себя безгрешною, и муж едва ли не признавал ее святою — так была безукоризненна ее репутация. Все в ней нравилось Дорогову, он видел в ней что-то аристократическое, важное, она похожа на барыню хорошего тона, что окончательно покоряло его; она хороша, умна, получила некоторое образование, любит мужа, отличная хозяйка, у нее так много детей, она так хороша с гостями, детьми, прислугой, его друзьями. В добром расположении духа Игнат Васильич, целуя свою жену, говаривал, что благоговеет перед нею. Но Игнат Васильич смутно чувствовал, что через жену стал домовитым человеком, и никогда не мог допустить и сознаться, что в его доме царствует женщина. «Я глава дома!» — думал он с непобедимою своею упорностью. Анна Андреевна о словах не спорила; ей дорог был результат. Женщина с большими запросами от жизни объявила бы явную вражду такому мужу, как Игнат Васильич, и непременно проиграла бы, потому что он крепок был на слово и на дело; а она не проиграла, взнуздавала мужа, укротила его и поехала куда хотела.

Таким образом, нужно было сто лет назад народиться Мавре Матвеевне, работать двадцать с лишком лет, добыть материальное благосостояние, потом народиться Анне Андреевне, работать над мужем тоже с лишком двадцать лет, и тогда только мог состояться тот мирный семейный вечер, который мы видели в доме Дорогова. Но и после всего этого все-таки мирные вечера нарушались здесь по самым пустым причинам, все еще счастье не было упрочено окончательно. Игнат Васильич сделался домовитым человеком, но все-таки остался Игнатом Васильичем. Много мрачного осталось в его характере. Подозревал ли

он инстинктивно, что его обезличили, или в натуре русского человека, даже чиновника, гореванье и серенький взгляд на жизнь,— что бы то ни было, но ему подчас становилось невыносимо скучно. Расположение духа Дорогова было большею частью серьезное, с оттенком строгости, грусти и задумчивости. Он мало разговаривал с детьми, отвечал им резонно, коротко и ясно; дети дичились его, любили уходить из той комнаты, где он сидел, потому что отец не терпел шуму, говорили с ним тягучим, жалобным голосом. Но когда случалось, что отец позволял себе болтать и шутить с ними, дети делались свободны, карабкались к нему на колени, рылись в его бакенбардах; хохот детский, крик и визг около Игната Васильича, и наслаждается он сознанием, что у него добрая семья, и называет их канальями. Но лишь только скажет отец своим строгим голосом: «Довольно, дети!» — дети сразу оставляли его и начинали выжидать, как бы уйти из той комнаты, где сидит отец. В добром расположении духа Игнат Васильич все простит и забудет; когда же расположение сменялось, тогда толк и правда в семье становились иные: прежде умное считалось глупым, позволительное — запрещенным, часто следовало наказание, за что прежде почти поощряли. Недоспит ли он или не поладит в департаменте, дуется ли его любимая канарейка, или много луку положено в суп, или просто пасмурный день произвел дурное впечатление,— все это у него сейчас же обнаружится на словах и на деле. Он любил сорвать на ком-нибудь гнев, причем к жене редко придирался, к старшей дочери тоже мало, но меньшим детям приходилось плохо. В таком случае всегда следил за ним зоркий, всевидящий глаз жены. «Что, если переменится? — думала она.— Начнет бездомничать, пристратится к клубу, к товариществу, к трактирной жизни?»

Семейная группа за круглым столом начинает расстраиваться. Мать пошла хлопотать по хозяйству; гимназист ушел в другую комнату, и другие дети посматривают, как бы улизнуть из-за стола, за которым несколько минут назад так весело было сидеть. Эти люди настолько знают друг друга, что довольно одного взгляда на отца, и они догадываются, что отец обестолковел иемного.

— Поди ты прочь!.. Что тут торчишь все? — говорит отец Володе, который очень близко сел к нему.

Володя подвинулся; потом, посидев немного, поднялся со стула и направился к двери.

— Куда? — остановил его отец.

— В ту комнату, папенька...

— Зачем?

— Так.

— Шалить?.. Сиди здесь.

Володя садится к столу с стесненным сердцем.

— Зачем ногами болтаешь? — кричит ему отец. — Тебе говорили, что это нехорошо?

Мальчик оправляется.

— Володя! — слышно из другой комнаты.

— Вон мать зовет, поди, — говорит отец.

Володя уходит с радостью и твердым намерением избежать встречи с отцом до самого ужина.

Игнат Васильич сознает между тем, что попусту придирался, и в его душе является смесь и борение разных чувств — и грусти, и досады, и недовольства собою, и совестно ему, и сам он понять не может, что с ним делается. Все его беспокоит и раздражает, а Федя, как нарочно, начинает скрипеть дверь, чего отец терпеть не мог и в добром расположении духа.

— Что я тебе тысячу раз говорил, а? — спрашивает он сына.

Тот молчит.

— Говори же!

Молчит.

— Ты умеешь говорить?

Молчит.

— Я ж тебя заставлю отвечать, каналья этакая!.. Встань в угол!

Федя ни с места.

— Ну!

Мальчик, потупясь в землю, медленно подвигается к углу.

— Стой до тех пор, — говорит отец внушительно и с расстановкою, — пока не скажешь, за что поставлен.

— Не знаю! — говорит жалобно Федя.

— Феденька, — вмешивается Надя, — скажи, что скрипел дверь, и проси у папаши прощенья.

— Не хочу, — шепчет упрямец.

— Не тронь его, Надя, — он упрям.

— Ну да, упрям!

— Молчи, каналья!

Игнат Васильич подходит к окну и начинает барабанить по стеклу пальцами. Сын опять начинает ворчать под нос себе:

- И поиграть нельзя... все запрещают... все худо...
- Вот я тебя, грубиян, не велю к тетке брать...
- И не нуждаюсь...
- Я тебе уши выдеру...

После этого Федя перестает говорить.

Чувства беспокойства и недовольства собою еще выше поднимаются в душе Дорогова. Он думает о сыне: «Откуда в нем это упорство? в кого он такой уродился? Боже мой, заботишься о них, растишь, а вот какая благодарность!» На сердце его становилось горько-горько. А, очевидно, Федя уродился в него же, поддаваясь не влиянию наставлений и наказаний, а примера в поступках отца. Мальчик, видя постоянные противоречия, привык полагаться на себя и решение свое считать последним. Он инстинктивно растил свое: «мне досадно» и «мне так хочется» и редко мог воздержаться, чтобы не отвечать на выговор отцовский заунывным тоном какую-нибудь грубость. Так во всяком семействе можно наблюдать ту силу, которая в разных его членах создает одинаковые свойства, по законам отражения от одного лица на другое.

Гимназист заглянул в комнату.

— Что ж ты не занимаешься своим делом? — спросил его отец.

- Я приготовил уроки.
- Что ж, уроки только?
- Я...

— Я, я, я! Затвердил одно!.. Экие упрямые у меня уродились, прости господи!.. На-ко вот книгу, прочитай эти пять листов... Он только для учителя готовит! — а ты для себя учишь!

Отец долго говорил на эту тему, так долго, что гимназист рад-радехонек был, когда получил из отцовских рук книгу и дождался времени уйти вон. Отцу еще хуже. Он начинает ходить из угла в угол, ходит долго и тревожно, нахмурившись, как туча.

— Папаша,— говорит, глядя на пол, Федя.

— Ага! — отвечает отец злорадно.— Что? надоело в углу стоять?

Как только сказал отец «ага», Федя опять не может говорить, точно ему заперли рот на замок.

— Что ты хотел сказать?

Ничего не может сказать мальчик.

— Постой же еще! — говорит отец с упорством и злостью.

Федя хочет сказать, но не может; ему стыдно.

— Ви... но... ват! — наконец произносит он с усилием.

— В чем же ты виноват?

У Феде слезы на глазах.

— Ну, объясни толково...

— Скр... ри... пе... л,— отвечает ребенок, всхлипывая.

— Зачем ты скрипел?

— Не... зна... ю.

— Тебе запрещено было?

— Запре... ще... но...

Ребенок разрыдался.

— Слезы!.. слезы!..— сказал с тоской Игнат Васильич.— Ох ты, господи! (Сильное удушье слышалось в этом отцовском «ох».) Ну, полно тебе, перестань,— говорил он смягченным, но все еще суровым голосом.— Ну, поди, Федя, к матери, поди к ней.

Федя постоял и помялся немного, отер кулачком слезы и потом пошел к матери.

— Дети, дети! — глубоко вздохнув, проговорил Игнат Васильич.— Ничего-то не понимают они, только отца сердят, а отец для них как вол работает...

— Вы, папаша, не волнуйтесь,— говорит Надя.

— Обуть, одеть, накормить всех надобно, выучить и к местам пристроить, а какая благодарность...

Проходит несколько мучительных минут. Дорогов хочет заняться газетой, но не может. Все его сердит и раздражает.

— Антонелли, Кавур, Виктор-Эммануил,— ворчит он, пробегая газету,— а пропадай они совсем — мне-то что до них за дело? Вот честное слово, провались Италия сквозь землю, я и не поморщусь. (Говорит он это, а между тем вчера интересовался политикой и завтра будет интересоваться ею.) Это что? критика?.. Ну ее к бесу... (Он перевертывает лист.) Тут что? «О дороговизне квартир»... Вот чепуху-то разводят; ничего не смыслят, а все-таки пишут.— «Пожары». (О пожарах он прочитал внимательно.) Так и есть, причина неизвестна,— сказал он, причем в его голове шевельнулись злые и довольно либеральные для его чина мысли.— «Самоубийство»,— читал он далее.— Болван какой-то повесился; отодрать бы его хорошенько. (Но тут и сам он смекнул, что мертвых драть нечего.) — «Откармливание свиней»... «О мостовых»... «Несчастье от кринолина»... «Пригон скота»... — Пишите себе на здоровье! О свиньях пишет, и то гуман-

ность упомянет; повесится какое-нибудь животное, и тут о прогрессе скажут... Литераторы!.. Экие газеты у нас!.. Эту еще почтенный и ученый человек издает, семьянин, свой дом имеет, и все-то там, говорят, живут писатели. Ну к чему ты, Надя, дала мне газету?

Дочь посмотрела на него с удивлением, потому что она не давала ему газеты.

— Зачем ты подсунула мне эту газету? О Надя, меньше читай; я тебе это не раз говорил и еще много раз буду говорить. Станешь зачитываться,— забудешь добрую нравственность, потеряешь веру, уважение к родителям и старшим, появится вольнодумство, недовольство собою и всеми людьми... Книги ведут к размышлению... это-то и худо... покажется, что надо жить не так, как живешь, а отсюда неповиновение и разврат.

Надя молчала; ей скучно было. Отец долго бранил книги и писателей.

«Хоть бы ушел он куда-нибудь,— думала Надя,— либо к нам навернулись бы гости».

Желание Надежды Игнатьевны было очень естественно. Когда приходили посторонние люди, хотя бы и родные, отец из приличия не позволял себе делать разных выходов, хотя бы и был не в духе,— никогда и никого не поставит в угол, не сделает выговора; разве только за углом где-нибудь, уловив удобную минуту, шепнет неприятное словцо. Один купец, который бил детей своих и плетью и палкой и за вихры таскал их, говаривал Наде: «У вас Игнат Васильич не отец, а просто добрейший человек!»

В ответ тайной мысли Нади вдруг раздался звонок в прихожей.

Боже мой, как все оживилось, забегало, повеселело в квартире Дорогова! Гимназист швырнул книгу на этажерку, Федя поехал верхом на отцовской палке, Надя отправилась к фортепьяно,— канарейка и та проснулась и шархнула в клетке; одна Анна Андреевна всегда одинаково серьезна и ровна. В воздухе точно проиеслось: «Свобода, тишина! брань миновалась! Дети, играйте, отец вас не тронет больше!» И действительно, отцовское лицо прояснело. Он заботливо осмотрелся, взял газету, только что швырнутую им, и, как будто читая, глядел в нее внимательно, а сам нетерпеливо ждал посетителя.

В комнату вошел коротенький, толстенький человек

лет сорока, с крупной золотой цепью на брюшке, с багрянцем на щеках, с лысиной на голове, подвижной и бойкий, аккуратно и опрятно одетый.

— Макар Макарыч, — приветствовали его Дороговы, — добро пожаловать.

Макар Макарыч Касимов, помощник столоначальника и бухгалтер одного акционерного общества, осведомился сначала о здоровье дам, потом хозяина, наконец, малых детушек, одного из них поймал за плеча и поцеловал, другого погладил по голове, успел поправить свитильню на свечке и снять нитку с скюртука Дорогова, сказав: «У вас ниточка», и потом вдруг угомонился и смирихонько сел к столу.

В гостиную опять собралась вся семья; опять начался мирный семейный вечер.

— Что нового? — спросили у Макара Макарыча.

— Известно, что!.. — отвечал он.

Все посмотрели на него.

— Дороговизна! — закричал Касимов и рассердился не на живот, а на смерть.

Все слушали его спокойно, зная, что это у него уж темперамент такой, что высокие ноты в его голосе не должны никого беспокоить, он сейчас же и утихнет.

— Угадайте, что просили с меня за сажень дров?

Никто не отвечал.

— Нет, вы угадайте.

Все продолжали заниматься своим делом, будучи уверены, что Макар Макарыч сам же и ответит на свой вопрос.

— Семь рублей... — сказал он язвительно, точно дразнил всех. — Что, хорошо? нравится это вам? утешает? Дорогова забрало наконец.

— Скажите, — отвечал он, — ах, мошенники!

— То-то и есть, мошенники!

Завязался оживленный разговор. Вспомнили те времена, когда фунт хлеба стоил грош и даже менее, перебрали, что ныне стоят свечи, сахар, мука, мыло, мясо, дрова, квартиры и т. п. Непринужденно и бойко лилась речь. Макар Макарыч выводил один за другим на свет божий поразительнейшие факты. Вся душа его кипела; он был в своей сфере и жил полной жизнью.

— Зато деньги теперь дешевле, — сказал, входя в комнату, новый гость.

— Только не для нас, — ответил запальчиво Макар

Макарыч и даже не здороваясь с гостем, — не для чиновников; вы, доктора, ничего этого не понимаете.

Доктор Федор Ильич Бенедиктов был серьезный господин высокого роста, с умным лицом и в очках. Он говорил крупной октавой, точно дробью катал по туго натянутому барабану.

Коммерческая ярость Макара Макарыча мало-помалу укротилась. Один вопрос, касавшийся насущных потребностей круга Дороговых, отошел в сторону. На очередь выступил другой вопрос.

— У Ильинских плохо, — сказал доктор, — корь у детей.

Началось общее сожаление и тревога.

Дети были любимым предметом Анны Андреевны, и вот она, будучи рада, что есть случай поговорить о них, в сотый раз рассказывала, как Федя на третьем годку снял с себя башмаки, чулки, рубашонку, побросал их за окно и остался совершенно голый; как Леша, едва научился ходить, и ушел, не замеченный никем, за двери, успел спуститься с двух лестниц и только тогда хватились его; как Сеня насыпал песку в табакерку крестной мамаше, генеральше. Она сообщила, что Надя хлеб называла — «мо», Коля — «фа», Соня — «фу-фу», а Володя — «ля». Все, что составляет жизнь детей, — когда ребенок первый раз улыбнулся, взял в ручонку какую-нибудь вещь, начал ползать, стоять, ходить, когда куплена азбука, как определяются дети в гимназию и институты, — все это предметы душевных рассказов Анны Андреевны. Но наконец истощился запас разговоров и по этой части. Анна Андреевна не знала, чем бы занять гостей, и когда завела разговор о выкройках, в то время пришли еще гости.

Один из них был экзекутор Семен Васильевич Рогожников, любивший посмеяться над дамами, ненавидевший католиков, лютеран и ученых. Глаза его тусклы, нос кругл, щеки большие, шея короткая — живое олицетворение паралича. Другой гость был более нежели среднего роста, несколько сутуловат, плотно сложен; здоровье и крепость были видны во всей его фигуре; хорошо устроенный лоб и серые глаза обнаруживали ум; современные густые бакенбарды покрывали его щеки. Это был Егор Иваныч Молотов, архивариус одного присутственного места. Пришедшие поздоровались.

— Макар Макарыч, — сказал Рогожников, — у нас вакансия открылась.

Все смолкло.

— Вот вашему сынишке и местечко. Директор обещал.

Все шумно поздравляли Макара Макарыча. На сцену выдвинулся в лице Рогожникова служебный вопрос, столбовой, коренной вопрос жизни этих людей.

— Вы знаете нашего уroda-то,— говорил Рогожников о директоре,— насилу нашел удобный случай поговорить с ним.

— Как же вам удалось переговорить с этим зверем?

— А презабавный тут вышел случай у нас. Есть у нас чиновничек, Меньшов, молоденький, хорошенький, умный, бедно, но всегда чистенько и щеголевато одевается. Этот господин, как вы думаете, какую штуку выкинул? Ни больше ни меньше, как влюбился.

— То есть как влюбился? — спросил Дорогов.

— Вот как в романах влюбляются...

— Ну, полно,— сказал Дорогов.

— Поросенок! — прибавил Макар Макарыч.

— В чиновницу влюбился,— продолжал Рогожников,— тоже бедненькую девочку. Вот наш Меньшов сам не свой, на седьмом небе, всех своих товарищей перецеловал и на радостях сдуру разлетелся к нашему директору: «Так и так, говорит, жениться хочу».

— Ну, что же директор?

— Слушайте. Директор спрашивает его: «Сколько жалованья получаете?» — «Двенадцать рублей в месяц». — «Приданое большое?» Оказалось, никакого. «У вас есть благоприобретенное, родовое?» — «Нет, ваше превосходительство». — «Так это вы нищих плодить собрались? — закричал директор. — Ни за что не дам свидетельства на женитьбу!» Меньшов растерялся, а генерал начал его поучать: «Я вас под арест посажу, лишу награды, замараю ваш формуляр. Народите детей, воспитать их не сумеете, все это будут невежды, воры, писаря, канальи! Вы хотите государство обременять? Зачем вам дети, скажите-ко? Как их вы будете растить? драть начнете, ругать каждый день, а они играть в бабки, в свайку, в орлянку, таскать гвозди из заборов, копить кости и продавать эту дрянь, чтобы добыть грош на пряники; с горем пополам научите их читать да писать, и кончится тем, что поместите их куда-нибудь в писцы, и правительство же должно будет учить их правописанию? Вот жених-то! Повернитесь-ко, я на вас в профиль погляжу... ничего, повернитесь, повернитесь!.. Ай да жених!.. Я сам, батюшка, холостой человек...

отчего?.. а что я стану с детьми делать? пороть их каждый день, а с женой браниться,— а ведь этак-то нельзя, милый мой». Меньшов заплакал. «Что ж, очень хороша, что ли, ваша невеста?» — спросил директор.— «Да, ваше превосходительство». — «Она с кем живет?» — «С тетенькой». — «Тетенька позволяет вам видаться, гулять вместе, оставаться вдвоем?» — «Позволяет». — «Ни за что же не дам свидетельства. Можете и так любиться. Не шуметь, молодой человек!.. Ну, я вас к награде представлю, повышу местом, только оставьте свои нелепые затеи». Меньшов целую неделю после того не являлся в должность.

— Так и не получил свидетельства? — спросили Рогожникова.

— Слушайте, что дальше будет. Недели две спустя является к нашему директору невеста Меньшова — и бух ему в ноги. Его превосходительство растерялся; он не мастер обращаться с женщинами. Невеста объяснила ему свою просьбу. «А, так это вы? очень приятно познакомиться... прошу покорно садиться... Я слышал, что вы желаете вступить в законный брак... Что же, это похвальное дело. Но хорошо, что вы ко мне пришли, а то бы вы натерпелнсь большого горя. Ведь ваш жених Меньшов?» — «Да». — «Но ведь он негодяй первой руки, пьет страшно, грубит начальству, его скоро выгонят вон. Товарищи недавно поколотили его за кражу часов; он несколько раз сидел в полиции». Девушка едва не упала в обморок. «Ну хорошо ли вам будет, когда сделаетесь его женою? Представьте, что он будет всегда пьян, бить вас будет, наведет домой буйных товарищей, последний салопишко ваш продаст; когда выгонят его из службы, вы же будете кормить его трудами рук своих; куда бы вы ни скрылись, он вытребует вас через полицию и заставит жить вместе. Поди-ко, он рассказывает, что я запрещаю ему жениться за его бедность?.. Полноте, бедность не порок; и в бедности добрые люди живут хорошо. Я оттого не дам ему свидетельства на женитьбу, что он негодяй и что он погубит такую прекрасную девицу, как вы». Директор такие ужасы наговорил невесте, что она с рыданием оставила его. Его превосходительство проводил развенчанную невесту до дверей и, когда она скрылась из глаз, сказал: «Вот теперь я посмотрю, как ты женишься!.. молокосос!.. нищий!.. Покажи-ко теперь невесте свой регистраторский нос, да она тебе глаза выцарапает! — Эй, кто там?» — крикнул он. В это время

я подвернулся. «Скажите, кому следует,— крикнул он,— чтобы Меньшова переместили на старший оклад, там вакансия есть, и чтобы к празднику назначили ему награду». Я вижу, что его превосходительство в добром расположении духа, и потому решил просить для вашего сына вакансию, открывшуюся после Меньшова. Что же? без слова обещал.

Все порадовались за сына Макара Макарыча.

— Ну, а Меньшов что? — спросил доктор.

— Ничего, служит.

— И прекрасно сделал генерал. Беда жениться недостаточному человеку.

— Но оставаться в холостяках вот таким людям, как Егор Иваныч, по моему мнению, непростительно.

— А помните, доктор,— отвечал Молотов,— вы обещали, что жените меня к Новому году. После того прошло уже два Новых года.

— Что ж с вами делать станешь? Сколько я вам невест предлагал, и всё были хорошие невесты. Во-первых, купчиха, образования не бог знает какого, но не безграмотна, хозяйка хорошая, из себя женщина красивая, а главное — с большими деньгами. Потом, помните Попкину? не особенно хороша она и не богата, но генеральская дочь и воспитанница княгини Чеботарево-Пробатской, а с такой протекцией, говорят, до звезд дослуживаются. Потом красавицу приискал, потом идиллическую девушку, ученую, со вздохами и с норовом; наконец, очень недурненькую и очень миленькую — дочь чиновника Ломовского. Не тут-то было, ничем не угодишь! И как же отплатил, злодей, за хлопоты? «Напрасно, говорит, беспокоитесь,— по чужому выбору нельзя жениться!» Что ж, вы обрекли себя на девство?

— Нет, не обрек.

— Пообжились, устроились?

— Да.

— А лет вам сколько?

— Тридцать три.

— Деньжонки есть?

— Небольшие есть.

— Вы управляющий здешнего дома и, значит, получаете даровую квартиру и дрова?

— И это правда.

— Наконец, из департамента выдадут пособие на свадьбу. Каких еще условий недостает? С собой вы моло-

лец, репутации отличной, здоровья железного, а невесты сотнями. Остается жениться и жить семьянином...

— И все-таки я не женился. Значит, чего-нибудь да недостает...

Разговор вдруг упал. Все затихли. Материал для речей истощился. Дороговизна, болезни, дети, служба и свадьбы — пять насущных, вечных, столбовых вопросов жизни были подвергнуты обсуждению, один за другим. Все, что было интересно для этих людей, все было сказано; дальше оставалось выдумывать, делать слова. Ангел мира и кротости пролетел над семьей и гостями Дороговых. Гости не знали, что и делать им, зачем и доживать этот день — от него нечего было еще ожидать, не даст он больше ни одной мысли, слова или события. Тысячи дней, прежде прожитых, давали каждый не более сегодняшнего, — значит, и от сегодняшнего нечего ожидать более. Ударило девять часов. Вдруг Макар Макарыч вывел гостей из апатии. Он в неистовстве соскочил со стула и закричал:

— Святые угодники, а пулька-то!..

Таким образом, в семейной жизни всегда есть спасение от скуки и апатии. Мужчины, кроме Молотова, отправились к картам. Скоро внесли большой самовар, и Надя занялась чаем. Клокочет вода в самоваре, слышны смех и говор детей, маятник шелкает мерно, разрушилась горячая громада в камине, изредка сотрясается рама от едущей кареты, «без двух» — слышно из зала, стучат чашки на подносе, и весело звенит ложка, опущенная в стакан.

Уже давным-давно здесь совершается такая мирная жизнь, никогда не переменая характера своей повседневности. Люди, наслаждающиеся таким счастьем, думают, что они вечно будут так жить и что такую же жизнь наследуют от них внуки и правнуки, чего и желают от всего сердца. Человеку же с большими запросами от жизни думается: «О господи, не накажи меня подобным счастьем, не допусти меня успокоиться в том мирном, безмятежном пристанище, где совершается такая жизнь!»

Надежда Игнатьевна была очень хорошенькая и серьезная девушка. В лице ее, как и в характере, были некоторые черты матери, но преобладающее выражение оригинально. Она довольно высокого роста, стройно сложена; лицо чистое, белое, с легким румянцем; глаза большие, голубые, с длинными ресницами, умные и ласковые; волосы

каштанового цвета свернуты в массивную косу. Горелого цвета платье, шитое самую Надею, сидело на ней ловко. Надя особенно хорошо смеялась, всегда тихо, ласково и задумчиво. Ее как-то не слышать, точно нет ее в комнате. Болтать Надя не любила, выражалась коротко, спокойно, просто. Как и мать, она редко краснела. Она постоянно занята, и всякое дело у ней делается легко и охотно. Со стороны весело смотреть, когда Надя шьет воротничок, разливает чай, учит грамоте сестру, читает отцу газету, кормит канарейку, поливает цветы, укачивает ребенка, приговаривая заботливо: «Ну, спи же, спи!» Все это занимает ее в высшей степени, и идеалисту досадно видеть безмятежное выражение женского лица, полное довольство своей работой и развлечениями, своим днем, своими окружающими лицами. Вообще с первого взгляду она очень походила на Анну Андреевну, так что все родные говорили: «Надя — вылитая мать». Но они ошибались. Она развивалась при других условиях и иначе.

Воспитание она получила в закрытом институте, но странны были ее отношения к учебной жизни. Она с первой же минуты, как оставила родной дом, стала ждать, скоро ли конец ученью, — только тем и дышала семь лет. К месту своего воспитания, к начальницам и наставницам, даже к подругам, по крайней мере к большинству их, Надя относилась холодно, вспоминала об ученье как о тяжелой необходимости разлучиться с родным гнездом и прожить в огромных, казенного характера комнатах много-много времени, под надзором девствующих дам тоже казенного характера, к которым она питала положительную антипатию, за что дамы и ненавидели ее. Когда кончились семь лет, и все, прощаясь, плакали навзрыд и давали клятвы вечной дружбы, Надя тоже плакала, обнимая двух подруг, которых она серьезно любила; ей как будто жалко стало детской жизни. Но это чувство быстро сменилось другим. «Домой, домой!» — думала она. В то время когда лицо ее было освещено этой радостной мыслью, одна классная дама, самая уксусная, прокислая дева, проходя мимо Нади, невольно прошептала: «Экая каменная»; а сердце у Нади не было каменное, оно трепетало от детского волнения. Вернувшись домой, она сразу легко и свободно отдалась домашней жизни. Немногое переменилось в семье. Братья и сестры подросли, отец постарел немного, да Егор Иванович не такой молоденький, каким был прежде; но и эти перемены не могли поразить ее; они совершались

незаметно и на ее глазах, потому что родные и даже Егор Иванович постоянно посещали ее в институте. Молотов был знаком с Надей еще тогда, когда ей был всего девятый год, а ему девятнадцатый. Егор Иванович, вернувшись из губернии в столицу на новую службу, не застал Нади дома, она уже училась. Он стал вместе с Дороговыми ходить к ней в гости. При нем, отчасти под его влиянием, она выросла, кончила курс и развилась. Дома Надя в первый же день увидела Егора Ивановича. В семье Дороговых он был почти как свой; все обращались к нему запросто и бесцеремонно; он точно не гость, его не стараются занимать; иногда он возьмет газету, читает целый час, и никому нет дела до него; ходит по всем комнатам, знает, что где лежит, берет, что нужно, без спросу; с ним советуются часто отец и мать по хозяйству; когда помер маленький брат, и он был печален. Это короткое знакомство, установившееся в продолжение нескольких лет, произвело то, что Надя взглянула на Молотова будто на родного. Он будто жил с ними: то гимназист просит его объяснить по математике, то Федя — сделать петушка, то играет он с отцом в шахматы; случается, он и люльку качает, когда мать уходит в другую комнату, а Надя чем-нибудь занята. Этот обжившийся в их семье вечерний посетитель, как человек бывалый, любил рассказывать; говорил он хорошо, ровню, не торопясь, и чего он не знал, чего не видел, где не бывал? — о чем угодно спросите, на все есть ответ. При этой короткости знакомства Молотов, кроме того, без всякого желанья со своей стороны, приобрел в семье Дороговых положительный авторитет. Дело было после Севастопольской войны, всюду появилось иновое, неведомое до тех пор движение. Но иной не поверит, что у нас есть слои общества, в которые очень смутно проникали сведения о настоящем положении вещей. В этих слоях общества понимали, что тяжело жить на свете, душно, — это само собою чувствовалось; но отчего тяжело, откуда ждать спасения, что делать надобно — этого никто не знал. И вдруг заговорили о таких предметах, осуждались такие лица, развивались системы, читались книжки, передавались рассказы о старой и современной жизни, так что многие совершенно растерялись и не знали, что и думать. Одним из таких глухих кружков была и семья Дороговых. Много, что известно нам, читатели, по счастью, по случаю, по особому положению в обществе, по столкновению с людьми сведущими, — для Дороговых вовсе было неведомо. Люди мрака в то

время испугались, люди света торжествовали, люди неведения, как Дороговы, ждали каких-то потрясающих переворотов. Тогда увлечения эти представлялись совершенно в ином свете, нежели ныне, и потому можно понять, какую цену в глазах Дороговых имел такой человек, как Молотов. Он был для них единственным человеком, который мог объяснить явления новой жизни. Его слова сбывались, и поэтому даже Игнат Васильич, несмотря на свою оригинальную манеру убеждаться, привык верить ему до того, что когда Надя обращалась к нему с вопросами, на которые он не знал, что отвечать, тогда обыкновенно говаривал: «А вот спроси ужо у Егора Иваныча». Ни с кем так легко не говорилось Наде, как с Молотовым. Склад его ума, казалось Наде, так подходил к складу ее ума. У Егора Иваныча не было обыкновения поддразнивать женщину, подсмеиваться сладенько, нарочно спорить с нею — в чем многие полагают эlegantное отношение к дамам. Особенно ей нравилось в Егоре Иваныче добродушие его; она скоро заметила в нем ту черту, которая осталась в нем смолоду,— он во всем отыскивал искру божью и любил приникать к доброй стороне жизни. Надя была еще ребенок, а уже понимала, что Молотов чем-то отличается от всех окружающих ее людей, и ей хотелось разузнать этого человека короче. Молотов доставал Наде книги, объяснял их, проводил с нею вечера. В воспитании Нади осталось много пробелов. И жизнь и наука в ее учебном заведении были выдуманы, построены искусственно и фальшиво, заперты в стены институтского здания. Сквозь окна, покрашенные зеленой и желтой, больничных цветов, красками, не много она видела, хотя и справедливо, что институт дал ей образование, какого она дома не получила бы. За это образование она и была благодарна — но кому? не той или другой наставнице или учителю, а вообще месту воспитания. Надю мучила несколько совесть, что она дома редко когда вспоминала особенно тепло об институтской жизни. Узнавши, что умерла начальница их института, Надя легко и притворно вздохнула, полагая это себе в обязанность, подала поминанье и забыла свое напрасное горе. «Неужели я в самом деле каменная?» — думала она, и с своими сомнениями она попыталась обратиться к Молотову. Молотов легко рассеял ее сомнения, показав, что ее холодность очень естественна и совсем не преступна.

Молотов из рассказов Нади и из собственных наблюдений довольно близко знал институтскую жизнь и по-

радовался за Надю, что она была холодна к этой жизни, хотя и не протестовала против нее с ненавистью и горькими жалобами, а даже упрекала себя в бесчувственности. Под влиянием рассказов Надиных Молотову невольно приходило в голову, что многие наши дамы давно приготовлены к эмансипации последнего предела, что их пора посылать на службу в полки и департаменты. Говорят, это не в женской натуре, а по нашему глубокому убеждению — ничего, можно! хоть в повытчики, в хожалые, на пожарную каланчу! С первого взгляда такое суждение представлялось, правда, чересчур рискованным. Приличие, благочиние, опрятность в институте были доведены до последней степени. Например, когда учитель истории, читая лекцию, привел текст из летописи, где упоминались «поганые ляхи», то ему сделали строжайший выговор за «поганые». Он оправдывался, ссылаясь на летопись; а ему отвечали, что эта летопись дурного тона и что читать ее не следует. В видах смягчения нравов девицам позволялось петь песню «Что ты жадно глядишь на дорогу» только до слов: «Завязавши под мышки передник, перетянешь уродливо грудь; будет бить тебя муж-привередник и свекровь в три погибели гнуть». Начальница была так высоконравственна, что в великом посту приказала отдельно развести кур от петухов, хотя потом и сердилась, зачем это нет к пасхе домашних яиц. Как, неужели и это Надя рассказала Молотову? Нет, это не она рассказала ему, хотя, не скроем, Надя и все ее подруги знали оный фокус благочиния и знали многие другие вещи, которые совершались у них и о которых рассказывать было крайне щекотливо. Читатель сам увидит, в чем девушка шестнадцати лет могла быть откровенна и в чем нет. До того доходило, что когда одну десятилетнюю воспитанницу отец ее посадил к себе на колени, то со строгим замечанием, что это дурной пример другим, ему запретили делать подобные вещи. Девиц предупреждали, чтобы они не позволяли своим дядям, братьям и даже отцам целовать себя, потому что это... как бы сказать?... ну, неприлично, что ли. Могло ли быть что-нибудь безнравственное там, где благочиние кур и петухов, каждая строка летописца и писателя русского и даже отцовский поцелуй находились под полным контролем старой девки, готовой заподозрить во всем ужасы? При всем этом в институте процветала филантропия на самых широких основаниях. Одна классная дама постоянно разыгрывала вещицы в пользу одного бедного

семейства, о котором только и было известно, что ему покровительствовала сама начальница института. Билеты должны были брать учителя и девицы. Что же разыгрывалось? А вещи, жертвуемые тоже учителями и девицами. Кто их выигрывал? А выигрывали наставницы — не всё ж учителя да девицы. Некоторые дети, и, как назло, всегда почти любимые Надею, затруднялись платить за билеты и жертвовать коврики, пресс-папье, серьги, и т. п., тем более что этим расходы ребенка не ограничивались: должно было делать подарки начальнице, наставницам и другим лицам в дни именин, рождений и больших праздников. Между тем, заметьте, в том же институте, в приемном зале, набито на стену объявление, которое гласит, что родственники ни под каким видом не должны давать детям деньги или вещи для подарков кому бы то ни было. Когда принцип только на стене, поневоле в честных и добрых душах детей возникает разлад с окружающей жизнью, но большинство девиц как-то не раздражались всеми эти явлениями пошлости. Так, та же классная дама, любительница лотерей, имела обыкновение просить у своих воспитанниц денег *в долг*, разумеется без отдачи, и многие с радостью отдавали свои деньжонки, зная, что через это приобретают протекцию у повытчика-дамы. Но беда было бедным детям или таким оригиналкам, как Надя, которая всегда сочувствовала своим безденежным подругам. Таких называли жадными, преследовали на каждом шагу, привязываясь к манерам, походке, голосу, взгляду, ко всякой тесемочке на платье, височку на голове, пуговке на рукаве. Их ожидали выговоры и наказания за всякую мелочь, — и какие наказания? Бурса таких не создавала: в бурсе — карцер, а здесь — лазарет. На провинившуюся девицу надевается рубашка сумасшедших, с рукавами вдвое длиннее против рук, после чего руки складываются крестом, а рукава завязываются под спиной, и в таком виде несчастная кладется на кровать больной. Случалось, что такому наказанию иных подвергали в продолжение пяти и более дней. В это время в пищу шла полуторакоечная булка и габер-суп. Может ли быть что-нибудь обиднее этого? Может, и было именно в том же институте. Было немало девиц, которые постоянно протестовали против своих вторых матерей, не готовили уроков, портили рукоделья, грубили и смеялись над заведенными порядками, так что их не укрощала даже и рубашка сумасшедших.

Таких протестанток отделяли в особую комнату, без различия возраста и классов, оставляли их на собственный произвол, не читали для них лекций, не следили за их поведением. Отторгнутые от общества подруг, находясь в презрении у наставниц, бедняжки дичали и делались мстительны. По полугоду и более содержались некоторые таким образом. Впрочем, впоследствии этот род наказания был уничтожен, нравы смягчились, и, к удивлению, из заключенных большинство заняли первые места. Кто бы мог подумать, что девичья школа — этот рассадник поэтических существ, невинных созданий, о котором и мы имеем такие невинные, девственные понятия, — мог выработывать в себе такие оригинальные явления в жизни? Не диво, что Надя встала в стороне от этой жизни и ждала, дожидаться не могла, скоро ль настанет пора вернуться под кров родной. Родители, когда она им жаловалась, говорили ей: «Что ж делать, терпеть надо», и такие наставления, разумеется, не могли примирить ее с окружающими лицами. Она терпела, уединялась, вела себя осторожно, следила за каждым своим шагом, чтобы, избави боже, не попасть как-нибудь в рубашку сумасшедших, и ни разу она не попала; но злые люди чутьем чуяли, что она боится и не любит их. «Но отчего же она с подругами не сошлась?» — спросят нас. Да как же было и сойтись, посудите сами? Замкнутость жизни, удаление от общества, отсутствие интересов общечеловеческих — создавали искусственные, фальшивые, институтские характеры. Так, здесь было развито в высшей степени так называемое *обожание*. Это не дружба, не каприз, не игра детей, не передразнивание старших, — это фальшивое развитие возникающей потребности любить, развитие, неизбежное в закрытом заведении, и от этой беды не спасет даже куриное благочиние и смягченные дамскою рукою летописи. Обожались учителя, посетители-гости. Случалось, что девице нравился отец, брат или другой родственник, посещавший ее подругу, и она обращала все ласки и любовь на эту подругу, если только она немного была похожа на своего гостя. Обожались, наконец, девицы мужественные лицом, высокого роста, нмеющие громкий голос, твердый и отважный характер. Девица обожающая хранила на груди ленточки обожаемой, целовала кнги и тетради, к которым она прикасалась, ее целовала с наслаждением, пила оставшуюся после нее в стакане воду, писала любовные письма, назначала ей свидания на коридоре или в спальне. Если

обожаемая девица не отвечала на любовь, то обожающая плакала, томилась, видимо страдала и худела. Бывали случаи, что человек по двадцати волочились за одной девицей. Страннее же всего то, что сами наставницы, спасающие куриную нравственность, сами доставляли возможность своим любимцам, большею частью дающим в долг или имеющим влиятельных родственников, видиться и говорить с обожаемыми учителями. Вот в этот-то период обожания многие из девиц, желая казаться интересными, — а некоторые по какому-то болезненному расположению организма, — ели мел и уголь, пили уксус и чернила, сосали штукатурку, кирпичные кусочки и грифель... Во всем этом было очень мало божественного, неземного и очень много так называемого исключительно институтского, созданного почти отрешенною от общества жизнью. И сколько из этого рассадника невинных созданий выходило бледненьких, тоненьких, дохленьких барышень, с синими жилками на лбу, с прозрачной матовой кожей на лице, с рожцами, выражающими ненужное страдание, от чего они становятся так обидно для них жалкими. Между тем многих ожидала суровая, необеспеченная жизнь, и всех — иная действительность; а их окружала деланная, фальшивая среда. Надя, вообще развивавшаяся медленно, еще не чувствовала потребности любить и потому не была в положении своих подруг, которые, не находя правильного исхода чувству в запертом наглухо институте, на глазах девственных воспитательниц, выделявали все вышеозначенные штуки учебного амура; но она все понимала, хотя сам читатель догадается, что она могла рассказать Молотову и что не могла. Но Молотов и без ее рассказов знал, что она умалчивала. Он легко успокоил ее тревожную совесть, и она через полгода забыла свой институт — точно и не жила в нем.

Но период непонятных стремлений, туманных мечтаний и волнений в той или другой форме развивается в жизни всякого человека. Если не испытала этого Надя в школе, то испытала дома. Но многим семнадцатый год Нади покажется непоэтичным, хотя и с примесью даже институтского элемента, только в более изящной форме. Она, задумываясь по-детски о будущем, слегка мечтала и о женихе; жениха она представляла чем-то вроде папаши, разумеется помоложе; задумывалась она тогда ненадолго. Когда Надя подросла, у нее стал формироваться более определенный образ жениха, о котором она часто думала и за

шитьем, и читая газету, и лежа в постели: то был чиновник, молодой, добрый, любящий свою жену и дом, получающий большое жалованье и хороший хозяин. По ночам и за шитьем этот образ выяснился — он имел рост и звук голоса, с ним часто разговаривала Надя, и у нее вышло две жизни — одна действительная, другая мечтательная, — обе жизни были полны. В мечтательной жизни, которой она отдавала большую долю своего существования, у нее было свое хозяйство, свой муж, даже о детях она думала, — тогда-то вдруг вспыхивало ее лицо и становилось задумчиво; у ней свои гости, она принимает их, разговаривает с ними, просит садиться, играет для них на фортепьяно, готовит им чай и закуску. Иногда думается ей: «Вот муж захворал», а не то: «Крест получил». Какая девица, играя мыслью, не была прежде брака замужем? Но так играют дети, венчают друг друга и поют: «Исаие, ликуй!..» Скоро и незаметно наступила другая пора жизни, пора полного расцветания. Стала она рассеянее, ее грудь наливалась, появились непонятные сны и после них тайные слезы, по девичьей душе прошли неведомые доселе движения, разрешавшиеся бог весть откуда родившимся вздохом. Она что-то разлюбила свое фантастическое хозяйство. Когда выдуманный муж являлся в ее воображении, она прогоняла его, и муж, вместе с хозяйством, чаями и гостями, стал являться реже и реже, и наконец совсем скрылся где-то этот надоевший и опротивевший образ. По неволе вспомнила Надя подруг — неужели и она обожала? Ей хотелось целовать канарейку, цветы, мраморные статуэтки и картины... Тревога пришла и кипучая жизнь... Боже, как она любила, как страстно любила, и сама того не зная... Кого же?.. Непременно — кого?.. просто любила!.. Полная и действительная любовь, с поцелуями, объятьями, клятвами, со всем счастьем и горем, бывает для избранных, а неизбранные что-то во сне видят похожее на объятья и поцелуи, а наяву чувствуют лишь жар жизни и широту души. Для многих любовь проходит этим внутренним путем, помимо мужчин, женихов и мужа. К ней кто-то сходил по ночам, стоял в ее изголовье, и, вставая, она плакала и счастлива была несказанно. Сумерками долго она сживала в зале, сложив руки, глядя на улицу и ничего не делая. Трудно понять было, как этой девушке не скучно. Наде же казалось, что вдруг все как-то особенно и без видимой причины полюбили ее; примечала она надолго остановившийся на ней взгляд ма-

тери, отец стал целовать ее чаще, дети около нее увивались. «А Коля где?» — однажды она спросила маленьких братьев и сестер, и так хорошо, ласково, задумчиво спросила, что дети кинулись к ней на шею, стали ее целовать, она их целовала и весь вечер тот пропела... Все существо девушки было ясно, чисто и счастливо... Прошло еще немного времени. Мало-помалу горячая жизнь стала остывать, струны, высоко натянутые, упали, показалось, что все стало холодны к ней, появилось дурное расположение духа, какая-то темная мысль кралась в сердце. Она затосковала беспричинно, но не плакала больше. Мать первая поняла, что нужно было Наде. Скоро в доме Дороговых появился чиновник и предложил Наде руку. Это был чиновник молодой еще, с крестом, получал хорошее жалованье и водки пил мало — рюмку перед обедом и две рюмки перед ужином. «Маменька, я не пойду за него», — сказала Надя. Мать долго уговаривала ее, доказывая все выгоды предстоящего брака; а дочь упростила отца, и Игнат Васильич решил отказаться жениху. «Помни, Надя, тебе скоро будет осьмнадцать лет», — сказала Анна Андреевна. Бог знает с чего брак показался Надежде Игнатьевне какой-то службой, долгом, поденщиной, точно опять отдавали ее в институт. Она усердно молилась богу, чтобы хоть на время отдалить брак... Началось усиленное чтение. Она читала большую часть романы и повести, из которых в институте слышала одни невинные отрывки. Лицо ее горело от свободных, поэтических страниц; все, что есть у нас лучшего, прочитала она в это время; Тургенев сделался ее любимым поэтом. Многие страницы, один раз прочитанные, с того времени остались в ее памяти навсегда... Хорошо читается в эти годы, и славное это время!.. Ясное, свободное счастье горело на ее лице, когда она, сидя за шитьем, увлекалась бессознательно и повторяла в воображении чудные картины природы и любви, созданные нашими поэтами! Если в действительности нашей многим не приходится любить — запрещено либо не удастся — и в грядущем предвидится лишь обязательная любовь, то пусть эти многие хоть над книгами поживут — и задумаются, и поплачут, и улыбнутся счастливо. Иначе скучно жить на свете; одной прозой прожить невозможно... Но проза неизбежна... Часто лицо Нади над самой пламенной страницей переменяло выражение, становилось совсем другое. Оно показывало, что Надя соображает, рассчитывает что-то и обдумывает;

и действительно, в одну из таких минут она поняла... она поняла, что такое хлеб насущный, что родители хотя и любят ее, особенно, как казалось ей, отец, но не так же им кормить ее, пора искать Наде брачной жизни, как чиновник ищет места, лошадь — корму... Мерзко стало на душе ее и страшно. Книга была закрыта, и на обложку легла дрожащая от волнения рука... Она не заплакала... Что-то суровое и холодное отразилось в ее глазах. Она встала с нервным движением, глубоко вздохнула, взяла книгу и надолго положила ее в комод... Поняла наконец, кто она такая... Как в то время она боялась женихов, как их ненавидела!.. Всякий раз, когда появлялся в доме незнакомый мужчина, Надя думала с замирающим сердцем: «Не он ли?» — и прибирала в голове слова, которыми она станет упрашивать отца и мать, чтобы они не торопились пока замужеством ее... Через полгода жених явился, и Надя едва не вышла замуж, — так ей трудно было уговорить и мать и отца, который теперь не держал ее сторону. Больших слез и упрасиваний стоил Наде этот отказ, но все-таки она отделалась от жениха, хотя и чувствовала с стесненным сердцем, что может прийти третий, четвертый, что много их на свете и что раз от разу ей труднее будет выпроваживать их. Чего же она ждала? не в девах же она хочет остаться? Она сама не знала, чего хотела; но натура ее была так чиста, что инстинктивно она берегла сердце для того, кого полюбит, а не для первого встречного, рекомендованного отцом. Она не родилась для обязательной любви... Опять потянулось время среди занятий домашних, но теперь как-то скучно и вяло, день за днем, по-черепашьи... Не было ни радостей, ни печалей. Надя стала удаляться отца и матери; сидя с ними же, сделалась особняком. Ее никто не упрекает, по-прежнему с ней ласковы, сама мать заботится о ее здоровье и удовольствиях; но скажут ли, что ныне все дорого стало, дети подрастают, или что у Лены Рогожниковой, Саши Касимовой женихи есть, так и подумается Надежде Игнатьевне, что ей пора искать корму, пора! В таких случаях ей никто и ничего не намекал, она это хорошо знала, да из самой жизни вытекал такой, а не иной смысл. Гостю делалось с ней скучно. И говорит, и хозяйничает, и потчует Надя, как всегда; как всегда, ласкова и внимательна, а все что-то не то, скучно, души нет... Она опять вернулась к книгам. Но чтение уже не давало ей, как в былые дни, страстного наслаждения кни-

гою. Она критически стала относиться к каждому образу, к каждому положению действующего лица. Жалко было смотреть на нее, когда она с сомнительной усмешкой пробегала те живые строки, которые прежде так увлекали ее. Ни с кем она не была откровенна; лишь с одним Егором Ивановичем она говорила о том, о чем с другими говорить не решалась, ждала его всегда с нетерпением и, когда он не приходил, была особенно скучна и задумчива. Даже в те вечера, когда Егор Иваныч не успевал перемолвить с нею слова, она все-таки была довольна его присутствием, чувствовала что-то успокаивающее при взгляде на него. Если же он говорил с Надей, она в речах его почерпала непонятную для нее силу. Никто ей так дорог не был, как он. Нравственная связь с окружающими родными была надорвана, а знакомых было мало, да и тем она не доверялась. Надя была уверена, что, случись с ней какое-нибудь большое горе, Молотов всегда поможет ей; случись, что она сделает дело, за которое ее все осудят, он ее не осудит, и если бы даже должно осудить, то пожалеет и помилует. Добрее и умнее Егора Иваныча она никого не знала. Положение ее было окреплено условиями, которые не давали ей взглянуть на то, как живут люди за стенами родного дома; один только Молотов мог рассказать ей о иной жизни,— и вот это не институт, не старорусский терем, а заколдованный семейный круг столичного чиновника! Это тот же терем, только нынешнего времени. Отчего ж не петь и до сих пор: «Я у батюшки в терему, в терему, я у матушки высоко, высоко»?.. Но и с Молотовым, что очень естественно, Надя вполне откровенна еще ни разу не была. Разговор всегда заводился о предметах, только побочно, а не прямо относящихся к ее тайным мыслям. Все, что говорил Молотов, служило для нее только данными, на основании которых она сама выясняла и проверяла свои скрытые в душе думы, и потому в разговорах ее всегда было более содержания и серьезного смысла, нежели сколько казалось с первого взгляда. Такое искусство говорить невольно приобретается в тех обществах, где запрещается многое обсуживать ясно, просто и открыто. Но эта сдержанность, робость высказаться, напрасная стыдливость — понемногу ослаблялись; откровенное слово само собою рождалось, когда обстоятельства заставляли Надю искать решения того или другого вопроса. Молотов чувствовал, что Надя недоговаривает, что у ней есть дума, которая томит, беспокоит, стесняет ее молодую

жизнь. Он не посягал на откровенность Нади, но день ото дня хотелось ему узнать, что́ такое делается с ней, и день ото дня хотелось Наде узнать, что́ такое за человек Егор Иваныч. Он так, казалось ей, непохож на других. Когда она была еще маленькая, пришел откуда-то и стал почти жить с ними этот вечерний посетитель. Ей хотелось разгадать и добродушие его, и ласковую насмешливость над увлечением, и его многостороннее знание. Она думала, что в жизни он знает бесконечно много такого, о чем с ней никогда не говорил, думая, что она не поймет его, и как ей хотелось расспросить обо всем, обо всем на свете, чтобы догадаться, додуматься наконец, что же ей делать и как жить на свете. В последнее время в Наде стало развиваться религиозное направление. Долгие разговоры вела она по этому предмету и через несколько времени почувствовала, что под влиянием Молотова просветлела ее вера, легче стало ее сердцу, когда оно, еще неиспорченное, легко освободилось от многих предрассудков; но Надя спрашивала себя: «Верует ли он?» — ответа не было. Надя не знала, как в нынешний век веруют люди, и в этом отношении Молотов так был непохож на всех, кого она знала. Один только Череванин, художник, выделялся из их круга, но он редко посещал их. Несколько раз Надя порывалась поговорить с Молотовым о женихах, любви и браке, но всякий раз что-то ее сдерживало. Так и плелись дни за днями, без всяких внешних событий, «в терему да в терему», куда едва проникал жизненный луч света, пока не наступил Наде двадцатый год.

Молотову надо было побывать у художника Михаила Михайлыча Череванина, родственника Дороговых. Егор Иваныч часто бывал на Песках, где жил Череванин, и потому Игнат Васильич просил Молотова зайти к нему и спросить, не поправит ли он портрет Дорогова; Молотов все забывал о поручении, и вот однажды вечером, чтобы исполнить его наконец, отправился к художнику.

— У нас здесь большое деколье, — говорил Михаил Михайлыч Череванин, вводя Молотова в свою комнату.

Молотов огляделся. Довольно большая комната была освещена сальными свечами. Стояли мольберты, станки, манкены, палитры; окна были без занавесей и заставлены картонами; на окнах стояли горшки дрянейших ржавых гераниумов, покрытых копотью и пылью; тут же, между

горшками, валялась оставшаяся от чаю булка, кусок колбасы в бумаге, медная сдача, кисти и табачные окурки.

У Череванина был праздник. В гостях у него было человек двенадцать, все почти молодежь, только один пожилой офицер с залихватской физиономией и еще старичок, тоже художник. В воздухе плыли табачные облака; в стаканах дымился пунш. В то время как в других углах столицы совершалась тихая жизнь, здесь молодежь проводит буйно время.

— У нас большое декольте,— повторил Михаил Михайлыч.— Не хочешь ли пуншу?

— Не хочу.

— Твоя воля.

— Как гадко у тебя!

— Ну, ну! — отвечал художник.

— Ведь ты свой талант губишь.

— Что ж делать, братец, органический порок.

Череванин был товарищем Молотова в продолжение двух курсов университетских. Он был сын профессора семинарии, женатого на родственнице Дорогова, и приходился Игнату Васильичу чем-то вроде племянника. Он был человек странный, оригинал, талантливый человек, добрая душа и по временам сильно поклонялся Дионису. Но в его фигуре широкого размера не выразилось древлеславянской удали; напротив, видно было что-то печальное, слабость видна была, хотя всякий, взглянув на него, сразу поймет, что у него организм железный, выносливый. Причесывает его сама мать-природа, и она, любя разнообразие, отправила один клочок волос за ухо, а другой повесила на щеку, на темени приподняла вихор, пробор перепутала, не завилла в волосах ни одного колечка, а оставила их прямыми, как нити, не напмадила их, а приправила пухом, редко побуждала его бриться, не берегла платья от пыли и пятен... И работа его не отличалась тщательной отделкой, как и иаружность, как и манера выражаться, как и все, ему принадлежашее. Краски ложились у него ключьями. Он не рисует попеременно волоса, лоб, глаза, уши и т. д., начиная верхним волоском лица и кончая последней чертой подбородка. Вот он оживился, схватывает черту на щеке, но вдруг кисть его переносится и лепит под глазами, потом удачный взмах определит характер губ; он чертит зря, смело, уверенно, твердо; ошибется, так трудно поправить. Не умеет он изображать идеальную красоту, не увидите у него

Аполлонов Бельведерских и Венер Медицейских, но у него встречаются удивительно верно выхваченные из жизни типы. Он имел золотую медаль за картину в роде жанр и не дорожил той медалью. Было время, когда Череванин с любовью занимался своим делом; его одобряли друзья, товарищи и учителя, но не был сам он убежден в своем таланте, и тогда это сильно волновало его. «Что, если я простой маляр? — думал он. — Что, если придется бросить кисть, вместо ее взять в руки перо чиновника, а мастерскую променять на канцелярию?» Но он давно уверен, что имеет талант — не великий, но довольно крупный; и — непонятно — с той поры самый талант стал представляться ему достоинством невеликим. Череванин удивлялся, отчего это другие не могут рисовать, как он: не хотят, а рисовать — просто, — и с странным презрением художник относился к своему искусству. Ему не жалко было продавать свои картины. Картина становилась ему противна, лишь он успевал окончить ее. «Ведь всякую черту знаю на память!» — говорил он. Но были картины, проданные Череваниным, которые были для него дороже других: головка девушки, деревенское кладбище, семейная группа, сон нишей и др. К этим любимцам он иногда ходил в гости; придет к владельцу и просит посмотреть на картину, пробудет с ней около часу и опять уйдет на год или на два. Раз он собрался сделать копии с своих любимцев, но не ужился с ними и месяца, — живо они перешли в чужие руки. Ни к чему он не мог надолго привязаться — были ли то люди, избранные книги, произведения его искусства или простые вещи. Он был два раза влюблен. Первый раз за три дня до свадьбы невеста изменила ему. Он сильно страдал и с горя ходил на мост, чтобы погребсти в Неве свое грешное тело, но кончил тем, что нарисовал на свою невесту карикатуру; впрочем, с тех пор он особенно коротко сошелся с Дионисом. Другой раз он увлекся «погибшим, но милым созданием». Это была очень миленькая девушка, но тоже надула его. На этот раз Череванин не лез на стены, не думал топиться, но предпринял оригинальную меру, чтобы отделаться от тоски. Вставши поутру, он выходил на улицу, отправлялся куда глаза глядят, ходил до истощения сил и, вернувшись домой, страшно измученный физически, бросался на постель и засыпал. Проснувшись ночью, он опять отправлялся в поход с единственной целью измучить себя; вставал он в полдень и принимался за то же самое. Через две недели,

после таких прогулок, с него как рукой сняло. Впрочем, хотя горевать он перестал и говорил с тех пор: «Лекарство от любви — моцион», но эти две неудачи сильно подействовали на его характер. Он получил склонность к цинизму и отрицанию жизни, что, впрочем, лежало в его натуре. Стал он перебираться с квартиры на квартиру и нигде не уживался. Сначала он занял отличную модную мастерскую, хорошо меблированную; она вся была заставлена портретами его работы. В это время он вел себя джентльменом. Но не прошло и полгода, как ему захотелось идиллии, и он поселился на хлебах у одного семьянина, нанимая две простеньких, но чистеньких комнатки; около его постоянно дети, цветы, чижи в клетке, старуха в углу вяжет чулок, и окружают его уже не портреты, а вполне оригинальные произведения. Через год ему надоели и новый быт, и люди, и картины, и вот мы застаем его на Песках, в неопрятной квартире. Теперь он кутил, был грязен, говорил грубо, и дико-дико было в его комнатах, освещенных сальными свечами, где среди манкенов молодежь совершала оргию. С переменою людей, обстановки и работы и при наступлении периодического чествования Диониса ярко обнаружился его крупный, резкими чертами одаренный характер.

— Органический порок, милый человек! — повторил Череванин.

Молотов чем более вглядывался в окружающую обстановку, тем в большей дикости и нелепости она представлялась ему. Он с изумлением заметил в компании двух молодых людей, одного — сына Рогожникова, а другого — Касимова.

«Эти как попали сюда? — подумал он. — Что их гонит из дому? разве там не спокойно, не мило, нет жизни и свободы? Недостаток эстетического чувства, грубость и одиалость характера заставляют человека не любить ровную, тихую, полную глубокого смысла семейную жизнь».

— Не стыдно тебе, — сказал он Михаилу Михайлычу, — ведь ты губишь молодой народ...

— Без меня хороши! Ты лучше посмотри да послушай, что здесь за народ, — это очень занимательно и поучительно. Отличные этюды встречаются. Тут собрались дивные ребята, все любят отечество, искусство, науку и водку, — больше ничего не любят!.. Пейте, господа! — крикнул Череванин как-то вяло.

— Следует, — ответили ему.

— Хоть бы ты вымылся,— сказал ему кто-то.

— Медведь не моется, да все его бояться,— отвечал художник.

Пошло страшное попойше; начались песни, хохот, остроты, поило пенное, поило пуншевое, поило пивное.

— Что ты делаешь?

— Всё пустяки в сравнении с вечностью!.. Как что делаешь? Мы вопросы современные решаем... Слушай, вон в углу кричит: ты думаешь, тут что-нибудь спроста? Нет, это он о Суэзском перешейке валяет! — не слышно что, да и так можно догадаться, что околесную несет. Прислушайся теперь к речам в другом углу — там решают влияние французского кабинета на дела Азии. А посмотри-ко на того парня, который соскочил с дивана, точно его по шее треснули. О, бедняга, как он худощав и бесконечно длинен, поднял костлявые руки, кричит, вопит и распинается, а за что?

— Гегель и прогресс!.. Гегель и прогресс! — кричал длинный господин.

— Это всё любители просвещения, жрецы, братец ты мой.

— Черт знает, как скучно дома! — говорил Касимов.— Что за пошлая, телячья жизнь! Ни о чем не услышишь живого слова, бог знает о чем толкуют с утра до вечера, просто невыносимо!.. А какая чистота нравов! Знаете ли, что у меня есть тетушка сорока пяти лет, которой группы, выставленные на Аничкинском мосту, кажутся безразличными? Она не может смотреть на тело человека, ей совестию. В сорок-то пять лет ее соблазняет болван-композиция!..

Молотов не мог не улыбнуться.

— Выпьем еще! — слышно в углу.

— Выпьем!

— Поцелуемся, дружище!

— Поцелуемся!

— Тебе, что ли, ходить? — говорит один из играющих в шашки.

— Сходим, сходим!

— Кто, господа, идет со мной «в ту страну, где апельсин растет»?

— Подожди, еще рано...

— Так песню, господа!

И затягивают «Вниз по матушке, по Волге, по широкому раздолью». После этой песни следовала патриоти-

ческая, известная всем молодым людям столицы. Поднялся шум, и грохот, и ярые возгласы.

— Россия на ложной дороге! — кричал какой-то политик.

— Вы с Англии пример берите, — перебил его другой голос...

— Нет, в Германию, в страну философии, — начал было гегелист...

— Пошел ты к черту! — перебили его другие. — В Германию, страну колбасников? Да им все морды побить надо! Германия — огромная портерная в Европе...

— А Россия — кабак.

— Да ты сам пьян!

— Что ж из этого?

— А если хочешь быть последователен, убирайся к черту с Гегелем!

— Нет, вся наша надежда на мужика, на простолюдина. Освободите мужика, он пойдет шагать!

— А до тех пор что будем делать?

— Ничего!

— Ну, и на здоровье.

— Слова прошу, — закричал офицер с заливчаткой физиономией, — послушайте слова опытного человека! Молчите и внимайте.

Все стихло.

— Я предлагаю, господа, устроить сейчас же общими силами скандалиссимус!

— Какой, какой?

— Переломать кости первому встречному.

— Да за что же?

— Здорово живешь!

Скандалиссимус был отвергнут большинством голосов.

Молотов с изумлением смотрел на окружающие его лица и слушал их ярые речи.

— Что это у тебя творится? — спросил он Михаила Михайлыча.

— Будто не понимаешь?

— Ничего не понимаю.

— Здесь совершается великая тайна акклиматизации европейского прогресса, включительно до скандалиссимуса... Я тебе говорил, что мы решаем современные вопросы. Мы не аскеты, не люди старого закала; здесь нет ни одного человека, который бы из прогресса создал пу-

гало нравственное и отрешивался бы от него, как от сатаны. Здесь процветают широкие нравы.

— Что же будет с этими людьми после, когда пройдет время разгула, перегорит человек, переломаются его кости и испортится кровь?

— Вон ты куда хватил!

— Ведь потянет же их когда-нибудь из этого бешеного круга, жизнь заставит взглянуть на себя серьезнее,— что тогда будет с их убеждениями?

— С какими?

— Да вот которые они проповедуют.

— Это разве убеждения?

— Что же?

— Просто дурь на себя напустили. Горло драть хочется, ну и дерут. Им бы только посуетиться, побыть в массе, покричать, а покажи только розгу, так сейчас: «Ай, маменька, не буду!» Предложи любому чин регистратора, сейчас и убеждения побоку, и еще будет потом говорить, что его пошлая действительность задавила, среда заела,— а какая среда? натурашка гнилая! Идеалы их книжные, и поверх натуры идеалы плавают, как масло на воде. Ничего не выйдет из них. Квасные либералы... Хоть бы пару мужиков научили грамоте, а то даже и говорить-то не умеют, убедить никого не могут... Пей, ребята! — крикнул Череванин.

Молотов пожал плечами.

— Зачем же ты собираешь их около себя?

— Разве не видишь, что веселенький пейзажик выходит? надо же чем-нибудь утешать себя.

Молотов опять пожал плечами.

— Михаил Михайлыч,— сказал Касимов, подходя к нему.— А, Егор Иваныч,— сказал он,— извините, я вас и не заметил в дыму.

Поздоровались.

— Что вам угодно? — спросил Череванин.

— Я хочу идти в художники...

— Так что же?

— Как посоветуете?

— Ступайте.

— Ей-богу, ничего не может быть лучше жизни художника: свобода, вино, женщины и друзья!

— И картины...— прибавил Череванин.

— Только не знаю, есть ли у меня талант.

— Все же будете принадлежать к числу художни-

ков, и у вас будет свобода, вино, женщины и друзья...
Касимова отозвали пирующие.

— Верить ли, что я из этого господина могу сделать хоть сейчас краскотера? И все они таковы: это люди подражательные, юноши без всякого содержания. Он как родился не потому, что хотел того, а пожелали мамаша с папашей, так и все потом делал, потому что люди это делают. Между тем Касимов умеет острить, как ты слышал, но всегда впадает в чужой тон; вообще он неглуп, у него есть ум, но не свой. Смолоду такие люди всегда подают надежды. У них ничего нет за душой, кроме впечатлительности. Поживши с угрюмым человеком, Касимов совсем отвык от улыбки; с рыцарями — он рыцарь, с франтами — франт, среди ученых корчит глубокомысленную рожу. Однажды он вздумал идти в монахи, потому что наслушался какого-то старика о развращении рода человеческого; а через месяц он уже был отчаянным франтом. Заклятый ненавистник брака, пока холост, а женится — попадет под башмак жены. Человек с небольшим характером и какой-нибудь оригинальной выправкой может заставить их сапоги себе чистить. Противно смотреть на них, так они и льнут в глаза и точно в губы поцеловать хотят. Словом, народ сопливый. Он всегда находится под влиянием последней прочитанной статейки. Сегодня он кричит: «Индейцы англичан раскатали»; завтра: «Гумбольдт умер»; послезавтра: «Прочитайте «Манон Леско», очень развратная книжка», — и нигде ничего не понимает, всегда с чужого голоса поет. Когда пошла обличительная литература, тогда он с благоговейным страхом говорил: «Вот отчаянные-то головы!.. что пишут!.. и не боятся!» Попавшись за увлечения впросак, он вдруг хвост опускает, робеет и, не зная, что делать, иногда плачет и богу молится, не понимая, что ж это за напасть на него. Когда же их поймают в минуту растерянности и станут стыдить, то они без зазрения совести умеют напустить на себя рысь дурака: «Эх, господа, полно божиться, я сам знаю, что я глуп; что ж делать, если бог ума не дал», — и врет, каналья: он вовсе не глуп, а просто не хочет шевельнуть мозгами, разобраться, наконец, во что он верит и не верит. Вот я и потешаюсь. Надоедят, запру дверн, и делу конец.

— И тебе не жалко их?

— А тебе жалко? Мне смешно, но это одно и то же: одинаково оскорбительно для человека. Жаль, нет здесь одного господина, который пописывает статейки. Вот

забавник-то! «Как это вы пишете обличительные очерки?» — спросил я его однажды, и что же? — он сознался: «Откроешь, говорит, Свод законов, прочитаешь статьи, нарушишь их и припишешь это какому-нибудь чиновнику... при этом обстановочка маленькая, современный дух... ну, и ничего, платят за это деньги, все же на табак годится». Смешно ли это или жалко, я разности большой в том и другом случае не вижу.

— Ну, а сам-то ты что?

— А я, может быть, еще хуже их. Эх, Егор Иваныч, пойдём отсюда вон... Опротивело.

— Пойдем,— отвечал Молотов,— только как же гости-то?

— Вон там старичок есть, распорядится.

Молотов и Череванин ушли.

— Куда же мы отправимся? — спросил Молотов, когда они вышли на улицу.

— Куда глаза глядят; пойдём хоть на Невский.

Молотов согласился.

— Не понимаю я... — проговорил Молотов.

— Чего, милый человек?

— Скоро ли у нас кончится это вечное гореванье, никому не нужная тоска, мрачный взгляд на жизнь, доморощенная байроновщина.

— Доморощенная — это верно сказано, Егор Иваныч.

Прошли нескдлько молча.

— Мало ли чего ты не понимаешь, милый человек, — начал Череванин. — Век живи, век учись, а дураком помрешь. Скажи ты, добрая душа, куда мне девать свои досуги? Сидишь-сидишь, и такая тоска заберет, что и сам не заметишь, как очутишься в портерной или трактирном заведении. Я уверен, что ты не смыслишь ничего в вине, а ты вообрази себе, как выпьешь, вдруг огни потекут по телу, грудь вздохнет широко, вот она, жизнь-то, начинается!.. Прекрасная погода, отличная газета, чудная водка!.. думы и печали далеко летят. И хмель не заснет в тебе; он ходит, растет и разрастается... в голове туман, в крови жар... петь хочется, плакать и целовать всех... Вот это не мечта, а жизнь... я ее чувствую, едва не ощущаю руками... Понял, милый человек?.. И пойдут писать дубы словые, дубы сосновые, дубы липовые!..

— Плохо, если они пойдут писать...

- Пожалуй, что и плохо...
- Зачем же ты это делаешь?
- Потому что мне нравится.
- В наше время стыдно пить...

— Это отчего? Если будешь пить, так от века отстаешь, что ли? Полно, меня ведь не иадуешь. Век выработывает не только такие натуры, как твоя, но и такие, как моя. Ты не найдешь ни одного человека, который жил бы так, как жили в прошлом столетии, да и такого не найдешь, чтобы сегодня по-вчерашнему: то же самое делает, но иначе, в другой форме и по другим причинам. Кто ж отстает от века? Ни для кого солнце не остановится. Сменяющиеся в жизни обстоятельства, лишь коснутся человека, непременно имеют на него влияние, и тут хочешь не хочешь, а от века не отстанешь. Рутинеров ведь нет на свете, милый человек; их добрые и умные люди выдумали. Покажи-ко ты мне хоть одного отсталого человека.

— Все приверженцы старины,— отвечал с удивлением Молотов,— отсталые люди.

— Старину копнул!.. Ведь ее тот же век произвел, нам современный... Этой старины никогда еще не бывало, она новая старина... Если бы деды пришли да посмотрели на эту старину, они не узнали бы ее, стали бы отплевываться и отрекаться от нее. Эту старину только в нынешний век и найдешь... Какая же она старина? Она тоже новость, продукт современной жизни, последнего часа, настоящей минуты... И выходит — пустое слово, которых так много на свете, диалектический фокус!.. Кто же отстал от века?..

— Но есть же новые люди и новая жизнь?

— Вона!.. кто ж этого не знал? Ведь все ныне живущие люди народились в наш век, а не из могил вышли, не с того света воротились, и все живут новой жизнью. Например, доселе никто еще не жил, как я живу; ни у кого еще не было такого взгляда на жизнь, как у меня. Если ты о пьянстве говоришь, так что же? И оно не старинное, а новое, прогрессивное...

— С тобой не сговоришь... Ну, отчего ты не пристал к лучшим людям?

— Лучшие люди?.. лучшая жизнь?.. вот оно что!.. Значит, ты согласен в том, что я новый человек; я в то же время и лучший человек.

Егор Иваныч засмеялся...

— Смейся, добрая душа, смейся; но ты опять сказал пустое слово... Лучших людей нет на свете; один худ, а дру-

гой лучше, а третий еще лучше; и наоборот, один хорош, другой хуже, а третий еще хуже,— так без конца и без начала. Только самого худого не отыщешь и самого лучшего не отыщешь. Все лучшие и худшие.

— Однако ж одни хуже, а другие лучше...

— И этого нет.

— А ты хорош?

— Нет.

— Так худ?

— И не худ.

— Что же это такое?

— Я, как и все люди, без достоинств и недостатков. По-твоему, роза хороша, а крапива худа, а по-моему, обе хороши или, если угодно, обе худы, а вернее — ни хороши, ни худы, обе — произведение почвы... Ни хвалить, ни бранить их не за что.

— И тебя вырастила почва?

— А то что же?

— Это называется, среда заела?

— А вот и не заела!.. Среда?.. заела?.. Новые пустые слова. Я просто продукт своей почвы, цветок, пойми ты это.

— То есть и не животное даже, а ниже животного, растение.

— Растение несколько не ниже животного и не выше.

— Значит, никто не виноват в твоей жизни, жаловаться не на кого?

— Еще пустое слово!.. Виноват?.. Разве виновата крапива, что ее вырастила почва? Виноватых и невинных нет на свете. Разве я виноват, что родился? Меня не спрашивали, желаю ли я явиться на свет; разве я виноват в том, что умру? не виноват же и в том, что живу!.. Всё пустые слова!.. Один чудака приходит к другому: «Ты подлец», — говорит ему; а тот струсит: «Что ж, говорит, делать, обстоятельства»; первому станет жалко, он и давай утешать его: «Ну, ну, успокойся, ничего, это тебя среда заела». Вечное пустословие! Обвиняют среду, ну — и бить бы ее или гуманные какие средства предпринять. Не тут-то было: оказывается, все заедены... вот тебе и раз!..

— Так ты никого не обвиняешь?

— Смолоду была глупость; ругался на чем свет стоит, благородно и со злостью, винил людей в своем характере, да вовремя смекнул, что и они, в свою очередь, будут винить других людей, которые их испортили, и выйдет чепуха неисходная!.. Нет, никого не обвиняю...

— Это шаг вперед, Михаил Михайлыч.

— Ах, милый человек, разумеется, вперед, а не назад... Иначе и нельзя... Если бы у меня на месте лица затылок был... Да нет, и тогда бы, затылком, а все же вперед.

— То-то и беда, что ты двигаешься затылком вперед.

— Утешил!.. шаг вперед!.. Он не от нас зависит: хочешь не хочешь, а заноси ногу, ступай. И никто не идет назад, все — вперед. Есть в природе что-то такое, что движет людей... именно сторукне силы!.. Вперед, — да как же иначе-то быть?

— Но неужели же тебе невозможно переменить свою жизнь?

— Что возможно, то всегда и есть на деле, в жизни! Если мы идем не по той стороне проспекта, то, значит, в настоящую минуту и невозможно идти там; а лишь только перейдем на ту сторону, тотчас, но только в будущую минуту, и сделается возможным идти там. Ты странный вопрос задал!

— Однако ты понимаешь меня?

— Нисколько.

— Я спрашиваю, отчего ты ведешь такую грязную жизнь?

— Не знаю.

— Отчего не переменишься?

— Тем более не знаю.

— Попытался бы...

— Не хочется...

— Принудил бы себя.

— Не хочется принудить. Принудил бы? иначе выразиться: захотел бы пожелать? Не хочется захотеть. Что, милый человек, договорились до абсолютного бытия?.. Найди ты мне хоть одно слово, в котором был бы смысл.

— Ты не знаешь таких слов?

— Нет.

— Труд, честь, любовь, талант, да и много еще, — отвечал Молотов.

Михаил Михайлыч тихо засмеялся; Молотов пожал плечами.

— Что, ты до всего этого сам додумался?

— Сам...

Молотова интересовал его бывший товарищ; он предложил ему зайти в ресторан. Череванин согласился. Когда они сели в маленькой комнате, где никого не было, кроме их, и поставлено было на стол вино, Молотов сказал:

— Удивляюсь диалектическому направлению твоих мыслей! Охота тебе питаться софизмами!

— Слушай,— отвечал Череванин,— я действительно сумею что угодно опровергнуть или доказать, но я с тобой не играю в слова, а говорю по совести и прямо, что во всех этих хороших речах не нахожу никакого содержания. Диалектика у меня развита. Мой отец преподавал риторику и логику, и он, бывало, заставлял меня на одну и ту же тему говорить *pro* и *contra*¹; или прикажет описать какое-нибудь чувство, и опишешь так, что хоть сейчас в «Великопостный конфет».

— Что это такое?

— Книга такая — «Великопостный конфет, или Слово на вопрошение о смерти». Но не в «Конфете» дело. Я тебе сознаюсь, что умею говорить и, если угодно, буду против себя красноречив. Да что толку, лучше правду говорить. Вот я тебе и сообщаю, что думаю. Если можно, так сделай, чтобы я не думал, уничтожь мои мысли. Не сделать тебе этого, практический человек.

— Это время сделает... Очень просто могут разрешиться твои сомнения. Пусть обстоятельства пристукнут тебя покрепче; тогда поневоле оставишь диалектику и найдешь смысл в таких предметах, как кусок хлеба, заплатка на брюки, полено для печи.

— Случалось, милый человек,— и это — голодал. Перетерпишь, и ничего. Всё пустяки по сравнению с вечностью!

— Но ведь запасешь на старость?

— Нет.

— Стар будешь, болезни пойдут, а ты без денег.

— Веселенький пейзажик!

— Тогда не покажется веселеньким. Но это еще в будущем... Неужели тебя теперь никогда совесть не мучит?

— Вот это слово не пустое!.. В нем реальное понятие; ощутить можно совесть, и она не выдумка добродушных людей.

— Наконец-то!.. И ты ощущаешь ее?

— А то как же? нельзя же без того! Ведь не мною выдумана совесть, а уже это самую природою устроено, и я тут ни при чем. Мне только остается любоваться на то, как она меня мучит, наблюдать ее, смотреть прямо

¹ За и против (лат.).

в лицо пучеглазой совести, — я это и делаю. При этом заметить: что тебя тревожит, то, может быть, на меня и не действует; кроме того, у меня особый род совести — так называемая «сожженная». — Михаил Михайлыч сказал: не «сожжённая», а «сожженная».

— Это что такое еще?

— Многое ложилось и на мою совесть; но я страшной силой воли всегда умел подавить в себе моральное страдание; не то чтобы заглушал совесть, закрывал перед ней глаза, трусил, лукавил и оправдывался, — нет, нет, я прямо смотрел ей в рожу, холодно и со злостью, стиснув зубы. «Вперед не будешь?» — спрашивал я себя. — «Почем знаю, может быть, и буду!» Случалось, что я бросался на кровать и, накрыв голову подушкой, едва не задыхался; и под подушкой я слышал голос: «Вперед не будешь?» Тогда я отвечал в бешенстве: «Буду, теперь непременно буду!»

Череванин быстро выпил две рюмки, одну за другой. Нельзя было сомневаться в том, что Череванин говорил правду. Молотов только произнес:

— О боже мой!

— Знаешь, что меня сгубило? — продолжал Череванин. — Я всегда честно мыслил.

— Разве это может сгубить человека?

— Может. Но знаешь ли, что значит честно мыслить, не бояться своей головы, своего ума, смотреть в свою душу, не подличая, а если не веришь чему, так и говорить, что не веришь, и не обманывать себя? О, это тяжелое дело! Кто надувает себя, тот всегда спокоен; но я не хочу вашего спокойствия. Есть страшные мысли в мире идей, и бродят они днем и ночью, и когда рисуешь и когда вино пьешь. Особенно когда находишься один, глухо вокруг тебя, задумаешься, замечтаешься, фантазии и образы растут, мысли поднимаются на такую высоту, что кажутся дикими; но идет за ними душа до тех пор, что начинаешь бояться за свой рассудок и в страхе хватаешь в руки голову. Мысли рождаются, растут и живут свободно, — их не убьешь, не задавишь, не подкупишь. В этом царстве полная свобода, которой добиваются люди, из-за которой режутся они. Свобода, вечная независимость здесь только и возможна, и только в этом мире можно жить в собственном смысле. Но редко я живу теперь мыслью, состарился и измучился бесплодно. Гаснет хмель в речах, всякая мечта замирает, не чувствую злости

ко злу, расположения к добру; смех пропадает; хоть бы совесть мучила, и того нет; скоро я, кажется, совсем мучиться перестану,— останется одна бесчувственность, и скажут: «Этот человек совсем сгнил»; день ото дня слабеет мой организм, и я, в самом деле, становлюсь немощным сосудом. Но желал бы я воротить свою молодость? Ей-богу не желал бы! Не надо мне ее, не надо! Это время выработывания идей, непонимания жизни и осмысливание ее, взъерошиванья волос; одушевленные лица, бессонные ночи, горячие речи — все это опротивело мне, потому что человек как ни горячится, а все-таки кончится тем, что оплешивеет и окиснет. А где же моя детская жизнь? Она стала предметом умозрения, фантазии, общих фраз и слепого воспоминания. Все состояния тела и души, всё, что составляет жизнь, есть предмет забвения. Все события от времени потеряли цвет подробностей и значение внутреннего смыслу; цепь жизни разорвана на куски, пружины и кольца ее распались. Чем доказать, что и я жил? Пусть другие нас забудут, нам ли думать о бессмертии; но неужели я так ничтожен, что не стою собственного внимания и памяти? Скучно, скучно!

— Ей-богу, не понимаю, о чем мы толкуем,— отвечал Молотов, когда Михаил Михайлыч после долгой, полушалальной речи поникнул головою.— Никто так не говорит и никто не страдает такими болезнями.

— Так и знал: никто не страдает, как ты; поэтому никому и нет дела до тебя. Все в ответ только и поют стих о Страшном суде. Уж очень вам хочется, чтобы от нас, грешных, «было не слышати ни зыку, ни крику, ни рыдания»... «Река Сион протечет, как гром прогремит», а вы, святые люди, просите, умоляете, чтоб «берега с мест содвинулись, перстьем засыпались».

— Но, право, не понимаю, чем ты страдаешь. Неужели можно совсем потерять вкус к жизни? Это невероятно.

— А потерял же!.. Во мне не только положительного, во мне и отрицательного ничего нет,— полное безразличие и пустота! У меня так голова устроена, что я во всяком слове открываю бессодержательность, во всяком явлении — какую-нибудь гадость. Торичеллиевая пустота и сожженная совесть!.. Прежде, бывало, ломался и крчал: труд, отечество, любовь, свобода, счастье, слава и много иных прекрасных слов; но и тогда уже чувствовал, что

лгал, а теперь ничего не хочу, кроме сна, забвения, обморока...

Череванин налил рюмку себе и закурил сигару.

— Любовь, дева, луна, поэзия...— перебил Череванин.— На свете нет любви, а есть аппетит здорового человека; нет девы, а есть бабы; вместо поэзии в жизни мерзость какая-то, скука и тоска неисходная; ну, луна, пожалуй, и есть, да мне плевать на луну: какого черта я в ней не видал? Все мне представляется ничтожным до невероятности, потому что «все на свете скоропреходяще и тленно!». Мне только это вдолбили смолоду. Я постоянно слышал об антихристе, кончине мира, о тленности благ земных... Мы жили подле кладбища, я еженедельно видел покойников и тогда уже детскими пытливыми глазами всматривался в мертвецов. Постоянно я без нужды смирялся, усиленно откапывая в себе всевозможные пороки и гадости, воображал себя червем, прахом, ничтожеством, человеком, недостойным счастья; я презирал себя в детстве! Потом я и очнулся, протянул руки к жизни, но уже поздно было! Взгляд мой был направлен к тому, чтобы видеть одно только зло в себе и людях. Гадко и мрачно! Если вкус человека испорчен, то хотя после он убедится, что пища, употребляемая другими, хороша, а все-таки не будет он способен питаться ею. Но мало ли нашего брата, и все они идут своей дорогой, все понимают, что они такое. Отчего это все веселы, а я один только ничего не понимаю? Оттого, что было время, когда я принимал все близко к сердцу, в плоть и кровь вошли убеждения; а когда очнулся, вкус мой уже был испорчен, трудно было перевоспитаться. Мало только понять новую жизнь, надо жить всем организмом, быть цельным, здоровым человеком. Разные сомнения и нерешимые вопросы для вас, людей иного воспитания, быстро проходят и не имеют никакого значения, а для нас, специалистов в этом деле, они оставляют неискоренимое влияние, так что и на новую жизнь, которая предъявляла права свои, я набросил тайный флер.

— Я никого не люблю,— продолжал Череванин,— человек я честный и в товариществе добрый, но ни к кому я не привязан, никого мне не надо... Хоть теперь, разве для тебя я здесь сижу и говорю? Поучать, что ли, тебя собрался? Я тебя и знать не знаю. Делал и я людям добро, и не любил никогда тех, кому помогал.

— Зачем же ты и помогал?

— Себя тешил!.. Себя только люблю,— продолжал художник,— один эгоизм, полный, безапелляционный эгоизм!.. Да нет, и не эгоизм... Там, где действует эгоизм, бывает полное довольство, сознание собственного достоинства, а я не живу и не умираю и всегда сам себе гадок. Для кого же, зачем я буду работать? Себя я не люблю, не уважаю, вас тоже... О ком же заботиться, для кого хлопотать? Уж не для будущего ли поколения трудиться?.. Вот еще диалектический фокус, пункт помешательства, благодумная дичь! Часто от лучших людей слышим, что они работают для будущего,— вот странность-то!.. Ведь нас тогда не будет?.. Благодарно будет грядущее поколение? Но ведь мы не услышим их благодарности, потому что уши наши будут заткнуты землею... Да нет, и благодарно не будет грядущее поколение; оно обругает нас, потому что пойдет вперед дальше нас, будет сдавлено в своих стремлениях людьми старого века, то есть моими и твоими сверстниками и единомысленниками. Ведь все, что мы называем отсталым, но время оно было передовым, свежим, бодрым, боролось, в свою очередь, с давно прошедшей рутинной, о которой до нас еле слух дошел. Что же, и стариков в былое время называли лестным именем «вольтерьянцев», хотя они тоже небо коптили... И ваше время минет!.. Почему ты знаешь, может быть, самое-то молодое поколение, вот то, которое сидит теперь на школьных скамейках, уже чувствует что-то неловкое по отношению к вам, и в лице его воспитывается вам протест. Неужели оно проживет так же, как и вы, носиться будет с теми же идеями?.. Оно пойдет вперед или нет?.. И вот попомни ты мое слово, что когда тебе и твоим сверстникам стукнет лет шестьдесят и вы, при божьей помощи, дослужитесь немалого чина, вы притиснете молодое поколение, право, притиснете... На свете уж таков обычай, что лишь только сын дорастет до того, что сам может иметь сына, так и начинает ругать отца. Ведь вечное движение вперед — сытость старым; блага, прежде добытые, становятся до того обыденными, что мы теряем вкус в них. Мы пользуемся всем добром, для нас заготовленным, но всё еще несчастливы; как живот наш добра не помнит: вчера кормили — так нет, сегодня опять хлеба просит. Добьются люди своего, удовлетворятся; но потом, глядишь, новые вопросы, новые желания, иные силы возникают, и старая жизнь давит молодое поколение, по-

тому что человек не может жить две жизни. И новое поколение состарится, в свою очередь, и наших внуков, будущих людей, станет теснить за неведомые ему стремления. Внуки заставят плакаться правнуков, и так далее, в бесконечность. Экая нелепость!.. Выпить, что ли?

— За будущее поколение?

— За все поколения, потому что все они равны. Будто молодое лучше старого или старое лучше молодого? Которое-нибудь из них счастливее, нравственнее, разумнее?.. Все равны!..

— Слушал, слушал я тебя,— сказал наконец Молотов,— и ничего не понял из твоих речей. Я не приготовился к такому потоку софизмов, к такому траурному взгляду и полному отрицанию света и жизни. Как называть, извини меня, твою дикую систему?

— Если можно, и название есть. Ты видишь, как я говорю гладко; из этого следует, что все у меня обдуманно, приведено в систему и может быть выражено очень красноречиво...

— В чем же дело?

— Кого рефлексия, а нас кладбищенство заело.

— Именно, кладбищенство!

— Оно и есть!.. Да, братец ты мой, как ни закрывай глаза и ни затыкай уши, а печальные явления печальной жизни ежедневно и повсюду совершаются и неотступно требуют нашего внимания. Заснула ли жизнь, как болото, захрясла ли в бедности, истомилась ли в болезни, заглохла ли в невежестве, пороке или такой аномалии, как у меня,— много ли нас тревожит жизнь? Равнодушны мы к ближнему; редко можем понять его несчастье. Когда несчастье выдается рельефно, с криком и болью, когда мы видим раны, сильно развороченные болезнью,— тогда только мы спрашиваем себя: «В самом деле, не страдает ли этот человек чем таким?» Узнавши, мы смеемся его глупости. Если ближний страдает от бедности душевной, нам нет дела до него. Кто, дескать, велит ему страдать? Пусть себе!

— Но что такое кладбищенство?

— Вот тебе для образчика. Например, я часто думаю о смерти, до подробностей вникаю в это прекрасное явление природы, потому что я несколько не брезглив. Вот придет чадолюбивая холера или прохватит столичная лихорадка, а может быть, бревно сорвется с крыши и прихлопнет на месте, и отлучится, как говорят, душа

от внешней оболочки. Вообрази теперь хоть ту картину, которую я чаще всего видел в детстве... Положат тебя на стол; под стол поставят ждановскую жидкость; станут курить ладаном, запоят за душу хватаящие гимны — «Житейское море» или «О, что это за чудо? как мы предалися тлению? как мы с смертью сопряглись?». Соберутся други и знаемые; станут целовать тебя, кто посмелее — в губы, потрусливее — в венки... Дальше?.. что дальше?.. Захлопнут гроб крышкой, и завинтит ее вечным винтом вечного цеха мастер, гробовщик Иван Софронов, и опустят тело в подземные жилища... Могила... Что такое там?.. Я уже вижу, как идут, лезут и ползут черви, крысы, кроты... Веселенький пейзажик!.. Через десять лет провалится крышка от гроба... я все это знаю... а через тридцать останется только череп да две кости от таза...

— У тебя мания,— сказал Молотов.

— Органический порок, наследственный...

— Какая-то нравственная торичеллиевая пустота, сожженная совесть и прогрессивное кладбищенство!

— Самородок!

— Движение вперед спиною, веселенькие пейзажики...

— Важно!.. Экая сила поднялась!..

— Глухой мрак и дубы еловые!

— Гадко! — сказал с отвращением Череванин.

— Не верю я, чтобы нельзя было отрешиться от такого могильного направления... Иначе зачем тебе и существовать на свете?.. Ведь отжил, сам говоришь? так ступай на Неву и отыщи прорубь пошире! Чего ты ждешь от завтрашнего дня? Зачем же тебе и жить завтра? Убирайся!..

Череванина озадачил такой оборот речи.

— Зачем до сих пор ты не вырвал из души всю могильную гадость?

— Не мог...

— Лжешь!

Череванин даже привстал с этого слова.

— Человек все может сделать,— продолжал Молотов,— ты не заботился о себе, запустил свою болезнь, развратил себя.

— Я родился таким...

— Переродиться надо.

— Поздно!

— Лжешь! — повторил Молотов.

Череванин вспыхнул; но это было на минуту. Он глубоко задумался.

— Странное явление — такие господа, как ты, — говорил Молотов. — Скучают о том, что жизнь коротка. Чем короче она, тем более побуждений жить! Если ты уверен, что твоя жизнь не повторится, то и должен беречь ее; не много дней дано природею...

— И ляжет в основе существования полный эгоизм...

— Эгоизм рождает любовь. Когда удовлетворены твои потребности, является страстное желание сделать всех счастливыми. Ты не любишь других, потому что не любишь себя. Но бывало же и тебе жалко людей, помогал ты им, заботился о них, страдал им?

— Самого себя жалко было — больше ничего. Несчастия людские раздражали, не давали покою, это сердило, — вот и все.

— В том-то и любовь, что чужое горе до такой степени станет твоим горем, что сделается жалко самого себя.

— Перестану, — сказал неожиданно Череванин.

Молотов посмотрел на него с удивлением...

— Попробую, что будет...

— С богом, Михаил Михайлыч!

— Скучно будет, лягу на диван, задеру на стену ноги и буду ждать час, другой, третий; выжду же, что переменится расположение духа; а не то выйду на улицу и буду ходить до изнеможения... Скучно тебе? — спросил себя художник и сам же ответил: — скучно. Ну и пусть скучно! — прибавил он...

— Вот это не спиной вперед, — сказал Молотов...

— Право?

— Вот и возможно стало перемениться?

— В настоящую минуту возможно; а давеча не было перемены, — значит, тогда, в ту-то минуту, и возможности не было. Что возможно, то сейчас и на деле есть...

— Ну, так и дубы еловые в сторону?

— В сторону...

— И великопостные конфеты?..

— И конфеты туда же!

— И торичеллневую пустоту?

— Ну, не совсем, — сказал в раздумье художник...

— Кладбищенство осталось, значит, можно соблазнить.

— Соблазнить?.. да вот тебе еще пустое слово!.. Со-

блзнить никто и никого не может... Соблазнить?.. что это такое? Я в этом слове ничего не слышу,— оно совсем пустое!.. Меня никто и никогда не соблазнял; я всегда удовлетворял только своим потребностям... Теперь поворот на новую жизнь — вот и все!

— Что же ты думаешь предпринять теперь?

— Начну работать как вол. Не будет художественного жара, стану копии писать да за рубль продавать. Заведу чистоту в квартире, насильно заведу; выгоню квасных либералов; поселюсь среди женщин — пусть смягчат мои нравы: это их дело, и вот тогда посмотрю, что со мной будет.

Череванин долго мечтал о новой жизни. Он вострепелся и повеселел...

— Скучно тебе? — говорил он, выходя из ресторана.— Скучно! А мне какое дело? пусть скучно!

Молотов смеялся.

У Дороговых вечером опять было маленькое собрание. По обыкновению пришел Молотов; Череванин занимался портретами; здесь же был молодой Касимов, который на днях получил место. Касимов радовался по-детски, что и он наконец стал чиновником. Молодые люди, среди их и Надя, собрались около ярко освещенного портрета, над которым трудился Череванин; дети с любопытством смотрели на его работу. Касимов болтал без умолку, строил разные планы о службе и наконец уже стал впадать в роль совершенного деятеля, воображая, что он, даст бог, поразит всевозможную административную неправду. Череванин не мог не отравить его молодой радости.

— А карьера художника вам не нравится более? — спросил он.

Касимову неловко стало.

— Нет, мое назначение другое; я должен быть чиновником.

— Отчего же вы в чиновники пошли, а не в монахи, не в художники? А во время войны вы мечтали об офицерской карьере...

Касимов покраснел...

— Отчего же вы думаете, что чиновничество — ваше призвание?

— Ах, боже мой, отчего и другие думают это. Вот спросите Егора Иваныча, отчего он чиновник, а не кто-нибудь другой?..

— Отчего, Егор Иванович?

Молотов засмеялся.

— По призванию? — спросил Череванин...

— Нет, по приглашению друга...

— Разве можно без призвания служить? — возразил Касимов запальчиво.

— Егор Иванович, расскажи господину Касимову в наидание, как ты ехал на службу, точно мокрая курица.

— К чему! — ответил Молотов.

— Расскажите, — присоединила и Надя свой голос...

Касимову тоже очень хотелось послушать Молотова, которого он очень высоко ставил в своем воображении и едва ли не считал необыкновенным существом. Он знал Молотова как человека независимого, гордого, который ни пред кем не гнул спины, как человека свободномыслящего и притом степенного, положительного и практического. «Вот у кого поучиться!» — думал он и боялся, что Егор Иванович не захочет высказаться...

— Извольте, расскажу, — отвечал Молотов к общему удовольствию.

— Моей карьерой распорядился фатум, — начал он, — а не разумный выбор. Не то чтобы я сам захотел служить, а это со мною просто случилось... Дело в том, что я занимался у одного помещика, нисколько не думая о будущем; помещик оскорбил меня, приходилось оставить место, — и вот тогда взяло меня страшное раздумье о моем призвании. Тогда первый раз возник в моем уме вопрос, который я долго потом решал: «Не старую, отцами переданную жизнь продолжать, а создать свою, — выдумать, что ли, ее, вычитать, у людей умных спросить?» Вот так, как и вы теперь желаете порасспросить о том же умных и практических людей. Вопрос родился неожиданно, поставлен был неотразимо, но отвечать на него все-таки было нечего, потому что за душой ничего не было. В это время приятель мой написал мне письмо, в котором ясно, как день божий, доказывал мне, что я рожден чиновником. Я не поверил ему, но у меня денег не было, средств к жизни никаких, а есть хотелось; кроме того, неловко же так жить на свете, и на вопрос: «Что ты?» надо отвечать хоть это: «Я чиновник!» Вот я, долго не думая, махнул рукой и поехал в губернию к приятелю, который обещал достать мне место. Если бы он предложил мне место учителя, корреспондента, управляющего, я бы согласился с таким же расположением, как и на должность чиновника.

Вся сила в том, что мне некуда было дриютиться. Я завидовал тем юношам, которые, кончив курс, имеют возможность года три-четыре не поступать ни на какую службу, которые обеспечены своими отцами и дедами. Они могут осмотреться, поучиться, пожить. Будь у меня небольшое состояние, я ни за что не пошел бы на службу, какие там ни пиши мой приятель письма. Я ехал к другу мокрой курицей, подавленный обстоятельствами, чувствуя, что я не чиновник, — а кто? не знал я тогда... Тяжело мне было думать: «Зачем меня несет туда? ни больше ни меньше как на казенную пищу, на государственные харчи!..» Мне совестно было такого положения, и вот я стал успокаивать себя фразами друга: «От тебя не требуют любви к службе; нам нужны твой ум, честность, труд». — «Что ж, — подумал я, — и буду работать». И с этого слова вдруг на меня напала какая-то фальшивая торжественность, напряженная, деланная злоба ко всему подлому. Я поехал таким карателем, что страшно стало за человека... Перестал я жалеть себя, готов был взяться за дело честно, вынести какую угодно борьбу, всю жизнь свою положить на истребление подлости людской, на гибель нарушителям закона. «Сделаю же что-нибудь!» — уверял я себя. Мне даже весело стало... Припомнилась мне судьба некоторых молодых людей, задавленных сильными мира за прогрессивные идеи. «Так что же? — отвечал я на свои мысли. — Пусть выгонят из службы... мне не жалко себя... я постою за правду... на пядень не отступлю от нее». Как теперь помню, я тогда раздумался, способен ли я решиться на какую-нибудь чиновную подлость; долго я прислушивался к своей душе и наконец с юношеским восторгом сказал себе: «Нет, не способен!» Я чуть не закричал во все горло: «Итак, борьба!» и стал торопить ямщика — верно, поскорей хотелось вступить в борьбу... примерно завтра же поутру... я был почти уверен, что мне придется страдать за правду, что не диво, если меня и выгонят из службы за высокие мои добродетели. Немного погодя я уже мечтал о такой участи с наслаждением и гордостью; мне было весело, и, увлекаясь, я торопил ямщика... Но скажите, ради бога, отчего это я опять поехал мокрой курицей? Юноша понял, что он занимался деланием фраз пустых... Мне стыдно стало за то, что я мечтал, как выгонят меня из службы... Во всем этом слышалось одно: «Не хочется быть чиновником — ох, как не хочется», а

обстоятельства насильно делают чиновником. Вот и думалось, что судьба же и спасет меня, что авось-либо, даст бог; вытурят со службы. Так школьник мечтает о том, что его исключат из училища, и он опять будет жить дома, среди сестер, братьев, товарищей, подле матери и отца. Вот когда сжалось мое сердце... «Кто же такой Молотов?» — спрашивал я себя со злостью. У меня не только не было ни роду ни племени, ни кола ни двора, — у меня не было и сословия, я не принадлежал ни к какому кружку; я был космополит, человек, не имеющий почвы под ногами. Как мне хотелось тогда видеть своего друга, единственного человека, который был близок ко мне; как хотелось обнять его и высказать все, что было на душе! Мне казалось, что на меня напала тоска от одиночества на большой дороге, вдали от людей... «Вперед!.. жизнь широка!.. не сегодня она началась, не завтра кончится! Перейдет время, все уляжется и определится». Я представлял себе, как встречу со своим приятелем, что буду говорить, о чем спорить, как проводить вместе время. В моем воображении уже рисовался губернский город. Доселе я был студентом, потом жадно всматривался в сельскую жизнь и природу, а теперь приходилось увидеть провинциальную городскую жизнь, для меня еще не знакомую. Служба в моих мыслях отходила на второй план, интересы ее стушевывались, а возбуждалась простая любознательность. Будущее было смутно и неразгадано; но хотелось повидать людей, — а в этом отношении что лучше следственных дел в жизни губернского города, где все хорошо знают друг друга? И значит, в губернию, где прежде к помещику, я ехал без ясного сознания цели жизни, в качестве зрителя с единственным намерением поучиться, лишь с той разницей, что у меня уже не было детски ясного взгляда на мир божий. Я понял, что мне нужно было: «О боже мой, если бы можно года четыре пожить без службы частной и общественной, осмотреться, одуматься и отведать вольного, нестесненного существования!» Но желанья мои были неосуществимы, и я через несколько дней надел мундир чиновника... Оно и выходит, что я поехал на службу не по призванию, а по приглашению друга...

Все ожидали продолжения рассказа Молотова; но он не хотел больше говорить. Касимов не сделал ни одного замечания насчет Молотова. Он сознавал, что идет на службу по приказанию отца, его просто определяют в

департамент, и что у него нет и тех побуждений идти в чиновники, какие были когда-то у Молотова. Он чувствовал, что не может взять на себя роль Егора Иваныча, и совсем растерялся. Но на него уже никто не обращал внимания: всех занял Молотов.

— Что же потом было с вами? — спросила Надя Молотова.

— Не хочется вспоминать, Надежда Игнатьевна.

— Отчего же?

— Молод был, ничего не понимал и кончил очень нехорошо.

— Не взятки же брал? — заметил Череванин.

— Какие тут взятки?.. Я сам готов был дать взятку, чтобы только образумили меня...

— Что же случилось? — повторила Надя с заметным любопытством.

— Если не хочешь говорить, позволь, я расскажу... — вмешался Череванин.

— Нет, после когда-нибудь, — ответил решительно Молотов.

Надя на этот раз надеялась услышать от Молотова нечто вроде исповеди; но Егор Иваныч не был расположен к откровенности. Под влиянием воспоминаний о молодых годах он сгрустнул и задумался. Надя смотрела на него пытливым взглядом, желая отгадать, что у него на душе. В это время послышался звонок в прихожей. Надя вздрогнула от этого звука. Молотов проговорил: «Кто бы это?» и обратил внимание на Надежду Игнатьевну. Она была вся взволнована. «Что бы это значило?» — подумал он и стал с нетерпением ожидать гостя, навстречу которого побежали дети... В комнату вместе с Игнатом Васильичем вошел мужчина лет тридцати, высокий, стройный и красавец... Надя быстро окинула взором гостя, и сердце ее упало. «Третий раз он здесь! — подумала Надя. — Зачем?» Гость не нравился ей, а между тем она думала: «Не жених ли?»

Гость сделал общий поклон, но особенно почтительно, даже с благоговением, он поклонился Надежде Игнатьевне, точно она была жена его начальника. Этот господин был секретарем при статском генерале Подтяжине, директоре одного присутственного места, Иван Федорыч Чаплинский. Чаплинский и Игнат Васильич прошли в кабинет. Беседа молодых людей расстроилась. Надя ушла к матери; Касимов отправился домой. Остались Молотов и Череванин...

— Как твои дела? — спросил Молотов Череванина.

— Все еще скучно, хоть и переменял жизнь...

— Подожди, не сразу же.

— Подожду... А теперь пока худо... После того как мы виделись, прошла целая неделя самой пошлой и бес-
содержательной жизни.

— Что же ты делал?

— Читал, в театре был, смотрел парады, шлялся по улицам либо сидел целые часы и, выпуча глаза, смотрел на двор; ходил по комнате и считал свои шаги,— однажды насчитал до десяти тысяч. Третьего дня я отправился на набережную Невы, оттуда ко дворцу, от дворца к Дациару, потом в Пассаж; шел-шел и очутился у Невского монастыря, и обратно домой... Все скучно было. Встретилась баба с шарманкой, при которой был приткнут ребенок ее. Я дал бабе десять копеек... Мне не было ее жалко, нисколько!.. Ведь и ты бы не стал жалеть? Много идет народу, и никому нет дела, некогда!.. Мне таки было некогда.

— Чем же ты был занят?

— Мне скучно было, я, собственно, этим и был занят. Впрочем, что ж? Я ей дал гривенник — пусть выпьет! Для того же, чтобы помочь этой женщине, надо отнять у ней ребенка, изломать ее шарманку, дать ей тепло, деньги и хоть несколько здравых идей, а здравых-то идей у меня у самого нет... Ох вы, благодетели рода человеческого! Вот и я ходил по улице, добрые дела делал; но у меня, когда я делаю так называемое добро, после никогда не бывает того радостного чувствованьица, которое ощущает всякий, подавший нищему гривну. Иной гривну даст, а на рубль блаженствует; а справься, блаженствует ли человек, получивший гривну? Отсюда одно следует — что добродетель награждается еще и в этой жизни: За несколько грошей — сколько чистого, высокого духовного наслаждения! Вот и мы попытались блаженствовать; нет, не выходит: за свою же гривну скучно!

— Что же еще ты видел замечательного?

— Видел я еще старика немца. В одном сюртучишке, на морозе, выводил он какую-то дичь музыкальную. Собралась около него публика... Музыкант наш берет ноты на авось. «Плохо, немчура», — сказал кучер, слушавший его, и вслед за ним толпа разошлась. На другой день мне случилось опять быть на улице, — и что же? Вижу, старик мой стоит за углом, скрипчонка под мыш-

кой, сам весь трясется и протягивает руку. «Что, брат, не вывезло святое искусство?» — спросил я его. Черт дернул немца заплакать; я ему дал рубль серебром. — «Выпей, дружище!» — сказал я ему. — «Ой, гер¹, вынью», — ответил он. Так мы и расстались.

— Неужели ты только то замечал, что может нагнать скуку?

— Нет, и веселенькие пейзажики попадались.

— Опять пейзажики?

— Опять они. Так, я увидел мальчишку, замаранного, оборванного, но который с полным наслаждением копается в снегу. «Бравый парень!» — говорю ему. Он на меня взглянул и ответил: «Дяденька, а дяденька?» — «Что тебе?» — «Дай глосык». — «Зачем?» — «Гостинца куплю».

— И ты дал?

— Я ли не дам?.. Полные пять копеек отсчитал. Мой парень подрал к прянишнику. Я спрятался за угол и стал наблюдать. Он скоро вернулся назад, уписывая трехкопеечную ковригу; потом огляделся и начал рыть что-то около забора. — «Что ты делаешь?» — спросил я, подкравшись к нему сзади. Мальчуган испугался. Оказалось, что он закапывал под забором оставшуюся от покупки пряника сдачу. «Это зачем?» — сказал я. — «Мамка отымет». — «А ты не давай!» — «Выпоет». — «У тебя мамка злая?» — «Чегтовка!» Ну как такому развитому мальчику не дать было еще пять копеек?

— И ты дал?

— Дал... Еще раз я видел историю... Стоит будочник и нюхает табак. К нему подходит пьяный мужик и под самым носом его начинает мычать. Лицо стража принимает административное выражение. «Чего тебе?» — говорит. Мужик мычит себе. Лицо стража принимает выражение юридическое. «Пошел прочь!» — говорит. Но мужик во все горло закричал: «Знать ничего не хочу!» — «Чего ревешь?» — убеждает его страж и принимает выражение военное. «Ничёго знать не хочу!» — кричит мужик. Тогда будочник взял его за шиворот и, ударив методически, с чувством, с толком, с расстановкой, три раза по шее, проговорил: «Одёр, не реви, а коли натрескался, ступай домой!» Мужик постоял, посмотрел на стража без смысла, промычал что-то и пошел себе далее.

¹ Негг — господин (нем.).

— Неужели все это время ты шатался по улицам?

— Был и дома; но и тут не веселей. Все работать не будешь, а что же делать, когда не работается? Настает тогда самое глупое препровождение времени; лежишь, задравши ноги на стену, куришь сигары, плюешь на пол и ждешь, скоро ли опять шевельнется мысль в голове, скоро ли захочется работать.

— И только?

— Только и есть. Впрочем, на днях собрался с силами, всю квартиру перерыл, велел вымести полы, купил мебели, чистоту завел, добыл цветов и думаю: «Дай устрою идиллию!»... Как бы это сделать? Необходимы дамы, потому что, как тебе известно, их назначение — смягчать наши нравы. По соседству живут две сестрицы, шитьем занимаются; я их и пригласил, объяснив предварительно, что я их приглашаю единственно для идиллии, а не для чего иного. Пили чай, угощались конфетами и разными сиропами, играли в дурачки, даже танцевать хотели, да только я один и был кавалер... Девицы всё сомневались, что я просил их только для идиллии, но наконец убедились, и, когда прощались, старшая сказала: «Хорошо с кем-нибудь компанию водить... Давайте быть знакомыми... ходить будем один к другому...» — «Будем», — говорю. Видишь, как быстро смягчаются мои нравы? Они обещались устроить мою квартиру, сошьют мне новое белье, все брюки и сюртуки мои перечистили, а младшая сестра так напوماдила мою голову, что чудо!

— А старые приятели?

— Уплыли.

— А что, если ты полюбишь которую-нибудь из сестер?

— Вряд ли.

— Они образованные девушки?

— Нельзя сказать, да это все равно.

— А поведение?

— Они добрые девушки.

Молотов рассмеялся. Но он неохотно слушал Череванина. Ему хотелось поговорить с Надей, расспросить, чем она взволнована; но, как нарочно, пришел дворник и отозвал его по делам управления домом. Игнат Васильич и Чаплинский вышли из кабинета; и они куда-то отправлялись. На лице Дорогова было написано торжество, он сиял с головы до ног. Чаплинский с глубоким благоговением шел около него. Во всем этом было что-то загадочное.

Надя опять сильно встревожилась, когда, при уходе гостя, встретила с ним и когда гость отвесил ей глубочайший поклон. Станным покажется, что Надя, лишь появится в доме новое лицо, не может смотреть на него иначе, как на жениха. Но в ее кругу с посторонними людьми без нужды не знакомятся; притом молодые и старые люди сватаются без совести и церемонии: увидят хорошенькую девушку, не познакомятся даже с ней покороче, не расспросят лично ее, какова она, а прислушиваются на стороне о ее поведении и потом обращаются прямо к отцу: я, дескать, хороший человек, так давай твою дочку — жить с ней хочу. Вот и все. Но Надя, постоянно живущая в ожидании жениха и, значит, привычная к такому состоянию, скоро успокоилась. Увидя Череванина одного, она спросила:

— Где ж Егор Иваныч?

— Ушел. За ним дворник приходил.

Надя села подле Череванина.

— Скажите, что с Егором Иванычем случилось в губернии?

— Уже не думаете ли вы, что его гнали за современные идеи, за либерализм!..

— Что же? — спросила Надя с любопытством.

— Ничего. Он просто оказался неспособным человеком. Вместо того, чтобы служить, как люди, все вникал в дело, размышлял, волновался и тосковал. Он добрый парень, простой мужик...

— Вы, Михаил Михайлыч, на весь свет сердиты...

— Ну да; а вот он так не сердился на свет, а бестолково любил его. Начать с того, что его постоянно смущало, зачем он поступил по рекомендации друга, а не по своим достоинствам. Приятель, разумеется, смеялся его странной щекотливости.

— Приятеля его звали Негодяшев?

— Да.

— Какая странная фамилия, точно нарочно выдумана...

— А между тем он вел себя умнее, нежели Молотов. Он умел пользоваться случаем. Однажды Негодяшев в публичном саду подал какой-то пожилой даме перчатку, которую она уронила. Оказалось, что эта была перчатка губернатора. Другой раз он нашел поминанье, принадлежащее правителю канцелярии, человеку набожному; он поминанье представил по принадлежности, лично правителю. Потом еще подошел случай: предводитель гу-

беряни был ни во что не верующий; ему кто-то сообщил, что и Негодяшев ни во что не верует. Открылось место по следственной части... Вы извините меня, я плохо знаю все эти термины административные, может быть, и спутаю что... Негодяшев подал просьбу. Многие рассчитывали на открывшуюся вакансию; но за обедом у губернатора предводитель сказал: «Негодяшев — молодой рациональный человек»; правитель сказал, что он — «молодой набожный человек», а губернаторская тетка, что он — «молодой почтительный человек». По этим трем приговорам состоялась резолюция об его определении, составила его карьера. Ну есть ли тут смысл? Очевидно, нет; а все-таки Негодяшев стал чиновником особых поручений. Вот Негодяшев стал хлопотать о Молотове. Он был знаком с одной помещицей, имевшей огромное влияние на всякие дела. Эта госпожа владела огромными имениями, которые, несмотря на ее богатство, все были заложены. Она была дама пожилая, степенная. Много своих воспитанниц выдавала замуж за чиновников. Это была заступница всех несчастных и гонимых: откупщик как-то совсем пропал — выходила дорога в Сибирь, к гипербореям; но он просил нашу даму похлопотать — и спасся. Вот к этой-то госпоже Негодяшев свез своего друга. После визита Молотов проговорил энергически: «О, черт бы побрал и службу совсем!», что Негодяшеву показалось очень странным. Он объяснил своему приятелю, что унывать нечего, что дело не в форме, а в деле, не в средствах, а в принципе, что все служат с протекцией, значит, и ты служи, лишь только пользу приноси. «Мы, говорит, люди современные, с гонором, взятки не возьмем, подлости не сделаем, но не воспользоваться рекомендацией — это нелепость, это приторный, смешной пуризм. Потому и служба называется фортуной». После того он пересчитал служащих лиц, кого знал, с их окладами, чинами, заслугами и формулярами, и что же? оказалось, что немногие из них добились карьеры единственно своими силами. «Вот тебе факты, говорит, ты их любишь!» «Неужели, — спрашивал он Молотова, — ты придешь к начальнику губернии и скажешь: не хочу места! вы тогда дайте его, когда обнаружатся способности мои?» «У тебя, — заключил приятель, — я вижу, нет об этом предмете даже элементарных понятий!..» Молотов давеча сказал, что он мечтал о том, как выгонят его из службы, что обстоятельства сделали его чиновником, а не призвание, что ему хотелось

погулять, поучиться, пожить, а его запирали в канцелярию. Вот он и стал придирается ко всякой мелочи...

— Разве это мелочи? — спросила Надя.

— А то что же? Представьте себе героя, который говорит: «Не хочу места, дайте мне его по заслугам, а не по протекции». Благородно, а смешно!.. А главное дело в том, что Молотов придирался, потому что служить не хотелось ему,— значит, благородство-то является на втором плане.

— Вы все умеете представить в мрачном виде...

— Такова уже моя профессия!.. Я...

— Продолжайте,— перебила Надя, видя, что Череванин хочет распространяться о своей профессии...

— Ну-с,— начал Череванин.— Молотов получил место. Приятель ввел его в свой кружок; мало-помалу он стал привыкать, всматриваться в службу и окружающую жизнь; время тянулось довольно вяло и скучно, как тому и следует быть... Но вот Андрей объявил Молотову, что он вместе с ним назначен на следствие. Дело было серьезное: об убийстве женою мужа. Егор Иваныч восторжен: во-первых, он никогда не видал убийц; во-вторых, служба вдруг представилась ему непосягаемо высоким и священным долгом — в его руках были суд и правда! Но с первого же шагу начался разлад. Не в его натуре было вести такие дела хладнокровно, не горячась, безучастно. Товарищ смело и бодро ходит, а он как будто на него похож, но уже кралось что-то зловещее в сердце его. Скоро Молотов увидел преступницу. Это была женщина бледная, исхудалая, трепещущая... Ей уже было внушено, что она... Эх, Надежда Игнатьевна, женщинам много говорить нельзя! — вдруг перервал Череванин...

— Отчего же?

— Неприлично...

Надя не отвечала.

— Хорошо ли сказать: преступнице уже внушено было, что она не избежит... плетей!

Надя вздрогнула и покраснела...

— Молотов застал преступницу в минуту яростного увлечения, когда она ругалась, страшно клялась, выла от злости и на том свете грозила мужу. Егор Иваныч сначала остановился в ужасе, потом ему жалко стало, наконец на глазах доброго парня показались слезы. Сердце его было молодо, зелено, горячо и впечатлительно... Понятно, он не мог остаться бесчувственным камнем, видя в лице

женщины весь ужас грядущих плетей... Молотов взял женщину за руку... Она заметила его сожаление, затряслась, заплакала; одиночество и отчаяние сменились страхом и смирением. «Барин, научи ты меня богу молиться!» — сказала она. Вот этого-то он и не умел сделать. Он только отвернулся в сторону. Когда преступница успокоилась немного, Молотов обласкал ее, утешал и уговаривал ее, как мог... Она сделалась доверчива и рассказала о своих несчастиях. Видите ли... (Череванин остановился, затрудняясь почему-то вести рассказ...)

— Говорите же, — заметила нетерпеливо Надя...

— Я, пожалуй, скажу! — отвечал он цинически. — Барин, которого она любила, отдал ее насильно замуж за своего крестьянина.

Надя опустила глаза; но она слушала с напряженным вниманием, — и странно: ей не столько хотелось узнать, что будет с преступницей, сколько то, что будет делать Егор Иваныч.

— Мужик ненавидел свою жену, бил ее, тиранил, унижал всеми мерами, публично попрекал ее, а она, дура, в ногах у него валялась и просила прощения... В чем?... Скоро у них родился сын; муж и его стал ненавидеть... Жена все терпела... Наконец, по жалобе мужа, ее высекли однажды... С той минуты стало твориться с ней недоброе; муж стал невыносим для нее... Одним словом, она убила мужа своего топором, а сама убежала в лес, где и нашли ее в полупомешанном состоянии. Рассказ свой женщина кончила истерическими рыданиями и просьбой — отдать ей сына...

— Что же Молотов? — спросила Надя.

— Плакал, — отвечал насмешливо художник.

— Что ж тут смешного? — спросила Надя.

— Сейчас скажу... Егор Иваныч, оставив женщину, как от хмеля качался. Товарищ встретил его бодрый, веселый, точно живой водой sprыснутый... Под его руками кипело следствие, и он факт за фактом выводил на светлую воду. Молотов был бледен... «Что с тобой?» — спросил Андрей. Молотов отвечал: «Неужели она погибнет?» — «Кто?» — «Преступница», — и Егор Иваныч рассказал свою встречу с ней. Он с ужасом вспомнил ее обиды, клятвы и рыдания. Товарищ радовался, что будет обстоятельное следствие, а Молотов жалобно повторял: «Она так много страдала, за что же еще будет страдать?» Вот и вышло смешно, потому что он не нашелся, что отвечать

на такие слова приятеля: «Она должна быть наказана за убийство. Многие страдают больше ее, а не берутся за топор и ищут законного пути. Все эти чувствования, друг мой, общемировые идеи не имеют никакого юридического смысла. Можешь стихи писать на эту тему, повесть. Я думал, ты мне помогаешь, а ты только путаешь дело. В службе ничего нет поэтического; служба — труд тяжелый. Стоит только пуститься в психологию, у нас всю губернию ограбят. Да и что я могу сделать? Мы — исполнители закона и должны быть бесстрашны!» Весь юридический факультет выскочил из головы доброго парня. На глазах его шло деятельно следствие: место преступления освидетельствовано, орудие кровавое при деле, раны убитого осмотрены, смерены, сосчитаны, определены и записаны, отобраны все показания. Молотов лишь об одном заботился — сколько-нибудь успокоить страдальцу и облегчить ее положение. Он хлопотал, чтобы принесли к ней сына, он просил приставленных к женщине сторожей — обращаться с ней как можно ласковее и предупредительнее.

— Какой он добрый, — проговорила Надя тихо.

— Да; но он заботился не об обществе, которое страдает от убийцы, а о самой убийце, которая вредила обществу. Ему жалко стало... При его характере и в его летах не следовало брать на себя такие обязанности. Он оправдывался тем, что не готовил себя к такому роду занятий, призвания не чувствовал, а призвание, по его словам, все одно, что любовь, — оно, видите ли, при всех противоречиях и сомнениях, ведет к практической цели, при нем в самом разладе бывает гармония. Пустяки!.. диалектические фокусы! Призвания, как и любви, нет на свете... К чему, вы например, призваны? к чему все люди призваны?.. Разумеется, не следовало идти в чиновники. Ему надо было остаться простым зрителем, вот как все бабы и мужики, которые, увидев трепещущую преступницу, утирал слезы кулаками и вздыхали; ему следовало вмешаться в толпу и плакать.

— Я не понимаю, на что вы негодуете, Михаил Михайлыч.

— Я уважаю его, Надежда Игнатьевна: он добрый мужик...

— Какие выражения!

— Ну, мужичок, что ли... Этак ласковее...

— Вы никого не любите...

— Никого, Надежда Игнатьевна...

— Что же дальше? — спросила Надя с досадой.

— Наш век — дивный век, — отвечал Череванин. — Ныне все заедены: кто рефлексией, кто средой, я, например, кладбищенством... (Надя поморщилась при этом слове...) кто чем; не только умные, все дураки заедены; прежде вы встречали просто болвана, а теперь болван с рефлексией.

— Перестаньте браниться!

— Молотов не дурак, но он должен быть заеденным по духу нашего века... Дамы не страдают этой болезнью, — она мужская. Но послушайте, что его заело.

— Все же не то, что вас...

— Нет, не кладбищенство. Этот случай определил направление Молотова. Он первый раз встретил преступницу, которая, в существе дела, была женщина честная, преступление совершила она по внешним, не в ее натуре лежащим условиям. Это дало толчок для дальнейшего его развития. Он все начал объяснять внешними условиями; всякого негодяя ему стало жалко. Они казались ему несчастными, больными либо помешанными. Молотов и до сих пор сохранил свое добродушие, будучи уверен, что во всяком человеке есть добрые начала. Он кого угодно оправдает, как я кого угодно опровергну. Ему нужно быть адвокатом, защитником, а не карателем. Чего он искал? Тайну жизни разрешить хотел? Словом, не жил, а философствовал... Вот и напустил он на себя блажь.

— Я еще не вижу никакой блажи, — заметила Надя...

— Потому что главного еще и не знаете. Бывало, он выйдет на реку и всматривается в волжскую деятельность. На берегу огромными толпами бегают дети, оборванные, грязные, с непокрытыми головами, босоногие; в бедности и без смыслу зачиналась их жизнь. Он стоит и думает: «Вот новое поколение безграмотного люду; сколько из них будет воров, людей, не имеющих нравственности!» Пусть бы он развлекался только такими мыслями, а то они тревожили его. Он в то время говорил, что желал бы снять крыши со всех домов и заглянуть в эти тысячи жилищ. Ко всему этому поднялись со дна души все так называемые коренные вопросы. Бог, душа, грех, смерть — все это ломало его голову и корбило. Ему хотелось и в свою и в чужую жизнь заглянуть до самой глубины, до последних основ ее. Он думал, что

учился мало, и начал просиживать ночи над книгами. Но все это показывает только то, что он был мальчик способный, хотел проверить все своей головой и жизнью, то есть он развивался, что неизбежно в молодые годы. Важно то, до чего он додумался.

Череванин перевел дух.

— Молотов,— продолжал Череванин,— в таком состоянии непременно должен был высказаться. К приятелю своему он охладел и уже не мог быть с ним откровенным. Молотов сошелся с одним доктором, человеком в высшей степени положительным и спокойным, которого ничто не могло потревожить. Молотов проговорился перед доктором, что его жизнь раздражала. «Напрасно,— отвечал доктор,— если бедствия людские должны тревожить нас постоянно, то, значит, вот и теперь мы не имеем права сидеть здесь спокойно. Вот в эту же минуту кого-нибудь режут, окрадывают, кто-нибудь умирает с голоду либо топится. Давайте плакать. Но никакие нервы не вынесут, если мы сделаемся участниками всякого горя, какое только есть на свете. Я сейчас был у женщины, которая впала в помешательство, и вот видите, все-таки сигару курю спокойно. Отчего же я не лезу на стены? Оттого, что моя деятельность определена ясно. По моему мнению, все, что совершается в данную минуту, и должно совершаться; потом, служа с лицом частному, индивидууму. Поэтому, встречаясь с болезнью, мы не смотрим на нее с нравственной точки зрения, судейской, религиозной. Для меня ясно, что сильно ожиревший человек не будет деятелен, чахоточный — весел; у кого узок лоб, тот не выдумает и пару здравых идей. Поэтому мы ненависти к больному не питаем; напротив, с любознательностью заглядываем в глубокую рану, хотя бы она была сделана пороком. Если болезнь неизлечима, мы не сокрушаемся, а говорим спокойно: по законам природы, нам известным, она и должна быть неизлечима. Видите, как все это просто?»

— Что же Молотов отвечал? — спросила Надя, для которой подобный разговор был чересчур нов и неожидан.

— Он отвечал: «Я ничего не понимаю». Доктор ему объяснял свое, а в голове у него было свое, молотовское. В его голове стоял вопрос: «Кто виноват в том, что человек делается злодеем? Вы докажите, что он сам, один виноват в сделанном зле, а не привели его к нему другне, и тогда делайте что хотите». Вон куда метнул!

— Однако сказал же что-нибудь доктор?

— Тот свое несет: «Мы никого не наказываем; у нас нет виноватых, а есть больные. Мы не казним больной член, когда отрезаем его; волка бешеного убиваем не за то, что он виноват, а за то, что бешен; по той же причине не подставляем голову под падающее бревно с крыши или запираем сумасшедшего в больницу; я думаю, по тем же побуждениям надо уничтожить и преступника — он вреден». Всегда ведь споры подобным образом кончаются. У Молотова осталось все перепутано в голове. Он и без доктора знал, что преступники — вредный народ. Это, знаете, Надежда Игнатьевна, у мужчин бывает в молодости вроде болезни — умственная немочь, как и у женщин в эти годы бывают свои странности. Заберется в голову какая-нибудь мысль и все перепутает.

«Так вот каков он был! — подумала Надя.— Однако он теперь спокоен,— значит, он решил все это?»

Как будто отвечая Надиным мыслям, Череванин сказал:

— Решил ли он эти вопросы, или просто они надоели ему, но только он их бросил. Дело в том, что Молотов мог распустить разные чувства, но не мог долго страдать головой. Болезнь прошла, как минуются и дамские болезни. Организм переработает, и кончено.

Надя думала: «Умный же человек Егор Иваныч добрый». Она еще более утвердилась в мысли, что Молотов многое пережил и головой и сердцем, что он человек опытный и, случись с ней беда, поможет ей. И вот она решилась в следующий раз поговорить с ним от души... Многое хотелось ей спросить. При ее боязливости высказываться, которая развилась оттого, что она потихоньку, не говоря никому, обдумывала многие вещи, Надя, очевидно, не могла заговорить откровенно с Череваниным, хоть и он, как Молотов, выделялся из круга ее знакомых и знал жизнь не ту, которая была ей знакома. Откуда она, замкнутая в своем кругу со всех сторон, узнала, что есть иная жизнь? Вычитала, со слов Молотова догадалась, или подсказало ей собственное сердце?

— Однако чем же кончил Егор Иваныч? — спросила она.

— Относительно вопросов — хорошо. К людям он остался снисходителен, но не к себе. Доктор был самый

умный человек в городе и ничего ему не разъяснил. Тогда он сказал себе: «Я должен, сам должен, своим опытом, своей головой дойти до того, что мне нужно. Люди не помогут; да и требовать, чтобы они в твоей голове уложили твои же противоречия, — несправедливо. Всякий сам для себя работает. До сих пор меня учили, теперь я буду учиться. Великое дело — своя мысль, свое убеждение; это то же, что собственность. Только то и можно назвать убеждением, что самим добыто, хоть бы добытое было и у других точно такое же, как и у меня. Я сам и есть первый и последний авторитет, исходная точка всех моральных отправлений, и чего нет во мне, того не дадут ни воспитание, ни пример, ни закон, ни среда. Положим, я глуп, но глупого человека никакая сила не сделает умным, — учите или бейте его, смейтесь или сокрушайтесь. И в чем я прав и виноват, во всем том я сам прав и сам виноват, а не кто-либо иной. Может быть, таких начал не лежит в натуре других людей, — я их не сужу, а в моей натуре лежит. У меня все свое, и за все я один отвечаю!» Так он развивался туго, мозольно, упрямо, и несколько на меня не похож, потому что я думаю наоборот — я не виноват в своей жизни и не прав в ней... Меня, я говорил, что засло... Ведь у нас редко кто имеет нравственную собственность, своим трудом приобретенную; все получено по наследству, все — ходячее повторение и подражание. А Егор Иваныч хотел иметь все свое...

Надю поразила эта характеристика воплощенного упрямства того человека, который так интересовал ее, и бог знает на что она была готова, чтобы только разгадать Молотова, с которым она давно знакома и так мало знает его.

— Вот и начал Егор Иваныч поживать своим умом, — продолжал Череванин. — Первым следствием было то, что Молотова стали теснить. Он в обществе говорил неуважительно о своей благодетельнице; добрые люди довели это до нее. Вышла большая неприятность: ему предложили подать в отставку, хотя он успел прослужить всего полтора года.

— Вы знаете, что с ним было после?

— Знаю. После...

В это время раздался звонок в прихожей, и Надя с замиранием сердца подумала: «Неужели у меня есть жених?» Она вспомнила давешнего нового гостя.

Показался в дверях Игнат Васильич. Он прямо направился к Наде, подошел к ней и звонко поцеловал ее.

— Ты счастливица, моя Надя! — сказал он дочери, глядя на нее с полною любовью.

Надя побледнела. Догадалась она.

— Чего, дурочка, испугалась? — говорил Дорогов ласково и опять поцеловал ее в щеку.

Надя молчала; у нее шумело в ушах; она переставала понимать себя.

— Голубушка моя! — продолжал отец ласкать.

— Кто он? — прошептала Надя едва слышно.

— Генерал, генерал! — ответил Дорогов с искренним восторгом, от которого трепетало все его существо.

— Какой?

— Подтяжин.

Надя слегка вскрикнула.

— Шампанского! — закричал отец.

— Я не пойду за него, — сказала Надя.

Отец не дослышал.

Радостный крик отцовский разнесся по всем комнатам; прибежала жена, дети.

— Папаша, — сказала Надя, взяв его за руки, — я не хочу.

Теперь отец побледнел.

— Что? — крикнул он грозно, и послышался старый, юность напоминающий дороговский голос.

Надя обмерла...

— Полно, дурочка, — заговорил он опять ласково и весь дрожа от волнения, — полно, моя милая... Ах! (Он махнул рукой.) Что, ты от всех женихов решила отказаться? Но на этот раз дело решенное, и ты будешь генеральшей, — произнес отец твердо и прошел к себе в кабинет, хлопнув крепко дверью.

— Свинья! — прошептал Череванин, и ему захотелось ударить кистью в лицо портрета, который он подновлял.

Мать ушла к отцу. Дети смотрели с сожалением на сестру свою.

— Надежда Игнатьевна, успокойтесь! — проговорил, неуклюже подходя к ней, Череванин.

— Ах, оставьте меня одну, — отвечала Надя.

Она заплакала.

«Значит, я тут ни при чем», — подумал Череванин, и, не простившись ни с кем, он убрался восвояси.

Надя подошла к окну и облокотилась на косяк. Сле-

зы лились градом. Наконец пробил час, когда должен был решиться главный вопрос Надиной жизни. Пришел узаконенный муж и говорит: «Ты мне нравишься, ты хороша и умна, я буду жить с тобой...» Ей живо представился Подтяжин, Алексей Иванович... Он был в летах Надинова отца. Лицо его было антипатично. Такие лица иногда встречаются только у отъявленных бюрократов. Все двадцать лет честной формалистики отпечатались на нем. Кожа на лице была аккуратно пригната и туго натянута, и потому все черты его раз навсегда резко определены; между бровей образовалась складка; кости над щеками, около глаз, выдались выпукло; от места, где ноздря к щеке прилипла, и до края губ, направо и налево, нарезаны две черты, тонких как нити; впалые щеки лежали на широких челюстях; крутой подбородок выдался вперед. Этот форменный облик освещался изпод нависших бровей бойкими, всевидящими глазами. Взглянув на него, вы сказали бы: ни одной подчистки или помарки, будто вымыл его, выбрил, посыпал пудрой, отер полотенцем и вставил в воротнички яркой белизны тот самый писец, который готовил ему бумаги. Представьте себе, что лицо иногда улыбалось, показывая желтые зубы и твердые десны. Росту он был среднего, с выпуклой грудью, прям и украшен орденами. Без всякой подлости, единственно точным исполнением обязанностей он достиг генеральского чина. Наде и в голову не приходило, чтобы она могла целовать это заслуженное лицо.

Когда дожил этот господин до сорока лет с лишком, он, сосчитав свои деньги, вообразил, что ему необходимо жениться. Он видел Надю несколько раз у Рогожниковых, где иногда играл в карты; Надя понравилась ему, и он сказал себе: «Ведь не откажется быть генеральшей?» Вернувшись домой, он написал своему секретарю письмо, с выставкою наверху его слова: «Конфиденциально», прося сделать от его лица предложение Дорогову относительно его дочери. Дело велось документально и чиновнически, точно генерал заботился об определении Нади на службу. Он просил поставить на вид свои капиталы, степенный характер, генеральский чин и надежды на будущие повышения. Письмо было занумеровано и внесено в число исходящих дел в домашнюю книгу. Никто не заметил в нем никакой перемены: вчера был просто генерал, а сегодня вздумал да

и сделался женихом, отдавши приказание — сократить по некоторым частям расходы. Он начал соображать, как бы устроиться попокойнее: «Пойдут дети, визг и плач начнется, а я человек деловой, мне нужно уединение и спокойствие. Всю хозяйственную часть отдам ей, уж это ее дело и будет...» Вот в это-то время он и улыбнулся.

«Что теперь делать? — думала Надя. — Нечего делать... не придумаешь ничего, и посоветоваться не с кем!» Надя чувствовала со дня на день, что около ее становилось душнее и душнее, все ближе подходили к ней неприятные образы, неотступнее предлагали свои требования, и каждый день, а теперь уж каждый час, неизбежнее становилась жизнь на заданную тему, по чужому плану, по отцовскому приказу. Давно уже хотелось Наде вон из родной семьи, хотелось жить по-своему, увидеть иной быт и иные лица, быть самостоятельной женщиной; но понятно ей было, что только жених мог увести ее из дому, лишь под руку с ним можно оставить свой терем; надо кого-нибудь поцеловать, обнять, и тогда признают ее взрослым человеком, с правом самой за себя отвечать. «Отчего же я всем женихам отказываю? Что будет после? Чем это все кончится? Надо же когда-нибудь выйти замуж?» И вот Надя с усилием, с болью в сердце представляет себя женою Подтяжина. Опять в ее воображении восстает всецело зачadelое, темнообразное лицо, она уже видит в этом лице что-то доброе и строго честное, неумолимо законное, и на сердце ее мучительно тяжело. «Твоя?» — спрашивает она с трепетом и не может оторвать взоров от образа жениха... Является расчет, что она станет делать, если придется его полюбить, — надо же будет, если выдадут замуж, нести обязанность брака. Во время этого расчета в душе ее пока не мелькнуло ничего нечистого, возможности вдовства или любви к кому-нибудь помимо мужа; она обдумывала, какой долг она примет на себя. Но вот, когда она подумала, что Подтяжин может осчастливить и отца ее и всех родственников, что с замужеством ее открываются громадные карьеры, кресты, чины и награды, что она все это принесет своим и потому нечего и мечтать о возможности отказа жениху — ее принудят, — когда она это подумала, ей досадно стало, она с отвращением и негодованием оттолкнула от себя зачadelый лик, хотя в это же время ясно поняла, что ей почти невозможно избавиться от

Подтяжина. Да, она вспомнила грозный отцовский голос, в котором слышалось непобедимое упорство, но она не хотела больше думать о женихе и на время насильно изгнала из головы мысли о нем; она закрывала глаза, ей хотелось хоть немного забыться. Являлись мысли, совсем не идущие к делу... Душно было.

На плечо Нади легла чья-то рука. Надя оглянулась; подле нее стояла мать и смотрела на нее с удивлением...

— Чего же ты ждешь еще? — сказала она.

Надя молчала.

— Отец сердится! — прибавила мать.

Надя закрыла лицо руками.

— Неужели ты и теперь откажешься?

— Маменька, — отвечала Надя, — я ничего не понимаю! Дайте одуматься... хоть три дня...

— И ты пойдешь замуж?

— Может быть; нет, я ничего не знаю...

— Отец уж слово дал...

— О боже мой! — проговорила Надя с тоской, так что матери жалко стало свое дитя...

— Наденька, — сказала она, — что это с тобой, какая ты странная!.. Таких, как ты, я не знаю. Ведь надо же когда-нибудь идти замуж. Или у тебя есть кто-нибудь другой на примете?

Надя опустила вниз глаза.

— Ты ждешь еще кого-нибудь, кто посватается?

— Нет! — отвечала Надя и заплакала.

— Никого?

— Никого, во всем свете никого! — И плач ее перешел в рыдание.

Вошел отец...

— Через три дня ты дашь мне ответ, — сказал он Наде.

— Хорошо, — отвечала она сквозь слезы.

— А теперь спать пора! — приказал отец.

Анна Андреевна благословила дочь свою; Игнат Васильич даже и не простился с ней.

Надя не знала, что она скажет отцу через три дня — «да» или «нет»; но она решила теперь во что бы то ни стало поговорить с Молотовым откровенно и просить его совета. Она знала Молотова с десятилетнего возраста; он всегда был к ней добр, ласков, всему ее учил, никогда ни на какой вопрос не отказывался отвечать, — неужели же теперь он не наставит ее? Больше не на кого было

надеяться. Она представила себе характер Молотова, сильно очерченный художником, и сказала: «Он все знает; он добр и на все ответит». Он так много жил, думал, страдал и теперь так спокоен, не изломан жизнью, счастлив и в то же время человек новый, свежий, мыслящий. Она понять не могла, как он разрешил тайну жизни, как он созрел и стал такой ясный для себя. Молотов должен показать ей дорогу в иную жизнь, более широкую, светлую и разумную, которую она только предчувствует, но не знает. Она расспросит его и разгадает эту, как казалось ей, необыкновенную личность, от самого узнает то, что не досказал ей Череванин. Надя заснула с полной верой в Молотова.

И все заснуло; не спит лишь Анна Андреевна. Второй час ночи, а она стоит с обнаженными плечами перед иконой божией матери и вот уже около часу молится усердно, со слезами. «Умири ее душу,— шепчет она,— вразуми ее, укажи путь истинный, раскрой ее очи». Она плачет и дает обеты. «Пресвятая дева, услышь страждущую мать, молящуюся за несчастную дочь свою». Лицо ее бледно и истомлено бессонною ночью. Сыплются слезы на обнаженную грудь матери, и усиленное она шепчет свои обеты.— О господи, отпусти матери эту низкую, бесчестную молитву!..

Дорого стоили Наде три срочные дня. Молотов на другой вечер не был у них. Надя как-то уже менее надеялась на него и опять готова была замкнуться ото всех; решимость высказаться пропала, хотя она и ждала Молотова с нетерпением. Она несколько раз пыталась убедить себя, что должна идти за Подтяжина; наконец она стала равнодушна к тому вопросу, отлагая решение его с часу на час. «Завтра»,— думала она, отгоняя от себя назойливые мысли; но наступало и завтра, а она все не знала, что сказать: «да» или «нет»? На третий день, накануне рокового решения, она увиделась с Молотовым. Она долго не могла найти предлога — остаться с Молотовым наедине; но наконец она сказала, что надобно привести вещи свои в порядок, и пошла в отдельную маленькую комнату, где находился ее комод. Скоро Молотов и Надя были одни, на что никогда не обращали внимания, потому что Молотов был почти своим у Дороговых. Надя сдерживала себя, так что по лицу ее едва

заметно было, что с ней случились важные события; но Молотов, знавший Надю хорошо, заметил в ней перемену.

Надя вынула из ящика большой платок и очень спокойно просила Молотова помочь ей сложить его. Когда это дело было сделано, она вынимала рубашки, платочки, воротнички, ночные шапочки, клубки ниток, шерсти и гаруса, целый арсенал швейных орудий, нити жемчуга, бисер, небольшой образок, корзинку с пасхальными фарфоровыми яйцами и много других вещей...

— У вас большое приданое,— сказал Молотов.

Надя вынула шкатулку, слегка встряхнула ее и сказала:

— Вот какая я богачка!

— Не секрет?

Надя открыла шкатулку.

— Золото? — спросил Молотов, когда Надя показала на ладони пять полуимпериалов...

— И серебро,— прибавила она,— а вот и старинная денежка.

— Зачем?

— Для разводу... Здесь все хорошо,— говорила Надя, выдвигая второй ящик.— Вам нравится эта материя?.. Ко мне идут темные цвета...

Надя совсем овладела собою и спокойно хозяйничала, точно душа ее была свободна от темного образа жениха.

— Вот архив мой и библиотека,— сказала она, открывая нижний ящик.

— Это что связано ленточкой?

— Тетради институтские и книги.

— А книги какие?

Молотов успел прочитать: «Фауст».

Надя вспыхнула, быстро задвинула ящик и на минуту была в замешательстве.

— Подождите, Егор Иваныч, я сейчас принесу сюда шитье.

Надя ушла. Давно Надя, прочитав тургеневского «Фауста», хотела иметь гётевского, но она остерегалась почему-то спросить его у кого бы то ни было. Ей думалось, что отец назовет «Фауста» безнравственным и не позволит читать такую книгу, тем более что Дорогов с некоторого времени с неудовольствием начал смотреть на ее любовь к чтению, потому что он заметил, что дочь его чем более читала, тем становилась загадочнее. Она все собиралась спросить «Фауста» у Молотова; но в по-

следнее время одна подруга-родственница дала ей по секрету запретную вещь, потому что и подруга и Надя не хотели, чтобы кто-нибудь знал, что они знакомы с «Фаустом». Дурного ничего нет, думали они, а все же лучше молчать. Так Надя развивалась секретно, крадучись, никому не говоря о том. Она половину не поняла из Гёте, но все же он произвел на нее сильное впечатление. Высокое произведение поэта имело глубокое влияние на чистую душу девушки. Она с недоумением остановилась перед грациозным образом Маргариты и хотела разгадать его своим пытливым умом. Впрочем, она в последнее время как-то недоверчиво относилась к книгам; ей не нравились эти умные люди, которые описаны в них,— ей нравились женщины. Книги теперь наводили ее только на мысль, развивая пред нею картину жизни, значение которой она хотела постигнуть и понять по-своему. Надя вернулась с шитьем и уселась около небольшого рабочего столика, Молотов поместился около нее.

— Вы читали «Фауста»? — спросил он.

Надя ближе наклонилась к шитью.

— Отчего вы стесняетесь, Надежда Игнатьевна, говорить о «Фаусте»?

Молотов решил вызвать Надю на откровенность и потому спросил ее:

— Неужели вы стыдитесь, что узнали Маргариту?

— Нет,— ответила Надя тихо,— но что подумают обо мне?

— Кто?

— Папа, вы,— кто узнает, что я читала «Фауста»...

— Боже мой, да мало ли у нас женщин, которые читают Гёте и говорят о нем, их никто не осуждает.

— Это не у нас.

— Где же?

— Не знаю.

Надя несколько оправилась.

— Согласитесь, что смешно: дочь чиновника «Фауста» читает, да и волнуется еще к тому?

— Скучно это, Надежда Игнатьевна.

— Но что делать, если смешно выходит?

— Что ж тут смешного?

— В нашей жизни ничего нет гётевского: она очень проста.

— Жизнь Маргариты была еще проще...

— Зато...

— Зато вы не встретитесь и с Фаустом...

— Но, Егор Иванович... все же это одни слова, слова!..

Настало молчание. Егор Иванович смотрел в лицо Нади. Она чувствовала его взгляд; во всех чертах ее явилось стыдливое беспокойство, тревога и стеснение. Она не могла долго вынести такого состояния и хотела так или иначе выйти из него. В душе ее накопилось столько сомнений, что она страстно желала откровенного разговора: хотелось хоть раз поговорить без покровов и обиняков, так же свободно, как говорят мужчина с мужчиной или женщина с женщиной... Она решилась, подняла ресницы, взглянула на Молотова прямо, почти спокойно; но вдруг ей стыдно, страшно стало, рука дрогнула, и в нервном движении переломила она иглу; на сердце пала тоска; краски быстро сменялись на лице, кровь прилиwała и отлиwała... Молотов видел всю эту игру жизни, и, по сочувствию к Наде, лицо его оживилось... Он ждал... Для многих женщин часто простой вопрос составляет подвиг; иного слова сказать нельзя, чтобы сейчас же не представились благочестивые лица «старших», на которых так и написано: «Она развращается!» Все теснит и сдерживает молодую душу, готовую ринуться в бездну жизни и переиспытать все, что есть хорошего на свете. Трудно было говорить Наде; но душевные вопросы давно зрели, потребность жить и любить была велика, а до сих пор она в уединении, среди живых и родных людей, одна-одинешенька, своим женским умом работала и зашла в такую глушь противоречий и сомнений, что душно и тяжело стало среди самых близких людей, мертво позади и мертво впереди, и оставалось либо расспросить у всех, кого можно, что же делать осталось, где выход из ее терема и спасенье, либо броситься очертя голову в объятия назначенного свыше жениха и прильнуть розовыми устами к его зачadelому лику. Весь организм ее трепетал от дум, запертых в голове, от страха и тоски, переполнивших сердце. Но удивительно, когда Молотов сказал ей: «Надежда Игнатьевна, вы недоверчивы стали, скрываетесь от меня», она отвечала:

— Егор Иванович, не будем говорить об этом...

— О чем? — спросил Молотов.

— О любви, о Маргарите, о поэтах...

— Но ведь вас все это мучит, я давно заметил. Легче будет, когда уясните себе эти вопросы...

— Их нельзя уяснить...

— Так хоть облегчите себя откровенным словом... Я же не враг ваш... меня вы не первый день знаете...

Надя взглянула на него доверчиво. Ей совестно стало за свою скрытность пред Егором Ивановым, который всегда был так к ней добр и ласков, тем более что она сама же ждала его с нетерпением, чтобы спросить у своего доброго давнишнего знакомого совета... «Неужели и с ним,— подумала она,— нельзя поговорить от души?»

— Скажите же, Егор Иванович,— начала она,— когда вы у нас слышали разговор о любви? от кого? О любви только читают да поют в песнях и романсах. Никто и никогда о ней серьезно не говорит,— сколько бывает гостей, родственников, знакомых — никто не говорит. Только в институте подруги болтали, и, разумеется, вздор. Я однажды с маменькой разговорилась, так она выговор дала. Девушки мне знакомые, родственницы не верят любви, смеются над тем, кто говорит о ней. Вот и я молчу. Заставьте какую угодно девушку читать роман вслух, особенно, что ныне пишут, все эти интимные места будут выходить крайне неловко, она будет краснеть, стесняться... И мужчины всегда говорят для шутки, для красного словца, и потому, что предмет такой... дамский, что ли? Всегда разговор кончается пустяками и смехом, все это для того, чтобы над нами посмеяться, делать разные намеки и чтобы время весело провести; а кто и вдастся в психологические тонкости, то слушаешь, слушаешь, как будто и дело говорят, а выйдут...

— Пустяки?

— Право, пустяки!.. Раз только и слышала, как один молодой человек, родственник, говорил серьезно, горячо, от души и, должно быть, что-нибудь умное, но так красноречиво, так высоко, что я ничего не поняла... Значит, и толковать нечего...

— Но вы разговор о любви не считаете же предосудительным?

— Нет, причина проще.

Надя прямо взглянула в глаза Молотову, и, к удивлению, взор ее был тверд и спокоен, хотя и пытлив; на губах появилась ласковая и насмешливая улыбка, которая так нравилась Егору Иванову. Сразу пропали волнения.

— Какая же причина? — спросил Молотов.

— Я не хочу быть книжницею, синим чулком, а хочу, как и все, остаться простой женщиной. В книжках все

любовь да любовь, а в жизни ее нет совсем. Где эти страсти,— говорила она, незаметно увлекаясь,— где эти клятвы, борьба, тайные свидания? Ничего этого нет на свете!

— Надежда Игнатьевна, грех вам это говорить...

— Эти свидания и невозможны в нашем обществе, потому что девицы везде и всегда на виду, каждую минуту на глазах отца или матери, дома, в гостях, в церкви. Ну как в нашем быту устроить свидания, долгие беседы, клятвы, которых и выполнить-то невозможно? Наконец, пусть все это устроить можно, так кого любить? Будто у девицы много знакомых? может она выбирать, искать человека, сходитья с людьми молодыми, водить с ними компанию? Вы, быть может, сто, двести мужчин знаете, а я? — помимо своих родственников только четверых. И у других девиц то же. Как же тут быть?.. Из четверых непременно и полюбить кого-нибудь? Что ни говорите, а смешно выходит. Смешно ведь? Оттого и бывает так: узнает молодой или старый человек о девице,— что она хороша, неглупа, воспитана, небедна,— знакомится с родителями; те то же самое узнают о нем — вот и свадьба!

— А дочь?

— Думаете, насильно отдают ее?.. Никогда!.. Спросят ее согласия... Иначе не бывает, я не видела, не знаю...

— Вы много не знаете, Надежда Игнатьевна...

— Женщины,— сказала Надя настойчиво и с убеждением,— женщины, которых я знаю, никогда не любили.

— Извините, Надежда Игнатьевна, это неправда.

— Да! — сказала она упорно, и в ее голосе не слышалось тени сомнения или фальши.— Да!.. я таких только и знаю и не верю, чтоб иные были!.. Они все вышли замуж очень просто, без любви, да так потом и жили, привыкли незаметно и через какой-нибудь месяц стали, как обыкновенные, муж и жена...

— И ничего с ними не случилось ни до замужества, ни после?

— Ничего, решительно ничего...

— Так это не женщины,— сказал Молотов с едва заметным отвращением, которое не ускользнуло от взоров Надежды Игнатьевны... Она окинула его своим взглядом, смерила с головы до ног и остановила прямо свои глаза на его глазах, отчего Егор Иваныч смутился и поневоле опустил взоры. Он был под полным влиянием Нади.

— Кто же они? — допрашивала Надя...

— Не знаю,— ответил Молотов и пожал плечами.

— Они женщины! — сказала Надя...

В голосе ее было что-то поддразнивающее, насмешливое и в то же время грустно-тяжелое...

— Эти женщины не жили никогда, а прозябали только, кормились да хозяйничали,— сказал Молотов.

— Ну да,— ответила Надя коротко и ясно,— они кормились и хозяйничали...

— И вы тоже? — со страхом спросил Молотов.

— Также! — И быстро она наклонила голову, едва успев скрыть слезу, которая неожиданно набежала на глаза.

Опять наступило молчание. Молотов стал ходить по комнате. Он ходил нахмурившись, весь в волнении и недоумевая, что для ней настал какой-то жизненный переворот, что ее мучат крепкие думы, и ума приложить он не мог, как бы помочь ей, а помочь хотелось. «Также»,— повторял он в уме ее слово,— это слово бесило его. Он остановился подле Нади.

— Вы не по летам умны,— сказал он.

Надя подняла голову; слез на глазах не было — они были слегка влажны.

— Егор Иваныч, с вами можно говорить?— начала она.

— Говорите, говорите! — с заметной радостью отвечал Молотов.

— Вы умно говорите, рассуждаете. Мне не поэзии нужно, а просто понимания. Я знать хочу. Скажите, видели вы сами, как любят?

— Множество случаев знаю...

— Право?

Лицо Нади загорелось от любопытства...

— Скажите хоть один?

— У меня был приятель Негодящев; он женился по любви. Знаю, один учитель женлся по любви. Знаю несколько расстроившихся браков оттого, что вмешалась любовь. В губернии я видел страшную драму в крестьянской семье — жена бросила мужа и потом убила его. Сколько случаев! они совсем не редки...

— Неужели же все любят? неужели это неизбежно? — говорила Надя в раздумье.

— Непременно все. Правда, большая часть пошло любит — сойдутся, прогорят быстро и разойдутся; но и во всем этом есть что-то прекрасное, в самой пошлости

видна особенная, необыденная, редкостная жизнь. И вы говорите, что не видели любви,— что ж тут удивительного? Поэзию жизни, любовь не так легко заметить, ее всем напоказ не выставляют, ее нужно откапывать в глубине повседневности, отыскивать, как клад, который ближний от ближнего прячет глубоко и далеко. Для всех она бывает: одними она отжита, для других не наступила, а иные любят, да не понимают, что с ними делается...

По лицу Нади пробежала какая-то новая, никогда души ее не освещавшая мысль. Недоумение отразилось во всех чертах ее.

— Скажите,— продолжал Егор Иванович,— каково положение женщины, когда она, будучи замужем, полюбит другого?.. Вся жизнь поломана... отчего?.. От опрометчивого брака...

Надя начинала поддаваться влиянию Молотова. Она привыкла ему верить, ей так хотелось верить; но это расположение мгновенно сменилось другим; быстро пробежали в ее голове мысли: «Я невеста», «Мне двадцать второй год», «Корму, корму», «Не век жить у родителей», «Завтра ответный день». Сухо было ее выражение лица, строго, несимпатично.

— Не понимаю я вас,— сказала она,— и книги я разлюбила. Читаешь — не оторваться: такая прекрасная жизнь, горячие речи, страстные свидания — существование полное, и, боже мой, подумаешь, к чему такие книги пишутся! И точно ведь живые люди там, иногда голоса их слышишь, понимаешь, отчего они плачут и радуются, а все же не верится, никто, как там, не живет,— это обман художественный!

— Может быть, и есть любовь на свете,— продолжала Надя, немного подумав,— да только для избранных. Согласитесь, Егор Иванович, что там, в книгах, люди живут не по-нашему, там не те обычаи, не те убеждения; большею частью живут без труда, без заботы о насущном хлебе. Там всё помещики — и герой-помещик и поэт-помещик. У них не те стремления, не те приличия, обстановка совсем не та. Страдают и веселятся, верят и не верят не по-нашему. У нас нет дуэлей, девицы не бывают на балах или в собраниях, мужчины не хотят преобразовать мир и от неудач в этом деле не страдают. У нас и любви нет.

— Так у нас гораздо хуже!

— Но как же я буду жить чужой, не свойственной мне жизнью? Надобно читать, да и помнить себя. Отчего не полюбоваться на чужую жизнь? Но как переложить ее на наши нравы? Это невозможно.

— И не надо. Неужели вы думаете жить по книге?

— О чем же и толковать? — перебила Надя. — Еще вот что я скажу. Барина описывают с заметной к нему любовью, хотя бы он был и дрянной человек; и воспитание и обстоятельства разные, все поставлено на вид; притом барин всегда на первом плане, а чиновники, попадьи, учителя, купцы всегда выходят негодными людьми, безобразными личностями, играют унижительную роль, и, смешно, часто так рассказано дело, что они и виноваты в том, что барин худ или страдает. Пусть безобразна среда, в которой родилась я, все же она не совсем мертвая... Так или иначе, а надо отыскать добрую сторону в *своих* людях. Без того жить нельзя!.. В монастырь, что ли, идти?

— Много горькой правды в ваших словах, но еще более ошибок, — отвечал Молотов. — Как это странно, — рассуждал он вслух сам с собою, — все это давно пережито мною и теперь не составляет вопроса... Жизнь на все дает ответы!

— Хороши ответы! — сказала Надя с горечью...

Молотов задумался. Надя своими расспросами шевельнула в его душе много старого, выжитого и давно улегшегося спокойно в памяти, как в архиве.

Он хотел продолжать речь. Но Надя решительно овладела разговором, не давая Молотову сказать слова. Она точно торопилась высказать все, что накопело в ее сердце и было выработано в уединении, под влиянием фаталистического быта. Она сегодня восставала против всего, что говорил ей Молотов, против всех его понятий и взглядов. Егор Иваныч это чувствовал. Зрел разрыв. Первый раз он слышал от Нади многие идеи, оригинальные, самостоятельные, не под его влиянием развнившиеся. Судьба круто поворачивала Надину жизнь по противоположному направлению. Ей хотелось слышать, от души, страстно хотелось, опровержений ясных, как день божий; но, увлекаясь, она не давала говорить Егору Иванычу.

— Хороши ответы! — повторила она. — Помню, я читала в одной книге, как жених говорит невесте: «Наша любовь перейдет в радости и печали, в смех и слезы, в молчанье и беседы наши. Она все осветит, всему даст

смысл и значение. Она радостна и трепетна теперь, прогорит божественным огнем в свадебные дни, как лампада пред иконой, будет теплиться в глубокой старости. Она всемогуща. Кто запретит нам любить? отец? закон?.. Всякая власть бессильна пред любовью, всякая власть преступна». Пусть так,— прибавила Надя,— да запрещать-то нечего. Из четверых не выберешь...

— Если же рано или поздно придет пятый?

— Если же никогда он не придет?.. и будешь разборчивой невестой — тоже невесело...

— А если придет во время замужества?

— Что ж делать, когда это неизбежно?

— Как же выходить замуж, когда можно полюбить другого?

— Никто этого не знает. Право, как вы странно рассуждаете: в браке видите преднамеренную недобросовестность, расчет на имя и деньги мужа и на любовь кого-то другого, какого-то пятого. А бывает совсем не так: соглашаются два порядочных человека на семейную жизнь, романтической любви вовсе не предполагается, ее нет и в свадебном обыске — вот и все! Если же и случится что после,— никто не виноват!.. Пускай!

— Господи, фатализм какой!

— Что же делать, если это неизбежно?

— Удивительная покорность!

— Не покорность, а неисходность.

— Нелепо же после этого положение женщины!

— Положение и браните; может быть, легче будет, а нас-то за что?

Молотов не знал, что отвечать.

— Все примиряются с действительностью,— сказала Надя,— как бы она ни была тяжела, даже любят ее, потому что жить всякому хочется...

Молотова задело за живое, так что он вспыхнул, точно порох, и опять поднялся со стула...

— Примирение? — сказал он раздражительно. — О примирении заговорили?.. Лучшего и выдумать нельзя?.. Нет, Надежда Игнатьевна, можно жить нашей так называемой действительностью и не знать ее, ото всех замкнуться и никого не допустить до души своей. Можно иметь понятия, которых никто не имеет, и не заботиться, что пошлая, давящая действительность не признает их. Можно весь век ни одному человеку на свете не сказать, чем вы живете, и кончить жизнь так. Я в своем

кабинете царь себе. На голову и сердце нет контроля...

Надя слышала в этих словах того человека, каким представлялся Молотов в характеристике Череванина; но она с каждой минутой становилась упорнее. В ее напряженном воображении стояли грядущий жених и родительские лица. Вопрос судьбы ее распался надвое: либо в будущем — дева, либо завтра — невеста. Она с насмешкой отвечала:

— В голове да сердце и останется.

— А! — сказал Молотов с досадой и отвернулся в сторону.

Надю радовало, что она сердит Молотова. Хотелось Наде взбесить его, чтобы хоть разойтись навсегда, ей теперь все одно! «Ничего не может сказать! — думала она. — Я надеялась на него, а он на жизнь ссылается — жди от ней ответов!»

— Переломать, наконец, можно действительность, — сказал Молотов.

— Попробуйте, — отвечали ему, — я говорила, что девица имеет так мало знакомых, что и выбирать не из кого, любить некого. Как тут ломать действительность? Уйти из дому, ходить по улицам да и выбирать? Ломать-то нечего... «Кто запретит нам? отец? закон?» И запрещать нечего...

— Ждать надо пятого.

— До седых волос?

Молотов терялся.

— Высоко ваше учение, но к делу нейдет, — говорила Надя, поддразнивая, ровно, спокойно и холодно, хотя к горлу ее слезы подступали. — Внутренняя жизнь у всех может быть, но какая? Чтение книг, разговор, мечта? Неутешительно и бесплодно!

— Надежда Игнатьевна, стыдно той женщине, которая никогда не любила.

— Высоко ваше учение, — ответила она с расстановкою, — но к делу нейдет.

Она заметила, что такой тон раздражает Молотова. Она ждала опровержений и теперь думала: «Ничего он не умеет сказать, и я же не скажу ему ни одного откровенного слова».

— Но если, Надежда Игнатьевна, вы полюбили бы кого-нибудь?

— Ну, и полюбила бы; а не полюбила, так и не полюбила. Не понимаю, о чем тут толковать?

Иногда двое договорятся до того, что дело становится как день ясно и разговор продолжать незачем. Что может быть проще, определеннее и неотразимее такого ответа: «Ну, полюбила бы, так и полюбила бы»?.. () чем и зачем после этого говорить? Надя хотела оставить работу и идти в другую комнату, но помимо ее воли голова наклонилась над шитьем, на глаза выступили слезы, и какая-то странная мысль глубоко внедрялась в ее отживающую душу. Она хоронила что-то, погребала. «Не у кого во всем свете спросить, никто не выручит, отец и мать не скажут, вот и Егор Иванович ничего не знает. Я точно запертая ото всех людей, обреченная какая-то!» Слеза упала на шитье. «Это я свой девичник справляю,— думала она,— ну так что же? весело будет... денег много... комнаты большие... отцу и матери почет... родным всем помога... генеральшей буду». Слеза упала на шитье. Ясно, как человеку расстроенному привидение, представился ей узаконенный муж, солидный, степенный, точно разлинованный, с архивным номером во лбу, с генеральской звездой над сердцем, а ей не он нужен... Кто же? Еще слеза упала на шитье...

— Надя!

Она не узнала голоса.

— Добрая моя!

Она подняла влажные глаза...

— Жизнь на все дает ответы.

Это говорил Молотов.

Надя закрыла лицо руками и заплакала...

— Зачем ты такая неразгаданная?.. О чем же ты плачешь? Неужели я ошибся?.. Ты любишь меня?

Надя что-то тихо проговорила, но Молотов расслушал ее. Он, стоя сзади, поцеловал ее в голову, потом отвел ее руки от лица и поцеловал в щеку. Слезы блестели на ее длинных ресницах. В одно мгновение Надя так похорошела и просияла, что Молотов не подумал повторить поцелуй, а просто загляделся.

— Я люблю тебя... давно... — прошептала она и прижалась крепко к наклоненному лицу Молотова.

Тогда он поцеловал ее снова. Надя засмеялась сквозь неостывшие слезы детски-радостным, трепетным, тихим смехом.

— Не надо ждать до седых волос,— проговорила она.

— Добрая моя...

Они сидели долго молча...

— Увидишь ты, Надя, что можно жить так, как хочется, не спрашивая ни у кого позволения, никому отчета не давая. Можно так жить. Я хочу. Вот она, жизнь, и дает ответы.

— Да,— прошептала Надя...

— Я на днях буду свататься...

— Завтра, завтра! — заговорила Надя стремительно.— Скажи им, что ты жених мой, что я поцеловала тебя — вот так! — сказала она, обнимая его...

— Завтра! — повторила она, оторвалась от Молотова, вышла в другую комнату и скрылась.

Молотов отправился домой; но он не усидел дома, несмотря на позднее время, и часу во втором вышел на улицу. Глубокая осень. Все спало; лишь звонко где-то шелкает копытами верховой конь да с медленным визгом, проникающим в душу, запирается железная дверь. Он вышел на Невский. На башню Думы луна наложила углами, квадратами и длинными полосами белое серебро. Небо легло над домами широкой дорогой; оно густо-синее, чуть не черное; и на этой дороге горит и смеркается много звезд... Спит городской; спят дворники; плетется какая-то женщина, должно быть запоздалая крыса Невского проспекта,— бог с ней, она завтра, быть может, насидится голодная. Туча выдвинулась из-за Адмиралтейства и медленно, тяжело плывет ко дворцу. Часовой вскрикнул далеко... Хороша ночь пред рассветом и в позднюю осень... Молотов гулял долго, пока не умаялся.

Надя весь день дожидала вечера, когда должен был прийти Молотов и просить ее руки. Она знала, что такой оборот дела будет неприятен родителям, но была уверена, что они не станут противоречить ей.

Душа ее была переполнена, но внутренняя жизнь мало проявлялась наружу; у ней не явилось даже желания разделить с кем-нибудь свою радость, тем более что не с кем было и делить ее. Мелкие, едва заметные признаки обнаруживали, что это невеста, и притом невеста, не спросясь отца и матери. Игра красок на лице, тайная слеза, запрещенный и потому сдержанный вздох, особенно теплая молитва, никогда не посещавшие душу мыслн и образы — все это было трудно заметить в ней; для этого надо было знать наперед, что с ней случилось важное событие, и тогда только, припоминая лицо Нади

и другие дни и теперь, можно было заметить, что в нем отразилась новая жизнь. В ней ходили разнообразные мысли, и душу ее освещали радости и заботы грядущих дней. Она уверяла себя, что может опереться на крепкую руку, которую предлагал ей Молотов. Но странно, и то же время, когда она уверяла себя в том, — она прислушивалась к глубине своего сердца, где шевелилось что-то смутное и тяжелое, не созревшее еще в положительный вопрос... Она была счастливее, нежели вчера, но все около нее молчало, и в иные минуты она чувствовала холод в душе; не пропала ее привычка рассчитывать и соображать даже в эти торжественные часы жизни. Надя упрекала себя, что она не может отдаться вполне, без всяких дум, новому счастью. «Не старого же жениха мне жалко стало, — думает она, — я люблю Молотова; вот вчера, вот пять минут назад я была так счастлива, и теперь у меня холод на душе». Надя не знала, что этот холод неизбежен, когда человек решается на свободный, самостоятельный шаг: он мгновенно падает на душу при мысли, что делаешь новое, непривычное для окружающей среды дело, что люди, дивясь, посмотрят на тебя. Одиночеством порождается этот холод, а Надя не сказала ни полслова ни отцу, ни матери и ждала с нетерпением, скоро ли придет Молотов сказать за нее свое слово родным ее... Но вот ударило восемь, а нет ни отца, ни жениха ее... Теперь в ней было заметное волнение... Ей стало страшно... Прошло долгих полчаса, и вдруг раздался благодатный звонок. Она затрепетала от радости, вспыхнула и замерла в ожидании, чутко прислушиваясь к дальним комнатам из своего уединенного уголка. Чьи-то шаги раздались в зале, кто-то вошел в гостиную. «Это он!» — прошептала Надя, и так хорошо себя чувствовала, что на минуту не усумнилась в возможности получить согласие родителей. Разговор чей-то едва пробивался из гостиной... вот будто смех... «Верно, поздравляют?» — думает она; и трепещет ее сердце от события, которое хочет сейчас совершиться. Она точно вновь нарождается на свет, шепчет полуоткрытыми губами: «Скоро ли?», смотрит на икону божией матери и, вся одушевленная, сияет дивной красотой. «Боже мой, как долго они говорят!» Но что это за крик? кто так неистово топает ногами? Смертельная бледность разлилась по лицу девушки, и на крик из гостиной она ответила своим легким криком.

— Надежда! — раздалось по всем комнатам.

Дик был голос. Надя слышала удар ногой об пол.

Надя поднялась со страхом со стула и пошла на голос. Глаза ее неясны, и походка нетверда; физическая немощь одолевала ее, хотя душа была напряжена неестественно. На щеках вспыхивали и пропадали розовые пятна. Пройдя темный зал, она в полумраке увидела подле окна группу детей, своих маленьких братьев и сестер, глаза которых были устремлены на нее. Надя остановилась на минуту перед гостининой, провела рукой по лбу...

— Надежда! — раздалось еще громче.

Надя расслушала слова матери: «Ты испугаешь маленького». И действительно, в ту же минуту заплакал ее меньшой брат, спавший в детской, в колыбели...

Надя с особенной силой распахнула двери и явилась пред отцом. Игнат Васильич был один; мать укачивала свое дитя в соседней комнате.

— Подойди ко мне, — сказал Дорогов.

Надя, бледная вся, стояла с опущенной вниз головой.

— Иди ко мне! — повторил отец.

Она сделала шаг вперед.

Отец устремил на нее неподвижный, злобный взор. Он молчал несколько минут...

— Говори что-нибудь! — при этом Игнат Васильич топнул ногой.

Надя не знала, что ей делать. Но вот она оправилась немного, на лицо выступила краска; быстро в голове ее пробежало: «Молотову нельзя было прийти... отец спрашивает ответа... сегодня срок... я сама объявлю ему».

— Говори же!

— Папа, — начала она тихо.

— Негодница! Развратница! — перебил ее резко отец.

Надя вздрогнула, кровь бросилась ей в лицо, она широко раскрыла глаза и с изумлением посмотрела на отца.

— За что? — спросила она с негодованием.

— Молчать! — крикнул отец.

Надя опять опустила голову. Она ничего не поняла. Игнат Васильич подошел к своей дочери, положил на плеча ее свои руки и остановил на лице ее неподвижный свой взор.

— Надя, — сказал он, — гляди мне прямо в глаза.

Она не шевельнулась.

— Ну!

Надя с страшным усилием подняла глаза и посмотрела на отца. Дорогов спросил ее шепотом:

— Вы целовались?

Надя не поняла.

— Целовались? — повторил он громко.

— С кем? — спросила она.

— Сама знаешь с кем!

Но ответа не было. Страх и обида, что ее держат за плечи, сдавили ей горло.

— Молотова знаешь? — спросил грозно отец и потряс ее за плеча так, что Наде больно стало.

Опять повторился плач ребенка в детской, и слышалось матернее убаюкивание.

— Так целовались?

— Да! — отвечала Надя раздирающим душу голосом.

— Негодница!..

Игнат Васильич надавил плечи ее руками так тяжело, что Надя наклонилась к его лицу и ощущала его злое прерывистое дыхание; потом он оттолкнул ее от себя. Надя опустилась на стул, закрывши лицо руками. Она была почти в беспамятстве.

— Боже мой! — проговорил Дорогов и отошел к окну.

Настало тяжелое молчание... Мать не замолвила за Надю ни одного слова, не выбежала из детской и не схватила за руки своего мужа. Ее застарелая нравственность была оскорблена тем, что дочь ее позволила целовать себя до брака. По ее понятию, поцелуй освящался церковью и потом совершался только в опочивальне. Она дивилась и Молотову, которого считала нравственным человеком, — а он вдруг оказался соблазнителем... Гордость матери страдала: она поражена была *падением* дочери. Она с ужасом думала, что в ее мирной семье совершился скандал. Откуда отец узнал об отношениях Молотова и Нади, он не говорил. Он только сообщил, что Надя — «развратница», и несчастная дочь созналась, что позволила целовать себя до брака. «Боже мой, — подумала Анна Андреевна, — он не первый год шаком с нами, кто их знает, что между ними было?» Она вспомнила, что Егор Иванович часто оставался с Надей наедине, иногда посещал их дом, когда Надя была одна, а они уходили куда-нибудь... Страшные мысли изволновали ее сердце, она заплакала и облила горячими слезами дитя в колыбели...

Игнат Васильич никогда не уважал тех женщин, которых сам, бывало, целовал до брака и в начале женатой жизни. Он считал себя вправе пользоваться слабостями этих женщин, но в глубине души презирал их, называя потерянными, вел себя небрежно, оскорбительно, насмехался в глаза. Бывало, девушка обнимает его, называет ласковыми именами, радостно болтает какой-нибудь вздор, а он смотрит острым взглядом, и едва заметная улыбка на его губах отражает презрение. Женщины, истинно любившие Дорогова (были такие), находили в таком отношении к ним признак силы, могучего характера и высшей натуры, а в нем между тем не было даже и дикого «печоринства», которое выродилось бы в лице его в канцелярский тип,— он действовал просто по принципу благочиния и условной порядочности. Этим и объясняется цинический элемент в его любви к женщинам. «Настоящая женщина,— говорил он,— бережет себя; она не даст поцелуя до свадьбы». Поэтому не было никакого противоречия в том, что Дорогов чувствовал глубокое уважение к Анне Андреевне за ее моральные достоинства. До замужества, в продолжение месяца его жениховых посещений, она не позволила ему прикоснуться губами даже к руке своей. Это-то и увлекло его, это же самое отчасти и покорило его впоследствии женской власти. Когда же Дорогов привык к оседлой жизни и полюбил семейственность, он стал считать себя недосыгаемо нравственным господином, потому что сознал в себе не только принцип свой, но и дело, основанное на принципе. Он всегда желал дать этому принципу широкое развитие в своей семье. Дорогов был привязан к своей дочери, страстно любил ее. Представьте же, что о людях он судил по себе, и вот он уверился, что нашелся мужчина, который, как он, бывало, на своих любовниц, глядел на его дочь нагло, близко наклонял к ее лицу свое лицо, рассматривал с любопытством знатока ее глаза, уши, губы, крутил ее ухо в своих пальцах, целовал ее гастрономически, держал на шее свою руку, пока она не нагреется, и во все это время глядел на нее с едва заметной улыбкой, с оттенком презрения,— представьте себе все это, и вы поймете, что он нравственно страдал за свою дочь, он защитить ее хотел, покрыть своей отеческой любовью. Отцы часто вспоминают свою юность, когда дочери любят без их позволения и согласия. Ко всему этому присоединялась страш-

ная досада на то, что разрушались его планы, и даже он трепетал за свою будущность, если состоится отказ, потому что жениху-генералу стоит написать другому генералу, у которого он служит, и Дорогова выгонят вон из службы. Он не знал, что делать: оскорблена была в нем нравственность семьянина, была опасность для его и служебной карьеры,— и до этого доводит его дочь! Он поднялся со стула и подошел к Наде...

— Надя,— сказал он без крику и злости, но холодно и твердо,— ты выбросишь из головы Молотова. Я за тебя гибнуть не стану и не потерплю безнравственности в своем доме. Молотова нога здесь не будет! Ты с ним никогда не увидишься,— это мое святое слово, ненарушимое... Мать,— обратился он к дверям той комнаты, где она была,— жена, уговори свою дочь — это твое дело; она губит и себя и нас... Надя,— обратился он опять к дочери,— я у тебя спрошу ответа на днях, будь готова...

Он пошел в свой кабинет, но в его старом сердце шевельнулась жалость к своей любимой дочери; он остановился подле нее и сказал сколько можно ласково:

— Надя, образумься...

Она сидела, закрыв лицо руками, и молчала, как убитая.

— Одумайся!

С этим словом Дорогов оставил гостиную.

Долго сидела Надя, убитая горем, оскорбленная, и ничего она не понимала. «Что же Молотов? — без смыслу повторялось в ее голове.— Откуда узнал отец?.. За что он меня назвал раз...» Этого слова она не могла договорить. И опять эти вопросы бессмысленно чередовались в ее голове. Надя потеряла способность рассуждать... Она открыла лицо. Оно было измучено, бледно; после целого дня ожиданий и радостных надежд в нем выразилось тупое страдание. Ей хотелось освежиться; она вышла и умылась холодной водой, потом в темном зале открыла форточку и облокотилась на косяк окна. Дети все еще были в зале и с любопытством, смешанным со страхом, смотрели на свою сестру... Они тоже обсуживали своим невинным умишком семейное дело. Федя подслушивал разговор у дверей и рассказал другим, что Надя целовалась и за то ее папа сильно бранил, так, как их никого не бранил... Между детьми слышался шепот.

— Отчего целоваться нельзя? — спросил самый маленький, Федя,— вот мы же целуемся...

— То совсем другое,— отвечала Катя...

— Что же?

— Так женихи да невесты целуются,— сказала Маша...

— А это худо?

— Худо...

— А что это «развратная»? — спрашивал Федя.

— Об этом нельзя говорить,— отвечали ему...

— Отчего?

— Неприлично...

— Будешь большой, узнаешь,— заметил гимназист, двенадцати лет мальчик.

— Папа у нас злой,— сказал Федя...

— Ах, какой ты! — заметили ему сестры.

— Что же?

— Так говорить не надо.

— Да, он злой!

— Надя плачет,— проговорила Маша...

— Пойдемте к ней! — звал Федя...

— Ей не до нас,— отвечали дети с удивительным тактом.

Дети, мальчики и девочки, все, кроме Феди, понимали, в чем дело, знали, что такое «развратная», но их детскому сердцу жалко было своей любимой сестры. Они готовы были броситься к ней на шею, утешать ее, плакать с ней; мальчики были угрюмы, у девочек слезы на глазах...

— Пойдемте! — звал Федя.

— Не надо...

Но Федя уже был подле сестры.

— Надя, не плачь! — сказал он...

Надя заметила его...

— Ты не развратная... папа сам развратный... Я не люблю его...

— Ах, Федя, что ты говоришь? — отвечала Надя.— Отца надо любить. Папу велел бог любить...

Мальчик присмирел... Надя заметила, что дети смотрят на нее пылливо; ей неловко стало, она не хотела оставаться в зале; идти в свою комнату надо мимо отцова кабинета, а там дверь открыта; в гостиную,— но там мать. Так Надя и места не находила, где бы приютиться ей, одуматься и успокоиться... «Может быть, маменька в детской»,— подумала она и пошла в гостиную... Дети остались шептаться в зале...

В гостиной сидела мать за круглым семейным столом. В руках ее была работа; но дело, очевидно, не спорилось. Делать нечего, Надя села к тому же столу. Мать слышала, что она пришла, но не поднимала глаз...

— Надя,— сказала она, смотря на шитье. Руки ее дрожали. Дорогов ничего ей не объяснил, откуда он узнал и что было между Надей и Молотовым. Она слышала, что и дети говорили: «Надя развратная»... Страшные мысли теснились в ее голове...

— Что, мама? — отвечала Надя, тоже не поднимая глаз.

— Что у вас было?

— Я сказала папá...

— Скажи ты мне, Надя, все, все...

— Я не понимаю ничего, мама...

— Вы только целовались?

Краска бросилась в лицо Нади. Оскорбление за оскорблением сегодня сыпались на нее.

— Боже мой, ты не отвечаешь? — сказала, бледнея, мать.

— Вы оскорбляете меня,— ответила дочь с горечью...

— О боже мой! — проговорила она с радостным раскаянием...

За эти дни решительно все измучились в семье Дороговых. Настало тяжелое время. Мать, а особенно отец — ковали деньги и повышения на дочери. Им выпал отличный случай продать выгодно благоприобретенный, доморощенный товар, но товар был живой и не хотел идти в продажу. Теперь мать и дочь сидели в одной комнате. Надя, наклонив свою умную головку, думала, гадала. Бледно и печально лицо ее. Опять в голове ее чередовались вопросы: «Откуда узнал отец? что же Егор Иваныч? за что меня назвали негодною?» Она вникала, ловила не дающуюся сознанию мысль, и в то же время на лице ее было написано отталкивающее упорство. Мать подняла глаза. Взгляд ее остановился на дочери. Она долго вглядывалась в черты Нади. У ней сердце сжалось и заняло; слезы показались на глазах; невыносимо жалко стало дитя свое... Вдруг взгляды их встретились... Надя заметила любящий, умоляющий взор своей матери и слезу ее, упавшую на шитье. Она вспыхнула, взволновалась, кровь бросилась ей в лицо; хотела она сдержаться, но не могла, закрылась руками и зарыдала. Мать тоже рыдала. Плакали они, не говоря слова друг другу. Ни одного

нежного звука не произнесено, ни одной ласки, ни тени примирения. Как страшно плачут иные — точно у них нож в сердце поворачивается, а они, сдерживая боль, рыдают мучительно-ровным рыданием. Мать первая успокоилась. Так они и разошлись, не сказавши слова друг другу... И это было последнее событие того дня.

Наступила ночь. Все спали. Но маленькому любимому брату Нади Феде, постель которого находилась в ее же комнате, не спалось. И вот он тайком, в одной рубашенке, на босую ногу, встал с теплой постели, прошел мимо матери и подкрался к сестре. Плеча и грудь ее были обнажены, уста полуоткрыты, она жарко дышала, одеяло шелковое было сброшено до половины. Он со смущением заметил, что в ее ресницах дрожат слезы; локон, перевитый лентою, лег на щеку и был влажен, вся она, прекрасная, облита лунным светом. «Какая же она развратная?» — прошептал братишка и заботливой детской рукой закрыл обнаженную грудь сестры. Потом он тихо наклонился и поцеловал сестру в щеку, робко и осторожно. Точно от этого поцелуя, лицо ее просветлело, слеза замерла в дрожащих ресницах, и, вдруг склонив голову на влажный локон, она вздохнула легко и спокойно. Вся тиха и счастлива, покоилась Надя, облитая лунным светом, легшим золотыми полосами по шелковому одеялу. Долго смотрел на нее брат. Но вот отошел от постели, стал голыми коленями на холодный пол и прошептал молитву, в которой слова и чувства были ребячьи. Недолго он молился, но хорошо, лучше своей матери. На другой день мальчику очень хотелось сказать сестре, как он молился за нее, но стыдно было, неловко. Вырастет большой, расскажет. Эта молитва будет дорога ему и тогда, когда он утратит самую веру. Бывают такие в детстве молитвы.

На другой день с Надей почти никто слова не сказал. Разрушалось семейное счастье, мирное существование Дороговых. Дети присмирели, и редко-редко, точно запрещенный, раздавался их смех и говор по комнатам. Вот уже два вечера отца нет дома, он в гостях. Надя ни разу не взглянула на него по-прежнему, прямо и открыто. Мать молчит. Надя большую часть времени проводит уединенно, в своей комнате. Много перебрала она предположений — откуда отец узнал об отношениях ее к Молотову, и ни одно не объясняло дело удовле-

творительно... Ей было только ясно, что Егор Иванович не придет к ней, потому что для него закрыты двери дома. Крепко было слово отцовское: «Ты с ним никогда не увидишься»... Что же тут делать? И борьбы даже не предстоит, а остается лишь выносить гнет, тяжело налегший на молодую жизнь. Казалось, никаких событий больше не случится, а день за днем будет тянуться давящая монотонная жизнь; родители будут ждать, скоро ли все это опротивеет Наде и она с отчаяния, не находя исхода, бросится в объятия генерала. «Написать к нему? — мелькнуло в голове Нади... — Но через кого передать? через кухарку?» Так тяжело было оставаться в неизвестности, что Надя решилась на этот шаг...

«Егор Иванович, милый мой! — писала Надя. — Я не понимаю, что это со мной случилось. Отчего ты не ходишь к нам? Откуда узнал папа, что я люблю тебя? О боже мой, да, может быть, ты ничего не знаешь! Меня хотят выдать за Подтяжина, генерала, а я тебя, одного тебя люблю. Мне сказали, что я с тобой никогда не увижусь. Никому не верь, кто скажет, что я отказалась от тебя. Папа очень сердит на нас. Мне тяжело. Дай какую-нибудь весточку, объясни, как это случилось, что делать надо, чего ждать? Я люблю тебя, ты помни это, добрый мой! Твоя Надя».

Надя дала кухарке рубль, и та согласилась отнести письмо к Егору Ивановичу. Часа через два кухарка сказала, что отнесла записку, но что Молотова дома не застала и записку отдадут ему вечером... Надя ждет вечера с нетерпением. Наступил и вечер, но вести никакой не было.

— Боже мой! — прошептала она в отчаянии, когда пробило восемь часов. — Что же это?.. Одна!.. заперта от всех... живого слова сказать не с кем!

Неожиданно на помощь явился Михаил Михайлыч Череванин. Надя насилу выждала, скоро ли он сядет за работу... Михаил Михайлыч установил на станке портрет, осветил его, но за работу не сел, а огляделся около, усмехнулся своей оригинальной улыбкой и пошел в Надину комнату...

— Вам Егор Иванович кланяется, — сказал он Наде.

— Что он? — спросила тревожно Надя...

— Ничего... что ему делается!.. А вы-то зачем, Надежда Игнатьевна, похудели?.. Стоило ли?

— Ах, Михаил Михайлыч, что Молотов?..

— Да не волнуйтесь. Все пустяки, Надежда Игнатьевна...

— Как это все случилось?

— Очень просто. Послушайте, Егор Иванович просит вас довериться мне во всем... Я вас не выдам... Верите?

— Верю, верю...

— Так вы и объясните, что с вами было. Я передам Молотову; а вам расскажу, что было с ним.

Надя согласилась и рассказала Череванину. Она рада была отвести душу.

— Ваш папаша — порядочный гусь: и не сказал ничего... А ведь весь секрет в том, что он виделся с Егором Ивановичем.

— Когда?

— В тот же самый день. Егор Иванович встретил вашего папашу, пригласил к себе и сделал декларацию... Игнат Васильич объявил, что есть у вас жених и что вы дали свое согласие...

— Что же Егор Иванович?

— Разумеется, не поверил... Он просил позволения повидаться с вами; папа отвечал, что нога Молотова не будет в его квартире. Егор Иванович два раза стучался у ваших дверей, и каждый раз ему отвечали: «Принимать не велено».

— Что же делать теперь?

— Ничего не надо делать. Эх,— сказал Череванин, махнув рукой и впадая в свой тон,— и это браки устраиваются!.. Во всем ложь, пустые слова, веселенькие пейзажики! Ведь в браке необходимо взаимное согласие и любовь. А что же мы видим в огромнейшем большинстве тех людей, которые называются «муж» или «жена»? Над ними состоялось одно лишь благословение священника, а любви и в помине нет; одних родители принудили, других соблазнили деньги... третьи женились для хозяйства, четвертые —сдуру. И это брак!

— О чем вы мне говорите?.. Разве я хочу идти за Подтяжина? Что мне делать, что делать?

— Если вы убеждены, что подло идти за Подтяжина, то и не идите за него... Вас папаша называл безнравственной, так ли? А сам на какое дело вас толкает? Так вы и не обращайтесь на него внимания, не слушайте своих родителей... Вам-то что за дело? Сидите себе спокойно в комнате и ждите, что будет... Что они с вами

сделают? Кормить, что ли, не будут? Страшного ничего не случится; выйдет, как и во всем, пошлость, над которой вы сами посмеетесь. Какая тут трагедия? Событий-то даже мало будет. В трагедиях участвуют боги, цари и герои, а вы — чиновник и чиновница; потому и роман ваш будет мирный, без классических принадлежностей, без яду, бешеной борьбы, проклятий и дуэлей... Ваше положение уже таково, что ничего грандиозного не должно случиться... В монастырь вы не пойдете, из окна не броситесь, к Молотову не убежите и не обвенчаетесь с ним тайно,— все это принадлежности высоких драм... У вас выйдет простенький роман с веселенькими пейзажиками вместо трагических событий. Зачем же худеть?.. Не надо... Теперь возьмите положение Молотова,— то же самое, что и ваше... классического тоже ничего не предстоит!.. Ему даже делать-то нечего. Вся эта пошлая туча мимо его пройдет, она будет носиться над вашей головой... Егор Иваныч может только просить и убеждать папá и мамá, вести с вами переписку, действовать через меня, бесноваться дома сколько душе угодно, перебирать все средства, какие употребляются людьми при связи, разорванной благочестивыми родителями, и видеть, что они неприложимы в его положении. Нечто потешное выходит. У вас не будет свидания до самого благословения родительского, которое утверждает дома чад. Словом, романчик выходит оригинальный, кругленький, в котором все вперед можно предвидеть. Главное дело, стойте себе упорно на своем; что бы вам ни говорили, как бы ни убеждали, хоть бы плакали или бранились хуже, чем до сих пор, а вы все пропускайте мимо ушей, как будто и не вам говорят. Положим, каждый день вам придется выслушивать отца или мать часа три; вы прослушайте их; пройдут три часа, и вы опять сюда, в свою комнатку. Слышали вы поговорку: «Как к стене горох?» — в этой поговорке весь смысл вашей борьбы, которая вам предстоит.

— Но чем же все это кончится?

— А сейчас я расскажу последнюю главу вашего романа. Генерала вы не бойтесь: не с пушками же придет брать вас... он статский, а не военный. Носу своего он сюда до тех пор не покажет, пока вы не дадите своего согласия; папá не допустит его, скажет, что вы больны, либо что-нибудь другое выдумает,— он бонтятся, что вы укажете непрошеному жениху двери... Вот родители и будут тянуть дело, мучить вас, вымогать согласие. Со-

гласия вы не дадите. Наконец генерал рассердится и потребует решительного слова. Что папаша будет отвечать? Дочь не согласна... Тогда, делать нечего, позовут Молотова и благословят вас на брачную жизнь... Вот и вся программа трагедии... Все пустяки в сравнении с вечностью, Надежда Игнатьевна...

— Скажите же Егору Иванычу, что я буду ему верна, как бы мне тяжело ни было...

— Да вы не худейте, Надежда Игнатьевна.

— Боже мой, как все это пошло, грязно, низко! — проговорила Надя с отвращением...

— Что ж тут удивительного? Так тому и следует быть...

Надя наклонила голову и задумалась...

— Вот что, Надежда Игнатьевна, — сказал Череванин, — мне надо иметь предлог бывать у вас. Для этого я начну ваш портрет...

— Хорошо...

Череванин ушел в зал. У Нади после речей Михаила Михайлыча пропали страх и отчаяние; но их место заступила скука и апатия. Лениво пробиралась игла по краю платка; голова рассеяна. «Скоро ли все это кончится?» — думала она. Очень хотелось Наде увидеть Егора Иваныча, который был всегда их вечерним посетителем, к которому она привыкла и которого так любила... Она не знала, куда деться от тоски, когда представляла себе, что, быть может, еще целый месяц пошлой скуки и томления впереди...

Череванин, возвращаясь домой, бормотал себе под нос: «Вот оно, любовь осветила и взволновала наконец это болотце... романчик начинается с веселенькими препятствиями... Право, препотешно жить на свете!.. Но что, если благочестивый родитель вздумает припугнуть ее проклятием и лишением вечного блаженства, — устоит ли Надежда Игнатьевна? Против воли отца и матери редко кто устоит. Сколько бы проклятий рассыпалось у нас на Руси, когда бы все захотели выходить замуж по своему выбору. Отчего это не запретят проклинать детей своих — запрещено же их убивать?.. Запретят!.. еще пустое слово: запрет ни к чему не ведет. О, будьте же вы прокляты сами, проклинающие детей своих! Нет, я не допущу Надю испугаться даже и проклятия. Я им всем нагажу!.. из любви к искусству нагажу!.. А, ей-богу, весело жить на свете!»

Через три дня, которые прошли по той программе, которую начертил Череванин, настал праздник Веры, Надежды, Любви и матери их Софии. Надя была именинница. На Руси празднование именин вытекает ныне совершенно не из религиозных причин. Едят, пьют, сплетничают и танцуют не во имя патронального святого, а потому что случай такой вышел. Приходят гости, поздравляют с ангелом, а сами и не думают об ангеле. Обычай справлять именины многими оставлен,— напрасно: отчего под предлогом «ангела» хоть раз в год не покормить родню и знакомых? Дороговы держались этого православного обычая: обряд именин совершался у них с особенным торжеством. На стенах зажжены канделябры, сняты чехлы с мебели, постланы парадные ковры по полу. Шелк, бархат, тончайшее сукно на гостях; дети в праздничных рубашках, дорогих сюртучках и курточках, которые надеваются всего раз десять в год. Таинственный и степенный шум платьев, светлые лица, общая предупредительность и утонченная, несколько деланная деликатность — все это дает торжественный тон именинному дню и заставляет искать какого-то особенного смысла, которого, может быть, и нет на деле. Надя принимала поздравления; люди в летах желали ей хорошего жениха, молодые — просто счастья. Она ходила по зале под руку то с одной, то с другой девицами-родственницами и так смотрела печально, точно просила пощады... В сердце ее разрушена была вера в своих, потерян смысл окружающей жизни, и постигла она слово: «пошлость»...

— Гостей было человек сорок. Череванин, на этот раз во фраке и отличном белье, стоял подле играющих и дождался случая переговорить с Надей. Он интересовался не игрой, а игроками, злобно размышляя о них: «Ведь это не простые игроки, это — артисты. Я знаю вас вдоль и поперек!.. К рефетам, табелькам, мелкам и разным мусам они чувствуют родственное расположение. Играют они не столько для выигрыша, сколько из любви к искусству; у всякого своя система игры, свой стиль, предания и предрассудки; у них образовался свой язык: известны всему крещеному миру «пикендрясы», «не с чего, так с бубен», «без шпаги», рефет они называют «рефетцем», бубны «бубешками», разыгрывают «сотенку», пишут «ремизцы», а не то дерганут «всепетое скуалико», десять бескозырных вносят в календарь на том же листе, где можно встретить: «Надо помянуть раба божия Ивана»,

пульку не доигрывают, а «доколачивают»... Какие рожи солидные!.. А, вот и засмеялись!»

— Чего же, господа, смеяться? — говорил Макар Макарыч.

— Как вы тузика-то просолили!

— Со всяким может случиться несчастье.

Настает тишина.

Макар Макарыч злится, мрачно выглядывая исподлобья, но вдруг, спохватившись, что это нехорошо, старается насильно улыбнуться; одолел себя, улыбнулся, но краска все-таки пробилась на щеки, и он, глядя в глаза счастливой партнерке-даме, думает крепкую думу: «Так бы и швырнул тебе колоду в лицо!»

— Восемь черви! — объявляет дама.

В душе Макара Макарыча поднимается страшная возня, рожутся тысячи мелких чертенят — пошлые страстишки, дрянной гнев, ничтожные заботы и злорадованьице.

«Ишь ты, — думает он, — улыбается!.. глаза закатила... господи помилуй, как плечом-то она поводит!» И не может понять Макар Макарыч, что он сам не может воздержаться, чтобы не отразилась на лице его игра карт...

— Что, душенька? — спрашивает, подходя к нему, любящая жена...

— Ничего не идет, — отвечает тоскливо Макар Макарыч.

— Попробуй, душенька, писать столбиками.

— Пробовал, — ничего не выходит.

Жена вздыхает печально...

— С твоим приходом еще хуже; уж ладно, душа моя, оставь меня...

Счастливый партнер — дама, долженствующая, как говорит Череванин, «смягчать мужские нравы», но в душе ее ходят преступные надежды.

«Подождите, господа, — думает она с замиранием сердца, точно любящий юноша треплет ее по старой щеке, — подождите!.. на моей стороне праздник!.. Я вас сегодня всех оберу!..»

Третий партнер, доктор, серьезно играет; перед ним Касимов — мальчишка. Он изучает игру; на туза смотрит с таким же благоговением, как на генерала, а семерка в его глазах что-то вроде чиновницы в стоптанных башмаках. Доктор в преферансе служит делу, а не лицу; для него важны карты, а не партнеры. Он никог-

да не злится и торжествует только при открытии какой-нибудь трефонной комбинации или бубнового закона... Макар Макарыч — практик, доктор — философ, а дама смягчает нравы того и другого; в ней олицетворилась золотая середина...

Но что выражает собою четвертый партнер? Выигрывает он — ничего, и проиграет — ничего: ему все одно. Это факир индийский. Сидит факир, и вот мимо его носу пролетела муха, жук ползет в траве, в брюхе ворчит, восходит солнце; он погрузился в созерцание всех этих явлений. Зачем они? какой их смысл? Ему, добродушному, нет дела до того. Так и он остановится иногда на мосту, подле портомойной, и смотрит во все стороны: там щепочку несет, в другом месте пук соломы, бревешко, у пристани всплеснуло что-то, бабы моют белье; он созерцает все это, наконец надумается и плюнет в воду; плевков ударится под мостом, даст круг от себя и отразится широчайшей улыбкой на его роже, которой не прикрыть и поповской шляпой... Он не наблюдает, а просто глазеет, глаза пялит; это объективнейшая голова; он служит искусству для искусства. То же самое у него и в преферансе. «Ишь, как моего тузахватила!» — думает он, и это его не тревожит: ему дайте только полюбоваться, как его тузахватили. «Вон как выходит!» — рассуждает он, объективно глядя на дело и ласково улыбаясь...

— Веселенький пейзажик! — шепчет Череванин. — Подождите, я вас разоблачу перед Надей...

Он читает по их лицам, как по книге... У Череванина, всегда верного своей профессии, явилось желание — опошлить окончательно в глазах Нади ее родню.

«До сих пор, — думал он, — Молотов только идеалы ей рисовал; он не касался этих лиц; но он мне поручил следить за ходом дела, и я не опущу случая — потешусь...»

Череванину хотелось переговорить с Надей; но Надя была с девицами... Михаил Михайлыч ходит из угла в угол: осмотрел все цветы, картины, щипнул кота, выпил воды стакан.

«Этакая скука! — думал он. — Нет, Егор Иваныч очень снисходителен к этим людям. Он сумел их всех оправдать; и я не обвиню, а только выставлю в настоящем свете... Он говорит, что я вижу одну сторону, что здесь внешняя жизнь освещается внутренним огнем, какими-то неуловимыми стремлениями, улегшимися в форму обыденной жизни, без порывов, страстей и великих событий. Но вот я

разберу эту внутреннюю жизнь и покажу Наде неуловимый ее огонек! Раскроем же пред Надей книгу скучного существования, бесцветной жизни человеческой — пусть поучится!»

Наконец Надя осталась одна. Михаил Михайлыч воспользовался этим случаем и увлек ее в сторону от гостей, к окну. Первый вопрос Нади был о Молотове. С тех пор, как Надя дала слово Егору Иванычу, она говорила свободно, не стесняясь, о таких предметах, которые до того казались ей крайне щекотливыми. Впрочем, ей и некогда было разбирать, что прилично и что неприлично: она ловила вести и советы на лету, потому от художника часто выслушивала речи, каких никогда не слыхивала; притом и на Череванина она смотрела как на человека, которому все равно и который усердствовал единственно из любви к искусству. На вопрос Нади о Молотове он отвечал:

— К нему недавно сваха приходила.

— Зачем?

— Предлагала семьдесят тысяч приданого и руку вдовы, купчихи...

— Что же он?

— Я советовал не упускать случая. «Тебе же, говорю, добру молодцу, на роду написано счастье — жениться на молодой вдове. Не сумел ты, добрый молодец, изловить белую лебедушку, так сумей ты, добрый молодец, достать серу утицу».

— Вы все шутите...

— Вот и он сердится, а свахе читал целый час проповедь о безразличности ее профессии — думает, и дело делает.

— Скоро ли всему этому конец?

— К чему торопиться?

— Да тяжело ведь...

— Так что же? Вот мне всегда тяжело, а не тороплюсь...

— Вы все о себе...

— Ну, давайте о других... Знаете ли что, Надежда Игнатьевна, у меня есть довольно веселая мысль — познакомить вас с нашей родней.

— Я давно знаю ее, — отвечала Надя с досадой.

— Нет, не знаете. Например, вон сидит наша Марья Васильевна — страстное, нервное, мечтательное существо с теплым духом и слабым телом. Посмотрите, какое у

нее сквозное лицо: синие жилки ясно выступают на лбу, ноздри бледно-розовые, губки всегда открыты. Это единственная сентиментальная девушка в нашей родне. Она любит все грандиозно-поразительное, например удар пушки, колокольный звон, барабанный бой. Она просила меня нарисовать ей картинку в альбом; я изобразил ей всадника, упавшего с лошади; узда оборвала ей губы — мясо самое красное, с кровью; у всадника рука сломана. Она очень благодарила меня за то, что я угадал ее вкус. Вот подите-ко, расскажите этой дохленькой барышне про ее жениха. Вы его знаете?

— Да.

— Нет, не знаете этого благопристойного юношу, у которого так гладко выбриты щеки и снята всевозможная пылинка с платья. Кажется, ничего нет замечательного в этой личности — тысячи таких: но всмотритесь попристальней, вы увидите много особенностей, ему только принадлежащих. Попихалов человек веселый, покладный, услужливый — так ли я говорю? Он душа дамского общества и мастер каламбурец запустить, личности ничьей не коснется, остроумия нет в его речах, а так, легкий оттенок чего-то легчайшего, получающего свою милость от мягкости проноса, поворота головы, умения придать телу то или другое положение, от особенной манеры держать двумя пальцами папиросу, от искусства вовремя крикнуть, поддакнуть, подпереть рукой щеку. Он глуп, потому что никогда не сказал умного слова; но он умен, потому что никогда не сказал глупого слова. В этом и состоит вся прелесть его юмора. Ведь прекрасный человек?

— Это все я знаю, и как все это скучно...

— Потому что самого веселого не знаете... Попихалов ест сытно, одет хорошо, живет в уютной квартирке, а между тем жалованья получает всего семнадцать рублей в месяц. Объясните же это существование. Этот мягонький господин просто-напросто мелкий воришка...

— Неужели? — спросила Надя.

— Он всюду умеет втереться, а у нас даже в женихи попал. Редкий день Попихалов не бывает на похоронах, свадьбе, именинах или крестинах, потому что любит жизнь хорошую и потому что в гостях очень удобно совершать разные экономические операции; например, он курит одну вашу сигару, а отвернулись — другую он прячет в карман; берет по шести кусков сахару, конфет вдвое более других,

а не то стащит и гривну со стола. Со службы государственной, из департамента, он носит домой сургуч, бумагу, перья, веревочки, потому что в его чине больше нечем взять с казны; дома у него копятя кости, гвозди, битое стекло и тряпки, которые он пускает в продажу. У него тысячи мелких оборотов. Например, он записался в библиотеку, выписывает иллюстрированные издания, картинки вырезает и продает их, а иногда цапнет и всю книгу. И вы думаете, что он считает себя негодяем, что ему стыдно, совесть его мучит? Он с особенным, непоинтым для нас чувством относится к чужой мелкой собственности... Это не воровство, а пользование чужим без спросу. Он льстит, подличает, кланяется и крадет неутомимо, с сознанием своих достоинств, цели и сил. Так уже устроилась его совесть. Он никогда не действует против своего убеждения, а убеждения святы.

— Какой он негодяй! — сказала Надя.

— Зачем сердиться? Он не подлец, а дурак, житейская бездарность. Для честной жизни нужны высокоразвитые умственные способности, — иначе как человек примет противоречие между своей бедностью и богатством других? Дураку не докажешь, что деньги надо приобретать трудом. «Нет, — говорит он, — это не расчет!» Для глупца труд представляется нелепостью, когда другие без труда богаты: нужно иметь довольно сильное логическое развитие, чтобы выйти невредиму из путаницы житейских фактов. Много надо иметь ловкости, чтобы достать честно копейку. Не корми меня живопись, я, право, кажется, умер бы в нищете. Для чести нужен ум. За что я уважаю Егора Иваныча? Мне нравится в нем эта логическая крепость, изворотливость, гибкость ума, знание множества средств, умение найти практические и в то же время честные приемы... А Попихалов — дурак!

— Что же вы не предупредили о Попихалове?

— Кого?

— Родных.

— Зачем?

— Странный вопрос!

— Пусть их блаженствуют. Дохленькой девице такого и нужно. Попихалов в ее вкусе: она, кроме барабанного бою, любит веселости легкие и рассказы о бешеных волках, пожарах, вертящихся столах и т. п., к чему склонен и Попихалов. Лет через десять он разбогатеет, и они будут проживать в счастии.

— Но ведь она ваша родственница?

— Так что же? я-то чем виноват? И все они родственники, и всех их хочется разрисовать: кого зеленой краской, кого желтой, а кого просто грязью... Надежда Игнатьевна, меня кладбищенство сегодня мучит. Дайте мне поговорить, потешиться.

— К чему?

— Так, без всякой причины.

— Не понимаю я вас.

— И не надо понимать. Я просто люблю говорить — вот и все... Посмотрите на наших дам: как они высоко нравственны, как они возненавидят вас за любовь без позволения отца и станут презирать за отказ генералу! Они уверены, что их целомудрие никогда не нарушается, — и справедливо: оно расходуется по мелочам. Дело в том, что наши дамы любят обнажаться: выставить, например, локоток — на, вот, смотри, какое у меня белое, нежное, хорошо рощенное тело; отстегнут, как будто само отстегнулось, крючочек на груди; сядут, — кринолин в сторону, а ножка в белоснежном чулке режет глаза, и этрусские красоты приводят смертного в трепет. Это дамы занимаются экспериментами; они репетируются к свадьбе. И как они, обнажаясь, умеют прилично держать себя! Все у них выходит ненарочно и нечаянно, все само отстегивается, а сами, разговаривая и невинно улыбаясь, бросают меткие взгляды, запоминают позы, замечают, какой оборот или полуоборот производит искомое впечатление. Вон Таня подбежала к окну, наклонилась, нюхает цветок, а сама отпахнула шелковый рукав и откинула грациозно ножку... Как мило выходит! Вот нам, мужчинам, и приходится служить снарядами для опытов этих красивых девиц.

Череванин едва не сказал: «А ведь много есть из нашего брата артистов по части заглядывания во все открытые места на дамском бюсте», — но заметив, что Надя стесняется слушать его бесцеремонную речь, не решился сказать такую вполне определенную фразу. Ее ухо не приучено было к резкостям. Молотов, относясь отрицательно ко многим явлениям жизни, редко употреблял в разговоре с нею цинические краски; но зато рельефно очерченные образы художника впечатлевали в ее душу отвращение к окружающим лицам, нагоняли скуку, торопили скорей вырваться из заколдованного круга, за пределами которого стояла неизведанная, полная какого-то глубокого

и широкого смысла жизнь с Егором Ивановичем... Так ей казалось; она верила в Молотова...

— И вот наступит вожделенное время,— продолжал Череванин,— добрые родственники общими усилиями, при пособии экспериментов, найдут жениха; он носит подарки, его травят, но не дадут поцелуя до свадьбы. Наконец запоют «Исаие, ликуй», настанет и пройдет медовый месяц, и наши дамы становятся специалистками в семейной жизни, устраивают хозяйство, прибирают мужей к рукам — и можете видеть второй экземпляр маменькина счастья. Стремления ограничиваются куском хлеба, квартирой, бельем, посудой и тому подобными принадлежностями. «Сыт, обут, одет — чего же еще?» Какая-то незримая сила провела этот принцип через жизнь честных людей крепче всех других принципов, легших в основание их жизни. «Сыт, обут, одет»? — как это просто и успокоительно! Посмотрите, что здесь совершается? Ведь все это заведено однажды навсегда, усвоило известные формы, да так и замерло в них. Какие неувлекательные, бесстрастные, сознающие свое достоинство лица! Какая крайняя благопристойность, гладко выбритые рожи, казенные улыбки, легкие походки и отсутствие всякой живой мысли! Долго ли понять эту бедненькую внутренним смыслом жизни? Она вся как на ладони. У этих людей ничего нет своего, нет нравственной собственности. Все это ходячее повторение и подражание. Вон идет господин,— что у него своего? Походка отцовская: он животно вперед и ты туда же; улыбнулся ты — точь-в-точь сестра старшая; говоря, тычешь пальцем в воздух — твоя бабушка так тыкала; речь пересыпана поговорками — это взято у товарищей, учителей, родных. Сказал ли ты хоть одно свое слово, сделал ли что по-своему, хоть дрянно какую-нибудь? Что бы ни делали эти люди: смотрят ли они на закат солнца, едят ли горячие щи, богу ли молятся или хоронят отца,— и мысль, и слово, и смех, и слезы — все у них получено по наследству; и добродетели у них не свои, и пороки не свои, и ум чужой. Что же ты такое, эй ты, честный человек? Где твоя личность, индивидуальность, где твой талант, прибавил ли ты хотя грош к нему? Недолго надо пожить с ними, чтобы понять, что эти люди будут думать, говорить, делать в том или другом случае. Хотите, я расскажу все, что здесь случится сегодня, о чем будут говорить, чему смеяться? Эта жизнь для меня давно прочитанная книга — скучная книга!

— Скучно же вам бывает в гостях!..

— Нет, ничего. Посмотрите, Надежда Игнатьевна, на Анну Михайловну. Видите, какая она молодая, красивая дама, с чудесной каштановой косой и голубыми глазами. Она целый час сидит, не переменяя положения: кушает яблоко, легко-легко улыбается, поднимает ресницы и, обмахиваясь платком, изредка обнаруживает прекрасные белые руки. Ведь это воплощенное изящество? Вот я вам и хочу показать, что я знаю, чем она занята и что чувствует. Она сидит в своем прекрасном платье, лучших браслетах, серьгах и кружевах и блаженствует. У нее теперь особого рода ощущения — праздничные, парадные, которых не всякий и поймет. Она чувствует на себе новое платье, золотые браслеты, ловко надетую ботинку; если прибавить к этому, что она в обществе, то есть на стенах горят канделябры, вокруг торжественные лица, в руках десерт, то вы поймете ее эстетическое довольство — это ощущение новой пары и парадности. Такое ощущение продолжится весь вечер. Когда дома платье снимется, тогда только начнется обыденная жизнь, проза — а теперь поэзия...

Вечер шел своим чередом. Под руководством художника в глазах Нади все приняло иной вид. Она тосковала. «И нечего делать,— думала она,— ждать надо, как день за днем тянется это скучное существование. Утешают, что борьбы не будет. Лучше борьба, нежели эта мертвая, давящая неподвижность». Череванин окончательно испортил ей именинный день. Многое, чего бы она не заметила прежде, теперь само бросалось ей в глаза. Она отошла от Череванина прочь без всякой цели, дожидаясь, скоро ли кончится вечер, стала ходить из комнаты в комнату, от одной группы гостей к другой. Она остановилась подле почтенных дам, среди которых старичок повествовал о своем ревматизме, который уже десять лет назад излечен. После него другой старичок сказал: «Вот у меня тоже мозоли» и развил целую историю о мозолях. Анна Андреевна сообщила о зубных болях, поносах, корях и кашлях своих детей. Видали ль вы умилительную картину, когда юноша сидит среди старух, припоминающих за всю свою многострадальную жизнь, как их стреляло, кололо, тошнило, тянуло, ломало и корбило, и когда юноша того только и смотрит, как бы вырваться из кружка старух? В таком положении был молодой Касимов. Надя и без комментариев Чере-

ванина поняла, что все это очень скучно. Только подобные явления и останавливали ее внимание, а других точно и не было. Вечер близился к концу. Наде хотелось уединиться; она пошла в детскую... И дети, которые незадолго играли шумно и весело, теперь утомились, вяло ходили друг к другу в гости, устраивали школу, венчались и т. п. Надю везде преследовала скука.

— Ты будь маменька, а я — папенька, — говорил один мальчик.

— Нет, я буду нищая...

— Лучше — маменька.

— Нет, я буду нищая...

— Братцы, не принимать девочек! — сказали мальчики...

— И не нужно... Пожалуйста... и без вас весело...

— А не будет весело!

— А будет!

— Не будет!

— А будет!

— Никогда ты не переговоришь ее, — сказал Володя, — уж девочка ни за что не отстанет, а то еще заплачет...

— Ох, уж и мальчиком тоже хорошо быть... Я бы ни за что...

— А девочки-то?.. в передничках... плачут всегда...

— Мальчики не плачут?

— Уж вот никогда!.. «Ай, маменька, букашка!» Ох, вы, народ!

Надя примирила детей и опять пошла в зал, к гостям. Она взяла под руку дохленькую барышню и стала ходить с нею по комнате... Целые полчаса она слушала ее рассказы о женихе, Попихалове. Наконец она ушла в свою комнатку и в изнеможении упала на стул. Надя была измучена, утомлена своими именинами. «Скоро ли кончится вечер? — думала, — скоро ли ночь? Хоть заснуть бы!» Потом ей уж и думать ничего не хотелось; пусто было на душе. Долго она еще сидела в тяжелом полузабытьи...

Надя не слышала, как загремели стулья, преферанс кончился и настал последний час праздника...

В зале шел оживленный разговор между игроками, столпившимися около стола с закусками и винами.

— Не нужно допускать обмолвок, — говорил доктор. — Вы, Макар Макарыч, говорите про себя в задумчивости:

«нет» и объявляете простой преферанс, и вот слева — пас и справа — пас. Вы запугали игроков, а потом смеетесь. Серьезная игра должна совершаться молча, позволяется говорить только технические слова игры. Даже такие фразы: «А вот я вашего туза побоку», — зачем они? Они развлекают игроков и мешают, так сказать, систематической игре... Я двадцать три года играю; я помню тысячи фактов и приобрел некоторую опытность в деле; это составляет мою систему — понимаете? После игры я вспоминаю все свои выходы, взятки, риски, все комбинации преферанса и потом соображаю: как, что, почему? Пища для ума; я занят день, неделю, дохожу до новых соображений. А разные обмолвки мешают делу.

— Господа, положить за правило — молчать во время игры, — сказали партнеры.

— Назначить ренонс!

— Двойной!

Доктор, подозрительно осмотревшись во все стороны, показал знаком, чтобы игроки подвинулись к нему. Игроки стеснились около доктора, и он сказал шепотом:

— Вот что, господа, баб не принимать...

— Ну их к черту! — ответил Макар Макарыч.

— Только киснут — никакого риску!

— Пусть составляют бабий преферанс!

— Преферанс и дело не женское, — это не то, что чулки вязать, — заключил доктор.

— Вот что, — сказал он, возвышая голос, — по-моему, не выигрыш в две копейки фишь интересует игрока. Плата есть премия за искусство, а с другой стороны, гарантия серьезности дела: чем выше цена, тем внимание напряженнее.

«Вот оно! — думал себе Череванин, закусывая среди игроков. — Теперь наступит гробовое молчание за зеленым столом, будет совершаться мистерия, будут выработываться бубновые принципы и червонная нравственность. Ведь это развивается жизнь по своим законам, растет и видоизменяется, — это шаг вперед, как выражается Егор Иваныч...»

За ужином случилось событие, которое показало, что Череванин ошибался, когда говорил: «Я могу рассказать все, что будет сегодня».

Надя сидела среди молодых девиц и рада была, что кончается день. «Еще несколько таких дней, — думала она, — и конец моей неизвестности». Отец часто останав-

ливал свой взор на лице Нади, и в глазах его отражались попеременно то ненависть к дочери, то сомнение в чем-то. Он хотел заставить Надю единственно силою своей воли — поднять глаза; но она не чувствовала влияния его взглядов. Анна Андреевна с изумлением видела, как муж налил себе уже пятую рюмку вина. Многие гости заметили, что Игнат Васильич как-то особенно недоброжелательно смотрит на дочь-именинницу, и не понимали, что это значит. Подали шампанское.

Дорогов, с заметной для всех бледностью в лице, встал со своего места, поднял бокал, сухо и строго проговорил тост:

— За здоровье нашей дорогой именинницы и нареченной невесты...

На минуту все смолкло. Потом с страшным криком принят тост.

Надя окаменела. Она не ждала такого удара.

— Кто жених? — раздался в массе говора чей-то громкий вопрос.

Опять все стихло.

— Его превосходительство 'Алексей Иваныч Подтажин.

Настала мертвая тишина. Эффект был чересчур силен. Трепет пробежал по всему собранию. У Нади же в глазах помутилось и в голове стучало. Около нее столпились гости с бокалами в руках. Бледная, как полотно, она смотрела на отца и готова была упасть. Все заметили ее волнение, смертельную бледность и отчаяние, которое выказалось во всех чертах лица. Мать, видя, что Наде дурно, подошла и сказала: «Что с тобой?» Череванин ей шепнул с другой стороны: «Решайтесь, говорите, что бог на душу положит... Объявите Молотова». Надя едва расслушала его, сжала свои руки, так что суставы хрустнули в пальцах, и опустила голову на грудь. Страшно ей. Больше ста глаз смотрят на Надю, и в иных уже светится зависть, злость, насмешка,— и все молчат. Хоть бы закричали «ура», заглушили радостным родственным ревом нестерпимую боль в груди. Молчат. Но вот точно из одного горла вырвался восторг, закричали «ура», бьют ножами в стол и тарелки, подняты бокалы, клубится вино, и все-таки на нее смотрит множество глаз. Теперь ей думается: «Чего они ревут? чему обрадовались?» — тогда как у ней болит все тело и так мало воздуха в груди. Она пошатнулась... еще ми-

нута, и — упала бы в обморок. Но Михаил Михайлыч шепнул в это время: «Говорите что-нибудь, а не то я отвечу за вас... Зачем вы их боитесь?» Надя с необыкновенной силой воли собралась с духом и что-то заговорила... Голос ее пропал среди крику. Но гости, заметив, что она хочет сказать что-то, стали останавливать друг друга, и через минуту снова воцарилось молчание. Отец был едва ли не бледнее дочери...

— Папенька, я не иду за Подтяжина, — начала Надя.

— За Молотова, — подсказал Череванин.

— Я пойду за Молотова.

Голос прервался; она опустилась на руки Череванина и матери. С ней был легкий обморок. Изумление было всеобщее; лица вытянулись, бокалы замерли в руках. Через довольно заметное время поднялся шум и жужжанье, которое слышала Надя точно сквозь сон. Она опомнилась несколько, и ее увели из зала. Дорогов тоже вышел вон, качаясь не от хмеля, а от душевного потрясения. Он уверен был, что дочь не осмелится заявить свое слово, когда он объявит ее невестой при всех публично, что она не решится на скандал, — но она решилась. Дорогову нанесен был страшный удар, полный, неотразимый. Он с позором ушел в свою комнату и, бросившись в постель, вцепился в подушку старыми зубами... Рыдать ему хотелось, но горло как веревкой перехвачено. Мучительный час пережил он и потому только не проклял дочь свою, что не пришли в голову проклятия... Он был поражен...

Гости разошлись печально, не простясь с хозяевами, рассуждая о событии, которое в родне в сто лет случилось однажды. Надя спала без сновидений, убитая и задавленная. Череванин, выходя из дому, клялся, что он нагадит всей родне. Одно лишь было утешительно. Мысли матери просветлели в эту ночь. Она с изумлением спрашивала сама себя: за что ее дочь страдает? Ей жалко было Нади.

Праздник кончился.

Чиновная коммуна, связанная родной кровью, была глубоко потрясена, когда услышала, что в их родню вступало такое влиятельное лицо, как генерал Подтяжин. Казалось, сильная, огромная, благодетельная рука поднималась над коммуной и готова была бросить в среду ее чины, кресты и оклады. Эта в своем роде оригинальная коммуна,

цельная, сплоченная в одну массу, перерождавшаяся в продолжение ста лет из чистого, кровного плебейства в полумещанское чиновничество, с трепетом и замиранием сердца думала, что силы ее, вышедшие когда-то из народа в лице знаменитой прабабки, теперь акклиматизируются в департаментах окончательно, и тогда кто посмеет сказать, что родоначальники ее — мужики и мещане? В увлечении родные мечтали, что со временем можно будет сказать о департаменте жениха: «Департамент *наш*; он весь наш родня; и молодое поколение, которое лежит еще в пеленках, здесь же найдет впоследствии приют и занятия». Все это быстро пронеслось в головах мирных семейн-родственников, когда Игнат Васильич объявил Надю нареченною невестою генерала; но вот Надя отвечала: «Я не иду за него», и родня была поражена, оглушена. Лишь на другой день она одумалась, и в мирных семьях чиновников раздалось призывное слово: «Работать, работать!.. за дело!.. Спасайте коммуны!» Наде предстояла борьба уже не с одними членами своей семьи, но со всеми, кого она только знала... Все на нее!

На другой день после именин бóльшая часть родственников собралась у доктора. Сразу, в один час они возненавидели Молотова, как злейшего врага своего; в одно мгновение личность человека, прежде порядочного в их глазах, превратилась в отъявленно подлую и отвратительную, как будто в их благонамеренных душах давным-давно копилась и зрела вражда к Молотову и теперь вся вылилась наружу, вся сказалась. В собрании родных раздавалась брань против Молотова, слышалось слово: «Мерзавец!» — и если бы все пожелания их исполнились, то Егор Иваныч спокаялся бы, зачем до сих пор живет на свете. Но все-таки они не знали, что делать, волновались, шумели, удивлялись событию, потому что Надя, как бы ни поучал ее Молотов, говорила правду: в родне ее существовала только обязательная любовь. Более пятнадцати голов, думавших крепкую думу, не знали, на что решиться. На любовь Нади они смотрели как на чудо, как на нелепое, уродливое исключение, которое совершается в сто лет однажды; но все же не могли они отрицать факт и поняли, что если совершился вчерашний скандал, то, значит, любовь Нади не каприз, не блажь, не пустая привязанность, что она на все готова. В их головах рождались душеспасительные и дикие мысли.

Пришел и Дорогов. Его окружили все.

— Что это случилось у вас? как вы допустили? Что делать теперь? — поднялись со всех сторон вопросы.

— Ничего не знаю,— отвечал Дорогов с отчаянием.

— Вы совсем растерялись,— сказал ему Рогожников....

— Что же я делать буду?

— Должны вразумить Надю...

— Вразумлял.

— Вы расскажите ей все о Молотове, всю его подноготную; надо вывести его на свежую воду, и Надя сама увидит, что это за человек... Она испугается его...

— Что же я знаю о Молотове?

— Как, вы не знаете до сих пор этого нехристя, этого отпетого безбожника? Разве вы не знаете, что у него нет даже образа в доме, креста на глотке; садится за стол — рожки не перекрестит, родителей не поминает, в церковь не ходит. Говорили вы это Наде или нет?

— Неужели это правда? — спросили в один голос взволнованные родственники.

— Честное слово, прости ты меня, господи! — отвечал Рогожников.— Он даже не любит рассуждать о делах веры. «Я не сержусь, говорит, на вас за то, что вы так или иначе веруете; не сердитесь на меня и вы за мои убеждения».

Это поразило родственников, но более всех подействовало на отцовское сердце Дорогова... «Погубит мою дочь этот человек!» — думал он со страхом и едва не закричал: «Спасите, спасите ее!» Он с яростью тигра готов был защищать Надю от когтей Молотова... К прежним побуждениям выдать Надю за генерала прибавилось еще новое, которое окончательно, последней петлей захлестнуло сердце Игната Васильича и распалило его непобедимое упорство...

— Не дам я погибнуть своей дочери! — сказал он энергично.

— Надо рассказать ей о Молотове...

— Да, да!..

— Это я сделаю,— вызвался Рогожников,— я ей открою глаза... Она заблуждается, несчастная...

— Неужели и после этого она будет любить Молотова?

— Он опротивеет ей.

Читатель спросит: «Правду ль говорили о Молотове или клеветали на него?» Что отвечать на такой вопрос?

Не из пальца же высосал Рогожников и, верно, правду говорил. Ему все поверили с радостью, охотно. Но этим дело не кончилось. Когда человек зол на человека, он узнает и расскажет всю подноготную своего врага, подслушивает и подслушает, припомнит, что давно забыто,— и за все будет казнить. После Рогожникова явился обвинителем Попихалов, который, в качестве будущего родственника и посетителя всевозможных собраний, участвовал на семейном совете, хотя, впрочем, его никто не приглашал.

— Извините, господа,— начал он вкрадчиво и почтительно,— если в вашу речь я вставлю и свое слово...

— Говорите, говорите...

— Я осмеливаюсь считать вас почти родственниками...

— Ну, разумеется.

— Мне кажется, есть сведения о Молотове, которые сильнее действуют на Надежду Игнатьевну...

— Что такое?

— Молотов всего года четыре назад имел непозволительную связь...

— С кем?

— С одной вдовой-чиновницей; я ее знаю и думаю, нельзя ли достать какие-нибудь документы, например письма.

— Вы можете достать письма?

— Не ручаюсь, но надо попытаться. Бог знает, может быть, у него и...

Попихалов несколько смешался и замаял речь свою...

— Что, что такое? — спросили его с любопытством...

— Я хотел сказать, что, может быть, у него и дети были, судя по долговременности связи...

Слушатели были поражены; никто не предвидел последнего обвинения. С каждой минутой личность Молотова освещалась все более и более невыгодно для его репутации... Радость неподдельная, самая искренняя на лицах собеседников. Добрые люди торжествовали при открытии, что вот Молотов — безбожник, Молотов — развратник...

— Доказательства есть? — спросили самые благоразумные...

— Судебных, пожалуй, и нет, но зачем они? лишь бы убедить Надежду Игнатьевну, и Молотов от ней самой получит отказ, тем более что это не первый случай в жизни Егора Иваныча...

Лица повеселели. Родственники были счастливы в настоящую минуту: им казалось, что они наверняка губили репутацию Егора Иваныча. Один лишь Дорогов с каждой минутой свирепел, представляя себе, что он оскорблен как семьянин; опять вспомнилась собственная юность и рисовались картины Надиной любви, созданные его небезгрешным воображением...

— После вдовы Егор Иваныч имел еще сомнительные знакомства,— продолжал Попихалов,— мне положительно известно, что он...

— Договаривайте...

— Посещал так называемых камелий...

Дорогов поднялся со стула и отошел в сторону.

— Он знаком,— говорил Попихалов,— с актером Ступиным; у этого актера... Уж извините, я буду говорить прямо...

— Ну да; нечего тут стесняться! разоблачайте его!

— У Ступина есть содержанка; у нее Егор Иваныч крестил детей.

— Господи, час от часу не легче! — проговорил Дорогов.

— Наконец, известно, что Молотов помогал одному приятелю деньгами и советами, когда приятелю нужно было увезти девицу из дому ее опекуна...

Игнат Васильич взялся руками за голову и, стиснув зубы, в душе своей проклял все на свете. «И этот человек едва не жил у меня? — думал оскорбленный отец.— Что он хотел сделать с Надей?» Дорогов был опозорен на всю родню, гласно...

— Надо довести все это до сведения Надежды Игнатьевны,— заключил Попихалов,— и тогда дело примет совсем другой оборот...

Состоялось общее решение опозорить Молотова в глазах Нади. Ко всему этому прибавились еще тысячи случаев из жизни Егора Иваныча, тысяча мельчайших черт его характера, и наконец возник вопрос:

— А откуда у него пятнадцать тысяч?

Решено:

— Украл!

— Где?

— Где-нибудь да украл! Такой человек на все способен...

Что же автор не защищает своего героя? Что ж и защищать его? Денег он не крал, и впоследствии сам

Молотов расскажет, откуда у него взялись тысячи. Относительно же любовных походов Молотова скажу, что в словах Попихалова была и правда. Детей у него не было, документов интимного свойства не существовало, но другие обвинения, пожалуй, несколько справедливы...

Мы с своей стороны ответим на один только вопрос: «Любил ли кого-нибудь Молотов?»

Такому вопросу мы придаем важное значение в деле характеристики. Как бы ни был человек прозаичен, но имеет же он хоть фунт хорошей крови в организме и пару мыслей о женщине в голове. Молотов, хотя бы он был холоден, как медно-красный индеец, идеально или материально увлекался,— это-то и нужно знать. Каждому смертному жизнь дает известную долю любовного продукта, имеющего тот или другой характер, смотря по темпераменту и нравственному развитию. Автор обязан представить факты, причем, само собою разумеется, поэтические ходули и ломанье не имеют места. Мы в романе не действующее лицо, а смотрим на события и характеры со стороны, относимся к ним холодно, бесстрастно, никого не обвиняя и не оправдывая... Известное дело, что всякий считает любимого человека выше всех на свете, и это не заблуждение, потому что для влюбленного предмет его любви в данное время действительно божество; но зачем же автор вместе с героями будет считать их божествами? Автор, по законам природы, сам имеет полное право быть влюбленным и, по тем же законам природы, считать предмет своей любви выше всех на свете, даже героев своей повести. Поэтому какая нужда скрывать что-нибудь? Лгать не только безнравственно, но и бесполезно. Так и будем писать.

В начале юности, когда проснулся организм Молотова, он встретил в жизни прекрасную кисейную девушку, которая, несмотря на всю свою неразвитость, заставила его крепко призадуматься об отношениях к женщинам. В натуре Молотова было много материального, необузданного, и первые интимные отношения к такой девушке, как Леночка, имели на его характер влияние благодетельное, смягчающее и одухотворяющее. Поэтичнее он не сделался, но стал осторожнее и честнее в отношениях к женщине. Был ли он человеком внешних обстоятельств или не развился он окончательно, только ему до знакомства с Надей не удалось ни разу увлечься всецело, и любовь его проявлялась как-то односторонне...

Так, он скоро после Леночки увлекся дочерью генерала Прокопина Анной Федоровной; которая была в полном смысле красавица. Он ни прежде, ни после того не встречал женщины изящнее ее. Он с первого же раза был поражен красивой, художественной фигурой Анны Федоровны. Эта женщина способна была страстно увлечься искусством. Произведения поэтов, картины знаменитых художников, античные статуи, серьезная музыка, картины природы — составляли ее насущную потребность, она жила среди прекрасных образов, и это отразилось на ней самой. Ее существование было глубоко изящно. В губернии Прокопин жил только летом, а зиму в Петербурге, где у него было самое избранное знакомство, цвет общества: люди замечательные либо по общественному положению, либо по талантам. Он скоро сошелся с нею и высказывал меценатке свое несозревшее мирозерцание. Она слушала его внимательно и однажды сказала: «Из вас выйдет замечательный деятель; такие люди, как вы, нужны для общества, вы не будете представителем науки или искусства, но станете во главе практического движения». Молотов хотя не поверил меценатке, но все-таки почувствовал спокойствие, когда сошелся с нею. Чаше и чаще хотелось ему видеть Анну Федоровну. Она объясняла ему смысл и красоту художественных произведений. Все, что было грязно, порочно или несчастно, она отстраняла от себя, потому что все это было неизящно и не давало эстетических наслаждений. Молотову казалось, что ей следует занять место в Эрмитаже, на мраморном пьедестале, среди произведений искусства,— так она была хороша. Он, незаметно увлекаясь, дошел до обожания, до поклонения, о чем и проговорился ей нечаянно. По этому поводу Анна Федоровна сказала: «Я люблю только очень замечательного человека, знаменитость». Она говорила правду, и Молотов понял свое положение. Если бы он написал гениальную поэму, сделал знаменитое открытие в науке, решил государственный вопрос или взял крепость, тогда она охотно пошла бы под венец с Молотовым. Но Молотов был простой парень, ученый мужик и не мог же сделаться гением по приказанию этой изящной женщины. Наступила зима, Прокопины уехали в столицу, и образ красавицы скоро стусеивался и лег в душе подле образа Леночки... После того у Молотова не было увлечений; носило его с места на место, нигде он не мог основаться надолго и по тому самому

завязать романа. Несколько раз хотели женить его, но он и не думал о том... Вот в это время Молотов, как и все мужчины, тратил себя, не жалея. Из тысячи молодых людей нашего времени остается ли один даже до шестнадцати лет невинным? — Молотов не был исключением. Поэтому обвинять его было нетрудно; Попихалов обвинит, если угодно, самого Ромео — за фактами дело у него не станет. Молотов до тридцати трех лет прожил холостяком, — как же автору оправдать его? Никто не поверит, и выйдет идиллическая пастораль. Вдова была последняя его привязанность, но он был знаком с ней не более месяца, — это была еще молодая и красивая, но злостная, ядовитая баба, желавшая прибрать его к рукам. Четыре года прошло, как Молотов жил безупречно... Он уверился было, что не способен влюбиться, и стал мечтать, как лет под сорок вступит в законный брак с какой-нибудь тридцатилетней дамой, чтобы не обижать уж молодых. Он обдумал и план, как до заката дней дотянет свою жизнь беспечно, и сам предсказал грядущее: работы настолько, чтобы отдохнуть захотелось и было бы сытно и не совестно, а во время тошноты от скуки, которая хватает за горло людей с неудавшейся жизнью, — рюмка вина, моцион или книга... Все было рассчитано и похоронено; стало киснуть сердце; сделался он сух и эгоистичен. Молотов думал, что отходит его молодость, а Надя в это время только что расцвела, и вот встретились эти два человека. В душе Молотова ожили лучшие инстинкты; он медленно увлекался, но тем больше сильно; узки и мелки показались ему расчеты житейские, так что он не мог говорить с Надей спокойно, когда она защищала брак без любви. Сила привычки, долгого знакомства и откровенности с Надей сделали то, что он лишился в ней точно жены, а не невесты. Егору Иванычу нужна была умная женщина — Надя сказала ему: «Мне не поэзию надо, я знать хочу», Надя хотела выйти из жизни замкнутого круга — Молотов указывал ей дорогу, — и вот они сделались жених и невеста... Теперь хотят обвинить Молотова перед Надей.

Родственный сейм после совещания разошелся с полной надеждой, что опозоренная личность Молотова делается противна для Нади, и в тот же день ей были объяснены поведение и характер Егора Иваныча. Но все были удивлены, когда узнали, что Надя ничему не поверила; а удивляться было нечему, потому что она любила Моло-

това, к родным же теряла уважение с каждой минутой... Нет, верно не воротить старого: чужой человек давно был дороже своих. Стали искать причину — отчего Надя так упорно шла на очевидную, как казалось, опасность, и не могли отыскать ее.

На другой день отыскивали причину...

Игнат Васильич сам подслушал, как Михаил Михайлыч повторял Наде свои наставления и доказывал, что Егор Иваныч нравственнее всей родни ее, взятой вместе.

В сердце Игната Васильича был неистощимый запас бешенства. Каждый день он волновался, дрожал от злости, бледнел; много ночей он не спал, но нервы его все еще не теряли способности раздражаться, не тупели, а напротив — приобретали страшную упругость и силу. Дорогов едва не собственноручно выгнал Череванина из дому. Но Михаил Михайлыч, слушая брань его, медленно убирал работу и, уходя, сказал Наде:

— Надежда Игнатьевна, терпение...

— Несчастливая! — проговорил отец, когда они остались вдвоем...

Надя решила молчать...

— Сегодня последний день твоим капризам...

«Что же они сделают?» — думала Надя...

— Я тебе сказал, что ты в жизнь свою не увидишь Молотова. Помни, что мое слово ненарушимо, и подумай о себе. Я ненавижу его, как злейшего врага своего. Ты разрушаешь мое счастье, и я этого не прошу тебе. Никто не может насильно поставить тебя под венец, но как же ты без моего согласия пойдешь за Молотова? И вот даю тебе честное, крепкое слово, что ты готовишь себя к страшной беде. Знаешь, что я тебе скажу?

Надя не отвечала...

— Тебе говорил Череванин, что все пройдет; нет, неправда это... Если ты не покоришься, я ни за кого не отдам тебя замуж... ты навеки останешься девкой... Молотов не будет моим зятем... Что, угадал Михаил Михайлыч? Правду говорил он, что на днях кончится твой роман? Он никогда не кончится... Ты обреченная старая девка!

Надя вздрогнула...

— Не Череванин, а я предскажу тебе будущность; я напишу тебе последнюю главу твоего романа — длинна она будет, дочь моя...

Надя почти с ужасом прислушалась к зловещим словам отца.

— Ты не любишь нас,— продолжал отец,— уверена, что мы разрушили твое счастье; и я не люблю тебя, потому что ты погубила мое спокойствие. И вот с этой же минуты знай, на что ты решаешься. Ты останешься жить среди людей, которых отвергла душевные просьбы, будешь хлеб их есть, нищенствовать, проживать у них... Простят они тебе? Ты сама видишь, как с тобой жить тошно стало, и все-таки остаешься с нами, чтобы окончательно отравить наше существование. Ничего, живи с нами и каждый день наслаждайся, как около тебя будет все сохнуть, стареть и горбиться. Нет, я тебя не прокляну, не выгоню из дому, не пушу к Молотову, на которого ты надеешься и вот в эту же минуту о нем мечтаешь: «Где он? Что теперь думает и делает?.. Когда ты с ним увидишься?..» Оставайся ж старой девкой! — вот тебе наказание, и всю жизнь ты будешь чувствовать, какой великий грех — противиться родительской власти! Никто тебя не выручит и не пожалеет, несчастная! «Терпенье!» — сказал этот негодяй,— испытай свое терпенье... Старая девка! — сказал отец со злобой и посмотрел на Надю с ненавистью...

— О господи, это хуже проклятья! — проговорила она...

— Голодная старая девка!.. Живи среди нас, объедай своих младших братьев и сестер и учи их потихоньку ненавидеть отца...

Надя чувствовала, как она каменела, превращалась в бездушное существо, кровь останавливалась в ее жилах; но она с напряженным вниманием вслушивалась в ужасные заклятия на жизнь свою... Отец же точно помешался, и не останавливалась его безумная речь...

— Что ты будешь делать, когда отца твоего не станет? Ты не получишь тех четырех тысяч, которые я обещал тебе в приданое... Не стойшь... И вот ты пойдешь таскаться по братьям, у родных нищенствовать, сядешь на чужие хлебы, дармоедничать будешь,— и так весь век в зависимости от людей... Опомнись, тебе двадцать третий год! Что за нелепое упрямство?

Надя смотрела на него с изумлением...

— Или не думаешь ли ты, что проживешь как-нибудь своими трудами и никому не будешь в тягость?

Надя ничего не думала.

— Мужчине, и то дельному и здоровому, под силу жить своими трудами, а не вам, бабам. Что ты знаешь, чему училась, на что способна, куда и кто тебя примет? В швеи, что ли, пойдешь?

— Боже мой! — проговорила Надя.

— Или скажешь: зачем же тебя не учили ничему? Неблагодарная тварь! Я тебя ничему не выучил? я не воспитывал? Кого во всей родне нашей так заботливо растили, как тебя? Вспомни, как, бывало, после целого дня службы я по вечерам учил тебя азбуке и письму; потом третью часть жалованья отдавал этому мерзавцу Молотову — добру он наставил; разве не я чуть не в ногах валялся у князя, чтобы определить тебя в институт его пансионеркой? Подарки делал начальству, ночи не спал от забот, молебны служил, чтобы тебе господь смысл дал; семь лет следил за тобой как за своею совестью,— ведь ты первая и любимая дочь моя!.. Много ли девиц, которые, как ты, умеют держать себя в обществе, танцевать, говорить? Откуда все это у тебя? На свои деньги, что ли, купила?.. Все моя спина гнулась от работы на вас, бездушных тварей!.. Говори что-нибудь, деревянная кукла!.. Оправдывайся!..

Надя бессмысленно улыбалась...

— Ты смеешься еще? — крикнул отец в бешенстве.

Наконец стали слезы подступать к горлу Нади. Летаргическое оцепенение миновалось. Тяжелый, порывистый вздох вырвался из ее груди. На лицо пробилась кровь большими пятнами...

— Ты нарочно бесишь меня? — говорит отец.— Бесишь грустной рожей, молчаньем, слезами...

Надя заплакала.

— Говори что-нибудь!

Отец подошел к ней, положил, как прежде, на Надины плеча тяжелые руки и с внимательной, оскорбительной, дерзкой злобой смотрел ей в лицо.

— Надя, молишься ты за меня богу? — спросил он медленно и сам побледнел...

Судорожный трепет пробежал по плечам Нади. Плач переходил в рыдание...

— Молишься ли богу?

— Молюсь,— отвечала она прерывающимся голосом,— чтобы он смягчил ваше сердце...

— Любил я тебя, Надя, а теперь не люблю... Опротивела ты мне!.. Вспомни, бил ли я тебя когда-нибудь,

наказывал ли, знала ли ты розгу? И я тебя ласкал и лелеял, целовал и имя дал Надежда... Теперь мне ударить тебя хочется...

Смертная бледность разлилась по лицу Нади...

«Ударить»,— подумала она и закрыла глаза в ужасе...

И вот ей вдруг почудилось, что отец поднимает тяжелую руку с плеча. Она вся, с головы до ног, обмерла, обезумела и дико вскрикнула на все комнаты, закрывая лицо руками.

Вбежала бледная и трепещущая мать.

— Что у вас? — спросила она, с недоумением глядя на окаменевшую дочь и на изумленное лицо мужа.

Надя отвела руки, взглянула на отца, ничего не поняла и не сообразила и опять вскрикнула:

— Ах, не бейте, не бейте меня, папенька!

Анна Андреевна бросилась к мужу, оттолкнула его от себя и потом обняла Надю, которая с диким шепотом повторяла:

— Не бейте, не бейте!..

— Ты с ума сошел, обезумел! — говорила жена...

У отца в первую минуту, когда он услышал вопль дочери, мелькнула страшная мысль — «Она помешалась»; потом, когда Надя закричала: «Не бейте меня» и шептала: «Не бейте меня», он догадался, что дочь его поверила тому, что он способен ударить; ему тогда едва ли не страшнее стало. В одно мгновение в голове, быстро цепляясь мысль за мыслью, явилось сознание: «Я сделался для родной дочери предметом ужаса...» Взглянул он на жену, — та с ненавистью, с презрением, отвращением смотрела на него; взглянул на дочь, — она дрожала от страха... У него сердце замерло, он растерялся, испугался своего положения и в первую минуту не произнес ни слова...

— Не подходи к нам! — сказала жена, когда заметила его намерение приблизиться к ним...

— Надя, дурочка, полно тебе, перестань, — заговорил наконец Дорогов умоляющим голосом. — Неужели ты могла подумать, что я способен ударить тебя?

Он взял Надины руки, отвел их от лица ее, сжал нежно в своих руках и стал целовать Надю в лоб, в глаза, в голову и неожиданно сам заплакал...

— Неужели тебя, мою Надю, мою самую любимую дочь, могу я... О господи, что это пришло тебе на ум? Тронул ли я когда-нибудь пальцем?.. Надя, друг мой, скажи что-нибудь...

Надя обвила его шею руками,— и оба они плакали.
— Добрая моя, как тяжело тебе,— прошептал наконец Игнат Васильич.

Надя обливала поседевшую голову отца горячими слезами. Игнат Васильич не вынес было, хотел уже простить ее, разрешить ей делать все, что она хочет, и благословить на новую, желаемую с Молотовым жизнь. Анна Андреевна предчувствовала такой исход дела, и радость, давно ее оставившая, оживила ее душу. Она решилась во что бы то ни стало защитить свою Надю и, сама зная лишь обязательную любовь, благословить дочь свою на любовь свободную, человеческую. Казалось, начинается тайна примирения, тайна разрешения и всепрощения. Вошли дети и остановились с изумлением, видя, как сам отец обнимает дочь свою...

— Папа простил сестрицу,— прошептала Катя.

Отец, увидя их, сказал коротко:

— Подите отсюда... играйте себе...

Дети повиновались; но лица их были светлы, ребячьи речи полны надежды; они, дети, радовались и за Егора Иваныча, своего доброго знакомца, и за Надю, свою любимую сестру...

Отец стал ходить по комнате.

— Ну, полно,— сказал он Наде. В его словах уже слышалась строгость.

Он быстро прошелся по комнате и вдруг повернул в свой кабинет, двери которого запер за собою плотно. Все поняли, что теперь его не надо беспокоить. Необыкновенное что-то делалось с Дороговым. Он сидел, положив голову на ладони, а локти на стол. Суровое, тяжелое, нелепо-отталкивающее выражение было на лице его. Морщины глубже врезались, увеличились и яснее обозначились. Взгляд сделался тусклым, сухим, неподвижным. Постоянно нависшие брови точно выросли. Голова его начала седеть, и скоро с нее будет падать волос. Редко он переводит дыхание, но сильно, так что слегка разжимаются его тонкие, сухие губы. Давно он не улыбался, давно не было в его душе светлой и радостной мысли. В заржавевшем сердце проснулось чувство любви и жалости к своей дочери только тогда, когда вскрикнула она: «Ах, не бейте, не бейте меня!» Крик, вырвавшийся из Надиной груди и потом перешедший в полупомешанный шепот, заставил его уйти от своих и запереться... Проняло его наконец и покорило.

Вопль дочери внезапно ярко осветил положение семьи, до которого он довел ее. Этот вопль связал его душу и готов был подчинить его, старшего в семье, младшим людям. Сознание прокрадывалось в темную душу; он чувствовал, что власть ускользает у него, что чья-то тяжелая незримая рука легла на его голову и не давала ходить его мысли по-старому, своевольно, хотя бы на зло всем, лишь бы самому нравилось. «Да я так не думаю» — это исходное жизненное начало его деятельности туманилось и гасло. Догадывался мундирный самодур, что, в свою очередь, можно было ему ответить: «Я не думаю, как ты...» В его воображении стояла бледная, дрожащая дочь, с руками, защищающими лицо, обезумевшая от ужаса, и возникал и повторялся с ясностью сейчас повторяющегося события вопль и шепот дочери, и с каждым разом он переживал боль сердечную. Он несчастлив, и несчастлив по-своему, оригинально. Душно старику. Если бы молодые годы, Дорогов разнес бы свое горе по холостым кружкам, утопил бы в вине, выкричал бы в песне, отшибло б ему голову, и то было бы исходом из охватившего его удушья. Но двадцать лет перевоспитания, неуловимой, тайной переделки характера сделало то, что в сердце его родилась любовь к семье и легла сверху необузданной дикой воли, которая, будучи вызвана обстоятельствами, неожиданно вся сказала в отвратительных формах. Сразу жили в нем любовь и ненависть; то зверь проснется в нем, то отец семейства; то ему плакать хочется, то выть от злости. Невыносимо страдание человека, когда в мрачную душу, в черное сердце поселяется любовь, когда он любит и ненавидит одно и то же; все следят за его страданиями, но никому не жалко его, потому что его страдание с бешенством и криком на то, зачем люди хотят жить не так, как приказал он, и не диво, что он седеет, горбится, лицо его покрывается морщинами, как иссохшая глина трещинами, и тупеют его мозги. И все перед ним стояли бледная жена, трепещущая дочь, испуганные дети. Куда ж девались тихие вечера, ребячьих сказки, добрые молитвы, ясные поцелуи и светлая будущность? Семья разлагалась. Из недр ее встали новые силы — нравственные, непобедимые. Он точно разделился на две половины, глубоко заглянул в свою душу, слышал, как в ней шевелились проклятия; но он не смел дать им волю, потому что страшно стало душить чужую молодую жизнь, запрещать свежим людям мыслить, и веровать,

и радоваться по-своему. Нельзя сказать: «Я решил за вас!» — все хотят думать сами за себя. «Вот первое, любимое дитя мое, которое я растил себе на радость, а что оно со мною сделало? — думал Дорогов. — Что будет с другими детьми? Неужели до глубокой старости мученье и тревога? Да, уж Надежда не послушается меня, не сломишь ее! И другие дети вырастут, — неужели сказать им всем: «Не имею права принудить вас ни к чему, живите как хотите»? Но вот он стиснул голову руками и проговорил: «О господи, да это хуже всякой пытки!..», потом поднялся со стула и начал ходить по комнате из угла в угол... Его совесть начала мучить неотступно. В тех случаях, когда душа человека сильно потрясена, при напряженной головной работе, часто бывает, что поступки наши в собственных же глазах неожиданно освещаются болезненно ярко, самым же сделанное дело дает такой смысл, какого никогда и не предполагал человек. Это момент пробуждения совести, и особенно он труден для такой упрямой души, как Дорогов.

«Я тебя не прокляну, не выгоню из дома, оставайся среди нас... старой девкой... навсегда...» Сегодня же он говорил эти шальные речи и доказывал, что в них ненарушимое, крепкое его слово; а теперь ему было мучительно тяжело припомнить, как он заклинал свою родную кровь, молодую жизнь дочери, любимой Нади, на всегдашнее девство и попреки родительским кормом... Доходило до того наконец, что он сам себе не мог уж доказать свои права, и точно нож поворачивался в его сердце... Ему захотелось простить и примириться со всеми, но не нашлось силы и решимости сразу покончить это дело. Он готов был тянуть собственное горе, оттягивая время час за часом и дожидая, не откроется ли сам как-нибудь исход из его положения. Самая минута прощения была для него тяжела. Он был бы рад, если бы за него кто другой сказал либо они сами догадались, что он потерял над ними власть и не хочет больше борьбы. Ему тяжело было разверстаться с своими старыми грехами, прямо, откровенно и благородно положить конец неурядице семейной. Вместо слова и дела на душе его являлись мысли: «Зачем все это случилось?», и даже пустые мечты о том, что будто ничего и не было — ни генерала-жениха, ни именинного праздника, ни родственного совета, вопля и шепота дочери и душевных потрясений. Он струсил, закрывал глаза себе, насильно хотел

остановить требования рассудка и совести и отдавался ожиданию, что сами события придут и дадут знать, как быть теперь; но действовать он не мог — духу не хватало, и в этом неисходном положении тоскливого ожидания и мления он так и замер. Душнее нет той жизни, в которой участвующие лица не действуют, и несколько не утешительна та истина, что в романе Нади не будет никаких событий, что надо ждать и терпеть, превратиться в автомат и никого не слушать; да, лучше борьба, скандалы, ломка, на виду совершающиеся тайные свидания, запрещенные поцелуи и письма, нежели это внутреннее, мертвящее удушье. И никто не действовал,— все ждали. Анна Андреевна ничего пока не предпринимала. Есть род женщин, по натуре умных, честных, кротких, всю жизнь свою живущих обязательно любовью; с удивительным самоотвержением они вечно верны и святы, ни одна мысль грешная не посещала их душу, и сквозь всю дрянь, окружающую их, видна в них натура богатая, сильная, лишь только сдавленная фатумом... Эти женщины весь запас свободных привязанностей отдают своим детям, и муж для них нужен для того только, чтобы перевоспитать его, приручить к дому, дать ему жизнь на заданную тему, и все для того, чтоб получить детей от мужа, чтобы было кого любить всей страстью женской любви... Анна Андреевна питала к мужу узаконенную любовь, и поэтому она хотя простила в душе любимую свою Надю, готова была дать ей вольную волю любить кого хочет, и настрадалось ее сердце, глядя на горе дочери, но она все-таки не понимала Надю, и, казалось ей, лучше нейти за Молотова. Она не хотела более настаивать на этом, но только потому, что не хотела более мучить Надю... Она уже решила противиться мужу, и опять ее умная голова готовилась к подземной работе, собираясь по-прежнему вышивать тонкими шелками по канве семейной жизни; но пока она не нашлась, что делать, и потому только примкнула к своей Наде и с непобедимым терпением собралась выносить гнет тихо движущихся событий, выжидая, скоро ли возвратится ее влияние на мужа... Все остановилось и замерло. И положение Нади никогда не было так печально, как теперь. Полное, холодное отчаяние пало на ее душу, и несколько раз приходили мысли, отрицающие счастье; на будущность ложилось флеровое покрывало, и повторялись бессознательные слова, против которых так горячо защищался Молотов: «Все при-

миряются... это неизбежно... Это не покорность, а неисходность...» Она поверила крепкому слову отцовскому, не зная того, что он и сам был не рад этому слову и больше не верил ему; а Наде все-таки пришлось пережить душою нерадостные мысли: «Неужели я забуду Егора Иваныча? неужели это правда? Ведь все забывается, все пройдет, и вот через какие-нибудь пять-шесть лет самый образ Молотова потеряется из памяти, сотрется силою времени, как пропал из души образ любимого дедушки и младшего брата, как все ступшевывается и забывается. И он меня позабудет,— иначе нельзя, не бывает... Но все-таки я не пойду за Подтяжина — он противен мне, и я его ненавижу». Так она говорила, а сама без ужаса не могла себе представить, что за жизнь готовится ей среди родной семьи; она едва не призывала забвение,— оно невольно приходит на ум, когда уверены мы, что связь с любимым человеком порвана навсегда. Но ей страшно было подумать, что забвение придет к ней,— что она тогда будет?.. И так было трудно на душе, что будто случилась между ними не простая разлука, а развод совершился... И она, как все, стала ждать, что скажут события, не выручит ли завтрашний день, не случится ль что на следующей неделе? Так никто не действовал, и жизнь остановила на время свой медленный ход. Неужели же так ничего и не случится, и тем кончится дело, что душно всем станет в спертой атмосфере, среди глухого молчания, до того невыносимо, что разбегутся эти люди в разные стороны, и долго потом будет им невесело встречаться между собою? Всем приходилось ждать,— и Дорогов, и Анна Андреевна, и Надя, и Молотов, и дети, и родня — все ждали, и только... Недаром сказал Игнат Васильич: «Это хуже всякой пытки!..» Хуже и есть. Вот какие в наших обществах возможны романы, и совершаются они сплошь и рядом. Даже противно! — без движения, почти без завязки, с секретным, ото всех закрытым развитием, с обязательной любовью, и действующие лица не действуют... А главная причина, узаконенный жених с зачатым своим ликом, до сих пор стоит в стороне и не является на сцену. Скучная действительность!.. Гадко!..

Молотов сидел у себя дома, подле стола. Перед ним стоял портрет Надин, подаренный ему Череваниным.

Художник успел унести портрет с собою, когда должен был прекратить работы у Дороговых.

«Как поздно пробил мой час,— думал Егор Иванович, глядя на лицо девушки.— Чем я отплачу тебе за твою любовь и за то терпенье, которое тебе нужно теперь? Настрадалась ты, бедная, за то, что хотела жить со мной; но что я тебе дам в жизни? Все, что ты хочешь. Все мое сделается твоим, и недолго же нам осталось мыкать горе: запремся в наши комнаты, состроим жизнь по-своему, никого не спрашиваясь, и прежде всего будем жить для себя, для двоих только, и любить друг друга. У людей ничего не выпросишь, не дождешься от них радости, и не надо — без их помощи проживем».

Глаза портрета прямо смотрели ему в лицо. Он встал и отошел в сторону — смотрят глаза, спрашивают. Долго и пристально вглядывался Молотов в портрет Нади. Он выяснился перед ним и вырезался; отделялись лицо, руки, грудь. От усиленного внимания образ Нади встал перед ним в воздухе, как живое существо. Не мог он угадать, о чем эти живые, печальные взоры невесты хотели спросить его. Он опять сел и мысленно беседовал с Надей. До сих пор Егор Иванович не мог назвать ни одну женщину ангелом и стать перед ней на колени, а теперь сами собою являлись ласковые имена, которые часто для постороннего лица кажутся так изысканны и сентиментальны. Не будем повторять их.

Егору Ивановичу не хотелось, чтобы теперь зашел к нему Череванин, который, несмотря на свою готовность помогать, не в силах был воздержаться от красного словца, которым охотно поддразнивал своего приятеля, так что стал ему в тягость и часто доводил до страшного расположения духа... Молотов давно уже сделался ровным и спокойным мужчиной, научился сдерживать себя, стал глубже и сосредоточеннее; антипатии прежних лет перешли в полное равнодушие и теперь не составляли для него вопроса. Но в настоящее время он был оскорблен, люди хотели уничтожить его счастье, для которого он много лет работал, запрещали ему любить, обижали его Надю, и внутри его все кипело и волновалось, как в былые годы, а Череванин своими бесцеремонными речами хватал за больные места. Он мог выйти из себя и вот почему не желал посещения художника. Не привык он так бездейтельно, пассивно участвовать в жизни; а между тем ему приходилось сидеть

сложив руки, потому что пришлось столкнуться с каким-то особым, замкнутым, наглухо застегнутым в чиновный мундир обществом. В те минуты, когда он представлял себе, что Надя одна-одинешенька страдает, а он не может пальцем шевельнуть для ее помощи, ему становилось совестно, он горел от стыда и, кажется, способен был решиться на что угодно; но во что бы то ни стало приходилось ждать, а это было не совсем в его натуре. Теперь мы застали Егора Иваныча довольно спокойным. Его волновали надежды и гордые мысли.

— И я теперь буду не один на свете,— говорил он себе,— и я нашел свою родню, совою себе гнездо. Недаром я копил эти цветы, картины, книги, фарфор и серебро. Она будет здесь жить; тут мы будем сидеть, читать и беседовать. Все, к чему я стремился, скоро может осуществиться в моей жизни. Теперь в сторону все эти необъяснимые вопросы; я знаю, зачем буду жить на свете... я просто любить и жить хочу. Стоит лишь припомнить пройденную дорогу — сколько забот, труда, часто унижительных положений пришлось вынести для того, чтобы сказать наконец: «Я сам, один, без всякой посторонней помощи сумел прожить и выбиться из бедности. Кому я обязан своим комфортом и довольством? откуда у меня деньги, вазы, картины, серебро и фарфор? Мне никто и ничего даром не давал; судьба меня бросила нищим и голодным, провела чрез страшную школу бедности, и вот я стал копить деньги, я люблю их, потому что люблю независимость, я сам себя должен прокормить... никто воды даром не даст напиться без того, чтобы не согнуть спины... Ненавижу я хлеб чужой, и никогда я не пожирал ничего чужого... Все, что есть у меня, заработано своими руками... Все свое. И устрою же я себе жизнь как хочу, и никто не посмеет от меня потребовать отчета, зачем я живу на свете... Не будет по-вашему — Надя придет сюда, и ей одной буду благодарен за свое счастье, весь отдамся ей, потому что люблю ее...»

Он взглянул на портрет и прошептал:

— Добрая моя, ты единственный человек, которому я дорог и близок!.. Спасибо тебе... Никогда я тебя не разлюблю, потому что давно ты мне родная... О, как я буду работать для тебя!..

Он смотрел на Надю. В увлечении ему показалось, что портрет ресницы поднял; он наклонился и поцело-

вал его. После поцелуя ему страстно захотелось увидеть Надю, взять ее у отца и матери и увести из дому; разгоралось и кипело сердце, и невыносимо досадно было, что все пути заказаны к любимой женщине. Он встал в волнении и спрашивал себя: да кто же запретит любить им друг друга?

Раздался звонок...

— Череванин идет! — проговорил с досадой Молотов и отошел к камину.

— Жив ли, душа моя? — сказал художник, входя к нему. — Она!.. да ты как бык здоров, а влюблен!.. Страдать, братец, следует!.. Надя не теряет же времени — делает свое дело... Я с кухаркой сошелся, — за рубль какого хочешь амура продает...

— Что там? — спросил стремительно Молотов...

Череванин рассказал, что успел узнать...

— Скоро, значит, конец, — прибавил он, — потому что крупные сцены начинаются... Мы можем следить за ходом дела по мелочной лавочке, в прачешных и по всем кухням, потому что везде толкуют о том, что управляющий снюхался с дороговской дочкой. Словом, приличный романчик выходит.

— Ты всегда, Михаил Михайлыч, говоришь, пошлости.

— Ну, вот это дело: выбраться можешь, при сильной страсти хорошая мера. Когда я был несчастливо влюблен, мне однажды попала под руку кошка, я ей хвост надорвал, и что же? — легче стало...

— Перестань, Михаил Михайлыч, и так тошно.

— Ничего, пройдет...

— Наконец, это бессовестно с моей стороны ничего не делать, тогда как она измучилась и настрадалась...

— И все-таки тебе шевельнуться нельзя...

Молотов сложил руки и остановился перед художником...

— Вот у Кукольниковка в повестях, так там все какое-нибудь высокое лицо соединяет любящие сердца; но ныне таких штук не бывает... А то спасают иногда даму сердца во время пожара, нашествия иноплемеников или наводнения, — тогда она, как приз, принадлежит избавителю; и еще есть средства: крадут девиц, свертывают шею их соперникам или продают свою душу черту, это очень практический господин; но, к сожалению, все эти меры не в правах гражданского чиновника... Ты что

за птица? какой у тебя чин? Сиди-ко себе да кисни...
Время само придет.

Молотов вышел из себя...

— О, проклятое положение! — сказал он, стиснув зубы.

Прошелся он по комнате...

— Нет, надо наконец решиться...

— Подождать, — подсказал Череванин...

Молотов взглянул на него сердито...

— Ты, кажется, находишь удовольствие бесить меня...

— Экой ты какой ядовитый!

Молотов окончательно вышел из себя... Он схватил шляпу и отправился к двери...

— Эй, куда ты утекаешь?

— Отстань ты от меня!

С этими словами Егор Иваныч скрылся...

— Свежим воздухом подышать захотел? Что ж, это хорошо... Помогает... А сделал бы моцион верст в пятьдесят, как рукой сняло бы... Постой же, я на тебя карикатуру напишу...

Череванин достал карандаш и бумагу. На первом плане, сверху, с распростертыми руками, красовался генерал-жених и протягивал для поцелуя губы. Подписано: «Сиволапый медведь по поднебесью летал, поросяточек щипал». Потом изобразил Дорогова, в поджаром виде с подписью: «Говори, чего хочешь, пирога или хлеба?» и ответ Дорогова: «Мне все одно, давай хоть пирога». Под супругой Дорогова стоял текст: «Тптпрунды, баба! тптпрунды, дед! хватились, хлеба нет; стала баба леда мять, деду где же хлеба взять?», Молотов с сонными глазами и разинутым ртом; Надя плачущая; под ними: «Терпения имате потребу». Дальше сам Череванин шел под руку с дамой; внизу написано: «Моя любовь отвечает: «Ах, Михаил Михайлыч, никак нельзя...» Серию карикатур заключал Касимов-отец, со словами к изображенным лицам: «Милостивые государи, кто от любви чахнет, а мы от геморроя!» Карандаш его разыгрался, и он, увлекшись карикатурами, тешился по крайней мере часа три...

Между тем Михаил Михайлыч и не подозревал, что Молотов на скандал решился. Он отправился к Подтяжину с намерением просить его отказаться от Надежды Пнатьевны, а если не согласится добровольно, то напугать его и принудить насильно. У него начали рож-

даться довольно оригинальные логические построения.

«Чего тут ждать? — думал он, торопясь к Подтяжину. — Надо действовать... Как?.. А как они действуют... Что за благодущие, что за щепетильная разборчивость в средствах?.. Против насилия нечего церемониться и бояться поднять палку... Все средства, употребляемые врагом, позволительны и против него... Это не иезуитство, а обыкновенное житейское дело, естественная защита... Что ж я предприму?.. А что бог на душу положит!.. Объясню, в чем дело, и сначала буду просить отказаться от Нади; если же он не согласится, я не задумаюсь схватить его за горло и насильно вырвать отказ. Чем это не принцип: не желай другому, чего себе не желаешь, и значит, если ты делаешь гадость, то и тебе, несколько не стесняясь, могут нагадить? Тут не цель оправдывает средства, а только люди борются равным орудием; это вполне законное и необходимое дело, иначе всегда и ото всех будешь обижен! Тяжело наконец стало! Чего еще ждать? Того, что ли, когда у Нади, измучивши ее, вырвут согласие и обвенчают с нелюбимым человеком?»

С этими мыслями он входил к Подтяжину. Когда Молотова приняли и он отрекомендовался генералу, генерал спросил:

— По службе?

— Нет, по личному делу.

— А, так прошу садиться.

Молотов сел...

— Что скажете? — спросил Подтяжин.

Молотов приступил к делу прямо, без обиняков:

— Вы желаете жениться, ваше превосходительство?

— А вам что за дело?

— Ваша невеста Надежда Игнатьевна Дорогова?

— Что за вопрос, я не понимаю?

— Ваша невеста любит другого...

— Что?

— Она не хочет быть вашей женою...

— Вы нелепости говорите — у меня есть письмо от ее отца.

— Но дочь не согласна, ее принудили...

— Принудили? Откуда же вы это узнали? Где доказательства?

Генерал нахмурил брови. По телу Молотова пробежала от досады нервная дрожь.

— Я знаю того человека, которого она любит...

— Кто ж это?

— Я сам,— ответил резко Молотов...

— Вы не кричите и не горячитесь, а говорите толком...

— Она моя невеста,— ответил Егор Иваныч.

— Кто ж после этого моя невеста?

— А я почему знаю?

— Но у меня есть письмо ее отца...

— Я вам и говорю, что отец принуждает ее идти за вас насильно. Разве вы желаете, чтобы ваша будущая жена любила кого-нибудь другого, а вас ненавидела?

— Нет, не желаю; но расскажите же наконец, что там такое случилось?

Молотов начал рассказ, причем, разумеется, не пожалел красок, когда излагал семейные дела Дороговых, особенно, когда касался Нади, и заключил рассказ свой обличительным словом против безнравственности выдавать замуж дочерей насильно...

Подтяжин слушал Егора Иваныча внимательно, «и на челе его высоком не отразилось ничего».

— Зачем вы горячитесь, милостивый государь,— отвечал он спокойно,— мне все равно, на ком ни жениться; но, очевидно, я не расположен вступать в брак с женщиной, которая способна влюбляться...

Молотов повеселел.

— Я человек пожилой, степенный, и у меня их было две на примете, и если эта не хочет, бог с ней,— найдется другая...

— Так вы откажетесь? — вскрикнул с радостью Молотов.

— Знаете дочь Касимова? — спросил генерал, не отвечая на слова Егора Иваныча...

— Знаю.

— Какова она?

— Прекрасная девица.

— Сколько ей лет?

— Двадцать три года...

— Умеет держать себя в обществе?

— Да.

— Хорошая хозяйка?

— Почти весь дом на ее руках...

— К страсти не способна?

— О нет.

— И ко всему этому недурна?

— Почти красавица...

— Чего же лучше! Вот я на ней и женюсь; мне решительно все равно. Значит, вы напрасно выходили из себя.

Молотов радовался такому обороту дела и с любопытством рассматривал лицо Подтяжина. Оно было важно, степенно, во всеоружии генеральского чина, и показывало, что этот форменный человек никогда не позволит себе вступить в законный брак с женщиной, которая не только полюбит другого, помимо его, но и с такой, которая полюбила бы его самого, генерала Подтяжина. Он никому не позволит влюбиться в себя, да и сама природа поддержит его в этом случае. Подтяжин, с своей стороны, обязуется отпускать жене ежедневно определенную цифру поцелуев, давать ей жалованье и, наконец, согласен иметь детей, а жена обязана представить в своей персоне те особые приметы, которые он выставил Молотову в допросных пунктах по поводу Касимовой. Молотов благословил судьбу, что генерал имеет такой абсолютно архивный темперамент, что у него такой огромный запас сухости в сердце, что зачаделый лик его боится страстных поцелуев. «Как это хорошо!» — думал Егор Иваныч и радовался.

— Но,— сказал Подтяжин,— пока не объяснится дело, я не могу дать вам положительного ответа...

— Так поезжайте, ваше превосходительство, теперь же и спросите Надежду Игнатьевну лично,— вы и уверитесь, что я говорю правду.

— Это так, но у меня такая пропасть занятий. Однако делать нечего, надо потерять часа полтора времени... Мне все одно, на ком жениться, но дело требует обследования... Поедьте...

— Не замолвите ли, ваше превосходительство, в мою пользу слова?

— Кому?

— Дорогову.

— Я подумаю.

И вот Подтяжин поехал с Молотовым сказать Игнату Васильичу, что если Надя не хочет быть его женою, то он не сердится, ему все равно, только надо было раньше дать знать о том, потому что он человек занятой и у него мало времени. Из множества сплетней, глупостей и пошлостей образовались было серьезные препятствия для любви Молотова, и вот то же лицо, ко

торое было причиною всех несчастий, развязывало все дело. Кто бы мог подумать, что оно примет такой исход? Сколько пережито напрасных страданий и нелепой вражды, сколько обид нанесли друг другу самые близкие люди, как долго они будут помнить зло и горе! — и вот вдруг оказывается, что жених-генерал, причина всех несчастий, равнодушно и без спору уступает свое место другому и, пожалуй, готов превратиться в посаженого отца Молотова. Лишь только он явился в семье Нади, жизнь ее потемнела, все около ее стало разрушаться и стягиваться в заколдованный круг, готовый задавить ее совсем... А он все стоит в стороне, ему и дела нет; настрадались и отец, и мать, и вся родня; дошло до страшного удушья, до последнего часа жизни, и тогда лишь он является и говорит: «Да мне все равно, я женюсь и на другой».

Нелепые страдания, ненужная возня!..

Молотов передумал все это, стоя на лестнице, которая вела в квартиру Дороговых, и дожидаясь, скоро ли выйдет Подтяжин, чтобы узнать, чем кончилось дело. Он сказал генералу, что будет его ждать. Но вот он вдруг услышал, что кричат сверху его имя. Он стремительно бросился по лестнице и через мгновение был у Дороговых... Он стоит среди старых знакомых, с которыми он жил душа в душу несколько лет и которые, когда столкнулись интересы, едва не прокляли его... Всем было неловко. Надя радовалась, хотелось ей увести его в свою комнату и наговориться досыта; Игнат Васильич не знал, что делать, и молчал; наконец Анна Андреевна нашлась и для такого торжественного случая заговорила о погоде... Генерал раскланивался с хозяевами, помышляя о том, как бы завтра повидаться с Касимовыми, не доверяя более своей судьбы чиновнику особых поручений.

Вечер тянулся вяло. Молотов не успел переговорить с Надей. Когда он уходил, Надя шепнула ему:

— Приходи завтра.

Он и сам думал о том же. Череванина он не застал дома. Егор Иванович нашел на столе карикатуры его и, так как был счастлив, то долго смеялся...

— Завтра наша свадьба, — говорил Молотов Наде спустя месяц после примирения, сидя с нею в маленькой ее комнате.

Надя скоро поправилась после тучи, пронесшейся над ее головой, похорошела, лицо ее цвело счастьем и радостью. Она ничего не ответила Молотову, хотя глубоко взволновалось ее сердце от слов Молотова. Она только взглянула на него, покраснела, застенчиво улыбнулась и хотела, чтобы Молотов сам догадался в эту минуту поцеловать ее.

Молотов поцеловал ее.

— Надя,— сказал он.

— Что?

— Я все думаю, сумею ли сделать тебя счастливою.

Она посмотрела на него с удивлением и спросила:

— Отчего ты так думаешь?

— Оттого, что я сам только от тебя и научился счастьем...

— От меня? твоей ученицы?

— Да... Ты не знаешь, до чего я доживал в своей холостой квартире...

— Что ж я с тобой сделала?

— Жизнь мою осветила.

Надя глядела на него внимательно. Она вспомнила, чем был для нее Молотов, вспомнила рассказы о нем Череванина и, наконец, свое давнишнее желание разгадать личность Егора Иваныча. Теперь она думала, что Молотов выскажется и накануне свадьбы отдастся ей весь откровенно.

Молотову действительно хотелось рассказать Наде, чтобы она знала, кого завтра назовет своим мужем...

— Знаешь ли ты, Надя, что я до сих пор человек без призвания?

— Как же это?

— Да так же, как и тысячи людей. Помнишь, я говорил тебе, как не хотелось идти в чиновники, и, однако, я должен был надеть мундир?

— Помню.

— Мне захотелось отделаться от службы не по призванию и всю жизнь не мог от нее отделаться. Нам говорили, что отечество нуждается в образованных людях, но посмотрите, что случилось: весь цвет юношества, все, что только есть свежего, прогрессивного, образованного — все это поглощено присутственными местами, и когда эта бездна наполнится? Редкий человек выберет карьеру по призванию; редкий образованный человек не убежден, что он родился чиновником. Действует какой-то бюрократический фатум, и всё у нас юристы!.. Лишь

только кто-нибудь выдирается из своей среды, и думает, как бы сделаться человеком; выходят ли люди из деревни, бурсы, залавка или верстака,— куда они идут? Всё в чиновники! Помещик прожил в деревне и ищет места, это значит — чиновного места; военный выйдет в отставку и хочет нести другую службу, это значит — чиновную службу. Но особенно надо удивляться мелким чиновникам. Никто не работает так усердно, как эти несчастные переписчики чужих дел. В надежде, что авось-либо дадут наградишку, прибавку жалованья, пособие, они трудятся не покладывая рук. Сотни тысяч живут единственно перепискою бумаг, так что для них достать частное занятие — значит достать переписку. Какое странное призвание — родится единственно затем, чтобы перебелить в жизнь свою до миллиона черняков и потом сойти со сцены! Иной лишь проснется, у него дома наемная работа, потом в должности пишет, придет домой и опять работает пером до истощения сил, до одурения. Представьте себе, что человек всю жизнь только и делает, что, захватив памятью строку, написанную чужой рукой, переносит ее на бумагу; целую жизнь держит в своей голове чужие, не интересующие его, не нужные ему мысли, и представьте, что за все это он едва-едва существует... Чиновники — самый испитой народ. А между тем надо сознаться, что большинство образованных людей находится именно в этом сословии. Чиновничество — какой-то огромный резервуар, поглощающий силы народные. Вот и я, мужик по происхождению, по карьеру все-таки чиновник...

— Как же это случилось?

— Со мной и все случалось. Я не выбирал себе того или другого положения, а оно само приходило, помимо моего выбора и воли. Случилось, что я попал к профессору на воспитание, потом в Обросимовку, потом на губернскую службу, потом скитался по России, перебрал множество занятий и наконец попал в архивариусы,— все случилось. Выделился я из народа и потерялся. Natura звала на какое-то другое дело, во мне было полное желание определить себя, отыскать свою дорогу, самостоятельно выбрать род жизни, и ничего не мог я сделать,— судьба насильно надела на меня мундир чиновника и осудила на архивную карьеру.

— Что же за причина тому?

— Великая причина, страшная сила!

— Какая?

— Нужда, «безживотие злое», как выражается Михаил Михайлыч.

Молотов, собираясь с силами, провел рукой по лбу.

— Было время, не жалел я себя, способен был на всевозможные жертвы. Прослужив полтора года в губернии, я очень хорошо понял, что чиновничество — не мое призвание. Когда снял мундир, то думал: «Не пойду же я в чиновники, буду заниматься частными делами, не увидят меня более в мундире никогда». Вот и пошел парень гулять по свету, догулялся до довольно узкого существования. Я поехал в Петербург, думая заработать здесь копейку. Петербург мне родной город и потому сманил меня к себе. Но с этого-то времени судьба и начала меня преследовать; она не давала мне отдыха и молодые лета растратила на добыванье насущного хлеба. На пути в столицу, «домой», как я говорил тогда, хотя у меня не было в Петербурге ни роду, ни племени,— пьяный ямщик сделал мне карьеру. Он ударил телегу в пень, я вылетел на землю и сломал себе ногу. Еле протасился я две версты, весь разбитый, до уездного городишка, где и слег на наемной квартире, у дьячихи. Тяжелое это было время, грустное, бесприютное и холодное, как русская зима... проклятое время! Лежал я с затянутыми в лубки ногами; пошел бы дальше, да нельзя, и безотрадно пересчитывал, как рубль за рублем уходили на лечение из двух запасных сотен. Вот когда я в первый раз понял, что значит в жизни монета! Пять месяцев я пролежал в болезни, и когда выздоровел, то в кармане всего оставалось двадцать восемь рублей, а до столицы шестьсот верст. Ну, надо подниматься и собираться в дорогу, как вечный жид, без цели, без назначения. «Что же я за миф?» — думалось мне. Горько стало на душе. Простился я с дьячихой, расспросил путь и направился на ближайший губернский город пешком, сберегая каждый грош. Но через месяц у меня не было ни копейки; и продал часы и пошел дальше по направлению к Петербургу. Наконец скоро осталось нечего продавать и пришлось остановиться на постоялом дворе, и стал я спрашивать, не нуждается ли какой помещик в учителе для детей. Никому не надо было. Дошло до последней беды платить нечем было дворнику. Что было делать? Чужой хлеб есть? протянуть руку Христа ради, воровать? Я здоров был и силен, и нисколько мне не стыдно

вспомнить, что я на постоялом дворе колот дрова, рубил капусту и нянчил ребят хозяйских, за что меня и кормили. Может быть, в этом и было мое призвание! В это время напала на меня апатия, и я ничего не делал, справляя день за днем черную работу,— а сработать я мог больше всякого мужика, потому что здоров и силен, как медведь... Два месяца я прожил чисто народной жизнью и узнал, что это совсем не идиллия,— тяжела она... Но, право, когда я разговаривался с ними, то встречал много добрых душ, которых никогда не забуду... Здесь я прожил около двух месяцев. Наконец выпало местечко. Надо было одному помещику приготовить сына в гимназию. На это ушло еще семь месяцев... Сам же я и отвез своего ученика в столицу, где и поместился он у своего родственника; а я, употребив около четырнадцати месяцев на переселение в Петербург, долго не встречал не только родного, но и знакомого человека. Заняв квартиру за четыре рубля, я стал выглядывать, где бы зашнбить копейку. Один университетский товарищ нашел мне вакансию у генеральши Чесноковой — опять учить детей. Дети были очень понятливы и полюбили меня; но генеральша, женщина полная, рослая, с лошадиной комплексией, хотела вызвать меня на такие отношения к ней, и жалованье даже предлагала за новую работу, что я только плюнул на порог ее дома и больше не являлся к ней. После этого быстро сменялись одно за другим занятия. Я попал в купеческую контору, жалованье хорошее положили; но здесь все клонилось к злостному банкротству. Я счел долгом предупредить о том кредиторов. Коммерческие люди так озлились, что наняли двух приказчиков поколотить меня... Если бы поколотили меня, я от тебя этого не скрыл бы, но они струсили... После этого я нашел место бухгалтера при одном акционерном обществе, меня и оттуда скоро выгнали. После этого добыл корректурные занятия при журнале; но скоро редактора какой-то князь, меценат литературный, просил дать занятия одному бедному студенту, и меня сместили. Снова нашел учительское место,— так денег не платили. И ты думаешь, что это меня только судьба преследовала, а другие счастливые на занятия и вольную работу? Нет, милая моя, это общее положение всех чернорабочих. У нас частная работа менее развита, чем общественная. Вольный труд неразвит и унижен. Наконец, и откуп, открывающий

объятия для многих наших образованных юношей, ласково приглашал к себе нуждающегося человека, но туда я и сам не пошел. Попытался я переводами заняться, ничего не вышло; написал три фельетона и получил по восьми рублей за каждый,— значит, я был и литератором. Какие только должности не проходил я, бился как рыба об лед, а воровать не хотелось, хотя, испытавши, что значит честный труд, смотрел на людей снисходительно. И вышел из меня человек, порождение нашего времени, пролетарий, добывающий насущный хлеб всевозможным трудом, долго собирающий собственность и в один незаработный год пожирающий ее.

— Боже мой, как тяжело жить на свете! — проговорила Надя.

— Да, голубушка моя...

— Много же тебя оскорбляли...

— Ничего, отерпелся... Смешно вспомнить, как в самой юной молодости выходил из себя за то, что одному помещику вздумалось выбрать меня за глаза, а теперь хоть в глаза брани меня — так мне все равно, даже лень и сердиться... Мне-то что за дело, что обо мне говорят другие? Я сам себя знаю! Я прежде не понимал самой простой вещи: господа, презирающие нас, просто-напросто несчастные, бедны умом, невоспитанны. Мне их жалко теперь. Стала появляться в моем характере какая-то одеревенелость, вследствие которой меня ничем не проймешь: сплетня, дурное мнение лица или кружка, сословное презрение на меня не действуют. О чем тут хлопотать и шуметь?.. Пусть их!.. Они считают себя благодетелями, давальцами, меценатами?.. Что же я-то стану делать, когда у них голова скверно и уродливо устроена? Не сердиться же, в самом деле, когда, например, лает собака; из сотни собак разве одна не бросается на незнакомого, на не своего, и таких собак не любят хозяева. Но мало ли есть неприятностей на свете? Дождь идет, клопы кусают, душно в воздухе, прыщи на лице — и из-за этого волноваться? Я настолько независим ото всех, что могу считать людей, презирающих меня, ничтожными. Что ни думай они обо мне — мне все равно. Моя квартира для них заперта, как и их для меня,— значит, мы квиты. Я их не пушу к себе, живу без них, и, право, оттого мне не хуже. Презрение их ничтожно и низко. Но не сразу же я дошел до такого благодетельного равнодушия; постепенно и медленно

утихала сокрытая ненависть, пропадали насмешки и дерзости; самое презрение к ним пропало, и наступило полное равнодушие, так что обиды не шевелят и сердца моего. Жизнь, Наденька, вытекает не из принципа, а из природы, не из теории, а из причины. Поэтому у меня и должно было родиться особенное, оригинальное понятие о чести. Я глух к чужому отзыву о своей личности, — он даже не раздражает меня несколько: «Это ваше мнение, говорю я, а не мое, — я не так думаю»; а больше мне ничего и не надо. Когда сыплются на человека в продолжение многих лет несправедливые оскорбления, он становится к ним бесчувствен и равнодушен. У нас свой гонор, особенный; например, иного труса вызовут на дуэль, и он долгом считает принять его, не откажется ни за что, а я откажусь, хоть не трус вовсе; скажут, что это бесчестно, я не обращаю на то никакого внимания; пристанут сильно, сташу в полицию — вот и все. Иному господину стыдно сказать, что у него есть невеликосветские друзья и знакомые, а я ведь мужик и, знаешь ли, нахожу особое удовольствие, когда у княгини Зеленищевой, детям которой даю уроки, выпадает при гостях ее случай вставить такое словцо: «Вот когда я однажды рубил капусту на постоялом дворе», либо что-нибудь вроде этого. Михаил Михайлыч тоже любит потешиться в этом роде. Рисуя портрет какого-нибудь аристократа, он вдруг в его салоне расскажет, как он Христа славил, читал по покойникам и собирал в радуницу на могилах блины. Презанимательно выходит!

Перед Надей раскрывалась действительная жизнь, раскрывался характер Егора Иваныча, и она с пожирающим вниманием слушала его рассказ.

— Да, трудно зарабатывать в нашем обществе хлеб своими руками. Лишь откроется место учителя, корреспондента, управляющего домом, секретаря и т. п. — сейчас являются сотни претендентов. Мне казалось, да и теперь часто думается, что в самом честном-то труде много нечестного. Отчего мне работу, а не другим? Ведь и они есть хотят? сделают то же, что и я? Права одинаковы на работу. Почему же мне ее дали? Потому что счастье, ловкость, случай? Работать всякий станет, будьте уверены: как ни трудиться, когда желудок кричит: «Работы, работы!» Но и самую работу надо завоевать, как дикарь завоевывает у дикаря скот и пожитки. Мы постоянно поедаем друг друга. И неловко, моя Надень-

ка, было принимать участие в борьбе из-за куска хлеба, из-за пожитков. Но что ж делать? Они есть хотят, и я хочу; они имеют право на работу, и я тоже; они делают хорошо дело, и я хорошо; я неправ, что отбиваю работу у них, и они неправы, что отбивают ее от меня. Много ли людей, которые работают не потому только, что есть хотят? Чего фальшивить и становиться на ходули? Деньги всем нужны. Были когда-то побуждения иные, высшие, а теперь приобретать хочется, копить, запастись и потреблять. Не поэтично, но честно и сытно. Честная чичиковщина настала, и вот сознаю, что я тоже приобретатель. И сегодня, и завтра, и целые годы надо прожить, и прожить так, чтобы в лицо не наплевали,— значит, надо работать без призвания к работе. «Злато — металл презренный»,— кто это сказал такую чепуху? Деньги, монета — учреждение государственное; за деньги можно хлеба купить, современных идей, потому что они не на улице валяются, а продаются в книгах, можно купить свечу и поставить ее какому-нибудь угоднику. «Все куплю, сказало злато; все возьму, сказал булат» — это армейский софизм, потому что и сам-то булат куплен на деньги. О, если бы побольше злата, а булатов поменьше!

— Как же ты опять поступил чиновником? — спросила Надя.

— Отведав вольного труда, я нашел, что департамент вернее обеспечивает человека. Неутешительно, а справедливо. Но на этот раз я пошел в департамент без всякой мечты о деятельности общественной, а просто на казенную пищу, на государственные харчи. Не любовь к труду, приносящему деньги, а именно любовь к деньгам руководила мною. Я освоился со службой, втянулся, но, по совести сказать, не люблю ее. Отношения к службе у меня те же, какие у много школьника к уроку. Урок лежит в голове — вот падежи, плюсы, тексты, хронологическая цифра, французский глагол,— а школьник что за дело до всего этого? Урок сам по себе, школьник сам по себе. Лишь пришел я из департамента домой, мне и дела нет до него. Так ломовая лошадь тянет воз, а какая ей забота до него? Плеть повисла над спиной. И надо мной нужда нависла плетью. Я маленький механизм в огромной машине служебной. Механик заведет машину — и все механизмы, винтики, пружины, кольца и цепочки служебные приходят в движение; оста-

новит машину — и мы остановимся. Главный болт работает, а мы уже вертимся за ним. Денег не дадут — заниматься не стану; дело остановится на половине — мне не жалко; уничтожьте мои труды — я не буду горевать. Отерпелся я и занимаюсь чем угодно, не чувствуя особенного влечения к предмету труда; но не скучаю занятиями, люблю самый процесс работы, потому что моя натура требует неперменного движения. Я мелочный торговец и человек без призвания. Но, несмотря на механизм труда, мою работою всегда довольны, я точен и исполнительен. Иногда и скучно, но не обращаю на то внимания и работаю...

— Что же заставляет тебя быть чернорабочим?

— Ты думаешь, неужели одна любовь к деньгам и процессу труда? Неужели ты не понимаешь, что значит чувство собственности? Оно может развиваться до щекотливости, чтобы быть независимым, никогда не просить, никого не благодарить за кусок хлеба. Я горд, Надя, и не хочу, чтобы кто-нибудь служил для меня; а и захотел бы, так никто служить не станет. Положение вытекает прямо из обстоятельств. Я тебе говорил, что жизнь происходит из природы, а не принципа, из причины, а не теории. Но не сразу я добился и такого положения в обществе. Много было потрачено сил душевных, терпенья и выжиданья, прежде нежели я освоился, огляделся, приобрел ловкость, такт и изворотливость, приобрел связи и рекомендацию и наконец обстановился. Я теперь вполне обеспечен, потому что, при даровой квартире и дровах за управление домом, могу проживать ежегодно до полуторы тысячи рублей, сыт всегда достаточно, одет прилично, помещен в тепле. Я люблю свою квартиру... Ты увидишь в ней, Надя, что-то семейное, домовитость, порядок и уют. На стенах картины и канделябры, на окнах пальма, золотое дерево, фига, лимон, кактус и плющ, на столах вазы, на полу ковер, перед камином дорогой резьбы ореховое кресло. Я много положил забот, чтобы устроить свой кабинет изяшно. В нем мы будем проводить время, читать, работать. Много ты у меня найдешь серебра, фарфора, мрамору и дорогих бобров. Я постоянно приобретал себе вещи, и каждая из них куплена обдуманно, с размышлением, по личному вкусу; вещь прочная и изящная. Я долго собирал книги, собирая их понемногу, и составила библиотека всех моих любимых авторов. У меня есть отличный микроскоп,

зрительные трубы и другие физические инструменты. Положенное число раз я бываю в русском театре и на итальянской опере; абонируюсь в библиотеке и читаю все лучшее. Я понемногу свивал свое холостое гнездо и десять лет копил усидчиво собственность. В шкатулке собственной работы у меня заперто более пятнадцати тысяч. Вот таким-то образом я одел себя, обул, поместил в тепло, среди красивой обстановки, добыл себе изящную в возможных размерах жизнь, и не стоит теперь передо мной каждый день, каждый час неотразимый, мучительный, иссушающий мозги вопрос: «Хлеба, денег, тепла, отдохну!»

— И ты счастлив был? — спросила Надя пытливо.

— В минуты доброго расположения духа почти счастлив. Мне думалось тогда: достаньте вы в столице ежегодно полторы тысячи, заработайте так, чтобы в каждой копейке могли дать отчет, за что она получена. Это трудно; у меня же есть деньги и совесть! Вспоминалось мне пройденное поприще: сколько забот, трудов, часто унижительных, пришлось вытерпеть! Тогда я не мог не ощутить довольства собой, душевного спокойствия и рад был, когда в это время заходил ко мне гость. Один, заметь, Надя, без чужой помощи, единственно себе я обязан моим комфортом. Мое сребролюбие благородно, потому что я никогда и ничего не крал, ни от кого не получал наследства, у меня ничего нет подаренного, найденного, заработанного чужими руками. Все, что у меня есть в комнатах, в комодах, на плечах, в кармане, — все добыто моей головой и руками. Ни материально, ни морально я ни от кого не зависим. Меня судьба бросила нищим; я копил, потому что жить хотел, и вот добился же того, что сам себе владыка. Я, Надя, свободен и никому не дам отчета, как я живу и что думаю, кроме тебя, Надя. Часто среди этих мыслей возникал твой образ, и я долго и задумчиво сидел в кресле перед камином. В это время я был счастлив.

Молотов задумался, вспомнив былые дни.

— Но такое расположение духа не часто гостило в моей холостой квартире. Большею частью время шло ровно и спокойно; после труда и отдых, и обед, и пустой разговор — все имело свою прелесть. Я испытывал то физическое наслаждение, которое так хорошо знает чернорабочий, отдыхая после труда. Но душа спала, и когда просыпалась, я ощущал страшную скуку и тоску «Экое дело, — думалось мне, — что я честен, не пью вол

ки и в квартире у меня хорошо!.. Что в том толку?.. И не глуп я, и силен, и работать люблю, но куда пошли мои силы?.. На брюхо свое, на добывание насущного хлеба!.. Благонравная чныковщина!.. скучно!.. благочестивое приобретение, домостроительство, стяжание и хозяйственные скопы!..» Холодно становилось мне в своей квартире и пусто, и нередко я испытывал то состояние, когда и страх, и точно мучения совести, и отвратительная тоска теснились в мою душу... «Черт бы побрал, — думал я, — мое мещанское счастье, как говорил Михаил Михайлыч, и мою искусственную независимость в одиночку, без товарищества и любви». Иногда так тяжело становилось, что я готов был схватить и брякнуть об пол вазы, порвать картины, разметать цветы и статуи. Противно было думать, что из-за них-то я и бился всю жизнь... Вещами наслаждаться, книгами, театрами, а с людьми не жить! Когда-то жизнь мне казалась так широка, беспредельна. Я, Надя, родился космополитом, не был связан ни с какою почвою, не был человеком сословия, кружка, семьи. Казалось, так легко было вступить в свет. Но я был выходцем из своего сословия и потому, как все выходцы, не понимал, что многого требовать нельзя, что необходима умеренность, тихий глас и кроткое отношение к существующим интересам общества. Мы ломать любим, либо делаемся отъявленными подлецами, либо благодушествуем, как я благодуствую. С тупым изумлением смотрим мы на людей, потому что они не похожи на нас. Положение слепое — торчать от всех особняком; пальцами начнут указывать, на смех поднимут, возненавидят. Поневоле пришлось съежиться, обособиться, притвориться, что и ты такой же человек, как все, а дома устроить себе и моральную и материальную жизнь по-своему, завести своих пенатов, своих поэтов, общество и друзей. Что же делать, не всем быть героями, знаменитостями, спасителями отечества: Пусть какой-нибудь гений напишет поэму, нарисует картину, издаст закон, — а мы, люди толпы, придем и посмотрим на все это. Не угодит нам гений, мы не будем насильно восхищаться, потому что толпа имеет полное право не понимать гения... Иначе простым людям жить нельзя на свете... Правду ли я говорю, Надя?

Надя посмотрела на него и ничего не отвечала...

— Неужели запрещено устроить простое, мещанское счастье...

Надя ожидала, что он еще скажет.

— Надя, миллионы живут с единственным призванием — честно наслаждаться жизнью... Мы простые люди, люди толпы...

Молотов подошел к ней.

— Ты согласна на это?

— Я... твоя ведь...— ответила Надя.

Молотов обнял ее...

.

.

В это время темное кладбищенство глянуло в двери.

.

.

Но Михаил Михайлыч, заметив, что Молотов и Надя обнимаются, поспешил уйти...

Тут и конец мещанскому счастью. Эх, господа, что-то скучно...

ОЧЕРКИ БУРСЫ

Посвящается
Н. А. Благовещенскому

ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В БУРСЕ

Очерк первый

Класс кончился. Дети играют. Огромная комната, вмещающая в себе второ-уездный класс училища, носит характер казенщины, выражающей полное отсутствие домовитости и приюта. Стены с промерзшими насквозь углами грязны — в черно-бурых полосах и пятнах, в плесени и ржавчине; потолок подперт деревянными столбами, потому что он давно погнулся и без подпорок грозил падением; пол в зимнее время посыпался песком либо опилками: иначе на нем была бы постоянная грязь и слякоть от снегу, приносимого учениками на сапогах с улицы. От задней стены идут парты (учебные столы); у передней стены, между окнами, стол и стул для учителя; вправо от него — черная учебная доска; влево, в углу у дверей, на табурете — ведро воды для жаждущих; в противоположном углу — печка; между печкой и дверями вешалка, на спицах которой висит целый ряд тряпичный: шинели, шубы, халаты, накидки разного рода, все перешитое из матерних капотов и отцовских подрясников, — нагольное, крытое сукном, шерстяное и тиковое; на всем этом виднеются клочья ваты и дыры, и много в том месте злачнем и прохладнем паразитов, поедающих тело плохо кормленного бурсака. В пять окон с пузырчатыми и зеленоватыми стеклами пробивается мало свету. Вонь и копоть в классе; воздух мозглый, какой-то прогорклый, сырой и холодный.

Мы берем училище в то время, когда кончался период насильственного образования и начинал действовать закон великовозрастия. Были года — давно они прошли — когда не только малолетних, но и бородатых детей по приказанию начальства насильно гнали из де-

ревень, часто с дьяческих и пономарских мест, для научения их в бурсе письму, чтению, счету и церковному уставу. Некоторые были обручены своим невестам и сладостно мечтали о медовом месяце, как нагрянула гроза и повенчала их с Пожарским, Меморским, псалтырем и обиходом церковного пения, познакомила с *майскими* (розгами), проморила голодом и холодом. В те времена и в приходском классе большинство было взрослых, а о других классах, особенно семинарских, и говорить нечего. Достаточно пожилых долго не держали, а поучиз грамоте года *три-четыре*, отпускали *дьячить*; а ученики помоложе и поусерднее к науке лет под тридцать, часто с лишком, достигали *богословского* курса (старшего класса семинарии). Родные с плачем, воем и причитаньями отправляли своих птенцов в науку; птенцы с глубокой ненавистью и отвращением к месту образования возвращались домой. Но это было очень давно.

Время перешло. В общество мало-помалу проникло сознание — не пользы науки, а неизбежности ее. Надо было пройти хоть приходское ученье, чтобы иметь право даже на пономарское место в деревне. Отцы сами везли детей в школу, парты замещались быстро, число учеников увеличивалось и наконец доросло до того, что не помещалось в училище. Тогда изобрели знаменитый *закон великовозрастия*. Отцы не все еще оставили привычку отдавать в науку своих детей взрослыми и нередко привозили шестнадцатилетних парней. Проучившись в четырех классах училища по два года, такие делались *великовозрастными*; эту причину отмечали в *титулке* ученика (в аттестате) и отправляли *за ворота* (исключали). В училище было до пятисот учеников; из них ежегодно получали титулку человек сто и более; на смену прибывала новая масса из деревень (большинство) и городов, а через год отправлялась *за ворота* новая сотня. Получившие титулку делались послушниками, дьячками, сторожами церковными и консисторскими писцами; но наполовину шатались без определенных занятий по епархии, не зная, куда деться со своими титулками, и не раз проносилась грозная весть, что всех безместных будут верстать в солдаты. Теперь понятно, каким образом поддерживался училищный комплект, и понятно, отчего это в темном и грязном классе мы встречаем наполовину сильно взрослых.

На дворе слякоть и резкий ветер. Ученики и не думают идти на двор; с первого взгляда заметно, что их в огромном классе более ста человек. Какое разнохарактерное население класса, какая смесь одежд и лиц!.. Есть двадцатичетырехгодовалые, есть и двенадцати лет. Ученики раздробились на множество кучек; идут игры — оригинальные, как и все оригинально в бурсе; некоторые ходят в одиночку, некоторые спят, несмотря на шум, не только на полу, но и по партам, над головами товарищей. Стон стоит в классе от голосов.

Большая часть лиц, которые встретятся в нашем очерке, будут носить те клички, которыми нарекли их в товариществе, например: *Митаха, Элтаха, Тавля, Шестиухая Чабря, Хорь, Плюнь, Омега, Ерра-Кокста, Катька* и т. п., но этого не можем сделать с Семеновым: бурсаки дали ему прозвище, какого не пропустит никакая цензура,— крайне неприличное.

Семенов был мальчик хорошенький, лет шестнадцати. Сын городского священника, он держит себя прилично, одет чистенько; сразу видно, что училище не успело стереть с него окончательно следов домашней жизни. Семенов чувствует, что он *городской*, а на городских товариществе смотрело презрительно, называло бабами: они любят маменек да маменькны булочки и пряники, не умеют драться, трусят розги, народ бесильный и состоящий под покровительством начальства. Для товарищества редкий городской составлял исключение из этого правила. Странно было лицо у Семенова — никак не разгадать его: грустно и в то же время хитро; боязнь к товарищам смешана с затаенной ненавистью. Ему теперь скучно, и он, шатаясь из угла в угол, не знает, чем развлечься. Он усиливается удерживать себя вдали от товарищей, в одиночку; но все составили партии, играют в разные игры, поют песни, разговаривают; и ему захотелось разделить с кем-нибудь досуг свой. Он подошел к играющим в *камешки* и робко проговорил:

— Братцы, примите меня.

— Гусь свинье не товарищ,— отвечали ему.

— Этого не хочешь ли? — проговорил другой, подставив под самый нос его сытый свой кукиш с большим грязным ногтем на большом пальце...

— Пока по шее не попало, убирайся! — прибавил третий.

Семенов отошел уныло в сторону; но на него не произвели особенного впечатления слова товарищей. Он точно давно привык и отерпелся с грубым обращением.

— Господа, *с пылу горячих!*

— Кому, Тавля? — отозвались голоса.

— Гороблагодатскому.

Семенов вместе с другими направился к столу, около которого тоже шла игра в камешки между двумя великовозрастными, и притом Гороблагодатский был второй силач в классе, а Тавля — четвертый. Лица, окружившие игроков, приятно осклаблялись, ожидая увеселительного зрелища.

— Ну! — сказал Тавля.

Гороблагодатский положил на стол руку, растопырив на ней пальцы. Тавля разместил на руке его пять небольших камней самым неудобным образом.

— Валяй! — сказал он.

Тот вскинул кверху камни и поймал из них только три.

— За два! — подхватили окружающие.

— Пиши, брат, к родителям письма, — прибавил Тавля с своей стороны.

Гороблагодатский, ничего не отвечая, положил левую руку на стол. Тавля кинул камень в воздух, во время его полета успел с страшной силой щипнуть руку Гороблагодатского и опять поймал камень.

Толпа захохотала.

Игра в камешки, вероятно, всем известна, но в училище она имела оригинальные дополнения: здесь она со *щипчиками*, и притом *щипчиками холодненькими, тепленькими, горяченькими и с пылу горячими*, которые доставались проигравшему. Без щипчиков играла самая молодая, самая зеленая *приходчина*, а при щипчиках с пылу горячих присутствует теперь читатель.

Между тем *матка* (главный камень) летала в воздухе, а Тавля своими здоровенными руками скручивал кожу на руке партнера и дергал ее с ожесточением. После двадцати щипчиков рука сильно покраснела, после пятидесяти появилась синева.

— Любо ли? — спрашивает Тавля, заглядывая ему в глаза.

Противник молчит.

— Любо ли?

Опять ответа нет.

— Взъерепень, взъерепень его! — говорят окружающие.

— Заплачь, так прошу! — говорит Тавля.

— Смотри, чтобы самому плакать не пришлось! — ответил Гороблагодатский. Здоровый детина выносил сильную боль в руке, но только мрачный взгляд обнаруживал, что он чувствует.

— Что, дядя, больно?

Тавля дал такого щипка, что Гороблагодатский невольно стиснул зубы. Все захохотали.

— Живота аль смерти?

Сильный щипок повторился при хохоте зрителей. В этом хохоте не слышалось злорадованья или неприязненной насмешки; товарищи видели во всем только комическую сторону. Один лишь Семенов улыбался как-то особенно; его удовольствие не походило на удовольствие других, и действительно, он затаенно повторял в душе:

«Так и надо, так и надо!»

Дошло до ста...

— Ну, черт с тобой! — заключил наконец Тавля.

Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю и решил на игру с ним в надежде остаться победителем и задать ему более чем с пылу горячих. Оба они были *второкурсные*. Каждое учебное заведение имеет свои предания. Аборигены училища, насильно посаженные за книгу, образовали из себя *товарищество*, которое стало во враждебные отношения к *начальству* и завещало своим потомкам ненависть к нему. Начальство, со своей стороны, также стало во враждебные отношения к товариществу и, чтобы сдерживать его в границах *училищной инструкции* (кодекс правил для поведения и учения), изобрело целую бурсацко-бюрократическую систему. Зная, что всякое царство, раздельшееся на ся, не устоит, оно отдало одних товарищей под власть другим, желая внести в среду их междуусобие. Такими властями были: *старшие спальные* — из второуездных; *старшие дежурные* — из спальных, справляя недельную очередь по всему училищу; *цензора* — надзирающие за поведением в классе; *авдигора* — выслушивающие по утрам уроки и отмечающие баллы в *нотатах* (особой тетради для баллов); наконец, последняя власть и едва ли не самая страшная — *секундатор*, ученик, который, по приказанию учителя, сек своих товарищей. Все эти

власти выбирались из *второкурсных*. Ученик, просидев за партою два года, за леность и малоуспешность оставался в том же классе еще на два: этот и назывался второкурсным. Очень естественно, что такой ученик что-нибудь да выносил из уроков учителей и потому больше знал, чем первокурсный; это бралось начальством во внимание, и расчет был верен: второкурсные, желая удержать власть в своих руках, учились усердно, и большинство из них заняло первые места, потому что не бездарность, а лень делала их второкурсными. Вот основы училищной бюрократии, при помощи которой начальство хотело разрушить товарищество.

Изо всего этого вышла одна гадость. Ко второкурсным было полное доверие начальства; жалоба на них была оскорблением для смотрителя и инспектора; деспотизм их развился в высшей степени, и ничто так не оподляет дух учебного заведения, как власть товарища над товарищем; цензора, аудитора, старшие и секундатеры получили полную возможность делать что угодно. Цензор был чем-то вроде царька в своем царстве, аудитора составляли придворный штат, а второкурсные — аристократию. Притом второкурсные, просидев лишних два года, понятно, делались взрослыми, а потому и физическая сила была на их стороне. Наконец, по той же причине они знали обряды и формы своего класса, характер учителей, умение надуть их. Новичок без помощи второкурсного не умел ступить шагу. Начальство, вводя такой деспотизм, думало, что оно поселит в товариществе ябеду и донос. Случилось совсем не то: при училищном *второкурсии* только народились в товариществе такие гадины, отвратительные гадины, как Тавля, и такие дикие характеры, как Гороблагодатский. Они ненавидели друг друга, потому что воспользовались данною им властью для разных целей. Тавлю ненавидели и другие силачи — Лашезин и Бенелявдов; его все ненавидели и презирали.

Тавля, в качестве второкурсного аудитора, притом в качестве силача, был нестерпимый взяточник, драл с подчиненных деньгами, булкой, порциями говядины, бумагой, книгами. Ко всему этому Тавля был ростовщик. Рост в училище, при нелепом его педагогическом устройстве, был бессовестен; нагл и жесток. В таких размерах он нигде и никогда не был и не будет. Вообще не редкость, а напротив — норма, когда *десять копеек*,

взятые на *недельный срок*, оплачивались *пятнадцатью копейками*, то есть, по общепринятому займу на год, это выйдет *двадцать пять раз капитал на капитал*. При этом должно заметить, если должник не приносил, по условию, долгу через неделю, то через следующую неделю он обязан был принести вместо пятнадцати двадцать копеек. Такой рост неизвестно с каких пор вошел в обычай бирсы; не один Тавля живодерничал; он был только виднее других. Необходимость в займе всегда существовала. Цензор или аудитор требовали взятки; не дать — беда, а денег нет, вот и идет первокурсный к своему же товарищу, но ростовщику, согласен на какой угодно процент, лишь бы избавиться от презрительных взглядов розгачей. Кредит обыкновенно гарантируется кулаком либо всегдашней возможностью нагадить должнику, потому что рисковали на рост только второкурсники. Надо заметить, что большая часть тягостей в этом отношении падала на городских, потому что они каждое воскресенье ходили домой и приносили с собою деньжонки; поэтому на городских налегали все, хотя и из них считался уже богачом, кто получал на неделю какой-нибудь гривенник. Поэтому многие были в неоплатном долгу и нередко состояли в бегах. Пошлая, гнилая и развратная натура Тавли проявилась вся при деспотизме второкурсия. Он жил барином, никого знать не хотел; ему писались записки и вокабулы, по которым он учился; сам не встанет для того, чтобы напиться воды, а кричит: «Эй, Катька, пить!» Подавдиторные чесали ему пятки, а не то велит взять перочинный нож и скоблить ему между волосами в голове, очищая эту поганую голову от перхоти, которая почему-то называлась плотью; заставлял говорить ему сказки, да непременно страшные, а не страшно, так отдует; да и чем только при глубоком разврате Тавли не служили для него подавдиторные! При всем этом он был жесток с теми, кто служил ему. «Хочешь, говорит, Катька, *рябчика съесть?*» — и начинает щипать подчиненного за полосу. «Тебя маменька вот так гладила по головке; постой же, я покажу, как папенька гладит»; после этого, уставив палец против *шерсти* (волос), он плотно проводил им от начала лба и до конца затылка. «Видал ли ты Москву?» — спрашивает он ученика и прикладывает свои широкие, потные, скверные ладони к ушам подавдиторного, сжимает между ними голову его и по-

том, приподняв на воздух, говорит: «Теперь видишь ли Москву? вон она!» Он загибал своим товарищам *салазки*, то есть положит ученика на сиденье парты лицом вверх, поднимет его ноги и гнет их к лицу. Плюнуть в лицо товарищу, ударить его и всячески избодеть составляло потребность его души. Известно было товарищам, что он однажды добыл из гнезда неоперившихся воробьиных птенцов, взял за тонкие ноги и разорвал воробьев на части. Меньшинство его ненавидело; большинство боялось и ненавидело.

Гороблагодатский был сильная, но дикая натура. Второкурсие отразилось на нем совершенно иначе, нежели на Тавле. Он был положительным доказательством, что начальство ошиблось в расчете, вводя деспотизм ученика над учеником и через то желая внести в товарищество ябеду и донос. Товарищество в самом деспотизме нашло себе опору. Второкурсные сделались хранителями преданий и, получив по наследству ненависть к начальству, употребляли власть, им данную, на то, чтобы гадить тому же начальству. Цензор, аудитор, секундатор стали на стороне товарищества, а во главе их всех, в тот курс, который описываем мы, стоял Гороблагодатский. Пьянство, нюханье табаку, самовластные отлучки из училища, драки и шум, разные нелепые игры — все это было запрещено начальством, и все это нарушалось товариществом. Нелепая долбня и спартанские наказания ожесточали учеников, и никого они так не ожесточили, как Гороблагодатского.

Он был *отпетый*.

Отпетый характеристичен и по внутреннему и по внешнему складу. Он ходит, заломив козырь на шапке, руки накрест, правым плечом вперед, с отважным перевалом с ноги на ногу; вся его фигура так и говорит: «Хочешь, тресну в рожу? думаешь, не посмею!» — редко дает кому дорогу, обойдет начальника далеко, чтобы только избежать поклона. Гороблагодатский поддерживает самое неприличное дело, если оно относится ко вреду высших властей, *отмачивает* дикие штуки. Он ревнитель старины и преданий, стоит за свободу и вслывность бурсака и, если нужно будет, не пощадит для этого священного дела ни репутации, ни титулки. Он основной столп товарищества. Бурсаки с такими доблестями обыкновенно звались отпетыми. Но отпетые были разного рода: одни из них назывались *благими*; это бы

ли дураковатые господа, но держащиеся тех же принципов; другие назывались *отчвалыми*: эти были вообще не глупы, но лентяи бесшабашные; Гороблагодатский же был отпетый *башка*: он шел в первых по учению и в последних по поведению. Башка и отчвалый умно гадили начальству, а благой глупо: например, вдруг захохочет учителю в лицо и покажет ему кукиш; вздерут благого, а через несколько времени он опять выкинет какую-нибудь глупую дерзость. Но никто из отпетых так не солил начальству, как Гороблагодатский. Если вымазали эконому двери нестерпимой *размазней* (жидкая гречневая каша), нелюбимому учителю вшей¹ напустили в шубу, свинье инспектора переломали ноги или оторвали хвост, обокрали погреб смотрителя, выбили ночью целый ряд стекол,— все это были дела Гороблагодатского, который смело вел за собою на пакость начальству благих и отчвалых. Когда требовалось устроить стачку против начальства, то опять коноводом был Гороблагодатский: под его влиянием отпетые настраивали недавно сеченных и вообще недовольных; эти волнуют весь класс, самые смиренные и кроткие начинают шуметь и грозить, товарищество возбуждено — и зреет бурсацкий скандал, который на местном языке называется *бунтом*. Протестанты наперед знают, что они ничего не добьются от начальства: если, например, их кормили *убоиной*, похожей на падаль, то они уверены, что и после возмущения будут есть ту же убоину; но они по крайней мере гнев сорвут, а там пори себе десятого.

Гороблагодатскому, как отпетому, часто доставалось от начальства; в продолжение семи лет он был сечен раз триста и бесконечное число раз подвергался другим разнообразным наказаниям бурсы; но, во всяком случае, должно сказать, что его все-таки мало секли: за его разные проделки ему следовало бы подвергнуться наказаниям по крайней мере в пять раз больше, но он был ловок и хитер. В бурсе отпетыми было изобретено много способов, чтобы надуть начальство. Особенно

¹ Этих насекомых было огромное количество в бурсе. Не поверят, что один ученик был почти съеден ими: он служил каким-то огромным гнездом для паразитов: целые стада на виду ходили в его нестриженной и нечесаной голове; когда однажды сняли с него рубашку и вынесли ее на снег, то снег зачернелся от них. Вообще неопрятность бурсы была поразительна; золотуха, чесотка и грязь ели тело бурсака.— *Примеч. автора.*

замечателен был прием под названием — *пустить в круговую*. Например, отнимут табакерку у А.; А. говорит, что она не его, а В.; В. ссылается на Д., Д. на А.; А. опять на В.— вот и круговая: разыщите, чья табакерка. В круговую вводилось человек тридцать, и тогда сам Соломон не разберет, кого следует выпороть. При бунтах всегда прибегали к круговой. «Ты зачем кричал во время класса?» — «Меня научил такой-то». — «А ты зачем?» Тот ссылается на другого, и пошла коловоротница, в которой сам черт ногу сломит. Надуть товарищество считалось преступлением, надуть начальство — подвигом и добродетелью. Случалось, что секли не того, кого следует, но наказываемый редко выдавал виноватого. Добровольное сознание в проступке ученики признавали за пошлость и трусость; напротив, кто больше и наглее лгал перед начальством, бессовестно запирался, путал дело мастерски, божился и клялся на чем свет стоит, тот высоко стоял в глазах бурсацкой общины. Но и в этом отношении Гороблагодатский стоял выше всех; после долгой практики в скандалах разного рода он приобрел навык в самом изворотливом запирательстве. Другие только не сознавались в проступке, а он с самоуверенной дерзостью, глядя прямо в глаза начальнику, огрызался, и в то время такая оскорбленная невинность была написана на его лице, что опытный физиономист и психолог сбился бы с толку. Он входил до того в роль невинного, что сам считал себя невинным и под лозами никогда не сознавался. Все, что исходило от начальства, он презирал и ставил ни во что: поэтому розги, оплеухи, лишения обеда, стоянье на коленях, земные поклоны и т. п. для него положительно не имели никакого морального значения. Наказание было до такой степени дело не позорное, лишенное смысла и полное только боли и крику, что Гороблагодатский, сеченный публично в столовой, пред лицом пятисот человек, не только не стеснялся сряду же после порки явиться перед товарищами, но даже похвалялся перед ними. Полное бесстыдство пред начальнической розгой создало местную поговорку: *не репу секут, а секут только*. Да чего лучше: секундатор, товарищ, секущий своих товарищей, уважаем и любим был ими, потому что и он служил в их видах: искусный в своем деле он сильно драг своих товарищей, и свистели лозы по воздуху, когда под ними лежала добрая голова. Гороблагодат-

ского много секли; случалось ему вкушать даже до ста ударов, и потому он переносил розги легче, нежели его товарищи, вследствие чего с абсолютным презрением относился к какому бы то ни было наказанию. Ставили его коленями на покато́й доске парты, на выдающееся ребро ее, заставляли в двух шубах волчьих делать до двухсот земных поклонов, приговаривали держать в поднятой руке, не опуская ее, тяжелый камень по полчаса и более (нечего сказать, изобретательно было начальство), жарили его линейкой по ладони, били по щекам, посыпали сеченное тело солью (верьте, что это факты) — все он переносил спартански: лицо его делалось после наказания свирепо и дико, а на душе копилась ненависть к начальству. Мы видели в Гороблагодатском переносчивость физической боли, когда Тавля задавал ему с пылу горячих.

Но кража, сплетня, порча чужих вещей и всякая гадость не считались пороками только относительно начальства, а в себе самом товарищество было честно, и с этой стороны Гороблагодатский является в новом свете. Он не взял ни одной взятки, беспристрастно и справедливо отмечал подавдиторным баллы, не куражился над ними, часто защищал слабосильных, любил вмешиваться в ссоры и хотя деспотически, но всегда справедливо решал их; он постоянно солил ростовщикам и взяточникам. Товарищество его любило и уважало.

Мы сказали, что Гороблагодатский глубоко ненавидел Тавлю за его гнусную натуру; но он с ним играет в камешки: ему хочется выиграть и помучить Тавлю.

Кончив щипчики, Тавля предложил лукаво:

— Не хочешь ли еще?

Тавля отлично играл в камешки и надеялся на себя.

— Давай! — упорно отвечал Гороблагодатский.

Камни опять защелкали.

Семенов издали наблюдал за игроками. Семенов был третий тип училищный, созданный тою же бурсацкою администрациею. Товарищество сегодня огласило его *фискалом*.

Начальство понимало, что через свое педагогическое устройство бursы оно не достигло цели, но вместо того, чтобы отказаться от училищных порядков, оно пошло по пути нелепостей далее. Явилось новое должностное лицо — фискал, который тайно сообщал начальству все, что делалось в товариществе. Понятно, какую ненависть

питали ученики к наушнику; и действительно, требовался громадный запас подлости, чтобы решиться на фискальство. Способные и прилежные ученики не наушничали никогда, они и без того занимали видное место в списке; тайными доносчиками всегда были люди бездарные и подловатенькие трусы; за низкую посылку начальство переводило их из класса в класс, как дельных учеников. Но мы сказали, что товарищество само в себе было честно и потому не уважало тех учеников, которые за взятку начальнику, по родственным связям, по протекции, а тем более за фискальство, занимали не свое место в списке. Кроме того, ученики вполне справедливо были уверены, что наушник переносил не только то, что в самом деле было в товариществе, но и клеветал на них, потому что фискал должен был всячески доказать свое усердие к начальству. Но когда он передавал инспектору или смотрителю даже правду, и тогда он возбуждал в классе ненависть и злобу: например, дети собираются устроить попойку, оторвать хвост экономической свинье, улизнуть к знакомой прачке или чем иным развлечься, и вдруг инспектор, предупредомленный заранее, вместо развлечения драл их не на живот, а на смерть. Правда, в большинстве случаев, при непобедимом упорстве бурсаков, доносы не вели к наказанию, но начальство из доносков все-таки умело сделать полезное для себя употребление. Как объяснить, отчего инспектор за одинаковое преступление двоих учеников наказывал неодинаково? Это большею частью объяснялось тем, что на ученика сильно наказанного были доносы через фискалов. Начальство особенно не терпело тех лиц, которые ненавидели и преследовали наушников. Вся ябеда, добытая через наушников, вносилась в *черную книгу*. Эта книга имела огромное значение при переводе из класса в класс; тогда многим неожиданно вручались *волчьи паспорта*: это те же титулки, только с отметкою в них о дурном поведении; такие титулки объяснялись единственно черною книгою.

Семенов чувствовал, но страшно верить ему было, что товарищество догадалось, что он фискал. Он ясно заметил, что с ним никто не хочет слова сказать, а первой мерой против наушника было *молчание*: целый класс, а иногда все училище соглашалось не говорить ни слова, исключая брани, с фискалом. Положение ужасное: жить целые недели среди живых людей и не

услышать ни одного приветливого звука, видеть на всех лицах отталкивающее презрение и отвращение, вполне быть уверена, что никто ни в чем не поможет, а напротив — с радостью сделает зло... И действительно, фискал становится в товариществе вне покровительства всяких законов: на него клеветали, подводили под наказания, крали и ломали его вещи, рвали одежду и книги, били его и мучили. Иное поведение относительно фискала считалось *бесчестным*.

Но начальство все-таки напрасно развратило навеки несколько десятков человек, сделав из них наушников: училищная жизнь развивалась в своих нелепых формах, и товарищество делало что хотело.

Семенов, смотря на играющих в камешки, злорадно усмехнулся.

— С пылу горячие! — закричал Гороблагодатский.

В его голосе было что-то зловещее. Тавля струсил и побледнел на минуту. Около стола опять толпа. Опять камень летает в воздухе, но теперь Тавлина рука лежит на столе; напрасно он понадеялся на себя: Гороблагодатский в один прием взял все восемь конов, а Тавля срезался на пятом...

— Конца не будет! — сказал сурово Гороблагодатский.

Тавля видимо трусил. Окружающие не смеялись: они видели, что дело идет не на шутку, что Гороблагодатский мстит.

Дошло до ста. От здоровенных шипчиков вспухла рука Тавли. Он выносил страшную боль, наконец не вытерпел и проговорил просительно:

— Да ну, полно же!..

— После двухсот проси пощады, — отвечал Гороблагодатский.

— Ведь больно!..

— Еще больнее будет.

На сто семидесятом шипке у Тавли рука покрылась темно-синим цветом. Он чувствовал лом до самого плеча...

— Довольно же, Ваня... что же это будет?

Гороблагодатский вместо ответа с ожесточением шипнул Тавлю.

Тавля знал, что слово Гороблагодатского ненарушимо, однако он ощущал до того сильную боль во всей руке, что не мог не просить:

— Оставь... ведь натешился.

— Скажи только слово, еще двести закачу!..

Гороблагодатский дал щипчик более чем с пылу горячий. Тавля не вынес: по щекам потекли слезы.

Наконец двести.

— Теперь прощенья проси!

Как ни больно Тавле, а стыдно прощенья просить.

— Да ну, оставь же!

— Зачем насмеялся давечь?

— Так то ведь шутка!

— Так ты смеешь, животное, надо мной шутить?

Жестоко щипнул он Тавлю.

— Ну прости меня, Ваня...

Гороблагодатскому точно жаль было прекратить мучения ненавистного для него Тавли. Он собрал все силы, и от последнего щипка рука Тавли почернела.

— Будет с тебя. Сыт ли?..— спросил Гороблагодатский.

Лишь только освободился Тавля, страх в душе его сменился бешенством и злостью.

— Подлец! — проговорил он.— Слышь, не задевай! в зубы съезжу!

— Ты?

— Я.

— А вот и харя, съезди,— сказал Гороблагодатский, подставляя свое лицо...

Тавля забылся в бешенстве и залепил оглушительную плюху своему врагу, но в ответ получил еще здоровейшую. Завязалась драка...

«Так и надо, так и надо!..» — шевелилось в душе Семенова...

Тавля так ошалел от злости, что, несмотря на истерзанную свою руку, не уступал Гороблагодатскому, хотя тот был сильнее его. Злость до того охмелила Тавлю и увеличила его силы, что трудно было решить, на чьей стороне осталась победа... Гороблагодатский затаил и эту обиду в душе.

Гороблагодатский после драки пошел к ведру напиться; на дороге ему попался Семенов. Он дал Семенову затрещину и, как ни в чем не бывало, продолжал свой путь. Семенов со злостью посмотрел на него, но не смел пикнуть слова.

Постояв немного посреди класса, Семенов стал бесцельно шляться из угла в угол между партами, останавливаясь то здесь, то там.

Посмотрел он, как играют в *чехарду*, — игра, вероятно, всем известная, а потому и не будем ее описывать. В другом месте два парня *ломали пряники*, то есть, встав спинами один к другому и сцепившись руками около локтей, поочередно взваливали себе на спину друг друга; это делалось быстро, отчего и составлялась из двух лиц одна качающаяся фигура. У печки секундатор, по прозванию Супина, учился своему мастерству: в руках его отличные лозы; он помахивал ими и выстегивал в воздухе полосы, которые должны будут лечь на тело его товарища. На третьей парте играли в *швычки*: эта деликатная игра состоит в том, что одному игроку закрывают глаза, наклоняют голову и сыплют в голову щелчки, а он должен угадать, кто его ударил; не угадал — опять ложись; угадал — на смену его ляжет угаданный. Семенов увидел, как его товарищу пустили в голову целый заряд швычков и как тот, вставая, схватился руками за голову.

«Так и надо!» — повторил он в душе и пошел к пятой парте.

Там одна партия дулась в три листика, а другая в носки: известная игра в карты, в которой проигравшему бьют по носу колодой карт.

Семенов перешел к седьмой парте и полюбовался, как шесть *нахаживали*. Эти шестеро, взявшись руками за парту, качались взад и вперед.

На следующей парте Митаха выделял *богородичен на швычках*, то есть он пел благим гласом «Всемирную славу» и в такт подщелкивал пальцами. Тут же Ерундия (прозвище) играл на *белендряхах*, перебирая свои жирные губы, которые, шлепаясь одна о другую, по местному выражению, *белендрясили*. Третий артист старался возможно быстро выговаривать: «Под потолком полком полколпака гороху», «Нашего пономаря не перепонмаривать стать», «Сыворотка из-под простокваши».

Наконец Семенов пробрался до стены. Здесь Омега и Шестиухая Чабря играли в *плевки*. Оба старались как можно выше плюнуть на стену. Игра шла на *смазь*. Шестиухая Чабря плюнул выше.

— Подставляй! — сказал он, расправляя в воздухе свою пятерню.

Омега выпятил свою *лупетку* (лицо).

— Надувайся! — сказал Чабря.

Омега надул щеки.

— Шире бери!

Омега до того надулся, что покраснел.

— *Верховая*, — начал Чабря, прикладывая свою руку ко лбу Омеги, — *низовая*, — прикладывая к подбородку, — две *боковых*, — прикладывая к одной и другой щеке. — Надувайся!

Омега надулся.

— И *всеобщая!* — торжественно вскрикнул Шестиухая Чабря.

После этого он забрал лицо Омеги в пясть, так что оно между пальцами проступило жирными и лоснящимися складками, и тряс его за упитанные мордасы и кверху и книзу.

Семенову было скучно. Он не знал, что делать...

— Леденцов, пряников! Пряников, леденчиков!

Это был голос Элпахи, который обыкновенно торговал пряниками и леденцами, отчего получал немалую выгоду, потому что покупал фунтами, а продавал по мелочи.

Семенов очутился около него.

— На сколько? — спросил его Элпах, оглядываясь вокруг и около, потому что товарищество запрещало говорить с Семеновым, но купецкая корысть Элпахи взяла свое.

— На пять копеек.

— Деньги?

— Вот!

— Держись.

— Что ж ты обсосанных даешь?

— Лучший сорт.

— Перемени, Элпах.

— Леденчиков, пряников! — закричал Элпах, отворачиваясь в сторону.

Семенов, держа на ладони, рассматривал леденцы, не зная, съесть их или бросить, и уже решился съесть, как кто-то сзади подкрался, схватил с руки лакомство и быстро скрылся. Семенов со злобой посмотрел на товарищей, но бессильна была его злоба, и в то же время одурь брала его от скуки.

— Давай играть в *костяшки*, — сказал ему Хорь.

Семенов сам удивился, что с ним заговорил товарищ. Он недоверчиво смотрел на Хоря.

— Что *гляделы*-то пучишь? не бойся!

— Надуешь...

— Ну вот дурак... что ты!

— Побожись.

— Ей-богу, вот те Христос!

— Право, не надуешь?

— Побожился! чего ж тебе еще?

— Ну ладно,— ответил Семенов, от души обрадовавшись, что с ним заговорило живое существо, хоть это живое существо и было Хорь.

В училище была своя монета — *косяшки* от брюк, жилетов и сюртуков. За единицу принималась *однодырочная* косяшка; две однодырочных равнялись *четырёхдырочной*, или *паре*, пять пар *куче*, или *грошу*, пять куч *великой куче*. Косяшки имели цену, определенную раз навсегда, и во всякое время за пять пар можно было получить грош. Огромное количество косяжной монеты обращалось в бурсе. Ею платили при игре *в юлу* и *в чет-нечет*. Бывали владельцы сотни великих куч и более; их можно узнать по тому, что они всегда держат руку в кармане и роются там в косяжном богатстве. Употребление косяжной монеты породило особого рода промышленников, которые по ночам обрезают косяшки на одежде товарищей или делали это во время классов, под партами, спарывая бурсацкую монету сзади сюртуков.

Хорь был один из таких промышленников. У Хоря ничего не было своего — все казенное, и, если бы не казна, вы увидели бы в лице его возможность на Руси совершенно голого человека. У него почти никогда не водилось денег. В продолжение семи лет у него не перебывало и семи рублей, так что настоящая монета для него была менее действительна, чем косяшки. Это был нищий второуездного класса, и мастер же он был *кальячить*. Узнав, что у товарища есть булка или какое-нибудь лакомство, он приставал к нему, как с ножом к горлу, канючил и выпрашивал до тех пор, пока не удовлетворят его желание. Будучи без роду и племени, круглый сирота, он безвыходно жил в училище, на каникулы никогда не ездил и до того втянулся во все формы бурсацкой жизни, что, кроме ее, другой не существовало для него. Только в каникулярное время посещал он базар соседний, реку да лес: здесь был конец его света. Учиться Хорь терпеть не мог, но учился, потому что не мог терпеть и розги: из двух зол (а бурсацкое ученье — зло) приходилось выбирать меньшее. Он был страстный игрок в косяшки; но наживши кое-как

великую кучу, он либо выменивал ее на деньги и продал их с жадностью нищего, либо опять проигрывал, потому что играл не совсем счастливо. Тогда с перочинным ножом он промышлял под партами, либо по ночам под подушками товарищей, куда ученики прятали свою одежду. У одного товарища таким образом он спорол с одежды все костяшки, так что не на что было застегнуться — все валялось долой, хоть умирай. Однажды Бенелявдов, первый силач класса, во время урока, при учителе, поймал его за волосы под партией и задал ему *волосянку*. Просить пощады нельзя было: заметит учитель. После долго смеялись над Хорем, говоря, что у него волоса распухли. Теперь у Хоря только и было полпары, то есть однодырочная.

— Чет аль нечет? — спросил он, загадывая.

— Пусть нечет, — отвечал Семенов.

— Твое. Теперь ты.

Семенов загадал, но лишь только открыл он ладонь, чтобы сосчитать, верно ли Хорь сказал «нечет», как хищный Хорь схватил костяшки и спрятал их, себе в карман.

— Что же это, Хорь? — говорил Семенов.

— Я тебе Хорь?.. а в уху хочешь?

— Оплетохом, — сказал один из товарищей.

— Беззаконновахом, — прибавил другой.

— И неправдовахом, — заключил третий.

— Отдай, Хорь; право, отдай.

— Опять Хорь?.. Рожу растворожу, зубы на зубы помножу!

Семенов не стал более разговаривать. Несчастный отошел в сторону. Нигде не было для него приюта. Он вспомнил, что у него в парте есть горбушка с кашей. Семенов хотел позавтракать, но горбушки не оказалось. Раздраженный постоянными столкновениями с товарищами, он обратился к ним со словами:

— Господа, это подло, наконец!

— Что такое?

— Кто взял горбушку?

— С кашей? — отвечали ему насмешливо.

— *Стибрили?*

— *Сбондили?*

— *Сляпсили?*

— *Сперли?*

— *Лафа, брат!*

Все эти слова в переводе с бурсацкого на человеческий язык означали: украли, а *лафа* — лихо!

— Комедо! — раздался голос Тавли.

— Иду! — было ответом.

Семенов еще после обеда подслушал, что у Комеды с Тавлей состоялся странный спор на пари, и потому поспешил на голос Тавли, забыв о своей горбушке.

— Готово? — спросил Комедо.

— Есть! — отвечал Тавля и развязал узел, в котором оказалось шесть трехкопеечных булок.

— Сожрешь?

— Сказано.

Толпа любопытных обступила их. Комедо был парень лет девятнадцати, высокого роста, худощавый, с старообразным лицом, сгорбленный.

— Условия?

— Не стрескаешь — за булки деньги заплати, а стрескаешь — с меня двадцать копеек.

— Давай.

— Смотри, ничего не пить, пока не съешь.

Вместо ответа Комедо стал уплетать белый хлеб, который так редко едят бурсаки.

— Раз! — считали в толпе. — Два, три, четыре...

— Ну-ка пятую...

Комедо улыбнулся и съел пятую.

— Хоть на шестой-то подавись!

Комедо улыбнулся и съел шестую.

— Прорва! — говорил Тавля, отдавая двадцать копеек.

— Теперь и напиться можно, — сказал Комедо.

Когда он напился, его спрашивали:

— А еще можешь съесть что-нибудь?

— Хлеба с маслом съел бы.

Достали ломоть хлеба и масла достали.

— Ну-ка попробуй!

Он съел.

— А еще?

— Горбушку с кашей съел бы.

Добыли и горбушку. Его кормили из любопытства. Он съел и горбушку.

— Эка тварь!.. Куда это лезет в тебя, животина ты удакая! Скот! Как ты не лопнешь, подлец?

— А что брюхо? — спросил кто-то.

— Тугое, — отвечал Комедо, тупо глядя на всех...

— Очень?

— Пощупай.

Стали брюхо щупать у Комеды.

— Ишь ты, стерва!.. как барабан!..

— А что, два фунта патоки съешь?

— Съем.

— А четыре миски каши?

— Съем...

— А пять редек?

— А четыре ковша воды выпьешь?

— Не знаю... не пробовал... Я спать хочу...

Комедо отправился в Камчатку. Долго толпа ругала Комеду и стервой, и прорвой, и всячески...

Между тем Тавля, накормив на свой счет Комеду, по обыкновению озлился. Одному из первокурсных попала от него затрещина, другому он загнул салазки, третьему сделал смазь. Гороблагодатский видел это и в душе называл Тавлю скотиной. Потом Тавля посмотрел на игру в *скоромные*. Васенда наводил: он выставляет руку на парте, а Гришкец со всего маху ладонью бьет его по руке. Васенда старается отдернуть руку, чтобы Гришкец дал промах: тогда уже будет подставлять руку Гришкец. Это Тавлю не развлекло.

— Не *садануть* ли в *постные*? — пробормотал он.

Он стал оглядываться, желая узнать, не играют ли где в постные.

— А, вон где! — сказал он, отыскав то, что требовалось.

Около задних парт, подле Камчатки, собралось человек восемь. Один из них, положив голову на руки, так что не мог видеть окружающих, наводил: спина его была открыта и выпячена вперед. Поднялись над спиной руки и с треском опустились на нее. К ударам других присоединился и удар Тавли. По силе удара наводивший догадался, чей он был...

— Тавля ударил, — сказал он.

Тавля лег под удары.

Гороблагодатский между тем направлялся правым плечом вперед, по-медвежьи, к той же кучке. Увидев, что Тавля наводит, он присоединился к играющим.

Ударили Тавлю.

— Хлестко! — говорили в толпе.

— Ты восчувствуй, дорогая, я за что тебя люблю!

— Кто ударил?

— Ты.

— Вали его... вали снова!..

Тавля наклонился...

— Взбуетень его!

— Взъерепень его!

— Чтоб насквозь прошло!

Трехпудовый удар упал на спину Тавля.

— Гороблагодатский,— сказал Тавля, едва переводя дух...

— Растянуть его снова!

Опять повторился сильный удар...

— Бенелявдов,— указал Тавля.

— Вали еще!

— Что ж, братцы, эдак убить можно человека...

— Зачем мало каши ел?

— Жарь ему в становой!

Опять сильный удар, и опять не угадал Тавля.

— Что ж это, братцы?.. убить, что ли, хотите?

— Значит, любим тебя, почитаем,— сказал Гороблагодатский.

— Братцы, я не лягу... что же такое!.. других так не бьют...

— А тебя вот бьют!

— Жилить?

— Вздуем!

— Морду расквашу! — сказал Гороблагодатский.

— Братцы...

— Ну! — крикнул грозно Бенелявдов.

Тавля угадал наконец... Игроки захотали, когда он сказал:

— Я не хочу больше играть...

— Отчего же, душа моя? — спросил Гороблагодатский.

Тавля взглянул на него с ненавистью, но, не сказав ни слова, удалился потешаться над первокурсными... Кучка продолжала игру в постные. Но вдруг один из играющих поднял нос и понюхал воздух.

— Кто это? — спросил он.

Поднялись носы и других игроков. Потом все подорительно посмотрели на Хорька.

— Ей-богу, братцы, не я... вот те Христос, не я... хоть обыщите...

— Чичер!.. — провозгласил Гороблагодатский.

Человек десять вцепились Хорьку в волоса, а один из них запел:

— Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому

волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью. Кочена иль пирога?

— Пирога,— пищал Хорь...

— Не проси пирога, мука дорога. Чичер, ячер, на вечер; кто не был на пиру, тому волосы деру; с кровью, с мясом, с печенью, перепеченью... Кочена иль пирога?

— Кочена.

Снова почали и опять пропели «чичер»...

— Кок или вилки в бок?

— Кок! — отвечал истасканный Хорь.

После этого, опустив в его голову несколько щелчков, отпустили его с миром, говоря:

— Не бесчинствуй!..

— Черти эдакие! — отвечал Хорь. — Я в другой раз еще не так!

Семенов, видя, как таскали Хоря, шептал:

— Так и надо, так и надо!

Но Гороблагодатский схватил Семенова сзади и положил на парту вместо того, кто должен был наводить; с другой стороны придерживали Семенова за голову. На спину его обрушились жесточайшие удары. Он шатался, когда поднялся. Не его спине было переносить такую тяжесть здоровых ладоней. Осмотрелся он бессмысленно кругом. Кто бил? за что?.. Семенов упал на парту и зарыдал. Темнело в классе; еще несколько минут, и зги не увидишь.

— Братцы,— заговорил Семенов, опомнившись,— за что вы меня ненавидите?.. все!.. все!..

Голос его был заглушен хоровою песней. Сумерки развивались быстро; едва можно рассмотреть лица; цвета и линии пропадают в воздухе, остаются одни звуки.

Семенов пробрался к окну и с гнетущей тоской и злобой на сердце смотрел на неприветливый двор, в непроглядную тьму зимнего скверного вечера. Припомнилась ему родная семья. Отец давно уже встал от послеобеденного сна; добрая мать, которой от был любимцем, вносит теперь самовар в гостиную; брат и две сестренки уже около стола, щебечут и смеются; звенят чайные ложки и блюда, и легкий пар идет от живой влаги. «Домой бы теперь!..» Он закрыл лицо руками, прислонился к стеклу и опять зарыдал... Но вдруг плач его пресекался... Ужас напал на него, и он задрожал всем телом. Страшна такая жизнь, какую он

испытал сегодня. Он забыл физическую боль тела, лишь только в груди залегло что-то и мешало дышать. Оступел он от страха, и неотразимо ясно представилось ему: «Отверженец!.. тебя все ненавидят! и даже предвидеть нельзя, что с тобой сделают! быть может, сейчас ударят в спину, вырвут клочок волос из головы, плюнут в лицо...» В классе совершенно темно, потому что начальство из экономического расчета зажигало лампу только в часы занятий. В этой темноте могут сделать с ним что угодно, и не узнаешь, кто над тобой сорвет гнев свой и отомстит за товарищество. «Не буду больше», — прошептал он, и не было тени злобы в его душе. «Того и стою!» — прокрадывалось в его сознание. Он желал примириться с товариществом и душевно просил пощады. Он уже ненавидел начальство, сделавшее его фискалом, и готов был сам вырвать клочок волос из головы того товарища, который займет его место. Семенов решил просить у всего класса прощения и публично отказаться от шпионства. Но вдруг он услышал, что будто кто-то крадется к нему; он в страхе поспешно оставил окно и неизвестно куда скрылся в темноте.

В классе так темно, что за два шага не распознать лица человеческого. Всякие игры прекращались в эти часы, и бурсак мог развлекаться только звуками, странными и разнообразными. Общее впечатление было дико...

Звуки мешаются и переплетаются. Раздается крик какого-то несчастного, которому, вероятно, *въехали в загорбок*; слышен напев на *«Господи воззвах, глас осьмый»*; вырывается из концерта патетическая нота в *верхнее re*; кого-то еще треснули по роже; у печки поют: «Отроцы семинарстин, посреде кабака стояще, пояху: подавай, наливай; мы книги продадим, тебе деньги отдадим»; слышен плач; грегочет какая-то тварь, то есть ржет по-лошадиному, выделявая «и-и-го-го-го-го!». Ругань висит в воздухе, крики и хохот, козлоглагольствуют, грегочут и поют на гласы и вкушают затрещины. В Камчатке, под управлением заматорелого Митахи, хранителя училищных преданий, поется стих, сложенный еще аборигенами бурсы:

Сколь блаженны те народы,
Конх крепкие природы
Не знали наших мук,
Не ведали наук!

Тут в столовую заглянешь,
Щей негодных похлебаешь,
Опять в свой класс идешь,
Идешь, хоть и воешь...

А тут архангелы подскочат,
Из-за парты поволочат,
Давай раба терзать,
Лозой его стегать...

Бедняги! недаром же так дико в вашем классе. Вас волочат, терзают, стегают!.. Сочувственно подстают к голосу Митахи голоса его товарищей. К сожалению, конец песни, которая пелась каким-то замогильным, грустным напевом, забылся и не дошел до нас...

В другом месте слышно:

На поповой-то на даче
Мужичок едет на кляче,
Хлибушку везе,
Хлибушку везе...

Мужичье к возью бежали,
Кулачем в возье совали:
— Щё, бра', продаешь?
Щё, бра', продаешь?

Им сказали, щё овес;
Мужик вынул да потрес
На горсти своей,
На горсти своей.

Еще слышно:

А как взяли козла
Поперек живота,
Как ударили козла
О сырую мать-землю;

Его ноженьки
При дороженьки,
Голова его, язык
Под колодою лежит...

После каждого двустипшия припевалось:

Ти-ли-ли-ли-ли-ли-ли

и потом повторение второго стиха.

А вот и еще отрывок:

Любимцы... Аполлона
 Сидят беспечно in сауропа.
 Едят селедки, merum пьют
 И Вакху дифирамб поют:
 «О, как ты силен, добрый Вакх!
 Мы tuum regnum чтим в мозгах:
 dum caput nostrum посещаешь,
 Оттуда curas выгоняшь,
 Блаженство в наш лъешь сердца
 И dignus domini отца.
 Мы любим Феба, любим муз:
 Они с богами нас равняют,
 Они путь к счастью прокладывают,
 Они дают нам лучший вкус;
 Sed omnes haec плоды ученья
 Coniunctae sunt всегда с томленьем...
 Давно б наш юный цвет увял,
 Когда б ты нас не подкреплял! ¹

Восьмипесенная «Семинариада» составлена давно и переходит по преданию от одного поколения к другому. В местных песнях и стихах отразилось, как товарищество смотрело на науку и на своих начальников...

Из общего же всем репертуара певались здесь либо жестокие романсы: «Стонет сизый голубочек», «Ночную темнотою», «Я бедная пастушка», «Уж солнце зашло, вверх горя» и т. п., либо чисто народные песни: «Ах вы, сени», «Вниз по матушке по Волге», «Как за реченькою, как за быстрою», «Полно, полно нам, ребята, чужо пиво пнти» и т. п.

Но вот какой-то отпетый возглашает еще стих домашнего изделия:

В восьмом часу по утрам,
 Лишь лампы блеснут на стенах,
 Мужик Суковатов несется,
 Несется в личных сапогах...

Повисли в воздухе хохот, остроты и крепкая ругань против начальства... Опять какая-то шельма грегочет... десятеро загреготали... двадцать человек... счету нет... Появились лай, мяуканье и криканье, свист и визг... Ко всей этой ерунде присоединилась голосов в сорок бурсацкая *разноголосица*: участвующие в ней разбирают между собою все тоны, употребляемые в пении, и все

¹ In сауропа — в кабачке, в харчевне; merum — чистое, неразбавленное вино; tuum regnum — твоё царство; dum caput nostrum — пока нашу голову; curas — заботы; dignus domini — достойный господя; sed omnes haec — но все эти; coniunctae sunt — соединены (лат.).

ноты берут сразу. Между тем сырость и холод проникают приходчину до костей; благим матом затягивается: «Холодно, холодно!» — это призывный к согреванию звук, после которого ученики начинают махать руками наподобие тому, как греются извозчики и стонут — душу надрывают: «Холодно, холодно!» — «Домового ли хоронят, ведьму ль замуж выдают?» Пастей во сто выработывается бесшабашный гвалт, и все это совершается в непроглядной темноте. Если бы привести в класс свежего человека, не слыхавшего стенаний бурсака, он подумал бы, что это грешные души воют в аду. Грегочут, тянут «холодно», дуют разноголосицу во все ноты; в вопиющих и взывающих звуках растут-разрастаются голоса и отдаются дрожью в оконных стеклах... Существует ли на свете еще какой-нибудь нелепый звук, который не отыскался бы в этой массе крика, пенья и гуденья! Но вот что-то новое зарождается в душном, промозглом воздухе кромешного класса; что-то встало над всеми голосами. Заслышали товарищи знаменитый громадный бас Великосвятского, гласящего «благоденственное и мирное житие»; с неудержимой силою оглушаются товарищи последними словами: «Благополучно ныне почивающему на лаврах курсу многая лета!» На необъятной нотище разрешается последний звук... В одно мгновение, точно по одному темпу, смолкли все... Товарищество наслаждается; оно страстно любит крепкий звук... Но минута — и стоголосое «многая лета!» отвечало басу... Надо заметить, что товарищество уважало, кроме отпетых, потом силачей, потом голов, выносящих многоградусный хмель,— уважало и обширных басов. Бурса любит хорошие голоса, бережет их, лелеет, выручает из всякой беды. Ученики еще дома привыкли петь в церкви, славить Христа, служить панихиды и молебны, читать часы и апостол, отчего у них развиваются голоса и любовь к пению. В училищах часто бывают превосходные певческие хоры. Около Великосвятского слышно одобрение.

— Господа, концерт! — предложил кто-то.

— «На реках вавилонских».

— Да нот нет!..

— На память!..

— Зови маленьких певчих.

Через несколько минут поется концерт. Ни одного дикого звука нет в классе. Дисканты плачут детскими

голосами; бас, как подавленная сила, гудит и сдержанно ропщет; слышен крик вавилонянина: «Воспойте нам от песней сионских!»; чудится, как в гневе и нетерпении топает ногами грозный деспот... «Како воспоем на земле чуждей песнь господню?» — отвечают плачущие, робкие голоса детей; женские слезы слышны в грудных дискантах. Высокими, тихими и страстными нотами восходит плач и наконец переходит в сильные, грозные голоса: «Дщи вавилоня, окаянная! блажен, кто возьмет твоих младенцев и расшибет их головы о камень!»

После концерта все стихло. Ученики, укрощенные на время стройным пением, рассказывают друг другу сказки, вспоминают каникулы, толкуют о начальстве и товариществе. Изредка кого-нибудь треснут по шее. Митаха, хранитель преданий, поет заунывным голосом:

А как взяли козла
Поперек живота...

Но ученики недолго сидели скромно и тихо.

— Приходчину дуть! — раздался чей-то голос.

— Идет! — отвечают на голос.

Собирается партия человек двадцать, и ноябрьским вечером крадутся через двор, в класс приходских учеников. Приходчина, тоже сидящая в сени смертней, ничего не ожидала. Второуездные, сделавши набег, рассыпались по классу, бьют приходчину в лицо, загибают ей салазки, делают смази, рассыпают постные и скоромные, швычки и подзатыльники. Кто бьет? за что бьет? Черт их знает и черт их носит!.. Плач, вопль, избивание младенцев! На партах и под партами уничтожается горезлосчастная приходчина. Больно ей. В этих диких побояниях приходчины, совершаемых в потемках, выражалась, с одной стороны, какая-то нелепая удаля: «Раззудись, плечо, размахнись, кулак!», а с другой стороны — «Трепещи, приходчина, и покоряйся!». Впрочем, в таких случаях большинство только удовлетворяло своей потребности побить кого-нибудь, дать вытряску, лупку, волосянку, отдуть, отвалить, взъерепенить, отмордасить, чтобы чувствовалось, что в твоих руках пищит что-то живое, страдает и просит пощады, и все это делается не из мести, не из вражды, а просто из любви к искусству. Натешившись вдоволь и всласть, рыцари с торжественным хохотом отправляются восвояси. Истрепанная приходчина охает, плачет и щупает бока свои.

Когда рыцари вернулись в класс, там шла новая забава.

— Мала куча! — кричало несколько человек.

Среди класса, в темноте, шла какая-то возня — не то игра, не то драка... Смех и брань раздавались оттуда.

Усиливается возня. Обыкновенно, когда кричали «мала куча», то это значило, что кого-нибудь повалили на пол, на этого другого, потом третьего и т. д. Упавшим не дают встать. Человек тридцать роются в куче, сплетаясь руками и ногами и тиская друг другу животы. Успевшие выбиться из кучи и встать на ноги стараются повалить других, еще не упавших на пол, и постоянно раздается в несколько голосов:

— Мала куча!

Не окончилась еще эта возня, как затеялась новая.

— Масло жать! — кричали из угла у печки.

Слышно, как толпа пробирается в угол, напирает и давит своею массою попавших к стене, при криках:

— Михалка, вали!

— Васенда, при!

— Работай, Шестиухая Чабря...

— Тисни, Хорь, тисни!

Попавшие к стене еле дышат, селятся выбиться наружу, а выбившись, в свою очередь жмут масло.

Но обе игры неожиданно прекратились... Раздался пронзительный, умоляющий вопль, который, однако, слышался не оттуда, где игралась «мала куча», и не оттуда, где «жали масло».

— Братцы, что это? братцы, оставьте!.. караул!..

Товарищи не сразу узнали, чей это голос... Кому-то зажали рот... вот повалили на пол... слышно только мычанье... Что там такое творится? Прошло минуты три мертвой тишины... потом ясно обозначился свист розог в воздухе и удары их по телу человека. Очевидно, кого-то секут. Сначала была мертвая тишина в классе, а потом едва слышный шепот:

— Десять... двадцать... тридцать...

Идет счет ударов.

— Сорок... пятьдесят...

— А-я-яй! — вырвался крик.

Теперь все узнали голос Семенова и поняли, в чем дело...

— Ты, сволочь, кусаться! — Это был голос Тавли.

— Ай, братцы, простите!.. не буду! ей-богу, не бу...

Ему опять зажали рот...

— Так и следует,— шептались в товариществе...

— Не фискаль вперед!..

Уже семьдесят...

Боже мой, наконец-то кончили!

Семенов рыдал сначала, не говоря ни слова... В классе было тихо, потому что всячески совершилось дело из ряда вон... Облегчившись несколько слезами, но все-таки не переставая рыдать, Семенов, потеряв всякий страх от обиды и позора, кричал на весь класс:

— Подлецы вы эдакие!.. Чтобы вам всем...— И при этом он прибавил непечатную брань.

— Полайся!

— Назло же расскажу все инспектору... про всех...

Неизвестно от кого он получил затрещину и опять зарыдал на весь класс благим воем. Некоторые захохотали, но многим было жутко... отчего? Потому что при подобных случаях товарищество возбуждалось сильно, отыскивало в потемках своих нелюбимцев и крепко било их.

Между тем рыдал Семенов. Невыразимая злость на обиду душила его; он в клочья разорвал чью-то попавшую под руку книгу, кусал свои пальцы, драл себя за волосы и не находил слов, какими бы следовало изругаться на чем свет стоит. Измученный, избитый, иссеченный, несколько раз в продолжение вечера оскорбленный и обиженный, он теперь совершенно одурел от горя. Жаль и страшно было слышать, как он шептал:

— Сбегу... сбегу... зарежусь... жить нельзя!..

Надобно честь отдать товарищам: большая часть, особенно первокурсные, в эту минуту сочувствовали горю Семенова. У некоторых были даже слезы на глазах — благо темно, не заметят. Второкурсные храбрились, но и на них напала тоска, смешанная со страхом. Все понимали, что такое дело даром не пройдет и что великого сеченья должна ожидать бурса. Тихо было в классе; лишь Семенов рыдал... Что-то злое было в его рыданиях... но вот они вдруг прекратились, и настала мертвая тишина.

— Что с ним? — спрашивали ученики.

— Не случилось ли беды?

— Да жив ли он?

— Братцы,— закричал Гороблагодатский, освиде-

тельствовав парту, на которой сидел Семенов,— он пошел жаловаться!

— Опять фискалить! — раздалось несколько голосов.

Расположение товарищей мгновенно переменялось; посыпалась на Семенова злая брань.

— Смотрите, не выдавать, ребята!

— Э, не репу сеять!..— слышались ответные голоса.

— А ты как же, Тавля?

— Я скажу, что хотел заступиться за него и в то время, как отдергивал от его рта чью-то руку, он и укусил мою.

— Молодец, Тавля.

Однако Тавля дрожал как осиновый лист.

— А что цензор будет говорить? Он должен донести, а то ему придется отвечать.

— А скажу, что меня не было в классе,— вот и все!

В это время раздался звонок, возвестивший час занятий. Отворилась дверь, и в комнату внесли лампу с трех рожках. От столбов полосами легли тени по классу, и осветились неуклюжие здоровенные парты, голые и ржавые стены, грязные окна, осветились угрюмым и неприветливым светом.

Второкурсные собрались на первых партах и вели совещания о текущих событиях. Начались занятия; но странно, несмотря на прежестокое розги учителей, по крайней мере человек сорок и не думали взяться за книжку. Иные надеялись получить в нотате хорошую отметку, подкупив аудитора взяткой; иные думали беспечно: «Авось-либо и так сойдет!», а человек пятнадцать, на задних партах, в Камчатке, ничего не боялись, зная, что учителя не тронут их: учителя давно махнули на них рукой, испытав на деле, что никакое сечение не заставит их учиться; эти счастливицы готовились к исключению и знать ничего не хотели. Ленъ была развита в высшей степени, а отсутствие всякой деятельности во время занятых часов заставляло ученика выработать этот элемент училищной жизни, который известен под именем школьничества, элемент, общий всякому воспитательному заведению, но который здесь, как и всё в бурсе, является в оригинальных формах.

Сидящие в Камчатке пользовались некоторыми привилегиями; на их шалости цензор, наблюдающий тишину и порядок, смотрел сквозь пальцы, лишь бы не шумели камчадалы. Пользуясь такими льготами, камчадалы раз-

влекались, как умели. Гришкец толкает Васенду и шепчет: «Следующему», Васенда толкает Карася, Карась Шестиухую Чабрю, передавая то же слово; этот передает дальнейшему, толчок переходит на другую парту, потом на третью и так перебирает всех учеников. Вон Комедо, объевшись, спит, а Хорь, нажевав бумаги, сделал комок, который называется *жевком*, и пустил его в лицо спящего товарища. Комедо проснулся и пишет к Хорю записку: «После занятия тебе я спину сломаю, потому что не приставай, если к тебе не пристаю», и опять засыпает. Записок много пересылается по комнате; в одной можно читать: «Дай ножичка или карандаша», в другой: «Эй, Рабыня! (прозвище ученика) я уж с тобой на матках в чехарду», в третьей: «Пришли, дружище, табачку понюшку, после, ей-богу, отдам»; а вот Хитонов получил безмянную ругательную записку: «Ты, Хитонов, рыжий, а рыжий-красный — человек опасный; рыжий-пламенный сожег дом каменный». Ответы и требуемые вещи идут по той же почте. Дети развлекаются по мере возможности. Многие корчат гримасы, ловят нос языком, косят глаза, плят рот пальцами, показывая искривленное лицо другим или рассматривая его в трехкопеечное зеркальце. Плюнь умеет корчить рожи на номера: он высунул язык в левую сторону, нос подпер пальцем к правой щеке, глаза выпучил, щеки отдул — это номер пятый. Всех номеров двенадцать. Аудитор, по прозванью Богиня, жует резину, третий день не выпуская ее изо рта; она скоро превратится в мягкую массу; потом надо надуть ее воздухом, сжать пальцами, вследствие чего образуется пузырек; пузырьком великовозрастный ударит себя по лбу и услышит легкий треск; чтобы насладиться таким счастьем, он работает усердно, не щадя своих челюстей, а когда устанет, то дает пожевать подавдиторному. Мямля сделал панораму из конфетных картинок и любит ее целый час и в сотый раз; у него же из билетиков от леденцов сделан оракул: по леденечным билетикам красны девицы гадают о женихах, а он — вспорют его завтра или нет. Сосед его сделал *пильщика*, то есть деревянную куклу с пилою, и, отыскав равновесие, поставил ее на краю парты и заставляет ее качаться. Чеснок зачихнул себе в нос нитку, под сильным вдыханием воздуха проводит ее в рот и, передергивая нитку взад и вперед, показывает эту штуку своему *закоперщику* (другу) Мямле. Один великовоз-

растный камчадал оттачивает перочинный нож и потом бреет верхнюю губу и щеки. Выбравшись, он начинает долбить в парте ящичек. Другой великовозрастный делает цепочку из сутуги. Третий великовозрастный свернул бумагу в тонкую трубочку и щекочет ею себе в носу; рожа его сморщилась, он чихнул громко, и ему весело. Двое камчадалов учатся иностранным языкам; один говорит: «Хер-я, хер-ни, хер-че, хер-го, хер-не, хер-зна, хер-ю, хер-к зав, хер-тро, хер-му»; следует лишь вставить после каждого слога «хер», и выйдет не по-русски, а *по херам*. Другой отвечает ему еще хитрее: «Ши-чего ни-цы, ши-йся не бо-цы», то есть «Ничего не бойся». Это опять не *по-русски*, а *по-шицы*; здесь слово делится на две половины, например: ро-зга, к последней прибавляется *ши*, и произносится она сначала, а к первой *цы*, и произносится она после; выходит *ши-зга ро-цы*. Пентюх на последней парте занимается типографским искусством: он слюнит кость на суставе пальца, прикладывает сустав на печатную букву в учебнике и потом вырывает ее; снявши букву с пальца, он переводит ее на бумагу; таким образом печатается какое-нибудь слово. Под последними партами улеглись на посланные на пол шубы человек пять и рассказывают сказки и побывальщины. На многих скучное, монотонное, без всякого содержания занятное время нагнало непобедимый сон; спят на пятой парте, спят на седьмой, спят на двенадцатой, спят под партами. Так камчатники и второкурсные, приготовившие уроки, проводят занятные часы. Веселая жизнь!

Но только записные, безнадежные лентяи, готовящиеся получить титулку, пользовались правом развлекаться в занятные часы. Кроме их, было еще много лентяев, кандидатов в камчадалы, но еще не камчадалов. Провождение времени этими учениками было еще бесцветнее. Они тоже развлекались по-своему, но так как им необходимо было притворяться, будто они дело делают, то и развлечения их были другие. Цапля со всеусердием пишет что-то; со стороны посмотреть, он прилежнейший ученик, а между тем он вот что делает: напишет цифру, под ней другую, потом умножит их; под произведением опять подпишет первую цифру, опять умножит числа и т. д., работает, желая узнать, что из этого выйдет. Поросля придавил глаз пальцем и любитесь, как перед ним двоятся и троятся предметы; потом, затыкая и оттыкая

уши, слушает жужжание и легкий говор в классе, как оно прерывающимися звуками отдается в его ушах; а не то он приставит ухо к парте и рассуждает, отчего это через дерево усиливается звук. Один первокурсный нащипывает себе руку, желая приучить ее хоть к тепленьким шипчикам. Другой завязал конец пальца ниткой и любит на затекшийся кровью палец. Третий насасывает руку до крови... Изобретают самые пустые и, кажется, неинтересные занятия, например, прислушиваются, как бьется пульс, заберут в легкие воздух и усиливаются как можно дольше удержать его в груди, задают себе задачу — не мигнуть ни разу, пока не сосчитают тысячу, собирают слюну во рту и потом выплевывают на пол, читают страницу сзади наперед и притом снизу вверх, положат натаскать из головы сотню волос и натаскают; кто болтает ногами, кто ковыряет в носу, перемигиваются, передают друг другу разные знаки, руками выделывают разные акробатические штуки... Иной сидит, положив голову на ладони, и смотрит в воздух беспредметно: он мечтает о матери, сестрах, о соседнем саде помещика, о пруде, в котором ловил карасей... и урок ему нейдет на ум. Некоторые, зажмурив глаза и стараясь попасть пальцем в палец, гадают, будет ли сечь завтра учитель или нет, и когда выходит — будет, то соображают, где бы взять денег в долг, чтобы подкупить аудитора, а за книжку и не думают братья. Иные сидят обессмыслившись и млеют в тоске неисходной, ожидая, скоро ли пройдут три узаконенных часа и ударит благодатный звонок, возвещающий ужин, тупо глядя на тускло горящую лампу. У этих бурсаков не хватает силы воли взяться за урок. Но что это значит? — спросит читатель. — Неужели интереснее читать страничку снизу вверх, как это делают некоторые для развлечения, нежели сверху вниз?.. Да пожалуй, что и интереснее. Недаром же сложилась в бурсе песня, которая говорит, что «блаженны народы, не ведающие наук», что нужно иметь «крепкую природу» для училищных «мук», что ученик, идя в класс, «воет», он «раб», его «терзают». Песня, переходящая от поколения к поколению, недаром сложилась.

Главное свойство педагогической системы в бурсе — это долбня, долбня ужасающая и мертвящая. Она проникла в кровь и кости ученика. Пропустить букву, переставить слово считалось преступлением. Ученики, сидя над книгой, повторяли без конца и без смысла: «Стыд

и срам, стыд и срам, стыд и срам... потом, потом... постигли, стигли, стигли... стыд и срам потом постигли...» Такая египетская работа продолжалась до тех пор, пока навеки нерушимо не запечатлевалось в голове ученика «стыд и срам». Сильно мучился воспитанник во время урока, так что учение здесь является физическим страданием, которое и выразилось в песне: «Сколь блаженны те народы». При глухой долбне замечательны в училищной науке возражения. Педагоги получали воспитание схоластическое, произошли всевозможную синекдоху и гиперболу, острием священной хрии вскормлены, воспитаны тою философией, которая учит, что «все люди смертны, Кай — человек, следовательно Кай смертен» или что «все люди бессмертны, Кай — человек, следовательно Кай бессмертен», что «душа соединяется с телом по однажды установленному закону», что «законы тождества и противоречия неукоснительно вытекают из нашего я или из нашего самосознания», что «где является свет, там уничтожается тьма», что «смирение есть источник всякого блага, а вольнодумство пагубно и зорно» и т. п. Они упражнялись в диалектике, разрешая такие, например, вопросы: «Может ли диавол согрешить?», «Сущность духа подлежит ли в загробной жизни мертвенному состоянию?», «Первородный грех содержит ли в себе, как в зародыше, грехи смертные, произвольные и невольные?», «Что чему предшествует: вера любви или любовью вере?» и т. п. Окончательно же окрепли их мозги в диспутах, когда они победоносно витийствовали на одну и ту же тему pro и contra ¹, смотря по тому, как прикажет начальство, причем пускались в дело все сто форм схоластических предложений, все роды и виды софизмов и паралогизмов. Еще во время детства у них явилось расположение разрешать: «Что такое сущность?», «Что такое целое?», «Спасется ли Сократ и другие благочестивые философы язычества или нет?», и им очень хотелось, чтобы нет. Особенно же любили учителя доказывать, что человек есть существо бессмертное, одаренное свободно-разумной душой, царь вселенной, — хотя странно, в действительной жизни они едва ли не обнаруживали того убеждения, что человек есть не более не менее, как бесперый петух. Все это слышалось в возражениях педагогов. Ученик до боли в висках напрягал голову, когда приходилось разрешать великие вопросы педагогов-фи-

¹ За и против (лат.).

лософов, но, к благополучию его, возражения давались редко и вообще считались ученою роскошью. Над всем царила всепоглощающая долбня... Что же удивительного, что такая наука поселяла только отвращение в ученике и что он скорее начнет играть в плевки или проденет из носу в рот нитку, нежели станет учить урок? Ученик, вступая в училище из-под родительского крова, скоро чувствовал, что с ним совершается что-то новое, никогда им не испытанное, как будто пред глазами его опускаются сети одна за другою, в бесконечном ряде, и мешают видеть предметы ясно; что голова его перестала действовать любознательно и смело и сделалась похожа на какой-то препарат, в котором стоитжать пружину — и вот рот раскрывается и начинает выкидывать слова, а в словах — удивительно! — нет мысли, как бывало прежде. Только ученики, соединившие в себе способность долбить со способностью отвечать на возражения, никогда не задумывались над уроком. Но для этого надо было родиться *башкой*. Бывали удивительные башки. Так, некто Светозаров выучил из латинского лексикона Розанова слова и фразы на четыре буквы; начав с «А, ab, abc», он отхватывал несколько печатных листов, не пропуская ни одного слова, и такой подвиг был предпринят единственно из любви к искусству. Но немногие были способны к училищным работам; большинству они давались трудно, и лишь розги заставляли заниматься. Вон Данило Песков, мальчик умный и прилежный, но решительно неспособный долбить слово в слово, просидев над книгой два часа с половиной, поводит помутившимися глазами... и что же?.. он видит, многие измучились еще более, чем он, многие еще доканчивают свою порцию из учебников, озабоченно вычитывая урок и подняв голову кверху, как пьющие куры. Иные чуть не плачут, потому что невысокий балл будет выставлен против их фамилии в ноте. Один, желая возбудить в себе энергию, треплет сам себя за волоса... Э, бедняга, хоть сам-то пожалей себя! брось ты книгу под парту либо наплюй в нее — все равно завтра твое тело будет страдать под лозами... ступай-ка, дружище, в Камчатку — там легче живется; а дельных знаний у камчатников, право, не меньше, нежели у самого закаленного башки. Ученик, взглядываясь в измученные долбнею лица товарищей, непольно спрашивает себя: «Зачем эти труды и страдания? к чему эта возня с утра до вечера над опротивевшим

учебником? разве мы не люди?» Среди таких размышлений выскочит без спросу, сам собою, кончик урока и простучит всеми словами в голове. Под конец занятия у прилежного ученика голова измается; в ней не слышно ни одной мысли, хотя и являются они, послушные сцеплению идей, как это бывает с человеком во сне. Невесела картина класса... Лица у всех скучные и апатические, а последние полчаса идут тихо, и, кажется, конца не будет занятию... Счастлив, кто уснуть сумел, сидя за партой: он и не заметил, как подойдет минута, возвещающая ужин.

Но вечер кончился очень занимательно. Минут за тридцать до звонка явился в классе Семенов. Бледный и дрожащий от волнения, вошел он в комнату и, потупясь, ни на кого не глядя, отправился на свое место. Занятная оживилась: все смотрели на него. Семенов чувствовал, что на него обращены сотни любопытных и злобных глаз, холодно было у него на душе, и замер он в каком-то окаменелом состоянии. Он ждал чего-то. Минуты через четыре снова отворилась дверь; среди холодного пара, ворвавшегося с улицы в комнату, показались четыре солдатские фигуры — служителя при училище: один из них был Захаренко, другой Кропченко — на них была обязанность сечь учеников; двое других, Цепка и Еловый, обыкновенно держали учеников за ноги и за голову во время сечения. Мертвая тишина настала в классе... Тавля побледнел и тяжело дышал. Скоро явился инспектор, огромного роста и мрачного вида. Все встали. Он, ни слова не говоря, прошелся по классу, по временам останавливаясь у парт, и ученик, около которого он останавливался, дрожал и трепетал всем телом... Наконец инспектор остановился около Тавли... Тавля готов был провалиться сквозь землю.

— К порогу! — сказал ему инспектор после некоторого молчания.

— Я... — хотел было оправдываться Тавля.

— К порогу! — крикнул инспектор.

— Я заступался за него... он не понял...

Инспектор был сильнее всякого бурсака. Он схватил Тавлю за волосы и дал ему трепку; потом наклонил его за волоса лбом к парте, а другой рукой, кулаком, ударил ему в спину, так что гул раздался от здорового удара по крепкой спине; потом, откинув Тавлю назад, инспектор закричал:

— К порогу!

Тавля после этого не смел рта разинуть. Он отправился к порогу, разделся медленно, лег на грязный пол голым брюхом; на плеча и ноги его сели Цепка и Еловый...

— Хорошенько его! — сказал инспектор.

Захаренко и Кропченко взмахнули с двух сторон лозами; лозы впились в тело Тавли, и он, дико крича, стал оправдываться, говоря, что он хотел заступиться за Семенова, а тот не понял, в чем дело, и укусил ему руку. Инспектор не обращал внимания на его вопли. Долго секли Тавлю и жестоко. Инспектор с сосредоточенной злобой ходил по классу, ни слова не говоря, а это был дурной признак: когда он кричал и ругался, тогда криком и руганью истощался гнев... Ученики шепотом считали число ударов и насчитали уже восемьдесят. Тавля все кричал «не виноват!», божился господом богом, клялся отцом и матерью под лозами. Гороблагодатский злобно смотрел то на инспектора, то на Семенова; Семенов не понимал сам себя: и тени наслаждения местью не было в его сердце, он почти трясся всем телом от предчувствия чего-то страшного, необъяснимого. Бог знает на что бы он согласился, чтобы только не секли Тавлю в эту минуту. Тавля вынес уже более ста ударов, голос его от крику начал хрипеть, но все он продолжал кричать: «Не виноват, ей-богу, не виноват... напрасно!» Но он должен был вынести полтора ста.

— Довольно, — сказал инспектор и прошелся по комнате. Все ожидали, что будет далее.

— Цензор! — сказал инспектор.

— Здесь, — отозвался цензор.

— Кто еще сек Семенова?

— Я не знаю... меня...

— Что? — крикнул грозно инспектор.

— Меня не было в классе...

— А, тебя не было, скот эдакой, в классе!.. Завтра буду сечь десятого, а начну с тебя... И тебя отпорю, — сказал он Гороблагодатскому, — и тебя, — сказал он Хорю. Потом инспектор указал еще на несколько лиц. Гороблагодатский грубовато ответил:

— Я не виноват ни в чем...

— Ты всегда виноват, подлец ты эдакой, и каждую минуту тебя драть следует...

— Я не виноват, — ответил резко Гороблагодатский.

— Ты грубить еще вздумал, скотина? — закричал инспектор с яростью.

Гороблагодатский замолчал, но все-таки, стиснув зубы, взглянул с ненавистью на инспектора...

Выругав весь класс, инспектор отправился домой. На товарищество напал панический страх. В училище бывали случаи, что не только секли десятого, но секли поголовно весь класс. Никто не мог сказать наверное, будут его завтра сечь или нет. Лица вытянулись; некоторые были бледны; двое городских тихонько от товарищей плакали: что, если по счету придешься в списке инспектора десятым?.. Только Гороблагодатский проворчал: «Не репу сеять!», и остервенился в душе своей, и с наслаждением смотрел на Тавлю, который не мог ни стать, ни сесть после экзекуции. Гороблагодатский намеревался идти к Семенову и избить его окончательно; он уже сказал себе: «Семь бед — один ответ»; но вдруг лицо его озарилось новой мыслью, он злорадно усмехнулся и проговорил:

— *Пфимфа!*

Семенов совершенно замер... Он был в том состоянии, когда человек чувствует, что над ним поднят кулак, готовый упасть на его темя каждую минуту, и он каждую минуту ждет удара тяжелого. Он был точно стиснут и сдавлен со всех сторон... дышать почти нельзя... Черти, черти! какие минуты приходилось переживать бурсаку...

— Пфимфа! — сказал Гороблагодатский, подходя к цензору, и стали они шептаться...

Ударил звонок к ужину. Сердца несколько повеселели...

— Становись в пары! — закричал цензор...

Минуты через две ученики отправились в столовую и, пропевши в пятьсот голосов «Отче наш», принялись за скудную пищу... Когда толпа обратно валила из столовой, цензор подошел к Бенелявдову и повторил загадочное слово:

— Пфимфа!

— Следует! — ответил Бенелявдов.

.
Уже в обители священной
Привратник запер крепко вход,
И схимник в келье единенной
На сон грядущий *preces*¹ четет...
Морфей на город сыплет маки,
Заснул народ мастеровой;

¹ Молитвы (лат.).

Одни не дремлют лишь собаки,
Да кой-где вскрикнет часовой...
Вторично петухи кричали...
Был ночи час; все крепко спали...

Так «Семинариада» описывает ночь...

Во втором этаже, по правую руку огромного училищного двора, помещаются 6, 7, 8, 9 и 10-й номера спален. Эти спальни соединены между собою. Задний отдел трех номеров носил название *Сапога*. Это были спальни своекоштных; поэтому утром и вечером, особенно в первые недели после больших праздников, в Сапоге и других двух комнатах открывался чисто обжорный ряд. Сюда стекалось все училище; ученики толпами переходили от одной кровати к другой; из-под кроватей, числом до двухсот в этих номерах, выдвигались сундуки, наполненные, кроме книг, разными съестными припасами. С дома, особенно с деревень, привозились в запас огромные белые хлеба, масло, толокно, грибы в сметане, моченые яблоки. От этих припасов отделялись особого рода запахи и наполняли собою воздух; с этими запахами мешались нецензурные миазмы; от стен, промерзавших зимою в сильные морозы насквозь, несла сырость, сальные свечи в шандалах делали атмосферу горькою и едкою, и ко всему этому надо прибавить, что в углу у дверей стоял огромный ушат, наполненный до половины какою-то жидкостью и заменявший место нечистот. К такой ядовитой атмосфере должен был привыкать ученик, и поверит ли кто, что большинство, живя в зараженном воздухе, утрачивало наконец способность чувствовать отвращение к нему!.. Другая беда — холод был для ученика более невыносим. Начальство печей не топило по неделе; ученики воровали дрова, но это не всегда случалось, и товарищество, ложась под холодные одеяла, должно было покрываться своими шубами и шинелями. Огромные комнаты спален, со столбами посреди, как и в классах, слабо освещались, и темные тени ложились полосами по кроватям. Ученики храпели и бредили; некоторые во сне скрипели зубами

Доскажем последние события зимнего вечера в бурсе. Из комнат Сапога неожиданно появилась фигура и отправилась в угол девятого номера, там поднялись еще две фигуры... Между ними начались совещания.

— У тебя пфимфа? — спрашивал один.

— У меня.

— Давай сюда.

Все три фигуры отправились в угол и там остановились около кровати Семенова... Один из участников держал в руках сверток бумаги в виде конуса, набитый хлопчаткою. Это и была пфимфа, одно из варварских изобретений бурсы. Державший пфимфу босыми ногами подкрался к Семенову. Он зажег вату с широкого отверстия свертка, а узким осторожно вставил в нос Семенову. Семенов было сделал во сне движение, но державший пфимфу сильно дунул в горящую вату; густая струя серного дыму охватила мозги Семенова; он застонал в беспомощности. После второго, еще сильнее дуновения он соскочил, как сумасшедший. Он усиливался крикнуть, но вся внутренность его груди была обожжена и прокопчена дымом. Задышавшись, он упал на кровать. Участники этого инквизиторского дела тотчас же скрылись. Слышалось глубокое храпенье Семенова, прерываемое тяжкими стонами. На другой день его заперли в больницу. Доктор понять не мог, что такое случилось с Семеновым, а когда сам Семенов почувствовался и получил способность говорить, то оказалось, что он сам не помнит, что с ним было. Начальство подозревало, что враги Семенова что-нибудь да сделали с ним, но разыскать ничего не могло. На другой день были многие пересечены в училище, и многие напрасно...

1862

БУРСАЦКИЕ ТИПЫ

О черк второй

Три часа утра. В спальне, именуемой *Сапог*, все покоем. Слышится храп и легкий бред; некоторые скрипят во сне зубами, чего терпеть не могли бурсаки и за что нередко набивали рот скрипевшего золою с целью отучить от дурной привычки; иные стонут от прилившей крови к голове и груди, а завтра рассказывать будут, как их домовый душил. Только после усиленного взглядывания в мрак, наполняющий воздух *Сапога*, можно рассмотреть множество бурсацких тел, брошенных на кровати и покрытых поверх одеял шубами, халатами, накидками и обносками разного рода.

В углу кто-то поднялся и на босую ногу, крадучись осторожно, начал обходить кровати. Он останавливался изредка там и сям и потом продолжал путь далее. Это был училищный вор, знаменитый некогда Аксютка. Один спящий юноша был покрыт волчьей шубой. В той шубе много было паразитов, которые наконец доняли бурсака. Он разбросался, шуба свесилась на пол, одной лишь половиной покрывая спящего. Аксютка наклонился к изголовью товарища, отыскал ворот шубы и, сдернув ее с бурсака в один миг, мгновенно скрылся. Искусанное тело окраденного горело огнем, прохладный воздух освежил его, и он благодаря Аксютке уснул сладко и спокойно. Аксютка между тем успел запрятать шубу впредь до распоряжения ею, после чего отправился в свой угол, где и заснул невинным сном праведника.

Четыре часа. Вошел Захаренко. (На нем, кроме обязанности сечь учеников, лежала еще обязанность будить их и возвещать колокольчиком начало и конец классов.) Он, проходя по рядам между кроватями, звонил яро над головами спящих направо и налево.

Ученики вскакивали, чесали бока и *овчину* на голове, отплевывались, зевали или крестили рты; иные тупо глядели, не понимая сразу, зачем их будят в такую рань, и опять тяжело падали на постели.

— В баню! в баню! — провозглашал Захаренко.

— Эй, вы!.. И-го-го-го! — загреготал кто-то.

В баню пускали по утрам раным-раненько. Срам было днем выпустить в город эту массу бурсаков, точно сволочь Петра Амьенского, грязных, истасканных, в разнородной одежде, никогда не ходивших скромно, но всегда с нахальством, присвистом и греготом, стремящихся рассыпать скандалы на всю окрестность. В продолжение всей истории училищной жизни только и был один случай, когда днем отпустили бурсаков в баню, но после начальство долго раскаивалось в своем распоряжении. Но об этом после.

— Живо! — крикнул спальный старший.

— Подымайся! — кто-то заревел неистовым, раздражающим уши и душу голосом.

— Грешные тела мыть! — отвечали еще неистовее.

Спальня Сапога наполнилась шумом. Скоро и охотно одевались бурсаки, потому что баня для учеников была чем-то вроде праздника. Выдвигаются сундуки; у кого есть чистое белье, связывают узлы; у кого есть деньжонки, запасаются грошами; всем весело, потому что хоть

раз в две недели бурсаки подышат свежим воздухом и увидят иные, не казенные лица, а главное — день бани для бурсака был днем разнообразных промыслов и похождений.

— В пары! — командовал старший.

Установились в пары.

— Марш!

Длинной вереницей отправились из спальни Сапога. На лестнице они повстречали еще своекоштных, к хвосту их пристали еще несколько номеров; у ворот их ожидали номера казенных учеников. Только городские остались в училище. Они ходили в баню дома, по субботам. Во главе ополчения стоял *Еловый*, солдат из училищной прислуги. Ему было поручено от начальства наблюдать порядок и тишину. Понятно, что порядку и тишины не могло быть под надзором такого педагога, как солдат Еловый. Огромной змеей извивались по мосткам пар двести с лишком, заворачивая из училищных ворот на монастырский двор. Гвалт, смех и неприличные остроты потрясли воздух святыни. Схимник *в келье единенной*, слыша гуденье и шум мирской, усерднее и теплее стал молиться о грехах людского рода.

Ученикам повстречался рыжий монастырский сторож, до безобразия огромного роста. Сторож редко упускал случай посмеяться над бурсаками, когда бурсаки шли в баню либо по праздникам в город. Ученики насолили чем-то ему.

— А, вот и вшивая команда! — сказал он проходившим мимо него ученикам.

— Блином подавился! — отвечали ему.

Ученикам известно было, что сторож однажды на масленице, не сходя с места, съел семьдесят три блина и выпил четверть ведра *сиводеру*, то есть водки.

— Отчего это леса вздоржали? — спрашивал сторож.

— Тебе блины пекли.

— Черти! на порку вам пошло!

— Рыжий, да ты никак на коне? Али вправду такой длинный?

— Златорунный!

— Веха!

— Каланча!

На сторожа градом сыпались насмешки. Где ж одному человеку переговорить более двухсот крепко острящих бурсаков? Он едва успел вставить свое слово:

— Слышь, паршивая команда, не воровать на базаре! В него *Сатана* пустил ком грязи. Сторож стал лаять на чем свет стоит.

Когда проходили последние пар семьдесят, затеялась оркестрованная брань.

— Блин, блин, блин! — запел кто-то.

Сторож не знал, что предпринять; голосу его не было слышно. Когда мимо его прошли все, когда слово *блин* раздавалось далеко, он крикнул вслед утекающей бурсы:

— Сволочь отпетая! Всех вас перепороть следует! Издалека откуда-то едва слышно донеслось:

— Бли-и-и!

Сторож плюнул; ударили в колокол, он перекрестился набожно и пошел к утрени.

Бурса двигалась, большинство правым плечом вперед, по базару. Город спал еще. Бурсаки рассыпали целую серию скандалов. Собаки, которых такое обилие в наших святорусских городах, ищут спозаранку, чем бы напитать свое животное чрево; бурсак не упустит случая и непременно метнет в собаку камнем. Шествие их знаменуется порчею разных предметов, без всякого смысла и пользы для себя, а просто из эстетического наслаждения разрушать и пакостить. Вон *Мехалка* раскачал тумбу, выдернул ее из земли и бросил на середину улицы. Хохоchet животное. Идут ученики мимо дома с окнами в нижнем этаже и барабанят в рамы, нарушая мирный сон горожан. Старушка плетется куда-то и, повстречавшись с бурсой, крестится, спешит на другую сторону улицы и шепчет:

— Господи! да это никак бурса тронулась!

Хорошо, что она догадалась перейти на другую сторону, а то нашлись бы охотники сделать ей *смазь*, и *верховую*, и *боковую*, и *всеобщую*.

Едет ломовой извозчик. Аксютка пресерьезно обратился к нему:

— Дядя, а дядя!

— Чаво тебе? — отвечал тот благодушно.

— А зачем, братец, ты гужи-то съел?

Крючники, лабазники и ломовой народ терпеть не могут, когда их обзывают гужедами.

— Рукавицей закусил! — прибавил кто-то.

Мужик озлился и загнул им крутую брань.

Когда шлн по берегу реки, на которой уже стояли весенние суда, *Сатана* сделал предложение:

— Господа, крикните «посматривай!»

— Начинай!

Сатана начал, и вслед за ним пастей в сорок раздалось над рекой: «Посматривай!»

На барках мужики с переполоху повскакали, не понимая, что бы значил такой громадный крик. Когда они разобрались, в чем дело, начали ругаться; слышалось даже:

— Эх, ребята, в колье их!

На это им ответом было:

— Тупорылые! Аншпуг съели!

— Посматривай! — хватили бурсаки что есть силы.

Над рекой повисла крепкая ругань.

Наконец под предводительством солдата-педагога Елового ученики добрались и до торговых бань. Пары остановились. Еловый у двери пропускал по паре, выдавая казеннокоштным по миньютюрному кусочку мыла. Своёкоштным не полагалось. Затем пары отправлялись в предбанник, по дороге покупая веник и мочалку, потому что ни того, ни другого казна не давала ученикам. Пары бегом бежали одна за другой, бросаясь в двери предбанника. В дверях была давка: всякий спешил захватить шайку, которых не хватало по крайней мере для третьей части учеников, вследствие чего они должны были сидеть около часу, дожидаясь, пока кто-нибудь не освободится. При этом Аксютка с Сатаной, разумеется, были с шайками. Чрез четверть часа баня наполнилась народом, огласившим воздух бесшабашным гвалтом. Негде было яблоку упасть; все скамейки заняты; иные сидят на полу, иные забрались в ящики, устраиваемые для одежды моющихся. Старшие, цензора и прочие власти занимают отдельную, довольно чистенькую комнатку, назначаемую содержанием для лиц почетных. Дети, потешаясь, хлещут друг друга ладонями по голому телу. Большинство отправилось в паровую баню. Бурсаки страстно любят париться. Полок брали приступом; изредка слышались затрещины, которых бурсак вкушает при всяком случае достаточное количество. Тавля стащил кого-то за волоса *со своего*, как он говорил, места.

— Катька! — кричит Тавля.

— Что? — отвечает тот подобострастно.

— Поддай еще!

— Не надо, — отвечают голоса.

— Я вам дам не надо!

— А в *рождество* (лицо) хочешь?

Это был голос Бенелявдова. С ним Тавля не стал разговаривать. Он опять кричит:

— Катька! встань предо мной, как лист перед травой!

Катька явился.

— Окати меня.

Окатил.

— Парь меня!

Катька парит его. Тавля от удовольствия страшно грегочет.

На полке продолжалась возня; стонут, грегочут, визг с присвистом и хлест горячего березняка. Вот пробирается несчастный *Лягва*. Он был пария бурсы. У Лягвы какое-то скверное, точно гнилое лицо, в пятнах, рябое; про это лицо бурсаки говорнили, что на нем ножи точить можно. Куда он ни приходил, воздух делался противным и вредным для легких, потому что этот запах у него был и за пазухой, и на спине, и в карманах, и в волосах. Это несчастное существо, право, кажется, перестало быть человеком, было просто живое и ходячее тело человечье. Проклятая бурса сгноила Лягву, буквально сгноила Лягву. Товарищи не то чтобы ненавидели его, а чувствовали к нему отвращение, и даже редко кто находил удовольствие обижать его. Не поверят, что из пятисот человек в продолжение восьми лет не нашлось никого, кто бы решился не только дать ему руку, но и сказать ласковое слово. Не только ученики его презирали, но даже начальство и прислуга. Мы сказали, что бурса сгноила его тело: это в собственном смысле надо понимать. Он должен был по приговору начальства и товарищества жить и ночевать в спальне, которая была отведена для таких же, как он, отторженников бурсы, двенадцати человек. Дело в том, что были ученики, страдавшие известною болезнью, которая в детском возрасте не составляет еще болезни, а зависит от неразвитости организма. Никто о них не заботился, не лечил. Бурсацкая казна не купила для них даже клеенки, чтобы предохранить тюфяки от сырости и гнили; вместо этого страдавших этой болезнью имели обыкновение в училище сечь голенищами. Честное слово, что в тюфяках заводились черви, и несчастные должны были спать чисто на гноищах. Спросят, отчего же эти ученики сами себя не жалели и не просушивали своих тюфяков по утрам? Попадая в каторжный номер, в котором приходилось дышать положительно зараженным, ядо-

витым воздухом, ощущать под своим телом ежедневно рой червей, быть в презрении у всех, — они делались до цинизма неопрятны и вполне равнодушны к своей личности; они сами себя презирали. Вот факт: Лягва дошел до того, что глотал мух и других насекомых, съел однажды лист бумаги, вымазанный деревянным маслом, ел сальные огарки.

Лягва уныло шатался по бане, высматривал, где бы добыть шайку. Он подошел к Хорю, тоскливо и каким-то дряблым голосом проговорил:

— Дай щечки, когда вымоешься.

Нищий второуздного класса Хорь даже по отношению к Лягве сумел выдержать роль нищего. Он отвечал:

— Три копейки, так дам.

— У меня самого только две.

— Давай их.

— Что же у меня останется?

— Ну, давай пять пар костяшек.

— У меня их нет.

— Убирайся же к черту, *fraterculus* (братец)!

Он подошел к Сатане, которому, кроме этого, было другое прозвище: *Ipse* (сам). Его никогда не звали собственным именем, и мы не будем звать его. Черти, смотря по тому, к какой нации они принадлежат, бывают разного рода. Есть черт немецкий, черт английский, черт французский и проч. Он ни на одного из них не походит. *Ipse* был даже и не русский черт; наш национальный бес честен, весел и отчасти глуповат: так он представляется в народных сказках и легендах. *Ipse* был черт-самородок, дух того ада, которому имя бурса. В качестве черта он и служил такому человеку, каков вор Аксютка. Его прозвали Сатаной за его характерец. В училище существовал нелепый обычай *дразнить* товарищей, особенно новичков. Я сейчас объясню, что это значит. Соглашались трое или четверо подразнить кого-нибудь. Они приставали к своей жертве. Сначала насмехались над ней и ругали ее, потом начинались пощипыванья, наконец дело кончалось швычками, смазьями, плюходействием. Задача таких невинных развлечений состояла в том, чтобы довести свою жертву до бешенства и слез. Когда цель достигалась, мучители с хохотом бросали свою жертву, которую часто доводили до самозабвения и остервенения; так *Asinus* (осел) прошиб кочергой голову *Идола*, который вывел его из себя. В такого рода потехах всегда

принимал деятельное участие Сатана; вряд ли был другой мастер дразнить, как Ipse. Он решался раздражать даже тех, кто был сильнее его. Назойливее, неотвязчивее Сатаны трудно себе представить что-нибудь. Иногда он систематически привязывался с утра до вечера, в продолжение грех дней и более, не давая ни на минуту покоя. Его часто бивали, и жестоко, но ему все было нипочем. Он был какой-то околоченный, деревянный. Только Аксютка мог укрощать его, но и то потому, что Сатана благоговел перед бурсацким гением Аксютки.

К такого рода господину обратился с просьбою о шайке Лягва.

— *А вывернись!* — отвечал ему Сатана.

— Мне не вывернуться.

— Волоса ведь мокрые?

— Я не окачивался.

— Окатись! вот и шайку дам.

— Нет, не могу.

Лягва встал в раздумье, не зная, вывернуться или нет. Когда предлагали *вывернуться*, то ученик подставлял свои волоса, которые партнер и забирал в пясть. Ученик должен был высвободить свои волоса. Державший за волоса имел право запустить свою пятерню только раз в голову товарища, и когда мало-помалу освобождались волоса, он не имел права углубляться в них вторично. Мокрые волоса многие вывертывали очень ловко. Впрочем, бывали артисты, которые решались вывертываться и с сухими волосами: к числу таких принадлежал сам Сатана. Ipse, видя, что Лягва не решается, сказал:

— Ну ладно, подожди, только вымоюсь.

— Вот спасибо-то! — отвечал Лягва радостно.

Он носил воду Сатане, окачивал его, стараясь выслужиться и получить шайку; наконец Сатана вымылся, и Лягва с радостным выражением лица протянул руку к шайке.

— Эй, ребята! — закричал Сатана.

— Что же ты, Ipse?

Но голос Лягвы вопиял, как в пустыне. Человек пятнадцать налетело на призыв Сатаны.

— На шарап!

Сатана покатиł шайку по скользкому полу. Все бросились на нее самым хищным образом.

Толкотня, шум, ругань и затрещины.

Наконец, когда вымылись многие, шаек освободилось

достаточное количество. Лягва добыл шайку и начал с ожесточением намыливать голову, но лишь только волосы его и лицо покрылись густой пеной мыла, как Сатана, вернувшийся зачем-то в баню, вырвал у него шайку и сделал ему смазь всеобщую. Лягва в испуге раскрыл широко глаза, пена пробралась за ресницы, и он ощутил в них едкое щипанье, но делать было нечего; прищуриваясь и протирая глаза, он добрался кое-как до крана и промыл здесь их.

Между тем многие уже вымылись; сделалось гораздо тише в бане, хотя и слышны были иногда греготанье, брань и проч., что читатель, ознакомься несколько с бытом бурсы, сам уже может вообразить себе.

Перейдемте в предбанник. Гардеробщик выдавал казенным белье. Ученики отправлялись в училище не парами, а кто успел вымыться, тот и убирался восвояси.

Вот тут-то и наступал праздник бурсы.

— Теперь, дедушка, следует *двинуть от всех скорбей*,— говорил Бенелявдов Гороблагодатскому.

— То есть *столбуху* водки, я же паче всякого глаголемого бога или чтилища?

— В Зеленецкий (кабак) *дерганем*.

— Только вот что: первая перемена Долбежина.

— Так что же?

— Заметит — *отчехвостит* (высечет).

— С какой стати он заметит?

— Развезет после бани-то натошак.

— А мы сначала потрескаем, а потом разопьем одну лишь *штофендию*.

— А, была не была, идет!

— Так *наяривай* (действуй), живо!

При банях всегда бывают торговцы, которые продают сбитень, молоко, кислые щи, квас, булки, сайки, кренделя и пряники. Здесь идет великое столованье. Человек двадцать едят и пьют. Второкурсные бесстыдно, а напротив — важно и с сознанием своего достоинства, пожирают и пьют чужое. Докрасна распаренные лица бурсаков дышат наслаждением. Нищий второуздного класса Хорь шатается между гостями и, по обыкновению, *кальячит*. Ему сегодня везет: там ему отщипнут кусочек булки, здесь он просит: «Дай, голубчик, разок хлебнуть» — и ему дают благосклонно, после чего датель продолжает пить из того же стакана. Только аристократы заседают в трактире, виноторговле или кабаке, смо-

тря по вкусу и расположению духа. Огромное большинство не может полакомиться и двухгрошовым стаканом сбитня или полуторакоепечною булкой. Оно смотрит с завистью и жадностью на угощающихся, особенно на второкурсных, и щелкает зубами. Из этого большинства выделилась довольно большая масса учеников, которые не останавливались глазеть около лавочки предбанника или *кальячить*, а отправлялись на промысел, высматривая по улицам и базару, нельзя ли где-нибудь что-либо стянуть. Аксютка, однако, успел стащить сайку в лавочке же.

Шли кучками и в разбивку ученики. В эти минуты вся торговля окрест трепетала. Надобно заметить характеристическую черту бурсацкой морали: воровство считалось предосудительным только относительно товарищества. Было три сферы, которые по нравственному отношению к ним бурсака были совершенно отличны одна от другой. Первая сфера — товарищество, вторая — общество, то есть все, что было вне стен училищных, за воротами его: здесь воровство и скандалы одобрялись бурсацкой коммуной, особенно когда дело велось хитро, ловко и остроумно. Но в таких отношениях к обществу не было злости или мести; позволялось красть только съедобное: поэтому обокрасть лавочника, разносчика, сидельца уличного — ничего, а украсть, хоть бы на стороне, деньги, одежду и тому подобное считалось и в самом товариществе мерзостью. Третья сфера — начальство: ученики гадили ему злорадно и с местию. Так сложилась бурсацкая этика. Теперь понятно, отчего это, когда Аксютка стянул сайку, никто из видевших его товарищей не оставил его: то было бы в глазах бурсы фискальством. Теперь также понятно, отчего это в бурсацком языке так много самобытных фраз и речений, выражающих понятие кражи: вот откуда все эти *сбондили, сляпсили, сперли, стибрили, объегорили* и тому подобные.

Наши герои и пошли бондить, ляпсить, переть, тибрить, объегоривать.

Главными героями были Аксютка и Сатана — *единный* и как бы *единственный* (выражение из одного нелепого, варварским языком изложенного учебника бурсы).

— Сатана!

— Что тебе?

— *Ipse!* — крикнул Аксютка. .

— Да что тебе?

— Потирай руки!

— Значит, на *левую ногу можно обделать* (надуть кого-нибудь, украсть)?

— Уж ты помалчивай.

— *Купим на пятак, сожрем на четвертак!*

— Вот тебе гривенник,— сказал Аксютка.

— Что расщедрился вдруг?

— Пойдем в мелочную: видишь, отворена уж. Ты торгуйся, да, смотри, по мелочам; муки, скажи, для приболтки в суп, на *кипеечку* (копеечку), цикорьицы на грош, перечку на кипеечку, лучку на грош, клею на кипеечку, махорки на грош, леденчиков и постного маслица уже на две.

— Во что же масла-то брать?

— Да ты Сатана ли? Ты ли мой любезный Ipse?

Аксютка сделал ему смазь всеобщую. Сатана не рассердился на него, предвидя поживу. Он только, по обыновению, сделал из фалд нанкового сюртука хвост и описал им три круга в воздухе, приговаривая:

— Я Ipse.

Аксютка стал объяснять ему:

— По мелочам будешь брать, дольше времени пройдет. Когда спросишь маслица, скажи, что забыл дома бутылочку, и не отставай, проси посудинки.

— *Облапошим!* Аксен, ты умнее Сатаны!

— Ты должен звать меня: Аксен Иваныч.

Сатане была пожалована при этом смазь. Сатана вытянулся во фронт, сделал себе на голове пальцами рожки, сделал на своей широкой роже смазь *вселенскую* и в заключении вернул хвостом трижды. Прозвали его Сатаной; и недаром: как есть сатана, с хвостом и рогами.

План их вполне удался. У Аксютки через четверть часа оказалось краденого: две булки, банка малинового варенья, краюха полубелого хлеба и десятка два картофеля. Ноздри Аксютки раздувались, как маленькие паруса,— всегдашний признак того, что он либо хочет украсть, либо украл уже.

— Теперь, *скакая играше веселыми ногами, в кабачару!* — скомандовал невинный мальчик Аксюша.

Другое невинное дитя, мальчик Ipse, скорчил рожу на номер седьмой, на которой выразились радость и одобрение.

— Знаешь, что я *отмочил?*

— Что?

— Наплевал в кадушку с капустой.

— И-го-го-го! — заржало *сатанинское* горло.

Училищный и уличный тать Аксютка был человек необыкновенный, талантливый, человек сильной воли и крепкого ума, но его сгубила бурса (впрочем, отчасти и домашнее воспитание), как она сгубила сотни и сотни несчастных людей. В самой системе и характере его воровства сказалась сильная натура, — сильная, но погибшая нравственно. Он воровал артистически. Этот каторгорожденный не мог стянуть без того, чтобы зло не подшутить над тем, у кого он крал. Когда он забирался в сундук, *ляпсил* булку, *тибрил* бумагу, *бондил* книгу и проч., — где бы другому бежать, а он не то: он сходит за камнями или грязью и накладет их в сундук вместо краденого. Иные, зная его как вора и желая задобрить (случается, у нас и не в бурсе задобривают воров, чтоб они не нагадили), приходили к нему с приношениями, но он отказывался от приношений, играя роль честного человека, которого оскорбляет взятка. Вот пример. Прислали из деревни одному ученику мешочек толокна. Он знал, что Аксютка видел присылку, и был вполне убежден, что Аксютка украдет толокно; поэтому ученик забежал к Аксютке с акциденцией, предлагая ему около двух горстей толокна. Аксютка сказал: «Я не могу есть толокна». А у самого ноздри поднялись и опустились. Аксютка пожелал сыграть остроумно-воровскую штуку. Когда успокоенный товарищ задвинул в парту мешок с толокном, Аксютка подкрался легче, нежели блоха скачет по полу, под парту *толоконника* и выкрал мешок. Сряду же после этого он подошел к *толоконнику* и умиляющим голосом сказал ему: «Братец, ты обещал мне толокнца, так дай». Тот полез в парту; толокна не оказалось. Аксютка обругал его, сказав: «Свинья! обещал, а не даешь; я за это тебе отплачу!» — отвернулся; ноздри его раздувались, как паруса, а на роже отсвечивалось сознание своей силы в воровстве. Через полчаса он подошел к окраденному им товарищу и сказал: «Не хочешь ли толокнца?» Аксютка держал на ладони толокно. «Это мое?» — «Нет, мне самому мамаша прислала». — «Скотина, ведь у тебя и матери-то нет!» — «Я говорю про крестную мамашу». Таков был Аксютка. Особенно он был искусник *меняться ножами*. Здесь мы опишем еще один характеристический обычай бурсы. Обыкновенно кто-нибудь кричал: «С кем ножичками

меняться?» Когда выискивался охотник на мену, тогда между ними начиналась следующая проделка. Оба они выставляли напоказ друг другу только концы ножей; тогда следовало угадать, стоит ли решаться на мену, чтобы вместо хорошего ножа не пришлось получить дурной. Вот в этом-то деле был особенно искусен Аксютка.

Мы убеждены, что его участь — каторга. По исключении из училища он сначала поселился на постоялом дворе, где за три копейки суточного жалованья, при ночлеге и харчах хозяйских, он рубил капусту, таскал дрова, топил печи, месил хлебы и тому подобное. Но ему скоро наскучил честный труд, он обокрал своего хозяина и утек от него. После того его встречали один раз в подряснике, другой — в тулупе, третий раз во фраке, — словом, он из училищного вора сделался всесветным мошенником. Напрактиковавшись в *девятой школе* (так древними бурсаками называлась школа жизненного опыта, которая следовала за восьмнклассным обучением в бурсе), он поступил на службу в качестве дьячка, но скоро за пьянство и буйство (он расшнб стекла у городничего) был сослан на тяжелую работу в какой-то бедный монастырь. Выдержав курс церковного покаяния, Аксютка поступил в соборный хор певчим, но его протурили оттуда едва ли не за разбой. Аксютка при этом должен был переменить духовное звание на мещанское. Самое важное дело Аксютки то, что он хотел зарезать бывшего своего благочинного. По этому делу он был оставлен в подозрении. Страшен этот человек, но наперед можно сказать, что ему осталась одна торная дорога — Владимировка, по которой идут сотни наших каторжников, и посреди этих сотен Аксютка будет один из самых отпетых.

Теперь мы будем продолжать о других.

Хищная бурса рассыпалась повсюду.

Старая оборванная баба, бывшая некогда камелией низшего сорта, которых прозвище — ночные крысы, торгует для поддержания своего дряхлого тела ободранными лимонами, растрескавшимися, как сухая глина, пряниками, серо-пегими булками и другим неудобоваримым отребьем. Когда она завидела возвращавшуюся домой бурсу, то, как мать, защищая свое детище от волка, она прикрыла гнилое сухоястие грязной тряпицей и дырявым передником.

Ее однажды обокрали, но теперь бурсакам не удалось утащить ни одной черствой булки из-под вретнищи

отживающей женщины. Бурсаки на этот раз ограничились одной лишь бранью с несчастной женщиной.

В другом месте промыслы учеников были удачны.

Саепёки открыли длинное и широкое окно. На досках дышат легким паром только что испеченные сайки. Хотя зоркий воровской глаз бурсаков сразу же заметил, что тут трудно было пожить, но ученики все-таки обнюхивают местность и вот с радостью делают открытие, что в другом отделении саечной пекарни на досках разложено сырое тесто. Саепёки не ожидали нападения с этого пункта и не защищали его от воров. Бурсаки, под предводительством хищного Хорька, прокрались в пекарню и стали хватать тесто, торопливо пряча его в карманы сюртуков и брюк. Едва они слышали шаги саепеков, мгновенно скрылись, и через минуту их не было даже на базаре. Спросят, к чему бы ученикам нужно было сырое тесто: неужели они съедят его сырым? Нет, они ухитрятся спечь его на вьюшках в трубах поутру топленных печей, и хотя оно выйдет с сажей — ничего! бурсаку и то на руку.

Теперь расскажем еще событие.

Трое великовозрастных зашли по дороге к певчому, своему исключенному товарищу. Певчого нашли они лежащего на постеле и страдающего похмельем. К нему в то время должен был зайти сапожник, затем чтобы получить с него долгу три рубля. Певчий накануне того дня с клятвою и божбою обещался ему заплатить непременно, но из запасных денег у певца осталось около половины.

— Что, братцы, делать? — вскричал встревоженный певчий.

— Живо сюда! — отвечал ему один из великовозрастных.

— А что?

— *Объегорим.* Ложись сейчас на стол.

— Зачем?

— Не разговаривай, а ложись.

Поставили стол в переднем углу, под образами. Певчий улегся на стол, в головах его зажгли восковую свечку, покрыли его белой простыней; один великовозрастный взял псалтырь, подошел к певчому и сказал ему:

— Умри!

Тот притворился мертвым. Бурсак стал читать над ним псалтырь, как над покойником, скорчив великопостную харю.

Вошел сапожник и, услышав монотонное чтение, понял, что в доме есть мертвый. Он набожно перекрестился.

— Кто это? — спросил он.

— Товарищ, — отвечали ему печально.

— Который это?

— Барсук.

Сапожник сначала почесал в затылке, подумав про себя: «Эх, пропали мои денежки!», но потом умилился духом и сказал бурсакам:

— Ведь вот, господа, за покойником-то долгишко остался, да уж бог с ним: грех на мертвом искать.

— Вот и видно доброго человека! — было ответом. — Его, признаться, и похоронить не на что. Начал, брат, ты доброе дело, так и кончил бы: дай что-нибудь на поминки бедному человеку.

Сапожник вынул полтину и подал им. Те благодарили его.

Сапожнику, естественно, захотелось взглянуть на мертвого. Он, перекрестясь, проговорил:

— Дай хоть взгляну на него.

Барсук до того притворился мертвым, что хоть сейчас тащи на кладбище. Открыли его лицо: с похмелья оно было бледно и имело мертвенный вид.

Сапожник, по православному обычаю, приложился губами ко лбу певчего, а тот, сделав под простыней фигу, думал про себя:

«Вот те кукиш! а не свечка».

Когда сапожник удалился, мертвый воскрес и с диким хохотом вскочил на стол.

— Теперь, ребята, поминки справлять.

— Четвертную!

— Огурцов да селедку!

То и другое было мигом добыто, и, поя разные духовные канты, перемешивая их смехом и остротами, справляли поминальную тризну о упокоении раба божия Барсука.

Бурсаки с торжеством и гордостью передавали друг другу рассказ об этом событии.

Но дело этим не кончилось.

Спустя месяц времени сапожник встретил под вечер Барсука.

Барсук и тут нашелся.

Скрестив руки и сверкая глазами, он грозно приблизился к сапожнику и диким голосом возопил:

— Неправедные да погибнут!

Сапожник растерялся: ему представилось, что он видит покойника, который воротился с того света, чтобы наказать его за то, что он дерзнул прийти к мертвому и требовать от него свой долг. Он перекрестился и с ужасом бросился бежать куда глаза глядят. Долго он потом рассказывал, как являлся к нему мертвец и хотел утащить его едва ли не в тартарары.

Этот случай еще более утешил бурсу.

Последний скандал из банных походов бурсаков.

Мехалка, воровски пробираясь по базару и увидев, что в пряничной лавке отворена дверь, заглянул в нее. Он увидел в ней торговца, который стоял в дальнем углу, к двери спиной. Мехалка был не тактик, а стратегик и, много не рассуждая, стремительно бросился на пряник из стычных ковриг, который был величиною с добрую доску, и потом выбежал вон из лавки. За ним с криком «грабят!» устремился торговец. Мехалка, обремененный ношею, бежал медленно и был в опасности человека, которого сейчас треснут по шее. Он употребил следующий стратегический прием: выждал приближения к себе торговца и, неожиданно обернувшись к нему, поднял над головой ковригу и ударил ею в лицо торговца. Потом пустился с обломком ковриги, оставшимся в его руках.

Мехалка был замечательная личность. Это не вор, а чисто разбойник. Известно было, что он, выходя из церкви, схватил попавшуюся ему навстречу собачонку и расшиб ей голову о тумбу, а потом закусил свой подвиг салною свечою. За то хотели его отпороть не на живот, а на смерть. Но по случаю страстной недели и пасхальной экзекуция была отложена до фоминой. Когда наступил день возмездия и под предводительством смотрителя вошли в класс четыре солдата с огромным количеством розог, у Мехалки засверкали глаза, как у дикого зверя, и он, энергически сжав кулаки и стиснув зубы, бросился к отворенному окну и вскочил на подоконник с быстротою кошки. (Класс был во втором этаже.)

— Только подступись, разmozжу себе голову о камни! — вскричал он. На убеждения смотрителя покориться он отвечал, что бросится с высоты второго этажа и тем накажет начальство. Смотритель плюнул и ушел. Мехалке за такие дикости вручили волчий паспорт.

Известно, что впоследствии он, Аксютка и еще один артист нанялись в кузницу чернорабочими. Мехалка, работая здоровенным молотом по наковальне, добывал себе

грош на свой образец вместе со своими товарищами. Забрался он на соседний двор, разломал там извозчицьи дрожки и все железо утащил к себе в кузницу. Карьера его кончилась дьячеством, и он сделался истинным мучителем своего священника.

Вот вам, господа, веселая картинка бурсацкой бани, в повести о которой одни лишь голые факты. К ним нечего прибавлять, они сами за себя говорят.

После бани бурсаки, поев всего краденого, были в добром расположении духа; меньше раздавалось швычков и подзатыльников, реже творилось всеобщих смазей, и вообще в классе сравнительно было довольно тихо и скромно.

В Камчатке собралось несколько человек и ведут беседу о старине и древних героях бурсы. Митаха занимал среди них первое место.

— Эх, господа! то ли дело было в старину!

— В старину живали деды веселей своих внучат.

— Зато, брат, и пороли,— сказал Митаха.

— А что?

— Да вот вам случай.

— Расскажи, брат Митаха, расскажи.

— Только чур не перебивать.

Митаха начал:

— Были у нас три брата: *Каля*, *Миля* и *Жуля*. Это были силачи тогдашнего времени и обыкновенно занимались шитьем сапогов. Они однажды отправились в город с товарищами, чтобы кутнуть хорошенько на стороне. Кутнули добре. Когда шли назад, то орал песни на пять улиц и встретилсь с казаками. Те пригласили их молчать. Наша братия ругаться. Драка. Бурсаки отдули казаков на обе корки и утекли в училище, будучи уверены, что их дело шито-крыто. Ан нет: на другой день начались розыски. Все всплыло наружу. Вот была порка-то! Драли тогда под колокольчиком, среди двора, слева и справа, закачивали шток по триста.

— Братцы, я вот тоже знаю...— заговорил один.

— Сказано, не перебивать! — ответили ему.

— Сволочь!

— Животина!

— *Мазена!*

Замечательно, что в бурсе *Мазена* было ругательное

слово, и, вероятно, основание тому историческое; но во времена нами описываемой бурсы из пятисот человек вряд ли пятеро знали о существовании Мазепы. Здесь это имя было слово нарицательное, а не собственное. По преимуществу называли *мазепами* толсторожих. В бурсе все своеобразно и оригинально.

Бурсак, перебивший рассказ, замолчал.

— Ну так что же, Митаха?

— А вот слушайте. Собрались все ученики на двор, пришел инспектор, явились сторожа, и принесена огромная куча распаренных лоз. Каля, Миля и Жуля стояли в толпе. Им, братцы, успели товарищи вкатить перед сечением по полштофу водки. Растянули Калю, потом Милю, потом Жулю. Но хотя и драли их пьяных, хоть они и закусывали себе руку до крови, однако после порки их отливали водой и на рогожке стащили в больницу замертво. Вот так *чехвостили!*

— А зачем они закусывали руку?

— Фаля!

— Бардадым!

— Ведь закуси руку, так оттягивает: укусишь руку, руке больно, а сзади и не слышишь в то время.

— Тогда же, братцы, вышел дивный случай.

— Ну-ка.

— При этой страшной порке был один приходский ученик, только что привезенный из дому, которого мамаша гладила по головке, а здесь он увидел, что гладят по другому месту. Он был мальчик худенький, маленький, бледненький, одним словом, вовсе не бурсак, а сволочь. Как он увидел такую знатную порку, так чуть не умер со страху. Он стал учиться отлично и каждый шаг следил за собою, чтобы не заслужить розгу. Когда секли кого-нибудь, он дрожал и бледнел. Учитель заметил это и возненавидел его, потому что терпеть не мог, когда кто-нибудь сильно кричал под лозами. Учителю захотелось попробовать, каков новичок под розгами. Придравшись к какому-то случаю, он отпорол новичка так, что тот долго после того таскал из тела своего прутья. Ученик после порки упал в обморок. Этим он окончательно вооружил против себя учителя, который стал преследовать его и каждый раз порол жестоко. Ученику до того тяжело было жить, что он решил бежать из училища. Его поймали. Тогда он сначала хотел повеситься, но потом решил на следующую штуку. Дождался он ночи, достал перочинный нож, раз-

резал себе руку и своей кровью написал на бумажке: «Дьявол, продаю тебе свою душу, только избавь меня от сеченья».

Внимание слушателей чрезвычайно было напряжено.

— С этой бумажкой, — продолжал Митаха, — он залез ночью в двенадцать часов под печь. Что там с ним было, неизвестно. Оттуда его вытащили замертво. Он говорил, что видел черта. Начальство, узнав его проделку, высекло его под колоколом, после чего, говорят, он был снесен в больницу, где отдал душу богу.

Такой рассказ подействовал даже на крепкое воображение бурсаков. Разговоры смолкли, и все впали в раздумье. Ученики понимали, а в эту минуту особенно ясно сознали, что и при их житье-бытье подчас хоть продавая душу черту.

Когда впечатление несколько ослабело, кто-то спросил:

— А кто из вас, братцы, видел дьявола?

Никто не отозвался.

— А домового видел кто?

Оказалось, что домовых видели многие, а если кто сам не видел, то знал таких, которые видели. В бурсе предрассудки и суеверия были так же сильны, как и в простом народе: верили в леших, в домовых, водяных, русалок, ведьм, колдунов, заговоры и приметы. Словом, эта сторона бурсацкой личности выражала глубокое невежество, которое начальство и не думало искоренять, потому что и само не всегда было свободно от суеверия.

В бурсе была даже доморощенная кабалистика. Так, почти вся бурса верила, что если вынуть из пера сухую перепонку и положить ее в книгу, то забудешь урок из той книги; если же такую перепонку положить под тюфяк спящего, то с ним случится грех, за который заставят поцеловать Лягву. Считалось дурным — книгу после урока оставить открытою, потому что урок забудешь. Когда кто-нибудь мистифицировал, говоря, что идет учитель, ему кричали: «Чего, сволочь, врешь-то? хочется, чтоб злым пришел!» Для того же, чтобы не спросил учитель, была примета у некоторых учеников держаться за какую-нибудь часть своего тела... В училище одно время был даже свой туземный колдун. Это был ученик, прибывший в местную бурсу из Киева, некто *Бегути*. Его прозвали так за то, что он, рассказывая сказку, выговаривал вместо «бежали, бежали» — «бегути, бегути». Он брался угадывать, у кого

сколько в деревне коров, в семействе сестер, в кармане денег и т. д. Многие серьезно верили ему.

Кстати, мы расскажем проделку Аксютки над Гришкецом. Аксютка вот уже целую неделю подговаривает товарищей, чтобы они показывали Гришкецу, что серьезно считают его за колдуна. Когда это состоялось, многие стали обращаться к нему с просьбою поворожить им. Гришкец сначала принимал это за шутку, но товарищи выдерживали свою роль отлично, так что Гришкец наконец принял их затею за чистую монету. Тогда он перепугался и стал умолять товарищей, чтобы они не считали его за колдуна. Но они, видя его тревогу, усилили свою назойливость. Гришкец едва не потерял рассудка. Когда Аксютка, сидя подле него в столовой, умолял Гришкеца научить его колдовать, то Гришкец обратился к инспектору с такими словами: «Я, ей-богу, господин инспектор, не умею колдовать. Возьму ли я такой грех на душу?» И он, крестясь, уверял, что Аксютка врет все.

Чертовщина для разговоров бурсаков — предмет неистощимый.

Но мы, однако, незаметно перешли опять к воспоминаниям давних дней. Мы приведем два рассказа.

Ученикам было запрещено начальством купаться, и, по его приказанию, полиция преследовала бурсаков на реке. Надзиратель, видя, что ученики не унимаются, решил во что бы то ни стало изловить их и представить к начальству. Каля, Миля и Жуля взбесились и, взяв с собою несколько товарищей, на другой же день нарочно отправились купаться. Нагрянул надзиратель и накрыл их на месте преступления; но они схватили его, зажали ему рот, чтобы не кричал, и потом выкупали его. После этой операции они завязали его брюки у сапог, так что из них образовались два мешка, и набили брюки песком до самого пояса; после этого с хохотом бросили его и уткнулись во свояси. Несчастный долго барахтался, не могши подняться с земли. Когда его освободили, он закаялся беспокоить учеников.

Одному из товарищей надобно было справить именины, а денег было всего пять рублей. Это было летом. Идет наш бедняга со своими друзьями по берегу реки да горюет. В одном месте они натолкнулись на кучку рабочих, которые оставили свою барку и на берегу варили кашу. «Хлеб да соль!» — говорят. — «Хлеба-соли кушать». — «Но без водки что за еда?» — «Где же ее взять?» — «А вот день-

ги»,— сказал бурсак, подавая на полведерную. Мужики обрадовались и тотчас добыли водки. Бурсаки напоили их допьяна, и когда они удалились спать в барку, то угнали ее и вместе с мужиками продали.

Такие рассказы и воспоминания о подвигах бурсаков ученики всегда выслушивали охотно и с полным одобрением.

Но ударил звонок, и начались классы.

Мы сказали, что начинаются классы, а начинаются они следующим образом.

— Поймал вошь! — сказал один из камчатников.

— Будет дождь.

— Я две рядом.

— Будет с градом.

— Вчетвером.

— Будет гром.

Какой-то великовозрастный ни к селу ни к городу стал подщелкивать словами:

— Раз-два — голова, три-четыре — прицепили, пять-шесть — в ряд снести, семь-восемь — сено косим, девять-десять — сено весить, одиннадцать-двенадцать — на улице бранятся.

Потом другой великовозрастный, вытянув из сапога берестяную тавлинку, затаил благим гласом какой-то кант и зарядил нос с присвистом.

В училище нюханье табаку было развито в высшей степени. Иначе и нельзя: во время занятий, на которых одна лампа о трех рожках давала свет на сто и более человек, поневоле рябило в глазах, а когда ученик заряжал понюшку табаку, то глаза его делались на несколько минут светлее. Во время классов, из которых каждый по два часа, монотонные ответы уроков учителю нагоняли непобедимый сон,— и вот когда ученик понюхает табаку, то поневоле раскроет глаза. Табак был запрещен начальством, но товарищество не хотело и знать этого запрещения. Табак покупался у Захаренки, который молот его из махорки и потому продавал довольно дешево. И в отношении нюханья табаку в бурсе были свои особенности. Так, нюхали со швычка, брали перстью, но особенно замечательно, когда табак раскладывался по указательному пальцу до кисти и вбирался в нос сильным вдыханием. Бывали пари, кто больше вынюхает в один прием, и случалось, что за-

дорный нюхальщик, решившись на непосильную понюшку и приняв ее, падал в обморок.

До прихода учителя ученики успели сыграть *в краски*. Выбрали из среды себя *ангела* и *черта*, выбрали хозяина; другим участникам в игре были розданы названия той или другой краски, которые не сообщались ни ангелу, ни черту. Вот приходит ангел, и стучит он в двери.

— Кто тут? — спрашивает хозяин.

— Ангел.

— За чем?

— За краской.

— За какой?

— За зеленой.

— Кто зеленая краска, иди к ангелу.

В свою очередь приходит к хозяину черт, выбирает себе краску и уводит ее.

Так продолжается до тех пор, пока не разберутся все краски. Тогда сила ангела становится одесную от хозяина, а сила дьявола ошуюю. Каждая из партий образует из себя цепь, хватая друг друга сзади за животы. Ангел и черт сцепляются руками, — и вот взревели и ангелы и черты — и началась таскотня. Долго шла борьба, но черт таки одолел.

Вдруг отворилась дверь. В класс вошел господин огромного роста, в коричневой шинели. Все смолкло. Это был учитель Иван Михайлович Лобов. Цензор прочитал молитву «Царю небесный». Ученики стояли, ожидая приказания сесть. Сели. Великий педагог отправился к столу, за которым и сел на грязном стуле. Он взял нотату. Многие вздрогнули. Немного помолчав, Лобов крикнул:

— Аксютка!

— Здесь, — смело отвечал Аксютка.

— Ты опять?

— Не могу учиться.

— А отчего до сих пор учился?

— Теперь не могу.

— К печке!.. *на воздушях его!*

Аксютка озлил учителя. Он с ним выделявал штуки, на которые никто не решался. Этот отчасти описанный нами вор имел отличные способности, память у него была обширнейшая, и, вероятно, он был умнее всех в классе; ничего не стоило ему прочитать урок раза два, и он отвечал его слово в слово. Учиться, значит, было легко ему. Но он вдруг прекращал заниматься, поддразнивая учителя

назло. Его секли, но ничего не могли поделать с ним. Тогда его поселяли в Камчатку. Но лишь только он добивался своего, как опять начинал учиться отлично, его переводили на первую парту, и лишь только переводили, он опять запевал:

Ай люли, люли, люли!
А в нотате всё нули!

После такой песни Аксютка опять ничего не делал. Снова повторялось сечение. Он у Лобова несколько раз переходил из Камчатки на первую парту и обратно.

Наконец Лобов рассвирепел, и раздалось его грозное *на воздухах!*

Тотчас же выскочили четверо парней, схватили его, раздели, взяли за руки и ноги, так что он повис в горизонтальном положении, а справа и слева начался свист лоз.

Взвыл Аксютка, а все-таки кричит:

— Не могу учиться! ей-богу, не могу!

— Положите ему под нос книгу.

Положили.

— Учи!

— Не могу! хоть образ со стены снять, не могу.

— Сейчас же и учи!

На этот раз Аксютка правду кричал, что не может учиться, потому что лежал под розгами, и учитель это сознавал, но все-таки продержал его висящим над книгой достаточно.

— Бросьте эту тварь.

Аксютка пробрался в Камчатку.

— Дать ему *сугубое раза!*

Товарищи повскакали с парт, бросились на Аксютку и зарядили ему в голову *картечи*, то есть швычков.

Взвыл Аксютка:

— Хоть убейте, не могу учиться!

Лобов имел обыкновение ходить в классе с длинным березовым хлыстом. Он поднялся с места и вытянул Аксютку вдоль спины, а тот взвыл:

— Ей-богу, не могу учиться!

Лобов мало-помалу успокоился, и класс продолжался обычным порядком. Спустя несколько времени он крикнул:

— Цензор, квасу!

Цензор отправился за квасом и принес его.

Лобов, прихлебывая из оловянной кружки квас, просматривал нотату и назначал по фамилиям, кому к печке для сечения, кому к доске на колени, кому коленями на реб-

ро парты, кому без обеда, кому в город не ходить. Класс Лобова разукрасился всевозможно расставленными фигурами. Потом он стал спрашивать знающих учеников, поправляя отвечающего, когда он отвечал не слово в слово, и запивая бурсацкую премудрость круто заваренным квасом. Он сидел обыкновенно в калошах, не снимая своей красноватого цвета шинели. Когда спрошенный им ученик кончил свой ответ, Лобов полез в карман шинели и вынул из него довольно большой пирог, который стал уписывать с аппетитом. Бурсаки с жадностью посмотрели на пожираемый пирог. Так Лобов имел обычай завтракать во время класса, мешая пищу духовную с пищей телесной.

После экзаменации пяти учеников он стал дремать и наконец заснул, легонько всхрапывая. Отвечавший ученик должен был дожидаться, пока не проснется великий педагог и не примется опять за дело. Лобов никогда уроков не объяснял — жирно, дескать, будет, а отмечал ногтем в книжке *с этих до этих*, предоставляя ученикам выучить урок *к следующему*, то есть классу.

Что этот великий педагог в своей юности — недосечен или пересечен?

Морфей легонько посвистывал себе через нос педагога, а ученики, наказанные на колени и столбом, воспользовались этим. Поднялся легкий шумок, и начались невинные игры бурсаков, как-то в шашки, *святцы* (карты), костяшки, щипчики, швычки и т. п.

Ударил звонок, учитель проснулся, и после обычной молитвы и по выходе учителя класс наполнился обычным шумом.

Второй класс, латинский, занимал некто Долбежин. Долбежин был тоже огромного роста господин; он был человек чахоточный и раздражительный и строг до крайности. С ним шутить никто не любил, ругался он в классе до того неприлично, что и сказать нельзя. У него было положено за священнойшюю обязанность в продолжение курса непременно пересечь всех — и прилежных и скромных, так чтобы ни один не ушел от лозы. Его мучил бес какой-то бурсацкой зависти, когда из его класса к концу курса остались все-таки несеченными ни разу двое, державших себя крайне осторожно. Придраться было не к чему, но он выискал-таки случай. Однажды он пропустил было уже свой класс, и ученики весело ожидали звонка, но вдруг минут за пять до него Долбежин показался на конце училищного двора; лицо его было как-то особенно

грозно (он был сильно выпивши), взоры его были устремлены на окна своего класса. Многие струхнули. Один из несеченных в это время взглянул в окно и потом быстро скрылся в классе.

— Елеонский (несеченный)! — крикнул, входя в класс, Долбежин.

Елеонский, трясаясь всем телом, подошел к нему.

Долбежин ударил его в лицо кулаком и окровавил его; из носу и рта потекла кровь.

Елеонский ни слова не отвечал. Бледный и дрожащий, он смотрел бессмысленно на учителя.

— Отодрать его!

Елеонского отодрали.

Остался один только несеченный. Того, напротив, отодрал Долбежин в самом веселом расположении духа.

— Душенька,— сказал он ему, улыбаясь,— поди к порогу.

— Да за что же?

— За то, что тебя ни разу не секли.

Тот и не думал отвечать, что это не причина, и отправился к порогу.

Не осталось ни одного несеченного в классе.

Но несмотря на все это, трудно поверить, его не только уважало товарищество, но и любило. Долбежин сам был точно отпетый. Он, как и товарищество, терпеть не мог городских и одному из них дал самое неприличное прозвище; фискала, пришедшего к нему наушничать, он отодрал не на живот, а на смерть; ученики вроде Гороблагодатского были его любимцами. Однажды *Блоха* решился изумить товарищество и под лозами Долбежина молчал, как будто и не его дерут: Долбежин при всех назвал его молодцом, тогда как за ту же проделку Лобов вознес его на воздушных, а потом просолил насквозь сеченное тело. Долбежин не брал с родителей взяток и до того был честен, что составленный им список учеников с отметками об их учении за третью он читал ученикам и позволял устраивать диспуты тем, которые претендовали на высшее место. Вот за это-то и любили его.

Сегодня были только два случая в классе. Вызван был *Копыта*. Он взял книжку латинскую и хотел было остаться переводить за партою.

— На середину! — сказал Долбежин.

На *середке* отвечать было хуже, чем за партой, потому что в первом случае товарищи *подсказывали* ученику.

Отвечающий способен был слышать самый тонкий звук, а если не расслыхивал, то, глядя искоса, он угадывал слово по движению губ.

Копыта вышел на *середку*. Здесь он срезался (то же, что в гимназии провалился) и не мог перевести одного пункта.

— Не так! — сказал Долбежин.

Тот перевел иначе.

— Не так!

Копыта на новый манер.

— К печке!

Копыте дали *всего* десять ударов. Он обрадовался, что так легко отделался, и уже направился за парту, но услышал голос Долбежина:

— Переведи снова.

Тот перевел ему на новый манер.

— Еще раз к печке!

Копыте дали еще десять лоз и снова заставили переводить. На этот раз Копыта сказал, что он не может и придумать еще новой варьяции, за что и услышал:

— К печке!

Десять дали, и снова переводить. Копыта напряг все усилия памяти и рассудка. Ничего не выходило.

— Ну! — сказал Долбежин, и уже палец указательный его поднялся по направлению к печке.

Способности Копыты были страшно напряжены, мозг работал в сто сил лошадиных, и вот, точно озарение свыше, сложилась в голове новая варьяция. Он сказал ее.

— Наконец-то! — одобрил его Долбежин. — Довольно с тебя. Пошел за парту. Вались дерево на дерево! — Вслед за тем Долбежин обратился к *Трезорке*:

— Вокабулы приготовил?

— Нет.

— Что? который это раз?

— Если угодно, приготовлю, — отвечал *Трезорка* бойко.

Трезорка был городской и привык к довольно свободному обращению. Его развязность взбесила Долбежина. Он побледнел, на лбу надулись жилы.

— Ах ты подлец! — закричал он и сильной рукой поднял в воздухе здоровенный лексикон Кронеберга. Лексикон взвился и пролетел через класс; еще немного — так и вцепился бы в голову бойкого мальчика. Он потом начал ругаться и плевать; в его чахоточной груди клокотала

мокрота; дерзость озадачила его, но он почему-то не посмел отпороть Трезорку,— вероятно, потому, что отец Трезорки был довольно значительное лицо в городе. И действительно, завязалось было дело, но кончилось все-таки ничем.

В классе после этого скандала наступила мертвая тишина. Все дрожали. Один только беззаботный Карась, притом еще сидевший на первой парте, на глазах разъяренного учителя ухитрился уснуть. Его вдруг спросил учитель, а он, не слыша этого, тихо всхрапывал. Товарищ его толкнул, но уже было поздно: у учителя сверкали глазки.

— К печке!

— Розог нет,— сказал секундатор.

— А давеча чем сек?

— Те изломались.

— Сходи за новыми.

Карась между тем клялся и божился, что встал в три часа, чтобы приготовить урок, что у него голова болит, а в существе дела на него одурь напала от латынщины, и он смежил свои карасиные очи.

— Я тебе!

Явился секундатор, но без розог.

— Розги все вышли,— сказал он.

Учитель опять вспыхнул, поднялся со стула и отправился к той парте, где сидел секундатор. Он отыскал свежие розги. Карась запищал:

— Простите!..

Но учитель в это время позабыл Карася, а направился к секундатору. Взяв пук длинных лоз за жидкий конец, он начал бить его комлем и по спине, и в брюхо, и в плечи, и по ногам.

Раздался звонок. Пропели молитву «Достойно есть...». Между тем Карась спасся. Этот же учитель, озлившийся на Трезорку за умеренный оттенок дерзости в его ответе, прощал и даже с удовольствием встречал дерзости очень крупные. Так, однажды на публичном экзамене пришлось держать ответ некоему *Ваксе*. Долбежин из-под стола показал ему кулак и проговорил тихо: «Только срежься, я тебе!» *Вакса* показал ему свой кулак и прошептал не печатную брань. Это только утешило учителя.

Наконец, Долбежин был циник. Он с тем же *Ваксой* рассуждал о самых грязных вещах. Тот ему отвечал не стесняясь и откровенно, и оба они импро-

визировали самым грязным образом на разные темы.

Заглянула бурса в столовую, «шей негодных похлебала и опять в свой класс идет». Кормили скверно; хлебная мука мешалась с мякиной; нередко порции говядины летели за окно и гнили потом на дворе; один только Комедо собирал порций по шести и потреблял их; в супе попадались маленькие беловатые червячки, в каше мышинный помет; только при одном экономе пища была безукоризненна, но такие экономы были редкость в бурсе. (Впрочем, в своем месте мы дойдем и до этого эконома.)

Лобов граничил по своему характеру к Тавле, Долбежин к Гороблагодатскому. Перейдем теперь к характеристике третьего лица, которое, собственно говоря, не составляло цельного типа, а было помесью двух названных нами. Этот господин носил имя Батьки.

Он был красавец собою, с открытым грудным и объемистым басом, **лицо — кровь с молоком**. Он, между прочим, преподавал так называемый *устав*, то есть науку, как править церковные службы. Эта наука излагалась им самым странным образом. Вместо того чтобы выдать церковные книги на руки учеников, ознакомить с теми книгами наглядным образом, показать по самым книгам, когда, что и где читалось и пелось,— вместо этого выдавались записочки, в которых по порядку службы обозначались только первые слова каждого чтения или пения. Таких заголовков целые листы писчей бумаги. До того трудно и тошно было ученье и зубренье, что изо ста с лишним учеников знало урок, случалось, только четверо. Кажется, ясно, что тут уже не ученики виноваты. Правда, могло случиться, что ученики назло учителю делали стачку не учить урока, но такие стачки назывались бунтом и разрешались великим сечением класса; но тут была не стачка, а просто физическая и умственная невозможность вы зубрить все это. И это понимал сам Батька. Несмотря на все это, он поочередно сек весь класс: так парта за партой и выдвигалась к печке. Хотя в этих случаях секундаторы были крайне снисходительны, но снисходительны только к тем, кого любили. Секундаторы были очень изобретательны и свою профессию знали специально. Когда Батька заподозревал секундатора в мирволенье и шел свидетельствовать производство секуции, тогда оказывалось, что тело наказываемого было покрыто синими полосами: секрет в том, что секундатор намазывал лозы чернилами, потом стирал их слегка; достаточно было легкого прикосновения их, чтобы

сделать фальшивый рубец. Черт знает на что расходовался ум воспитанника! Когда приходилось, что три описанные учителя занимали уроки в один и тот же день, то одного и того же ученика секли несколько раз. Так, Карася, случилось, отдрали четыре раза в один день (в продолжение училищной жизни непременно раз четыреста). Но сегодня не было устава. Занимались другим предметом: Беда, когда Батька приходил пьян! Тогда лицо его было бледно, а черные огромные глаза особенно глубоко и блестящи. Сегодня эта беда и случилась. Все вздрогнули, как только он вошел. По лицу все узнали, что будет классу великое горе. Взял он нотату. Мучительную и страшную минуту пережил класс. Батька вызвал Элпаху. Элпаху, трясая телом и содрогаясь душою, вышел на середину.

— Я...— голос его пресекся.

— Что ты? — спокойно, но глубоко сосредоточенно-злым голосом спросил его Батька.

— Я... сегодня... именинник...

— Так с ангелом! — Октава его упала на две ноты ниже, а сердце свирепело, и в нем развивались кровожадность и зверские инстинкты... Страшен он был в эту минуту.

— Я...— заговорил страдалец,— был в церкви...

— Доброе дело!

— Я потому и не успел выучить урока...— погасающим голосом продолжал Элпаху, видя, как с мертвенно-бледного лица смотрели на него неподвижные, блестящие сосредоточенной ненавистью глаза...

— Ты думаешь, что радуется твой ангел на небесах?

Элпаху молчал; в его сердце пробивалась слабая надежда, что его не накажут, потому что Батькин гнев иногда истощался в нравоучениях, которыми увлекался он на полчаса и более. Элпаху ждал, что будет.

— Он плачет о твоей ленисти.

Элпаху ни жив ни мертв.

— И ты должен плакать. Поди сюда.

Элпаху ни с места.

— Поди же сюда! — тем же ровным, спокойным голосом повторил Батька.

Элпаху подошел к нему.

— Встань тут, около меня, на колени.

Дрожащий Элпаху встал.

— Твой ангел плачет, и ты заплачешь. Положи свою голову ко мне на колени.

Тот медленно исполнил это, не понимая, что с ним хотят делать. Но вот он сильно вскрикнул и поднял голову, за которую ухватился руками.

— Лежи, лежи! — сказал ему Батька.

Отчего вскрикнул Элпах? А оттого, что Батька взял щепот волос его, сильной рукой вздернул их кверху, вырвал с корнем и, постепенно разводя свои красивые пальцы, сдувал с них волосы и продолжал дуть, пока они летели в воздухе.

— Лежи, лежи! — повторил Батька.

Элпах с воем опустил свою голову на колени его, как на эшафот...

Батька взял вторую щепот Элпахиных волос, и опять выдернул их с корнем, и опять пустил их по воздуху.

— Простите, ради бога! — взмолился страдалец.

— Лежи, лежи! — отвечал Батька. Что-то сатанинское было в его ровных октавах...

Еще медленнее и хладнокровнее он повторил ту же операцию в третий раз.

Элпах рыдал мучительно.

— Теперь поди встань на колени посреди класса! — сказал Батька, когда улетел последний волос Элпахи и пропал в воздухе.

Батька потом долго сидел, понуря голову. Не почувствовал ли он угрызений совести?

— Стой на коленях целый год!

Значит, совесть его была спокойна. Батька имел обыкновение ставить на колени на целый год, на целую треть, на месяц: как его класс, так и становись. Беспощадный человек!

В продолжение всего класса Батька разбойничал. Чего-чего он не придумывал: заставлял *кланяться печке, целовать розги, сек и солил сеченного*, одно слово — артист в своем деле, да под пьяную еще руку.

Но все-таки приходится сказать, что большая часть товарищества уважала его по тем же причинам, по каким и Долбежина, и только меньшинство ненавидело его и боялось. В описываемый нами период бурсы нравственный уровень товарищества и начальства был почти одинаков. Но впоследствии увидим, что в товариществе и в лучшей половине начальства развились иные начала. Что описываю теперь — скверно, но что дальше, то лучше становилось товарищество и добрые люди из начальства. И жаль и досадно мне, что некоторые писатели заявили, будто я

все исчерпал относительно бурсы в «Зимнем вечере бурсы». Уже в следующем очерке вы увидите добрые задатки для будущего в жизни бурсаков; хотя и там будет много гадкого и гадкого. Бурса будет в моих очерках, как и на деле было, постепенно улучшаться,— только позвольте описать так, как было, не прибавляя, не убавляя. Всякое дело строится не сразу, а должно пройти многие фазы развития. Еще очерков восемь, и бурса, даст бог, выяснится окончательно. Если придется ограничиться только этими двумя очерками — «Зимний вечер в бурсе» и «Бурсацкие типы», — то будет очень жаль, потому что читатель тогда не получит полного понятия о том, что такое бурса, и потому относительно составит о ней ложное представление.

1862

ЖЕНИХИ БУРСЫ

Очерк третий

Наконец Аксютка доигрался с Лобовым до скверной шутки. Заглянула бурса в столовую, «щей негодных похлебала, и опять в свой класс идет». Один лишь Аксютка щелкает зубами.

Как бы то ни было, все более или менее подкрепились; один лишь Аксютка щелкает зубами от голода, или, по туземному выражению, у него *по брюху девятый вал ходит, в брюхе зорю бьют*. Положение Аксютки никогда не было так беспомощно, как теперь, и в моральном и в животном отношении. Он, потешаясь над Лобовым, по обыкновению своему, лишь только попал в Камчатку, как опять стал появляться *в нотате с пятками*, то есть самыми лучшими баллами.

Это только сбесило учителя: «Ты, животное,— сказал ему Лобов,— потешаешься надо мною: когда тебя поркут, у тебя в нотате нули; когда шлют в Камчатку — пятки? Знаю я тебя: ты добиваешься того, чтобы опять перейти на первую парту, чтобы потом снова бесить меня нулями? Врешь же! Не бывать тебе на первой парте, и пока у тебя снова не будут нули, до тех пор не ходи в столовую». Аксютка клялся и божился, что он раскаялся и теперь будет учиться постоянно. Лобов ничего слышать не хотел. «Не надо твоего ученья,— сказал он,— сиди в Камчатке». Аксюткино самолюбие было сильно задето, и, раздувая

ноздри, он думал: «Посмотрим, чья возьмет!» И в нотате его были отличные баллы; но Лобов каждый раз говорил ему: «И сегодня не жри!»

В продолжение трех дней Аксютка кое-как перебивался, выкрадывая там или здесь булку, сайку, ломоть хлеба, толочно, горох и тому подобное. Вчера он забрался в *сбитенную*, где *Ванька рыжий* продавал сбитень, сайки, булки, пеклеванные хлебы, сухари, крендели, яблоки, репу, патоку, мед и красную икру, а для избранных и *водчонку*, разумеется по двойной цене против откупной; здесь Аксютка успел украсть несколько булок, насадив на палку гвоздь, которым и добывал из-за залавка съедомое, когда Ванька рыжий отходил в другую сторону. Но сегодня была среда, а сбитенная наполнялась битком только по понедельникам и вторникам, пока у бурсачков держались деньжонки, принесенные из дому; а при безлюдстве в сбитенной опасно было рисковать на воровство в ней. Что было делать? Бурсаки, зная, что у Аксютки девятый вал в брюхе, бережно припрятавали ломти хлеба и зорко следили за ним. Большинство не желало делиться с ним запасным хлебом; впрочем, и делиться было не с чего: утренних и вечерних фриштиков бурсе не полагалось; за обедом выдавали только по два ломтя хлеба, из которых один съедался в столовой, а другой уносился в кармане в запас.

Между тем все училище высыпало на двор. Ученики строили катальную гору. Так как досок взять было неоткуда, то вся гора была сплошь из снега. Снежные комы величиною в рост человека двигались по огромному двору училища. Около каждого из них, под командою жожака, работало человек до десяти. Комы доставлялись к горе, около которой, как муравьи в муравейнике, кишели ученики. Дня через два по длинному расчищенному раскату, который был немного менее балаганных раскатов Петербурга, полетит бурса вниз головою на санках, салазках, подмороженных дощечках, рогожках, коньках, а то и просто на самородном самокате, то есть на брюхе вверх спиною. Бурсаки представляют веселый и радостный вид: раздастся команда выбранного распорядителя, призыв к работе, звонкие басы и тенора, хохот, остроты. Весело.

Аксютка шелкает зубами.

На левой стороне двора около осьмидесяти человек играют *в килу* — кожаный, набитый волосом мяч величи-

ною в человеческую голову. Две партии *сходились* стена на стену; один из учеников *вел килу*, медленно подвигая ее ногами, в чем состоял верх искусства в игре, потому что от сильного удара мяч мог перейти в противоположную сторону, в лагерь неприятеля, где и завладели бы им. Запрещалось *бить с носка* — при этом можно было нанести удар в ногу противника. Запрещалось *бить с закилька*, то есть, забежав в лагерь неприятеля и выждав, когда перейдет на его сторону мяч, прогонять его *до города* — назначенной черты. Нарушающему правила игры *мылили шею*.

— Кила! — закричали ученики — это означало, что *город взят*.

Победители в восторге и с гордостью возвращались на свое место. Им весело.

Аксютка же щелкает зубами.

В углу двора, около сбитенной и хлебной пекарни, несколько человек прокапывали в огромной куче снега норы и проползали через те норы на своем брюхе. В другом углу двора играли в крепость, стараясь выбить друг друга из занятой на куче снега позиции, причем вместо картечи употреблялись в дело снежки. Гришкец и Васенда повалили Сашкеца на снег, зарыли его с руками и ногами в кучу снега, так что торчит одна лишь голова Сашкеца, — он беззащитен, и творят ему *смазь вселенскую*. Гришкец и Васенда хохочут, да и Сашкец хохочет — это была шутка любовная. Всем весело.

Аксютка щелкает зубами.

На двор училища вошли две женщины — одна старуха, другая лет тридцати с лишком. Спросивши, где живет *ишпехтор*, то есть инспектор, они направились к двухэтажному зданию, крыша которого заканчивалась шпилем со звездой. Скоро они уже стояли в зале инспектора. Старуха была женщина дряхлая, лицо в трещинах, до того обожженное летним солнцем, что и зимою не сходил с него загар; маленькие глазки ее бегали, как две перепуганных мыши, и тоскливое их выражение возбуждало жалость. Эта сгорбившаяся дама имела на седой, в висках плешивой голове шерстяной платок, на плечах поношенную шубейку, на ногах мужские сапоги. Другая женщина были лет тридцати двух, высокого роста, рябая, с длинными мозолистыми руками; она смотрела исподлобья с тем

беспристрастием, с которым смотрят люди на что-либо неизбежное в их жизни и с чем они примирились. Одетая она в новую заячью шубку, в новый платок, и на ногах ее не сапоги, а башмаки козловые.

Они прождали инспектора около получаса. Наконец инспектор вышел, но, очевидно, в дурном расположении духа.

— Что вам надо? — сказал он грубо.

Обе женщины повалились в ноги. Старая заплакала и тем напевом, каким голосят у нас по покойникам, стала приговаривать:

— Батюшка, отец ронной... Ох, кормилец, наше горе большое... лишились последнего хлебушка... батюшка, не погневайся!..

Старуха стукнула в пол головою.

Такое раболепие смягчило несколько инспектора; но дурное расположение его духа не миновалось окончательно.

— Говори, зачем пришли...

Старуха от грозного голоса начальника трепетала, терялась и понесла дичь:

— Помер голубчик наш... пришибло сердечного... испил кваску, сначала таково легко...

Инспектор вышел из себя:

— Чтобы черт вас побрал, паскудные бабы! — крикнул он, топнув ногою...

Обе женщины замерли

— Сейчас на ноги и говори толком, а не то метлой выгнать велю!.. Шлюхи!.. и поспать не дадут!

— Батюшка!..— начала было опять старуха...

— Иван! — закричал инспектор.— Гони их в шею!..

Обе женщины вскочили на ноги. Старушка бросилась из приемного зала в переднюю. Все это со стороны казалось очень странным, особенно последний маневр старой женщины; теперь должно было, по-видимому, ожидать, что инспектор окончательно выйдет из себя, но, напротив, взгляд его прояснился, и он стал спокойно ходить вдоль комнаты, дожидаясь терпеливо старухи.

Та скоро вернулась, в одной руке с кульком, в другой — с узлом. То и другое она положила к ногам начальника...

— Что это? — спросил он.

— Не побрезгуй, батюшка, деревенским гостинцем, и...

— Покажи, что тут?

Старуха, торопливо развязывая кулек, вынимала из

него сахар, чай, бутылку рому, сушеные грибы и яблоки, а в узле оказалось десятка четыре аршин холста...

Инспектор не без удовольствия, но и не без достоинства сказал:

— Хорошо, спасибо... В чем же твое дело?

— Это вот дочка моя,— говорила старуха,— сиротой осталась... были у преосвященного... закрепил за ней местечко... отцовское...

— Ну так что же?

— К тебе послал.

— За женихами?

— За женихами, батюшка,— и старуха опять чебурах в ноги.

— Хорошо, хорошо.

— Да не озорников каких, батюшка! — старуха при этом вытянула свою руку, разжала кулак, и на ладони ее очутился серебряный рубль.

Инспектор взял старухин рубль и положил его себе в карман с полным спокойствием, точно так, как аудитор берет с подавдиторного взятку.

— У меня двое есть, а, может быть, найдутся и еще охотники.

После того инспектор расспросил, где место, какие обязательства, доходы, состав причта, спросил адрес старухи и обещал отпустить учеников на другой день на смотрины невесты.

Старуха и невеста, поблагодарив инспектора, отправились восвояси. Они остановились на дворе и посмотрели на пестреющую и кишашую толпу учеников.

«Кого-то из них бог пошлет кормильцем?» — подумала старуха.

«С кем-то из них под венец идти?» — подумала невеста.

Эта невеста была *закрепленная невеста*, вступавшая в брак единственно для того, чтобы не умереть с голоду. У нас на Руси не редкость, что брак устраивается потому, что жених получит повышение по службе и приданое, а невеста пристроится, получит имя жениха и чин его. Но все это делается более или менее в приличных формах, так или иначе маскируется и потому не поражает сильно своим безобразием и извращением честных целей брака. Случаев таких везде немало. Но нигде святость брака так не попирается, как в сфере бурсацких типов. Здесь нарушение брака, извращение его узаконено и освящено обычаем. Бурсак, сеченный, быть может, раз четыреста, уни-

жаемый и уродуемый нравственно, умственно и физически часто в продолжение четырнадцати лет, наконец после такой педагогической дрессировки заслуживший диплом, дающий, по-видимому, ему право получить место в приходе, — не иначе может достигнуть этого, как обязавшись взять *такую-то* по назначению от начальства, казенную, закрепленную девицу. Выходит что-то вроде того, когда, бывало, помещики женили своих крестьян, а не то, чтобы крестьяне сами женились. Когда умирает то или другое лицо духовное и у него остается семейство, — куда ему деться? Хоть с голоду умирай!.. Дом (если он церковный), земля, сады, луга, родное пепелище — все должно перейти преемнику. Русские священники, диаконы, причетники — представители православного пролетариата... У них нет собственности... До поступления на место всякий поп наш гладен и хладен, при поступлении приход его кормит; умирает он всегда с тяжелой мыслью, что его сыновья и дочери пойдут по миру. Вот это-то пролетариатство духовенства, безземельность, необеспеченность извратили всю его жизнь. Чтобы не дать умереть с голоду осиротевшим семействам духовных лиц, решились пожертвовать одним из высочайших учреждений человеческих — браком. Места закрепляют — техническое, заметьте, чуть не официальное выражение. По смерти главы семейства место его остается за тем, кто согласится взять замуж его дочь либо родственницу. Кандидатам на места объявляется об открывшейся вакансии, со взятием *такой-то*. Начинается хождение женихов в дом невесты. Большею частию это делается на скорую руку, всегда назначается срок для выбора невесты, вследствие чего *посыгающие* не имеют времени узнать один другого. И бывали такие случаи, что невеста, находясь за двести верст, не успевала ко времени приехать в главный епархиальный город; претендент на поповское место не имел средств и времени съездить к невесте; тогда обе стороны списывались; давалось заочное согласие, и, получивши уже указ о поступлении на место, жених ехал к невесте; при таких порядках нередко выходили скандальные столкновения — невеста попадалась старая, рябая, сварливая девчина, и жених еще до свадьбы порывался побить ее. Но когда невеста прнезжала в город, так и тогда умели обдeldывать дела и спускали залежалый и бракованный товар с удивительною ловкостью: щеки невесты штукатурились, смотрины назначались вечером, при слабом освещении, — и рябое выходило гладким, ста-

рое молодым... Бывало и то, что до самого венца роль невесты брала на себя ее родственница, молодая и недурная собою женщина, иногда замужняя, и уже только в церкви по левую руку жених видел какого-нибудь монстра вроде тех древних изображений, которые в старину сначала задымляли и коптели, а потом променивали на лук и яйца. Что было делать? Бурсак, наголодавшись после бурсы вдоволь, стиснув зубы и скрепив сердце, смотрел на свою будущую сожительницу, но... махнув рукою, поступал согласно внушению Ольги, сделанному ею князю Игорю, и, стоя под венцом, думал думу, как бы в первую же ночь изломать бока своей, черт бы ее взял, подруге жизни. Нечего говорить, что при подобном надувань и фальше брак есть зло и поругание самых дорогих, самых святых прав человечества. Но когда при смотрилах и сватовстве товар показывали лицом, и тогда редко-редко брак был счастливым. Если часто бывает, что после долгого знакомства брак неудачен, что сказать о том, когда он устраивался на авось... В светских искусственных браках большею частию оскорбляется и унижается женщина; но в бурсацких — и женщина и мужчина... В светских мужчина говорит: «Я сыт, и есть у меня имя, иди за меня — ты будешь сыта и получишь имя»; в бурсацких же не то; жених кричит: «Есть нечего»; невеста кричит: «С голоду умираю» — и исход один: соединиться обеим сторонам. Все это — порождение проклятого пролетариата в нашем духовенстве. Кого же тут винить?

Вот и дьячиха привезла по смерти своего мужа свою задеревенелую дочь и успела закрепить за ней место. Преосвященный послал ее в училище, чтобы из готовящихся к исключению выбрать жениха.

В те времена, когда в бурсе свирепствовали Лобов, Батька, Долбежин и тому подобные педагоги, в ней уже нарождался новый тип учителей, как будто более гуманных.

К ним принадлежал Павел Федорыч Краснов.

Павел Федорыч был из молодых, окончивших курс семинарии студентов. Это был мужчина красивый, с лицом симпатическим, по натуре своей человек добрый, деликатный.

Хотелось бы нам отнестись к нему вполне сочувственно, но как это сделать?

Он и не думал изгонять розги, а напротив — защищал их, как необходимый суррогат педагогического дела.

Но он, наказывая ученика, не давал никогда более десяти розог. Преподавая арифметику, географию и греческий язык, он не заставлял зубрить слово в слово, а это в бурсе почиталось едва ли не признаком близкого пришествия антихриста и кончины века сего. Он позволял ученикам делать себе вопросы, возражения, требовать объяснений по разным предметам и снисходил до ответов на них, а это уже окончательный либерализм для бursы. Увлекаясь своим положительно добрым сердцем, он входил иногда в нужды своих учеников. Так, мы упомянули в первом очерке об одном несчастном, который был бы почти съеден чесотными клещами, если бы не Павел Федорыч: он сводил его в баню, вымыл, выпарил, остриг его голову, сжег всю его одежду, дал ему новую и обласкал беднягу. Был случай, что по классам Краснова, за его болезнь, пришлось справлять уроки Лобову. Лобов вознес Карася и *отчехвостил* его на воздушях. То же самое хотел он сделать с цензором класса, парнем лет под двадцать, но цензор утек от него; тогда Лобов записал его в журнал, и дело все-таки пахло розгой. Узнав о том, как в классе свирепствовал Лобов, Краснов вышел из себя, разорвал в клочья журнал и рассорился с Лобовым. Он был справедлив относительно списков, из которых не делал для учеников тайны, а напротив — вызывал недовольных на диспуты. Раз только случилось, что Краснов избил своего ученика собственноручно и беспощадно; но и то по той причине, что бурсак решился остричь во время ответа урока самым площадным образом, а Павел Федорыч был щекотлив на нервы. Словом, Краснов как частное лицо неоспоримо был честный и добрый человек.

Но посмотрите, чем он был как учитель бursы.

— Иванов! — говорит он.

Иванов поднимается с заднего стола бурсацкой Камчатки, за которую Краснов следил постоянно и зорко, вследствие чего для желающих *почивать на лаврах*, то есть лентяев, он был нестерпимый учитель. Краснов донимал их не столько сеченьем, сколько систематическим преследованием; и вот это-то преследование, основанное на психологической тактике, сильно отзывалось незумством. Краснов в нотате видит, что у Иванова стоит сегодня ноль, но все-таки говорит:

— Прочитай урок, Иванов.

Но Иванов не отвечает ничего. Он думает про себя: «Ведь знает же Краснов, что у меня в нотате ноль... что же спрашивает? — только мучит!»

— Ну, что же ты?

Иванов молчит... Лучше бы ругали Иванова, тогда не было бы ему стыдно перед товарищами, потому что ругань начальства на врату бурсака, ей же богу, не виснет; а теперь Иванов поставлен в комическое положение: над его замешательством потешаются свои же, и таким образом главная поддержка против начальства — товарищество — для него не существует в это время.

— Ты здоров ли? — спрашивает ласково Павел Федорыч.

Сбычившись и выглядывая исподлобья, Иванов говорит:

— Здоров.

— И ничего с тобой не случилось?

— Ничего.

— Ничего?

— Ничего, — слышится ответ Иванова каким-то псалтырно-панихидным голосом.

— Но ты точно расстроен чем-то?

От Иванова ни гласа, ни послушания.

— Да?

Но Иванову точно рот зашили.

— Что же ты молчишь?.. Ну, скажи же мне урок.

Наконец Иванов собирается с силами. Краснея и пыхтя, он дико вскрикивает:

— Я... я... не... зна-аю.

— Чего не знаешь?

— Я... урока.

Павел Федорыч притворяется, что недослышал.

— Что ты сказал?

— Урока... не знаю! — повторяет Иванов с натугой.

— Не слышу; скажи громче.

— Не знаю! — приходится еще раз сказать Иванову.

Товарищи хохочут.

Иванов же думает про себя: «Черти бы побрали его!.. привязался, леший!»

Учитель между тем прикидывается изумленным, что даже Иванов не приготовил уроков.

— Ты не знаешь? Да этого быть не может!

Новый хохот.

Иванов рад провалиться сквозь землю.

— Отчего же ты не знаешь?

Опять начинается травля, до тех пор, пока Иванов не начинает лгать.

— Голова болела.

— Угорел, верно?

— Угорел.

— А ты, может быть, простудился?

— Простудился.

— И угорел и простудился?.. Экая, братец ты мой, жалость!

Товарищи, видя, что Иванов сбился с толку, помирают со смеху. А мученик думает: «Господи ты боже мой, когда же отпорют наконец», и решается покончить дело разом:

— Не могу учиться.

— Отчего же, друг мой?

— Способностей нет.

— А ты пробовал учить вчера?

— Пробовал.

— О чем же ты учил?

Вот тут доходит дело до самой мучительной минуты: хоть убей, не разжать рта, точно губы с пробоем, а на пробое замок. Иванов не обеспокоился не только что выучить урок, но даже узнать, что следовало учить. Павел Федорыч, боясь, что Иванову подскажут товарищи, встал со стула и подошел к нему с вопросом:

— Что ж ты не говоришь?

Иванов замкнулся, и не отомкнуться ему, несчастному.

Павел Федорыч кладет на него руку. Иванов переживает мучительную моральную пытку, да и другим камчатникам вчуже становится жутко.

— Зачем ты смотришь в парту? Смотри прямо на меня.

У Иванова нервная дрожь. Не поднять ему своей головы — тяжела она, точно пивной котел, который только бил по плечам богатыря.

Между тем Павел Федорыч берет Иванова за подбородок.

— Не надо быть застенчивым, мой друг.

Мера душевных страданий переполнена. Иванов только тяжело вздыхает. Наконец, после долгого выпытывания, с тем глубоким отчаянием, с которым бросаются из третьего этажа вниз головой, Иванов принужден сознаться, что он не знает, что задано. Но у него была теперь надежда, что после этого начнутся только распеkania и порка, значит, скоро и делу конец, — напрасная надежда.

— Зачем ты забрался в Камчатку? Посмотри, что здесь сидят за апостолы. Ну, хоть ты, Краснопевцев, скажи мне, что такое шхера?

Краснопевцеву что-то подсказывают.

— Шхера есть,— отвечает он бойко,— не что иное, как морская собака.

Все хохочут.

— Ну, ты, Воздвиженский... поди к карте и покажи мне, сколько частей света.

Воздвиженский подходит к висящей на классной доске ландкарте, берет в руки кий и начинает путешествовать по европейской территории.

— Ну, поезжай, мой друг.

— Европа,— начинает друг.

— Раз,— считает учитель.

— Азия.

— Два,— считает учитель.

— Гишпания,— продолжает камчатник, заезжая кием в Белое море, прямо к моржам и белым медведям.

Раздается общий хохот. Учитель считает.

— Три.

Но ученый муж остановился на Белом море, отыскивая здесь свою милую Гишпанию, и здесь зазимовал.

— Ну, путешествуй дальше. Али уже все пересчитал страны света?

— Все,— отвечал наш мудрый географ.

— Именно все. Ступай, вались дерево на дерево,— заключил Павел Федорыч.

Он нарочно вызывает самых ядреных лентяев, отличающихся крутым, безголовым невежеством.

— Березин, скажи, на котором месте стоят десятки?

— На десятом.

— И отлично. А сколько тебе лет?

— Двадцать с годом.

— А сколько времени ты учишься?

— Девятый год.

— И видно, что ты не без успеха учился восемь лет. И вперед старайся так же. А вот послушайте, как переводит у нас Тетерин. Следовало перевести: «Диоген, увиди маленький город с огромными воротами, сказал: «Мужи мидяне, запирайте ворота, чтобы ваш город не ушел» Мужи по-гречески αὐβεις (андрес). Вот Тетерин и переводит: «Андрей, затворяй калитку — волк идет». Он же расписался в получении казенных сапогов следующим

образом: «Петры Тетеры получили сапоги». — Ну, послушай, Петры Тетеры, что такое море?

— Вода.

— Какова она на вкус?

— Мокрая.

— Про Петры же Тетеры рассказывали, что он слово «тахитус» переводил словом «Максим»; когда же ему стали подсказывать, что «тахитус» означает «весьма большой», он махнул «весьма большой Максим». Ну, а ты, Потоцкий, проспрядай мне «богородица».

— Я богородица, ты богородица, он богородица, мы богородицы, вы богородицы, они, оне богородицы.

— Дельно. Проспрядай «дубина».

— Я дубина...

— Именно. Довольно. Федоров, поди к доске и напиши «охота».

Тот пишет «охвота».

— Напиши «глина».

У того выходит «гнила».

Таким образом Павел Федорыч потешался над камчатниками, заставляя их нести дичь. Иванов радовался в душе, что учительское внимание было отвлечено от него. Напрасная радость: то был новый маневр, пущенный в ход учителем.

— Что, Иванов, хороши эти гуси?

Иванов опять приходит в ажитацію.

— Как бы ты назвал этих господ? Не назвал ли бы ты их дикарями? Платонов, что такое дикарь?

— Дикий человек.

— А умеешь ты говорить по-гречески?

— Нет.

— А я слышал, что да. Идет он с таким же, как сам, гусем. Один гусь говорит: «альфа, вита, гамма, дельта»; другой гусь говорит: «эпсилон, зита, ита, фита». Не правда, что ли? Тогда еще пирожник назвал вас язычниками. Вот вроде его один господин приезжает к отцу на каникулы. Отец его спрашивает: «Как сказать по-латыни: лошадь свалилась с моста?» — Молодец отвечает: «Лошадендус свалендус с мостендус».

Иванов опять оживился надеждой, что его забыли.

— И не стыдно тебе, Иванов, сидеть среди таких олухов? Я ведь знаю, что ты не станешь спрядать «дубину», не скажешь, что десятки стоят на десятом месте, не по-

едешь в Ледовитый океан с какой-то «Гишпанней», зачем же ты забрался к этим дикарям?

— Простите,— шептал Иванов.

— В чем тебя простить? — И Павел Федорыч опять добивается того, что Иванов сам себе делает приговор:

— Ленился...

— Дело ли будет, если я прошу тебя?

Пускается в ход новый маневр. Известно, что для школьника мучительна не столько самая минута возмездия, сколько ожидание его. Это понимал Павел Федорыч и пускал в ход всю практическую психологию.

— Простить тебя? А потом сам же будешь бранить за это, зачем позволял тебе лениться; скажешь, не дурак же я был — учителя не хотели обратить на меня внимания.

— Простите! — говорил Иванов.

— Да ты знаешь ли, что с тобой может случиться, если, чего избави боже, тебя исключат? Знаешь ли, что предстоит всем этим камчатникам?

Камчатка внимательно насторожила уши.

— Теперь по Руси множество шляется заштатных дьячков, пономарей, церковных и консисторских служек, выгнанных послушников, исключенных воспитанников,— знаете ли, что хочет сделать с ними начальство? — оно хочет верстать их в солдаты.

— Простите! — говорил Иванов, думая с тоскою: «Боже мой, скоро ли же сечь-то начнут?.. проклятый Краснов!.. всю душу вытянул».

— Я слышал за верное, что скоро набор, рекрутчина. Ожидайте беды...

Мы имели случай в первом очерке заметить, что не раз проносилась грозная весть о верстании в солдаты всех безместных исключенных. Теперь прибавим, что такой проект начальство действительно не раз хотело осуществить, но в духовенстве всегда в этом случае подымался ропот; оно и понятно: многие сильные мира были или сами дети причетников, или имели причетниками своих детей и других родственников. Однако, тем не менее, грозная весть о солдатчине часто заставляла трепетать бурсаков.

Павел Федорыч пользовался этим обстоятельством с полным успехом.

— Как же тебя простить,— говорит он Иванову, неужели тебе хочется под красную шапку?

— Я буду учиться.

— Как же ты давеча говорил, что не можешь учиться?

Скверно на душе Иванова, потому что учитель доводит его до того, что он сам сознается:

— Лгал.

Травля продолжается далее. Приходилось после долгих выпытываний соглашаться, — что и делалось замогильным тоном, — в том, что он должен быть наказан; потом, сколькими ударами розог. Когда ученик был доводим до истомы нравственной и едва не до полупомешательства, тогда только учитель отсылал его к печке, где и давал десять ударов розгами, причем внушалось, что ученик каждый раз при незнании урока будет получать это ординарное количество стежков по тому месту, откуда ноги растут. Решившись обратить лентяя на путь истины, Павел Федорыч всегда доводил свою работу до благоприятного результата, преследуя цель неутомимо и энергически.

— Иванов! после класса приходи ко мне на квартиру.

Пригласивши к себе на квартиру, Павел Федорыч заставляет Иванова учить урок в рекреационные часы, так что если и после этого захотел бы лениться, то ему пришлось бы всю училищную жизнь просидеть над книгой, не нашлось бы и в праздничные дни свободной минуты — вечно под носом проклятый учебник, и лентяй со скрежетом зубным вгрызается в ненавистные строки. Мало-помалу долбня всасывает его и поглощает всецело.

Конец ли?

Нет, все-таки не конец. Павел Федорыч сносится с другими учителями относительно неофита. Долбежин и Батька говорят неофиту: «А, голубчик, у других ты учишься, а у меня нет?.. Запорю, животное, убью!» Те учителя в свою очередь начинали *досекать* лентяя, каждый *до своей науки*. Что тут станешь делать? Поневоле съешь всю бурсацкую науку, хотя в душе созреет и навек укоренится глубокая ненависть и беспощадное отвращение к той науке. Правда, ученик, досеченный до хорошего аттестата, будет благодарен, но все же не за бурсацкую науку, но за аттестат, дающий ему известные права.

Милостивые государи, как вам нравится подобное варварство в педагогике, к которому, однако, прибегал даже Павел Федорыч, человек с сердцем положительно добрым? Что же это значит? Если бы Лобов, Долбежин, Батька и Краснов не употребляли противоестественных и страшных мер преподавания, то, уверяю вас, редкий бурсак стал бы учиться, потому что наука в бурсе трудна и нелепа. Лобов, Долбежин, Батька и Краснов поневоле прибегали

к наслию нравственному и физическому. Значит, вся причина главным образом не в учителях и не в бурсаках, а в бурсацкой науке, чтоб ей сгннуть с белого света. Маломальски развитый семинарист всегда вспоминает о ней с ужасом.

Камчатка *почивала на лаврах* до сего дня спокойно и беспечно; но сегодня в ней ярые толки и шум. Павел Федорыч возбудил те толки и шум своими угрозами о солдатчине. Но не на всех камчатников грозная весть произвела одинаковое впечатление. Камчатники распались на два типа по роду бурсацких наук. Науки были: *божественные*, которые ныне называются богословскими, и *внешние*, которые ныне называются светскими. Одни камчатники отрицали только *внешние* науки и с усердием занимались законом божим, священной историей, церковным уставом и церковным пением. Эти специально готовились в дьячки и пономари. Представителями такого типа в особенности были двое — *Васенда* и *Азинус*. Васенда был великовозрастный, так что кончить курс ему пришлось бы не юношей, а тридцатилетним мужем. Он махнул на все рукою и принялся за божественные науки. Это был человек честный, добрый, обладавший громадною физическою силою, но, как все силачи, спокойный и сосредоточенный; но главное, он был замечательный скопидом и хозяин. Так он и выглядит кремнем-причетником, у которого хозяйство никак не будет хуже по крайней мере дьяконского. Заглянем в его ученический сундук, когда Васенда выдвигает его из-под кровати. В углу небольшой деревянный образок Василия Великого, благословение матери, вдовы-дьячихи; на внутренней стенке крышки сундука набиты два ремня, и за них вложено несколько дестей писчей бумаги; по краям, около бумаги, художественная выставка произведений конфетного и леденечного искусства: генерал, у которого нос чуть не поперек лица; голая женщина, кормящая грудью голубка, а за нею амур, как будто бы страдающий водяной болезнью; потом лубочная гравюра, вырезанная из Бовы и изображающая то, как сей богатырь побивает метлою рать несметную; далее картинка из священной истории, на которой вы можете видеть изгнание наших прародителей из рая, и тому подобные изображения; эти изображения перемешаны с леденечными билетиками; тут же, между прочим, налел-

лена числительница, показывающая дни и месяцы на целый год. Внутри сундука в одном углу кадушка, в которой грибы со сметаной, а в другой мешок с толокном. На дне лежат книги, всё божественные, ни одной внешней — их Васенда продал, как неуживые. В другой стороне сундука аккуратно уложено чистое белье и новенькая верхняя одежда. Кроме того, под образком находится маленький ящичек, в котором хранятся его деньги, письма, новейший песенник, нюхательный табак, пустая склянка, перочинный нож, гребенка, мыло и тому подобное. Вот вам сундук Васенды, окованный прочными железными полосами, с крепчайшим замком. У Васенды отличный дубленый тулуп и неизносимые осташи с голенищами по колено. Его скопидомство доходило даже до крайности: так, он целый год писал одним пером, едва касаясь бумаги и каждый раз бережно завертывая его в бумажку. Он уже и теперь так и выглядит степенным и практическим дьячком; и действительно, он умеет что угодно и купить и продать; походка у него важная, осташи блестят... Вот этот-то господин и был представителем лучшего типа бурсацкой Камчатки. В самом деле, из него вышел прекрасный зажиточный деревенский дьячок. Весть о солдатчине мало тревожила его: он верил в свою звезду.

Азинус был ученик высокого роста, сутуловатый, с выдававшимися лопатками на спине, на длинных ногах; широкие скулы, бойкие серые глаза и постоянно вздернутый кверху нос, вечно нюхающий что-то в воздухе, придавали лицу его выражение той хитрости, которою отличаются мелкие плуты с узким лбом. Он ходил в тиковом халате, в дырявых сапогах и в ватной шапке и зимой и летом. Азинус был сын заштатного пономаря, горького пьяницы, жившего подаянием. Мать Азинуса, бедная старуха, забитая своим мужем, переслала своего сына в училище с одним дальним своим родственником, но при этом, по неопытности или старческой рассеянности, не озаботилась передачею ему документов, необходимых для поступления в бурсу. Родственник привез Азинуса, тогда еще осьмилетнего мальчика, на огромный двор училища и пустил его на волю божью отыскивать самому себе науку. Азинус долго ходил по двору, не зная куда деться. К вечеру он проголодался и, увидя в восемь часов огромную массу воспитанников, примкнул к ним и очутился в столовой, где, долго не думая, принялся за щи и кашу. После ужина ученики отправились сначала на молитву,

а потом по спальням, — он за ними; в спальне он нашел незанятую казенную кровать, где и уснул спокойно. Поутру он опять вместе с другими сходил на молитву, а потом попал в приходский класс; тут он водворился на задней парте. Так он прожил около трех месяцев, пока наконец учитель не обратил на него внимания. Стали наводить справки, Азинуса в списках не оказалось. Его покормили в последний раз обедом и велели убираться за ворота на все четыре стороны. Вот так младенчество — лучшая пора нашей жизни! Он несколько дней питался милостынею, бог знает где ночуя, пока не наткнулся на другого нищего, своего отца, который отвел сына к знакомому дьячку, окончательно определившему маленького Азинуса в бурсу, которая его окончательно изувечила. Он сначала оказывал успехи, но скоро плюнул на все и, выжив известный период сечения, засел в Камчатку навсегда. Здесь сложился его характер, в высшей степени безалаберный. Главным его занятием были чет и нечет, юла, три листика, мена ножами и тому подобные коммерческие игры бурсы. Он сделался настоящим цыганом училища, променивая и выменивая, продавая и покупая что угодно. Деньжонки и вещи, приобретаемые им, шли у него без толку. Все ученики, остающиеся на рождество или пасху в училище, умели чем-нибудь запастись для праздника; Азинус же часто проедал деньги накануне его, а потом шлялся по спальням, лстыл, кланялся, прислуживался, ругался и лгал, выпрашивая кусок булки, яйцо или клок масла у своих товарищей. При таком характере он совершенно изолгался. До сих пор передают его рассказы. Так, он однажды говорил, что в страшную метель зимою ехал куда-то, на него напали волки. Что было делать? «Я, говорит, со страху спрятался в рожь». Когда его спрашивали, каким образом зимою попался он в рожь, тогда Азинус ругался, рассыпал смази и, свертывая из пол халата хвост, описывал им в воздухе круги. Нередко он сообщал своим слушателям о том, как он видел сам привидения, домовых, мертвецов и чертей. Но он не только что врал, но и прочь был и стянуть что-нибудь. Однажды он путешествовал на родину, верст за полтораста, с четырьмя копейками в кармане, спал в лесу, питался незрелыми ягодами, иногда заходил в харчевни, обедал в них и потом утекал, не заплативши денег за обед. Этот молодец когда прибыл на родину, то у него оставалась еще одна копейка в экономи. Азинус был во всех отношениях

противоположность Васенде. Но и он не обратил внимания на весть о солдатчине, хотя это сделал единственно по безалаберности своего характера.

Вообще Камчатка, отрицающая внешние науки и изучающая только божественные, не была сильно взволнована словами Павла Федорыча. К тому были основания. Начальство смотрело на божественную Камчатку довольно благосклонно: она что-нибудь да делала. Бывали проекты (и это знали камчатники) о преобразовании священных задних парт в специальный класс, так называемый *причетнический*. И потому ученики, подобные Васенде или Азинусу, были спокойны.

Но иное совсем происходило в другой половине Камчатки. Здесь почивали на лаврах абсолютные нигилисты, отрицавшие и внешние и божественные науки. Там сидели некоторые убогие личности, которые и сами убедились и начальство убедили, что не имеют способностей и учиться не могут, хотя странно считать кого бы то ни было неспособным даже к самому ограниченному, элементарному образованию. Так, был один ученик, сын финского священника, который просидел в приходском классе шесть лет и едва-едва научился читать, после чего его исключили. Его прозвище *Азбучка Забалдырь Евангилье Свитцы* — за то, что он азбуку называл азбучкой, а псалтырь — забалдырью. Такие примеры не редкость в бурсе. Столько же времени и в том же классе сидел Чабря. Иные до второго-третьего класса доплетались только через четырнадцать лет — время, которого достаточно для того, чтобы подготовиться на степень доктора какой угодно науки, срок, который одним годом только меньше срока нынешней солдатской службы. Эх, бедняги, какую ж лямку вы тянули: солдатскую, а вас еще солдатчиной стращали!.. Нашли чем испугать!.. Но вы все же так пеняли тогда на начальство, дрожали от страха за свою судьбу: вам, конечно, не хотелось такую же службу вынести вторично.

Мы видели, что действительно неспособные ученики были сегодня сильно встревожены. Но во внешней Камчатке были и способные ученики, сердце которых тоже дрогнуло от слов Краснова, не столько от того, что их головы хотели накрыть красной шапкой, — эти лентяи были народ беззаботный, мало думающий о будущем, — сколько от той беды, которую испытывал сегодня их товарищ, Иванов. Изленившись, они не могли взяться за книжку, а с другой стороны, особенно умные из лентяев инстинк-

твно н, право, справедливо чувствовал отвращение к бурсацкой науке. Однако, тем не менее, нервная дрожь пробегала по их телу, когда они вспоминали Павла Федорыча. Они чувствовали, что вслед за Ивановым стоит их очередь, что зоркий глаз Краснова отыщет их в Камчатке и заставит их прочувствовать всю моральную пытку своей психолого-педагогической системы. Грустно, скучно сегодня в Камчатке; но, читатель, подождите немного, и вы увидите, что сегодня же радостно взволновало не только Камчатку божественную, не только Камчатку внешнюю, но и весь класс бурсаков.

Дайте только рассказать мне, какую штуку отмолил сегодня Аксютка в сообществе с Ipse,— иначе рассказ наш не будет вам понятен.

Аксютка все еще щелкает зубами.

Стемнело. Лампы, как мы уже имели случай заметить, не зажигались в классах до занятных часов. Аксютка пробрался в первоуездный класс, где в потемках обыскивал карманы и парты учеников.

— Где бы *стилибонить*? — шептал он.

Отправился он в приходские классы. Успех был тот же, и Аксютка со злости загнул какому-то несчастному трехэтажные салазки.

— Всё стрескали, подлецы! — проговорил он.

С голодом Аксютки естественно росло непобедимое его желание похитить что-нибудь и съесть, а вместе с тем увеличивались его хитрость, изворотливость и предприимчивость. Он отыскал своего друга и верного пажу Ipse и оправился вместе с ним в тот угол двора, у ворот, где была пекарня. Они пришли к пекарне; Ipse спрятался в темном углу ее, а Аксютка что есть силы стал ломиться в двери.

— Голубчик, Цепа, дай хлеба.

Цепка был солдат добрый. Он голодных бурсаков часто наделял хлебом, а кого любил — так и ржаными лепешками. Но этот хлебопек не мог терпеть Аксютку: он был уверен, что Аксютка стянул у него новые голеища.

Отметим здесь еще странное явление бурсы. Служители училища были чем-то вроде властей для учеников; у инспектора они имели значение гораздо большее, нежели всякий второклассный старшой. Свидетельство *сторожа* (так ученики звали прислугу) или жалобы его всегда

уважались начальством. Ученик против сторожа ничего предпринять не мог. Это объясняется тем, что вахтер, гардеробщик, повар, хлебник, привратник и секундатор из сторожей, очевидно, служили в видах начальства. Все они из урезанных продуктов, разумеется ученических, должны были во что бы то ни стало приготовить для начальства хлеб, мясо, крупу, холст, сукно и тому подобное. Естественно, что жалоба на каждого из них была как бы жалобой на самое начальство; например, сказать, что повар мало каши дает, значило сказать, что эконом крадет казенную крупу, что эконом делится с смотрителем, училищный смотритель с семинарским, этот с академическим и так далее: выйдет, что жалоба о каше есть жалоба против высшего начальства, чуть не заговор и бунт. Да, на бурсацком языке такие жалобы, действительно, и назывались бунтами и преследовались, как бунты.

Служители сознавали свое положение и пользовались им.

Они жили гораздо лучше тех, кому служили: одежду носили казенную, ели вволю и хорошо, могли высказывать свои неудовольствия и грозить оставлением службы, у них всегда бывали жирные щи со свежей говядиной, жирно промасленная каша, а хлеба не порциями, как бурсакам, но сколько угодно. Живя почти на всем готовом, они, кроме того, получали жалованья от восьми до двенадцати, а вахтер и семнадцать рублей ассигнациями, — они были богаче самых богатых бурсаков. Многие из них имели случай красть казенное. Повар получал от некоторых учеников еженедельную плату за то, что кормил их утром и вечером кашею. Захаренко, секундатор, открыто брал взятки; каждый праздник он обходил классы и объявлял: «Что же, господа, Алексею Григорьевичу (так величали Захаренко) на табачок?» К нему сыпались на подставленную ладошь гроши и пятаки. За неделю, когда сбор был скуден, ученики замечали, что он сек их с большею исправностью и аппетитом. Кроме того, Захаренко продавал ученикам нюхательный табак, сам-тре. Словом, служители составляли низшее начальство. Если к этому прибавить, что некоторые из них наушничали инспектору, то понятно будет их влияние на учеников. Поэтому ничего нет удивительного, когда Захаренко под пьяную руку проводил пальцем по голове ученика, как по бубну, приговаривая: «Эй, прокислая кутья, ваше дело гадить, наше убирать». Или что удивительного, если Еловый бил бур-

сака метлой по затылку, Трехполенный давал трепку и тому подобное? В большинстве случаев такие обиды терпеливо сносились учениками.

Но Аксютка, как отпетая личность, не обращал внимания на служительские власти. Он продолжал ломиться к Цепке в хлебную.

— Кто тут? — слышался голос Цепки.

— Это я, Цепа.

— Я тебе дам такого хлебца, что не съешь... прочь пошел!..

— Цепа, ей-богу, есть хочется!

— Ну, пошел, пошел!.. не проедайся!..

Аксютка переменял тон. Он стал ругаться:

— Цепка, черт, дай же хлеба! Жалко, что ли, тебе куска какого-нибудь? Собака ты этакая, чтоб подавиться тебе сапогом, который ты шьешь!

— Ах ты бесов сын! — проворчал Цепка.

Цепка воткнул шило в деревянный обрубок, служивший ему столом, и, стиснув зубы, схватил метлу и стремительно бросился к двери. Он приударил за Аксюткой. Аксютка бегал очень хорошо; он мастер был играть в пятнашки и на небольшом пространстве умел *увертываться*, делая неожиданные повороты то в ту, то в другую сторону. Двор был велик, и потому Цепке было бы трудно поймать Аксютку, но Аксютка побежал к воротам. Цепка крикнул привратнику, стоявшему там:

— Держи его!

Привратник схватил тоже метлу и бросился на Аксютку. Аксютка переменял рейс. К его несчастью, был шестой час вечера, час, в который служители мели спальные комнаты. Они теперь выходили с разных концов двора.

— Держи его!

Аксютку все знали. Служители ополчились на него со швабрами. Аксютке приходилось плохо. Его травили с четырех концов — он и озирался хищным волком. «Намнут, черти, шею!» — думал он. Но вот ноздри его поднялись и опустились. Он быстро бросился к Цепке. Цепка, не подозревая ничего в этом новом маневре, бежал к нему с распростертыми руками. Другие служители, видя, что Аксютка почти в руках Цепки, опустив швабры, кричали:

— Хватай его!

Но Аксютка, налетев на Цепку, неожиданно упал ему под ноги. Разлетевшийся Цепка полетел кубарем вверх ногами. Аксютка направил свой бег к классу, который

уже был освещен, потому что начались занятия. Цепка, человек бедовый в сердцах, стал клясться и божиться, что убьет Аксютку. Он поднялся с земли, схватил метлу и отправился к классу, куда скрылся Аксютка.

— Теперь поймают... попался! — говорили служители и разошлись в разные стороны.

Цепка ворвался в класс с страшными ругательствами и помахивая метлою. Аксютка, увидев его, вскочил на первую парту, с первой на вторую и полетел над головами товарищей. Цепка последовал его примеру, и огромный солдат носился с метлою в храме бурсацкой науки... Картина была великолепная... Ученикам стало весело, — такие спектакли приходилось видеть не часто. Из-под ног разъяренных врагов летели на пол дождем книги, грифельные доски, чернильницы и линейки.

— Го-го-го! — начали бурсаки.

— Ату его! — подхватили другие.

Третий свистнули.

Кто-то книгой пустил в Цепку. Цепка не обращал внимания на крик, атуканье и рев бурсаков. Он распалился страшно. Двадцать две парты, как клавиши, играли под здоровенными его ступнями. Но вот Аксютка, соскочив на пол, скрылся под партой; Цепка хотел последовать его примеру, но какой-то бурсак дернул его за ногу, и он растянулся среди класса плашмя. Невозможно привести здесь той свирепой брани, которою он осыпал весь класс.

Аксютка, выглядывая из-под парты, говорил ему:

— Цепка, встань, да на другой бок.

Цепка бросился к нему; но Аксютка уже из-под другой парты:

— Право, Цепка, дай, — голенища подарю.

Цепка понял, что под партами ему не угодиться за врагом. Он, обозвав бурсаков прокислой кутьей и жеребьячьей породой, направился к двери. Его проводили криком, свистом, атуканьем и крепкими острогами.

Покажется странным, каким образом подобный гвалт и рев мог не доходить до начальства. К тому способствовало самое устройство училища. Все здание разделялось на два корпуса — старый и новый. В *старом* года за три до описываемого нами периода помещалась семинария, а в *новом* училище. Семинария потом была переведена в новое здание, училище же осталось в прежнем. В училище из начальства жили только смотритель и инспектор,

другие учителя помещались в старом корпусе¹. Таким образом, училище, по необходимости, управлялось властями, выбранными из учеников же. Кроме того, квартира смотрителя и инспектора была на противоположном конце двора, далеко от классов, так что никакой гвалт и рев не доходили до начальства. Служители составляли, как мы уже имели случай сказать, нечто вроде начальства и, значит, были ненавидимы товариществом, вследствие чего скандалы вроде описанного не доходили до инспектора и смотрителя.

Мало-помалу все успокоились в классе. Аксютка пробрался в Камчатку. Скоро явился и Сатана (он же и Ipse)...

— Ну что, Сатана?

— Оплетухом!

— Лихо!.. Ну-ка, давай сюда!

Ipse вынул целый хлеб...

— Да ты молодец!.. я тебя за это жалую смазью...

Сатана принял смазь и проговорил:

— Аз есмь Ipse!

Аксютка уписывал хлеб с волчьим аппетитом. Но после завтрака он все-таки не успокоился духом. «Черт их побери,— думал Аксютка,— этак когда-нибудь и с голоду умрешь. Уж не закатыть ли завтра нуль в нотате? Э, нет, подожду — еще потешусь над Лобовым. А дело все-таки гадко. Но ладно, *«бог напитал, никто не видал; а кто и видел, так не обидел»*, — заключил Аксютка бурсацким приловьем. — «Утро вечера мудренее...»

— Эх, Аксен Иванович,— сказал ему Ipse, как бы отвечая его мыслям,— воззри на птицы небесные: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, но отец небесный питает их.

— Аминь! — сказал Аксютка и решил продолжить свои проделки с Лобовым.

¹ Между прочим, описывая бурсу, мы опустили очень важное обстоятельство, что повело ко многим недоразумениям. Мы забыли сказать, что описываемая нами бурса — было закрытое учебное заведение. Ученики ее не жили, как в других бурсах, на вольных квартирах. Все, человек до пятисот, помещались в огромных каменных зданиях постройки времен Петра I. Эту черту не следует опускать из внимания, потому что в других бурсах вольные квартиры порождают типы и быт бурсацкой жизни такие, которых нет в закрытом заведении. Быть может, здесь же должно искать причину и того, что формы бурсацизма в нашем училище сложились так оригинально и так неискоренимо. Традиция, при закрытости заведения, имела полную силу и жизненность. — *Примеч. автора.*

Еще не утих гомерический хохот бурсы, как вошел в класс лакей инспектора и спросил:

— Где дежурный старшой?

Здесь,— отвечал старшой.

Тебя инспектор зовет.

Лакей ушел.

Сразу по всем головам прошла одна и та же мысль: верно, Цепка пожаловался инспектору на Аксютку, у которого уже дрожали от предчувствия беды поджилки, но и кроме его многие струхнули, потому что многие принимали участие в скандале.

Старшой застегнулся на все пуговицы и отправился к инспектору не без внутреннего трепета, потому что в его дежурство случилась эта милая шутка веселых бурсачков. На класс напало уныние. Минуты еле тянулись в ожидании дежурного. Наконец он явился. Его встретило мертвое молчание.

Дежурный окинул взором класс. Все ждали.

Женихи! — крикнул он.

У всех отлегло от сердца.

— Женихи? — отвечали ему.

Класс наполнился радостным ропотом. Туман с физиономий исчез, по ним пробежала светлая полоса. Все приподняли головы. У всех была одна мысль: «Среди нас есть женихи, значит, мы не мальчишки, а народ самостоятельный».

Но что сделалось с Камчаткой? Там воодушевленный говор, потому что настал час торжества, час величия Камчатки.

Взоры всех были обращены в эту счастливую страну.

Полно азбуке учиться,
Букварем башку ломать!
Не пора ли нам жениться,
В печку книги побросать?

Шум усиливался.

— Тише, крикнул цензор.

В классе несколько стихло.

— Кто женихи?

Вышли Васенда, Азинус, Ерра-Кокста, Рябчик.

— И я жених.— С этими словами присоединился к ним Аксютка.

Класс захохотал.

Ipse от восторга вертел хвостом халата.

— Никого больше?

Больше никого не оказалось.

— Женихи к инспектору!.. живо!

Все пятеро отправились к инспектору. Класс, глядя на Аксютку, который с уморительными гримасами подпрыгивал и бил себя по бедрам, весело смеялся.

Когда женихи скрылись за дверями, класс наполнился сильным говором, точно на рыночной площади торг во всем разгаре. Но это не был тот бесшабашный гвалт, когда бурсаки тянули *холодно* или дули *разноголосицу*: он скорее походил на тот шум, который наполнял класс во время получения билетов на каникулы. В Камчатке же шло положительное ликование — она высылала от себя женихов, героев дня. Событие во всех головах поднимало мечты: «когда-нибудь и мы освободимся от бурсы». От двенадцатилетнего мальчика до двадцатидвухгодовалого парня, от последнего лентяя до первого ученика — все думали одну радостную думу. Все училище было охвачено трепетом. Бог весть каким образом магическое слово «женихи» быстрее ласточки облетело по всем классам, сладостно волнуя бурсацкие души. Урок нейдет на ум, книги в партах, ученики сбились в кучки, и цензор снисходителен на этот раз — не разгоняет их. Все сразу почему-то вспомнили свою родину, дом, отца с матерью, братьев с сестрами. Самые молодые бурсачки — и те рассуждают о невестах, о женитьбе, о поповских и дьяческих местах и доходах, о славенье и т. п. Многие толкуют о дне исключения их: кто собирается в дьячки, кто в послушники, кто в чиновники, а кто так и в военную службу.

Женихи вернулись от инспектора.

— Ну что? — спрашивали их с любопытством.

— Везет ли, Аксен Иваныч? — говорил Ipse.

— Вот тебе — читай.

Ipse взял из рук Аксютки осьмушку исписанной бумаги и начал по ней читать громко:

Б и л е т

Ученик Аксен Иванов уволен в город для свидания со своею невестою Ириною Вознесенскою, 18... года 23 октября, с 4 часов пополудни до 9 часов вечера.

Далее следовала подпись инспектора.

— Bravo, Аксютка! — кричали товарищи.

У Васенды и Азинуса были такие же билеты.

Но остальные два претендента пробирались на свя-

щенные парты Камчатки с унылым и понуренным видом.

— Вы что?

— Их сначала будут румянить и уж потом на смотрины.

Раздался смех.

Униженные и оскорбленные, усевшись на место, положили с отчаянием свои победные головы на руки.

— Этому,— пояснил Аксютка, указывая на великовозрастного бурсака,— инспектор сказал: «Я тебя замечал в нетрезвом виде — какой же из тебя выйдет муж... Нет, вместо свадьбы устрою тебе баню».

— Поздравьте, господа,— дополнил Аксютка,— молодых с законным браком.

Хохот.

— А этому,— говорил Аксютка, указывая на другого отверженного жениха,— оказалось всего четырнадцать лет.

— Вот так жених!

— Смазь ему, ребята!

— Салазки жениху!

Несчастливого окончательно унизили и оскорбили широчайшей смазью и беспощадными салазками. В другое время он протестовал бы, но теперь стыдно было, что он, четырнадцатилетний мальчик, задумал *бракиться* с тридцатидвухлетней древностью. Кроме того, его мучил страх грядущих румян. С горя, стыда и страха он заплакал.

К нему подошел Тавля, приподнял его голову, ущемил двумя перстами нос жениха и потянул через парту.

— У-у-у! — затащил он.

Класс захохотал.

— Молокосос!

Тавля после того еще надрал ему уши.

Бедняга рыдал, но от стыда не решился просить пощады. С той поры его прозвали «мозглым женихом». Он в тот же вечер ударился в беги. Когда будем говорить о бегунах бурсы, расскажем и о его похождениях.

Около женихов были шум и толкотня. Расспрашивали о приходе, о невесте, о доходах, давали советы и снаряжали на завтрашний день к невесте. Общая внимательность и предупредительность показывали то напряженное состояние духа учеников, в котором они находились. Это выразилось тем, что товарищи охотно предлагали женихам кто новенький сюртучок, кто брюки, кто жилет, даже сапоги и белье. Азинус на другой день сбросил с себя ти-

новый халат и дырявые сапоги, у которых вместо подметок были привязаны дощечки деревянные, и явился франтом хоть куда. Все это напоминает нам тех беглых арестантов, которых г. Достоевский изобразил в «Мертвом доме». Как там товарищи радовались за освободившихся от каторги, так и здесь радовались за освободившихся от бурсы.

Вечер закончился блистательным скандалом. Тавля женился на Катьке. Достали свеч, купили пряников и леденцов, выбрали поезжан и поехали за Катькой в Камчатку. Здесь невеста, недурной мальчик лет четырнадцати, сидела одетая во что-то вроде импровизированного капота; голова была повязана платком по-бабьи, щеки ее были нарумянены линючей бумажкой от леденца. Поезжане, наряженные мужчинами и бабами, вместе с Тавлей отправившись к невесте, а от ней к печке, которую Тавля заставил принять на себя роль церкви. Явились попы, дьяконы и дьяки, зажгли свечи, началось венчанье с пением «Исаие, ликуй!». Гороблагодатский *отломал апостол*, закричав во всю глотку на конце: «А жена да боится своего мужа». Тавля поцеловал у печки богом данную ему сожительницу. После того поезд направился опять в Камчатку, где и начался великий пир и столованье. Здесь гостям подавались леденцы, пряники, толокно, моченый горох, и даже часть украденного Аксюткою хлеба шла в угощение поезжан и молодых. Поднялись пляски и пенье. В конце занятых часов появилась и святая мать-сивуха. На другой день через фискалов все известно было инспектору, и последовало румянение тех мест, откуда у бурсаков растут ноги.

На другой день у Васенды, Азинуса и Аксютки были действительные смотрины.

Васенда, как человек положительный и практически нашел невыгодным закрепленное место, приданое и обязательство, а невесту чересчур заматоревшею во днеш св на вид рябою, длинною и черствою. Он решил остаться в Камчатке до лучшей суженой.

Азинус, по безалаберности своего характера, а отчасти потому, что ему надоела и опротивела бурса, махнув на все рукою, решил вступить в законный брак с дамою, которая была старше его по крайней мере десятью годами. Впоследствии из него вышел мерзейший муж, а из его супруги того же достоинства баба.

Аксютка вовсе и не думал жениться. Он отправился на смотрины единственно из желанья потешиться, поест у невесты, стянуть что-нибудь и погулять вне училища, на свободе. Он украл у «нареченной» шелковый платок и три медных гривны.

Один из женихов, как мы уже видели, удрал из училища и теперь состоял в бегах.

Пятый жених на другой день получил от инспектора румяны, то есть блистательную порку.

1863

БЕГУНЫ И СПАСЕННЫЕ БУРСЫ

О черк четвертый

Главное действующее лицо настоящего очерка— Карась. Что это за рыба?

Карась был довольно самолюбивая рыба. Два его брата, уже бурсаки, смотрели на него как на *маленького*, не допускали его не только в серьезные, по их понятию, предприятия, но даже и в простые игры, и именно на том основании, что он *не ел еще семинарской каши*, а между тем он слышал иногда от них рассказы о разного рода играх бурсаков, о бурсацких богатырях, их похождениях, проделках с начальством,— рассказы, которые казались ему очень привлекательны: все это породило в нем страстное желание как можно скорее, всецело, по самые уши окунуться в болото бурсацкой жизни.

Настал давно ожидаемый им день. Сняли с Карася детскую рубашонку и вместо ее надели сюртучок — той минуты он почувствовал себя годом старше; он мел уже *свою* кровать, *свой* сундук, *свои* книжки — это все прибавило ему росту; дали ему на булки двадцать копеек, капитал, редко бывавший в его руках,— тогда Карасиная гордость сделалась непомерна. Пришел час расставания с родным домом: помолились богу, благословили Карася, у матери слезы на глазах, отец серьезен, сестренки задумались,— лишь Карась радуется и скачет как сумасшедший, он блаженствует от той мысли, что еще несколько минут — и он будет бурсак, бурсак с головы до ног, вдоль и поперек.

Карася отвели в бурсу. Здесь он простился с отцом очень невнимательно. Ему хотелось поскорее присоединиться к ученикам, которые играли на большом дворе бурсы в *лапту, касло, отскок, свайку, рай и ад, казаки-разбойники, краденую палочку* и т. п. Долго не думая, он по уходе отца отправился на двор, где и присоединился к кучке бурсачков, игравших в *рай и ад*, то есть скакавших на одной ноге среди начерченной на земле фигуры, причем носком сапога они выбивали из разных ее отделений камешек...

«Это очень весело», — подумал Карась.

Но в то же время он услышал насмешливый голос:

— *Новичок!*

— *Городской!* — прибавил кто-то.

— *Маменькин сынок!*

«О ком это?» — думал Карась.

Его щипнули.

«Обо мне», — решил он. Сердце его замерло от предчувствия чего-то нехорошего...

— Смазь новичку!

«Это что такое?» — подумал Карась.

На него налетел довольно взрослый бурсак и схватил его лицо в свою грязную пясть. Карась вовсе не ожидал такого приветствия. Он озлился, но не ему, поступившему в училище на десятом году, было бороться с здоровыми бурсаками. Однако Карась не обратил внимания на свое слабосилие. Он размахнулся ногою и ударил ею своего обидчика в живот. Бурсак застоял и хотел дать трепку Карасю, но Карась ударился в беги.

— Ай да новичок! — слышал он сзади себя одобрение.

«Вона — еще хвалят!» — думал утекающий Карась.

В пять часов вечера братья отвели Карася во второй приходский класс, где он и водворился на задней парте и скоро познакомился со своим соседом, которого звали *Жирбасом*.

— Ты будешь учить урок? — спросил Жирбас.

— Буду.

— Зачем?

— А учитель спросит?

— Быть может, и не спросит.

— Так разве не учить?

— Не стоит.

— И не буду же учить.

Так Карась начал свое духовное образование. Однако же чем развлечься? — впереди предстояли еще три учебных часа.

— Что же мы будем делать? — спросил Карась.

— Давай играть *в трубочисты*.

— Ладно.

Но лишь только Жирбас стал *загадывать*, пряча грифель, подходит к Карасю какая-то каналья и, показывая ему небольшую склянку, говорит:

— Хочешь, *посажу тебя в эту бутылочку?*

— В эту?.. Каким образом?..

— Да уж будешь сидеть... хочешь?

— Шутишь, брат!.. Ну-ка, сади!

— Вот тебе шапка — трись ею...

— И буду сидеть в бутылочке?

— Будешь.

Карась берет поданную шапку и начинает очень усердно тереться тою шапкой.

— Входишь в бутылочку, лезешь,— говорили окружающие Карася товарищи, а сами хохотали.

— Чего вам смешно? — спрашивал глупый Карась.

— Довольно! — говорят ему.— Сел в бутылочку.

— Как так? — спрашивает Карась, отнимая от лица шапку.

Раздался дружный веселый смех...

— Где ж я в бутылочке?

— Дайте ему зеркальце.

Подали зеркало. Заглянув в него, Карась не узнал своей рожицы: вся она была черна, как у трубочиста. Только тут Карась смекнул, что шапка, которою он терся, была вымазана сажею и ее трудно было приметить на черном сукне. Карасю было досадно и стыдно.

— Сам выпачкался,— говорили ему.

— Не на кого и жаловаться...

— Фискалить? да мы его *вздуюем!*

— Не буду я фискалить,— ответил Карась,— а вы все-таки подлецы!

Карасю пришлось выносить насмешки своих товарищей. Вымыв рожицу из ведра, стоявшего в углу класса, Карась обратился к Жирбасу, надеясь на его сочувствие...

— Черти этакие! — сказал он...

Но Жирбас, услышав такие слова, отвечал на них оскорбительным для Карасинога уха смехом.

— Жирная скотина! — проворчал Карась...

Это было началом его раздора с Жирбасом. Этот раздор с каждой минутой развивался сильнее и сильнее при тех случаях, когда Карасю приходилось, как новичку, терпеть разного рода шутки и проделки со стороны своих товарищей.

К Карасю подошел цензор и спросил его:

— *Видал ли ты Москву?*

— Никогда не видал.

— Так я тебе покажу ее.

С этими словами цензор схватил Карасиную голову в свои руки, ущемил ее между ладонями и приподнял новичка в воздухе...

— Ай, пусти! — запищал Карась.

Цензор, потешившись над рыбою, опустил ее на парту. Жирбас опять смеялся. Его рожа для Карася становилась противна.

— Жирная харя! — сказал он вслух.

Это нисколько не обидело Жирбаса. Он только пуше захохотал. Карась нашел, что благоразумнее будет, если он и на этот раз смирится, — иначе его досада только усилит насмешки соседей.

Но вот спустя немного времени подходит к Карасю какой-то верзила. Строгим начальническим тоном он отдает ему приказ:

— Ступай на первую парту. Видишь, там сидит большой ученик. Ты спроси у него *волосянки*.

Карась повинуется.

— Дай *волосянки*, — говорит он, подходя к указанному ученику.

— Изволь, сколько хочешь, — отвечает тот и, вцепившись в волоса несчастного Карася, начинает трепать его очень чувствительно... Карась пищит, на глазах его слезы.

Вернувшись на свое место, он слышит новый смех Жирбаса. Рожа этого соседа делается для него ненавистна.

— Вот тебе! — говорит озлившаяся рыба и дает толчок по боку соседа.

Но и это не действует на Жирбаса.

— *Чкни* еще, — говорит он, подставляя другой бок, а сам заливается обидным смехом.

— Свинья, — приветствует его Карась и отворачивается в сторону с твердым намерением не говорить ни слова с соседом.

Карась сидит насупившись. Смазь, бутылочка, Москва, волосянка показались ему очень солонь... Он опасается, чтобы еще не провели его на чем-нибудь. К нему подходит один второкурсник. Карась смотрит на него подозрительно...

— Что бедняга, тебя обижают? — говорит второкурсник ласково...

Карась отвечает на этот вопрос сердитым взглядом.

— Они новичков всегда обижают,— продолжал второкурсник.— Ты мне скажи, если кто тебя тронет.

Карась пойман на ласковое слово...

— Чего они лезут ко мне,— проговорил он жалобно,— ведь я их не трогаю?..

— Теперь ничего не бойся: я заступлюсь...

— Заступись, брат...

Второкурсник сел подле него и стал расспрашивать, откуда он, где его отец, есть ли у него мать, братья и сестры. Карась доверчиво раскрыл перед новым знакомцем свою душу: его приветливость была очень кстати и вовремя для огорченного Карася...

— Хочешь булки? — сказал он, развязывая узелок...

Второкурсник не отказался и стал еще ласковее.

— Давай, я тебе штуку покажу,— говорит он...— Напиши: «я иду с мечем судия».

Карась написал.

— Читай теперь сзади наперед, от правой руки к левой.

И от правой руки к левой выходит: «я иду с мечем судия».

Это очень понравилось Карасю...

— Подожди, я тебе еще покажу штуку,— говорит второкурсник.

Он отлучился куда-то ненадолго и, вернувшись, опять садится подле Карася...

— Напиши,— говорит,— «лей воду, лей; ей-богу, не скажу я никому».

Карась в надежде, что еще увидит что-нибудь вроде «судии с мечем», взял карандаш и написал, что требовалось.

Но едва успел он кончить последнее слово, как второкурсник окатил его водою из ковша, который он держал за спиною. Мокрый Карась понять не мог, что это значит.

— Это еще что? — спросил он.

— Сам,— отвечал второкурсник,— дал расписку, что никому не скажешь...

— Ах ты подлец, подлец...

Но подлец лишь только смеялся. Отвратительный Жирбас вторил ему. Карась был унижен и оскорблен. Он не вынес смеха Жирбаса и, увлекшись злобой, довольно сильно ударил его по шее... Но, казалось, Жирбас был неуязвим. Он после удара, схватившись за живот, раскатился пущим смехом... Карась стиснул зубы и, закрыв лицо руками, сбирался плакать.

В то время проходил мимо его *Силыч*, парень лет восемнадцати, товарищ ему, десятилетнему мальчугану. Силыч остановился около Карася, положил на его плечо руку, а другою ни с того ни с сего сильно ударил в его спину. Дух замер в Карасе, потому что удар пришелся против сердца. Он со стоном еле поднял свою голову.

— За что? — спросил он...

— *Так себе*,— ответил Силыч...

И действительно, Силыч, человек, как увидим далее, добрый, сам не знал, зачем сделал подобную гадость. Он ударил не по злости, не для потехи, не потому, что рука затеклась кровью и просила моциону, а именно *так себе*, бессознательно, как-то само ударилось, нечаянно... Он спокойно пошел далее, а Карась наконец не вынес и зарыдал...

Жирбаса при этом прорвало неудержимым смехом...

— Что, голубчик, верио, не едал еще таких штук...

В Карасе вспыхнула вся злость, накопившаяся в продолжении занятых часов...

— Подожди же, жирная тварь,— проговорил он, и с этими словами он схватил в одну руку линейку, а в другую довольно толстую книгу, принялся отработать Жирбаса — линейкой по бокам, а книгою по голове. Жирбас был старше Карася и сильнее, но оказался трусом. Он и не думал, в свою очередь, сделать нападение.

— Ай да новичок! — одобряли Карася.

— Молодчина!

— Ты корешком-то его!

Карась послушался доброго совета, повернул книгу корнем вниз и вlepил ее в темя ненавистного Жирбаса.

— Bravo!

— Хлестко!

— Свистни еще его!

Карась послушался и этого совета...

Наконец Жирбас вырвался из его рук и, закричав: «Я смотрителю пожалуюсь», скрылся за дверями.

Расположение товарищей к Карасю переменилось по уходе Жирбаса.

— Попался, голубчик! — говорили ему.

— Так что же?

— А то, что накормят *березовой кашей!*

Карась струсил, но, не желая обнаружить этого, проговорил храбро:

— Пусть кормят! — а сам думал: «Неужели меня в первый же день отпорют? только это не хватало!»

Через несколько минут Карася позвали к смотрителю, и, действительно, *в первый же день* крещения в бурсацкую веру он получил помазание в количестве пяти ударов розгами, причем ему было внушено: «Только на первый раз к тебе снисходительны; вперед будем драть сильнее!» Соображая, в каком размере должна усилиться порка в будущее время, он в горьком раздумье возвращался в класс...

— Ну что? — спрашивали его товарищи...

Карась, опять не желая показаться трусом, отвечал:

— Отодрали — вот и все.

— И тебе нипочем?

— Дери сколько хочешь — мне все одно!

— Э, да ты молодец! — похваливали его товарищи.

Карасиное самолюбие ощутило приятное шекотание, и он продолжал врать:

— Меня хоть пополам раздери, не струшу!

— Полно, так ли?

— Ей-богу, мне нипочем.

— Ах ты поросенок, — осадил его один из второкурсников, — а дирали ль тебя *на воздухах?*

— *На воздухах?* — спросил с недоумением Карась...

— Да, ты вот откушай этой похлебки, тогда и говори, что *дерут*. — *ведь не репу сеют.*

Карась, сделавшись на несколько минут предметом общего внимания, думал: «Значит, и мы не из последних?», но эту думу рефлексировала другая: «Что это такое *на воздухах?* что-нибудь слишком жестокое, если меня пугают такой деркой?» Но сила последнего вопроса скоро была ослаблена тем, что он за несколько минут до ужина подслушал мнение нескольких второкурсников о своей личности. Они говорили: «Из новичка, кажется,

выйдет добрый парень. Фискалить он не любит, порки мало боится, Жирбасу отлично съездил по голове. Из него выйдет порядочный бурсак, только следует пошлифовать его хорошенько. Мы и пошлифуем его!» Такие речи настроили Карася на доброе расположение духа. Он сообразил так: «Все эти смази, волосянки, треухи и бутылочки есть не что иное, как шлифование. Это меня испытывают они. Значит, надо держать ухо востро!» Он решил показать себя молодцом и уже взыгрался духом, намереваясь заявить среди новых товарищей свой характер, вполне достойный бурсака. «Что такое на воздухе? и какое еще предстоит мне шлифование?» — когда эти мысли приходили ему в голову, он старался прогонять их тем, что «из него, вероятно, выйдет добрый парень». «Посмотрим, что будет!» — говорил он себе.

Сходил он в училищную столовую, «щей негодных похлебал», поел каши и после молитвы пришел в спальную...

— Ты что? — спросил его брат, по прозванию *Носатый*.

Меня отодрали, — отвечал хвастливо Карась.

— Уже?

— Эге!

Брат, выслушав подробности дела, одобрил поведение Карася... Но Карась, сообщая брату о том, за что его высекли, не сказал ему о своих слезах, которые были вызваны у него сажанием в бутылочку, смазками, окачиванием воды и затрещинами; в нем начинал развиваться ложный бурсацкий стыд, который запрещает краснеть от лозы.

Карась, главное действующее лицо этого очерка, будет описан нами с особенными подробностями, потому что он во многих характерных событиях училища и семинарии принимал деятельное участие и притом прожил в бурсе четырнадцать лет — период, который мы хотим проследить в своих статьях о елейном воспитании. При этом заметим, что мы *лично* и *очень коротко* знакомы с господином, носящим прозвище Карася, и эту правдивую историю пишем с его слов.

Мы сказали, что Карась уже взыгрался духом от той мысли, что он покажет своим новым товарищам свой характер, вполне достойный бурсака, и что потом все

пойдет ладно. «Обживемся»,— думал он. Но он и не предполагал, что главное горе было впереди. Он не носил имени Карась при поступлении в училище. Это прозвище он получил несколько дней спустя, и оно-то было причиною тех его несчастий, о которых поведем рассказ.

Дело было так.

Не прошло и четырех дней, а Карась начал уже задумываться о доме, скучать и потихоньку от товарищей плакать. Желание его обурсачиться пропало. Все в училище ему казалось гадко и противно. С каждой минутой открывались пред ним гадости, описанные в наших очерках, и он скоро постиг весь контраст между домашним и училищным бытом. Семейная жизнь теперь казалась ему полным блаженством, выше которого нет на свете, бурсацкая — царством бесконечных мучений. Он усиленно всматривался в черную бездну, которая легла между той и другой жизнью... Домой хотелось, домой!.. Теперь самыми счастливыми для него минутами были те, когда он виделся с своими братьями; но он ошибся и в братьях, когда думал, что, поступив в бурсу, он делается равен им; Карась принадлежал к *приходчине*, на которую старшие классы смотрели свысока и с пренебрежением. С товарищами он не успел сойтись. Тоска грызла Карасиное сердце, и ему приходило не раз в голову: «Не дать ли тягу из училища? — но куда бежать?» В это время Карась и придумал дело, которое показалось ему очень хорошим.

Карась еще дома знал, что в училище так называемым *певчим* не житье, а масленица. В епархиальном главном городе той бурсы, в которую поступил он, было несколько духовных певческих хоров: ученический, семинарский, академический, архиерейский и, кроме того, два хора при городских церквях. Дисканты и альты (иногда басы и тенора) в эти хоры набирались из учеников. Родители всегда восставали против того, что их детей верстали в певчие. Хоры положительно портили детей¹. Мальчики теряли учебное время на спевках, *казных* обеднях, свадьбах и т. п. В прошлом очерке мы приводили факты бурсацкого невежества, но самое глухоголовое невежество царило в певческих хорах. Дель-

¹ При нашей характеристике хоров должно помнить, что она вполне относится не ко всем им: из них отчасти должно исключить хоры при учебных заведениях, хотя и эти хоры не совсем безвредны, но о них речь будет когда-нибудь после.— *Примеч. автора.*

ные бурсаки рассказывают, что за *четыренадцать* лет они помнят только *одного* умного человека, бывшего в маленьких певчих, да и тому не удалась жизнь: поступив по окончании семинарского курса псаломщиком в один из университетских заграничных городов, с намерением получить полное образование, он кончил тем, что застрелился. Хоры, делая мальчиков дураками, в то же время развращают их. Присутствуя очень часто на поминках, на которых, как известно, наш православный люд не ест, а лопают, не пьет, а трескает, дети не только видят пьяных, но привыкают и сами пить водку. Равным образом, они нередко бывают при кутежах больших певчих, слышат цинические рассказы о полуведерных, любовных похождениях, картежной игре, о драках и разного рода скандалах. Кроме того, маленькие певчие получают деньжонки, особенно так называемые *исполатчики* — деньжонки идут у них не путем. Чтобы сразу охарактеризовать растлевающую силу хорового быта, представляем читателю следующий факт. В одно время какая-то старая дева, на закате дней своих начавшая похотствовать, приучила к себе маленьких певчих возрастом *от пятнадцати до восьми лет*, шесть человек, и со всеми ими вступила в гражданский брак. Иногда же маленькие певчие употреблялись для того дела, для которого Нерон употреблял Спора. Понятно, что очень легко погибнуть мальчику в певческом хоре.

Карась не знал ничего этого. Он решился поступить в хор. Впрочем, он поступал в учебный хор, в котором хотя тоже баловались дети, но все же не развращались. Поступив в семинарский хор, Карась мог отлучаться из училища два раза в неделю на спевки, причем хоть сколько-нибудь удавалось подышать чистым воздухом; кроме того, в семинарии певчих поили иногда чаем и давали деньги; наконец, певчие состояли под особым покровительством семинарского начальства. Смекнув все это, Карась в то время, когда ему противна стала бурса, поступил в хор; но не смекнул Карась того, что он, несмотря на свой сильный альт, не имел никакого певческого таланта. Это ему дорого обошлось. Лучше бы, и в самом деле, быть ему безгласной рыбой, а не певчим. За постоянную фальшу в пении начали драть ему уши, потчевать пинками, щипками и ударами камертона в голову. Тогда Карась пустился на хитрости. Его сотрудники поют, а он только рот разевает. «Не за-

метят,— думает,— скажу, что и я пою». Но регента трудно было провести такими штуками.

— Ты, галюн, что только рот разеваешь? — сказал он Карасю.

— Я пою.

— Врешь, каналья.

— Ей-богу же, пою!

Карась перекрестился.

Карась крестится, а его за ухо.

— Пой, шельмец, громче!.. шибче!..

Карась заревел во все горло. Пение вышло так хорошо, что все расхохотались, и сам регент не выдержал. Один же озорник, из маленьких певчих, по прозванию *Лёха*, указывая на мученика пальцем и задыхаясь от смеху, проговорил:

— Ка...ка...ка...ррась...

— И вправду карась... Широкой, как карась,— подхватили другие.

— Его надо в пруд!

Пошла потеха.

Карась не был настолько благоразумен, чтобы обратить дело в шутку. На возвратном пути *Лёха* дразнил его, и когда они пришли в училище, бурсачки, окружив его, стали кричать:

— Карась!

— Рыба!

— С ершом подрался!

Карась стал браниться; его начали дергать за полы и щипать; тогда Карась принялся за палки и каменья. Весело стало ученикам; толпа увеличилась. Наконец кто-то шиб Карася с ног.

— *Мала куча.*

На Карася повалили других, на других третьих, и пошла история.

— Где ты, Карасище? — кричали сверху.

Карасю живот тискали, Карась задышался, Карась землю ел, Карась плакал...

После долгих усилий он вырвался кое-как и ударился бежать в класс. Бурсаки бросились за ним в погоню. В классе окружили его снова.

— Давайте *нарекать* Карася...

Схватили его за руки и всевозможными голосами, с криком, визгом, лаем, стоном начали кричать в самые уши его:

— Карась, карась, карась!

Гвалт поднялся страшный, и среди него ученики не слышали, как раздался звонок, возвещающий классные занятия. Прошло довольно времени, и уже в соседний класс пришел учитель, знаменитый Лобов, а шум не унимался. Несчастного Карася шипали, сыпали в голову щелчки, кидали в лицо жеваную бумагу. Карась точно в котле варился; он постепенно был оглушен и ошипан. Шутка зашла так далеко, что ему уже казалось, будто из мира действительности он перешел в мир полугорячего, безобразного сна. Рев был до того невыносим, что Карасю представлялось, что ревет кто-то внутри самой головы его и груди. Начинал он шалеть, предметы в глазах путались, линии перекрещивались, цвета сливались в одну массу. Еще бы минута, и он упал бы в обморок. Но Карася так жестоко шипнули, что вся кровь бросилась в лицо его, в висках и на шее вздулись жилы, и он с остервенением и в беспомощности бросился на первого попавшегося под руку; пальцы его, вцепившись в волоса жертвы, закалились.

Дело кончилось крайне омерзительно...

В класс вошел Лобов, которого сбесил шум бурсаков. Все разбежались по местам; лишь один Карась таскал свою жертву, которая, к несчастью, пришла к нему под силу.

— Взять его! — приказал Лобов.

Никто ни с места.

— Взять его!

На Карася бросились ученики большого роста и в одно мгновение обнажили те части корпуса, которые в бурсе служат проводниками человеческой нравственности и высшей правды.

— *На воздухах его!*

Карась повис в воздухе.

— Хорошенько его.

Справа свистнули лозы, слева свистнули лозы; кровь брызнула на теле несчастного, и страшным воем огласил он бурсу. С правой стороны опоясалось тело двадцатью пятью ударами лоз, с левой столькими же; пятьдесят полос, кровавых и синих, составили отвратительный орнамент на теле ребенка, и одним только телом он жил в те минуты, испытывая весь ужас истязания, непосильного для десятилетнего организма. Нервы его были уже измучены тогда, когда его нарекали Карасем,

щипали и зашали, а во время наказания они совершенно потеряли способность к восприятию моральных впечатлений: память его была отшиблена, мысли... мыслей не было, потому что в такие минуты рассудок не действует, нравственная обида... и та созрела после, а тогда он не произнес ни одного слова в оправдание, ни одной мольбы о пощаде, раздавался только крик живого мяса, в которое впивались красными и темными рубцами жгучие, острые, яростные лозы... Тело страдало, тело кричало, тело плакало... Вот почему Карась, когда после его спрашивали, что в его душе происходило во время наказания, отвечал: «Не помню». Нечего было и помнить, потому что душа Карася умерла на то время.

— Бросьте его!

С этими словами Лобова кончилось гнусное, любовское, лобное дело.

В жизни человека бывает период времени, от которого зависит вся моральная судьба его, когда совершается перелом его нравственного развития. Говорят, что этот период наступает только в юности; это неправда: для многих он наступает в самом розовом детстве. Так было и с Карасем. Слышали мы от него мнение такого рода: «Все уверены, что детство есть самый счастливый, самый невинный, самый радостный период жизни, но это ложь: при ужасающей системе нашего воспитания, во главе которой стоят черные педагоги, лишенные деторождения,— это самый опасный период, в который легко развратиться и погибнуть навеки». Это Карась испытал на себе...

Карась после *нарекания* и порки не мог опомниться и на долгое время потерял способность соображать. На другой день его посетил отец. Лишь только он увидел отца, из глаз его полились слезы. Родное селение, кладбище, дом с садом, семья, домашние товарищи, игры — все это живой картиной встало пред его воображением. Он теперь хорошо понял, как мила домашняя жизнь, которая казалась ему такой простой, и как гнусна бурсацкая, к которой он когда-то стремился.

— Домой хочу,— говорил он, глотая соленую слезу.

Отец его был человек в высшей степени добрый. Ему сделалось жалко сына...

— Тятенька, возьмите меня домой.

— Нельзя,— отвечал отец,— надобно учиться; все учатся, и ты не маленькой... Сначала только скучно, а потом привыкнешь... Ты веди себя хорошо, хорошо и жить будет.

Но отец вдруг прервал свою речь. Он подумал: «Все мы говорим, делаем подобные вещи, но они никогда не утешают их». Отец вздохнул.

— Зачем вы меня отдали сюда?

Сын плакал.

— Обижают, что ли, тебя?..

Сын ничего не отвечал...

Отец видел, что что-то неладно... Он опять сказал ласково:

— Что же, тебе худо здесь?..

Не только дети, но и взрослые, когда посещает их горе, делаются несправедливы к самым близким людям и друзьям, отплачивая на них свое горе. У Карася появилась досада на своего доброго отца.

«Зачем меня отдали в эту проклятую бурсу? — рассуждал он, не говоря отцу ни слова.— Зачем меня заперли сюда?.. Отец меня не любит, мать тоже, братьям и сестрам я не нужен... Большие всегда обижают маленьких... Когда так, не хочу домой... пусть их... мне все одно... Что и дома, когда там все ненавидят меня?.. Им приятно, что я мучусь... нарочно отдали сюда, чтоб меня секли, били, ругали... Отпустят в субботу домой, не пойду домой».

Так рассуждал Карась, а самому страстно хотелось домой. Казалось, тут и раскрыть свою душу перед отцом, но Карась роптал и думал про себя: «К чему? не поможет!» Он решил ничего не говорить отцу, который так и не узнал, какую моральную и физическую пытку перенес его сын в первые дни училищной жизни.

Когда ушел отец, к тоске по родном доме присоединился страх. Карась и не подозревал, что он, сравнительно с большинством новичков, довольно счастливо начал бурсацкую карьеру. Товарищи знали, что он вошел в училище с веселым лицом, а не со слезами, на первую пожалованную ему смазь отвечал ногой в живот обидчика; когда его сажали в бутылочку, давали ему волосянку, показывали Москву, обливали водой, когда бил его Силыч,— он и не думал жаловаться начальству, значит, из него не выйдет фискала; он лихо отколотил Жирбаса, получил в первый же день порку; когда драз-

нили его на дворе, он хватался за палки и камни, а не бежал к инспектору; даже во время самого *нареkania* его вцепился в волосы одного бурсака, — это были факты такого рода, которые внушали уважение к Карасю. Для него скоро бы прошло время, в которое его считали бы новичком и в которое больше всего терпит бурсак; но он потерял способность резюмировать — Лобов отшиб эту способность на время. Не будь Лобова, дело еще пошло бы кое-как. Но в это-то время душевного оупения пред ним и развернулась широкая, бездонная, зияющая пропасть бурсацких ужасов, силу которых он испытал на своей коже, мясе и костях. Карась находился теперь под полным подавляющим влиянием этой силы: мертвая безнадежность, глухое отчаяние легли на его сердце; и если бы товарищи продолжали мучить его, а начальники драть беспощадно, не дав отдохнуть для борьбы, он превратился бы или в дурака, или в подлеца. Вспоминая это страшное время, Карась говорит: «Многие честные дети честных отцов возвращаются домой подлецами; многие умные дети умных родителей возвращаются домой дураками. Плачут отцы и матери, отпуская сына в бурсу, плачут и принимая его из бурсы».

Карась уединился ото всех и замкнулся. Он всех боялся.

Но должно же было разрешиться чем-нибудь это пассивное страдание? Оно могло пока разрешаться только внутренним путем. В душе его проявляется страшная злость и ненависть, однако боящаяся обнаружить себя. Она горячит воображение Карася, и в голове его возникают странные идеи и картины. Он переносится в область фантазии, единственный уголок, где может он приютиться безопасно.

«Хоть поджег бы кто ненавистную бурсу!» — думает он. Эта мысль очень нравится ему, и он быстро доходит почти до образных созерцаний.

Карась представляет себе, как он с зажженной пачкой в руках опускается в подвалы училища, строит там огромные костры и, вышедши оттуда, ждет, скоро ли пламень своими огненными языками начнет лизать проклятые бурсацкие гнезда. Злость его видит, как пожар охватил бурсу... трещат, нагибаются, падают стены... разрушаются гнусные классы... горят противные книги и учебники, журналы и нотаты... гибнут в огне началь-

ники и учителя, цензора и аудиторы... С галлюцинационной ясностью стоит перед Карасем нарисованная им картина... Слышит он треск и гром разрушающегося здания, вопль умирающего начальства... «Это кто стонет? — спрашивает Карась.— А! Это Лобов корчится на горячих угляях, его придавило бревном, глаз его лопнул, почернели губы, и трескается зверское лицо...» Карась с сладостным наслаждением любит своими образами и живет злорадной мечтательной местью... Нервы его в полугорячем состоянии; пульс бьет девяносто в секунду; голова горит... Когда в действительности силы связаны, тогда у мальчика с сильным воображением является в неестественных образах гиперболическая месть. Доводя злые мечты до последнего развития, Карась повторяет одно и то же несколько раз, определяя каждую подробность их, каждую мелочь. Но такое психическое состояние не может продолжаться долго; душа утомляется, и начинает незаметно пробиваться здравая мысль. Карась, погруженный в свирепые мечтания, почему-то вдруг вспоминает, как он однажды подшиб нечаянно камнем голубя и потом целую ночь не мог заснуть от мучений совести... Он ясно начинает понимать всю ложь и безобразие своих картин, гонит их прочь, на душе делается пусто и противно, остается одна тошнота от неумеренных и бесплодных мечтаний.

Яркий звонок возвестил час вечерних занятий.

Действительность, от которой он закрывал глаза и затыкал уши, врывается насильно в сознание, обнаруживая все ребячество его раздраженного воображения. Он сидел в классе, на задней парте, понуря тоскливо голову. Уличенный совестью, он теперь гнал от себя мечты, и, таким образом, ни во внешнем, ни во внутреннем мире не осталось места, куда бы можно было спрятаться, а между тем душа и тело просят деятельности. В этом мучительном состоянии Карась не знает, что и делать. Очень тяжело ему.

«Господи,— думает он в невыносимой тоске,— хоть захворать бы мне!» Это было толчком, от которого развились фантазии в новом направлении. Кроме внутреннего мира, нигде не было приюта. И вот Карась болен... Он при смерти... Родная семья плачет около его постели и прощается с ним до радостного утра... Карась готовится к переходу в вечность... последний час... Но далее

мечта сбивается с пути, потому что умирать не хочется. Карасю является Николай-чудотворец, исцеляет его и велит идти спасаться в пустыню... Рисуется ему пустынная, мирная, ангельская жизнь, трудные подвиги, церковные песни, беседы с богом. Из него выходит великий святой... Он получает дар пророчества и чудодействия... на поклонение ему стекаются жители окрестностей... Долгие годы он постится, молится, изнуряет свою плоть, благодетельствует людям, и он уже видит, как господь призывает его к себе, как являются его мощи... как...

— Карасище!

Это был голос не с того света, а из бурсацкого мира.

— Ты брат *Носатого*?

Карась видит перед собою страшного Силыча и инстинктивно сокращает свою шею...

«Боже мой, он опять бить пришел меня!» — думает Карась.

— Брат тебе Носатый? — повторяет Силыч...

— Брат, — отвечает Карась, не понимая, к чему идет дело...

— И ладно, коли брат... Теперь ты ничего не бойся... Я за тебя, потому что твой брат мой первейший друг... Жалуйся мне, кто будет обижать тебя... Слышишь?

— Слышу.

Но, вспоминая коварного второкурсника, Карась недоверчиво смотрел на нового покровителя...

— Тише! — закричал Силыч звонким голосом...

Больше ста человек приготовились слушать Силыча со вниманием. Это показывает, какое он имел влияние в классе.

— Встань! — сказал он Карасю.

Карась поднялся на ноги...

— Вот эту рыбу, — обратился он к классу, показывая на Карася, — никто не смеет обижать... Кости переломаю тому, кто тронет Карася...

Карасю стало легко на сердце...

— А ты, Карась, жалуйся мне... Скажи, кто тебя трогал?

— Не знаю...

Он действительно не знал, на кого указать...

— Не бойся; говори, кто тебя обижал?

— Никто не обижал...

— Быть не может...

— Да все обижали...

Это было вернее.

— Кто твой аудитор?

— Рыжик.

— Хорошо. Я скажу ему, чтобы он не смел тебя жу-
чить (строго выслушивать урок).

— Спасибо, Силыч...

— Будет просить булки, не давай...

— Ладно, Силыч...

— Так слушайте же,— опять обратился Силыч к классу,— беда тому, кто даже пальцем тронет Карася!..

Но на этот раз послышался ответ некоего *Паникадилы*:

— Ну, не велика еще беда...

Силыч посмотрел в ту сторону, откуда слышался голос. Он ничего не отвечал, а только сердито сжал кулак...

— Не бойся,— сказал он Карасю и стал гулять по классу...

Из мира фантазий Карась быстро и охотно перешел в мир действительности. Точно гора свалилась с его плеч... Оглядывая товарищей, он видел, что впечатление, произведенное Силычем, было очень велико... Легко, весело, вольно стало ему. Он начал наблюдать жизнь занятых часов и скоро увлекся ею...

Но он и не подозревал, что сделался теперь предметом раздора между Силычем и Паникадиллом...

Кто такое Силыч?

Носатый, брат Карася, до поступления в училище ходил в частную школу, где и познакомился на понюшке табаку с сыном городской вдовы-дьячихи Силычем. Впоследствии они стали друзьями. Оба они поступили потом во второй приходский класс бурсы... Здесь Силыч остался на второй курс — вот почему и встречаем его, осьмнадцатилетнего парня, товарищем Карася и вместе с ним склоняющим «перо, пера, перу», долбящим «един бог», изучающим «сумму» и «разность». Силыч был среднего роста, некрасиво скроен, но крепко сшит и обладал замечательной силой... Он однажды пришел в гости к своему приятелю Носатому. Отправились на реку. Там мужики ловили рыбу. Один из рыбаков сматывал веревку с ворота. «Дядя,— говорит Силыч,— давай я буду сматывать, а ты останови ворот за палку». — «Ты, кутья, должно быть, с ума сошел»,— отвечал мужик. «Так верти же хорошенько». Мужик завертел во-

рот так, что палки его сливались для глаза в один сплошной круг, с каждой минутой усиливая скорость оборотов. Силыч подставил свою крепкую ладонь, толстая палка ворота вцепилась в нее — и ворот остановился неподвижно. Мужик только подивился на него. При таких крепких мышцах Силыч обладал не меньшею и ловкостью. Приходит он еще раз к Носатому в гости. Теперь они пошли гулять в поле, но лишь только стали подходить к забору, как услышали сзади себя голос мужика, который ругался, зачем они траву мнут. Друзья полезли через забор на кладбище; мужик за ними. Силыч смело встретил его. «Что тебе надо?» — спросил он мужика. Тот оказался несколько пьяным и, разгоряченный вином, хотел ударить Силыча. Его рука уже описала полукруг в воздухе, но в то время, когда должен был совершиться удар, Силыч быстро наклонился и прошмыгнул под рукой мужика. После того он выпрямился, встал перед мужиком снова и, скрестив руки, сказал: «Бей еще!» Последовал второй размах, и опять напрасно... Силыч снова встал перед ним и опять сказал: «Бей еще!» И на этот раз мужик не мог поймать своим большим кулаком лицо Силыча. Тогда только Силыч произнес: «С трех раз не попал! теперь держись за землю, а не то упадешь», и с этими словами сшиб мужика с могилы... И вот этакой-то господин заодно с Карасем склонял «перо, пера, перу», долбил «един бог» и т. п. Что же делать? Его поздно отдали в бурсу, и до нее он добывал для матери копейку, справляя службы за дьячков, читая по покойникам, занимаясь славлением Христа, молебнами и обеднями. Будучи учеником, он в семье и среди знакомых принимался как взрослый человек. Силыч был вообще человек добрый. Он никогда не употреблял своих здоровых кулаков на то, чтобы вынудить взятку или добиться от кого-нибудь низкой услуги. Если же он и давал кому затрещину, как, например, Карасю при первом с ним знакомстве, то из этого еще ничего не следует: в бурсе затрещина — все одно, что в лавке мелкая монета. Но поступить под защиту такого господина значило обеспечить себя от всевозможных обид с чьей бы то ни было стороны... Силыч был и не глуп, и не его беда, что так поздно он начал склонять «перо, пера, перу»...

Что такое Паникадило?

Чтобы определить его, надо сказать наперед, что та-

кое *озубки*. *Озубками* в бурсе называются куски хлеба, остающиеся на столе от обеда и ужина, и притом такие куски, которые имеют на себе следы чьих-либо зубов. В бурсе есть поверье, что съеденный озубок сообщает силу того, кому он принадлежит. Многие постоянно ели чужие озубки, чтобы сделаться богатырями. Паникадило, великовозрастный ученик, ел их уже несколько лет. Он постоянно бахвалился своей силой, которая действительно была велика. Он со всеми передрался в классе, кроме Силыча. Силыч был для него бельмом на глазу за то, что удержал в своих руках пальму кулачного первенства. Он и боялся Силыча и не хотел верить, чтобы тот смог дать ему трепку. Этот вопрос давно мучил Паникадило, и он решил, что должно получить на него ответ сегодня...

Карась между тем совершенно успокоился. Он опять сошелся с Жирбасом, который оказался круглым дураком. «Это не беда!» — подумал Карась и стал играть с ним в трубочисты.

— В которой руке? — спрашивал он Жирбаса...

В это время подошел к нему Паникадило, взял его за воротник сюртука, положил спиной на парту и стал загигать ему салазки...

— Оставь! — кричал Карась.

Паникадило гнул ему ступни за самые плечи.

— Силыч! — завопил Карась...

— Что? — откликнулся тот.

— Заступись!..

Явился Силыч. Паникадило того ждал... Он бросил Карася.

Начались предварительные переговоры.

— Ты зачем, сволочь, трогаешь его?

— А тебе что?

— Не слышал, что я говорил?

— На это ухо глух.

— Значит, вытряски захотелось?

— Ну-ко, тронь!

— А ты думаешь, не трону...

Силыч подвинулся к Паникадиле...

— Задень только, задень...

Паникадило подвинулся к Силычу.

— Слышь, не лезь!

Силыч толкнул Паникадило плечом...

— Ты не толкайся!

Толчок был отдан обратно...

В такой форме бурсаки, желающие подраться, бросают друг другу перчатку.

Началось плюхождение.

Специалисты сразу же решили: «Намнут Паникадиле бока», и действительно, не прошло пяти минут, как Силыч сидел верхом на Паникадиле, мял его и спрашивал:

— *Живота или смерти?*

— Пусти!.. черт с тобой!..

— Карася будешь трогать?

— Да ну тебя!

— То-то!

Потрясши Паникадилу за шиворот, Силыч отпустил его с миром.

Паникадило, отправляясь на свое место, думал про себя: «Черта с два: эти проклятые озубки ничего не значат. А впрочем, я, быть может, мало ел их?» И после того он продолжал есть озубки и, быть может, по настоящую минуту кушает их, но более никогда он не решался схватываться с Силычем...

Таким образом, куча плух, смазей и салазков, тычков, швычков и плевков, зуботрешин, заушений и заглушений пронеслась довольно благополучно над головой Карася.

И опять повторим: не для всех проходят первые дни бурсацкой жизни так счастливо, как они счастливо миновались для Карася... Но ни для кого они не остаются без последствий; не остались без них и для Карася.

Первые впечатления бursы на Карася были таковы, что не помоги Силыч, то он, как говорит сам, превратился бы в подлеца либо в дурака. Эти впечатления определили главным образом весь дальнейший характер его бурсацкой жизни.

По отношению к начальству он сделался полнейшим, закаленным, пропеченным бурсаком... Главное начало товарищества, ненависть к своему начальству, в нем укоренилось и развилось более, нежели в ком другом. Он получил доучилищное воспитание довольно гуманное и честное, но бурса должна была положить на него свое клеймо. Лобовская порка сделала то, что он после нее никогда уже не мог обращаться со своим начальни-

ком просто, спокойно и откровенно. Доверенность к начальству в нем была убита сразу и навсегда. Это главным образом выразилось в том, что он никогда не мог смотреть начальнику прямо в глаза, а всегда исподлобья; никогда не говорил естественным голосом, а заунывным и фальшивым, гробовым и нижнетонным; всегда пред начальником ежился и потому не любил встречаться с ним. Он каждую минуту точно чувствовал себя провинившимся, хотя бы и ни в чем не был виноват. Это странное чувство, заставлявшее держать себя так, не было следствием страха, потому что, как увидим ниже, Карась не был очень труслив, часто решался на дерзости и штуки, на которые решались немногие. Дело вот в чем. Карась положительно сознавал, что он ненавидит бурсу, ее воспитателей, ее законы, учебники, бурсацкие щи и кашу — и в то же время должен покоряться начальству, улыбаться перед ним, кланяться, а иногда и льстить даже. Держать себя прямо, высказываться без обиняков было нельзя, потому что заперют, и вот Карась навсегда сбылся пред начальством. Тут действовал не страх, а совесть. Когда сколько-нибудь честному человеку, уважающему свою личность, приходится гнуть спину, гнуть невольно, насильно, неизбежно, под страхом всевозможного заушения, тогда он будет гнуть ее как человек, которого мучит совесть. В Карасе так и устроилось: либо он дерзок с начальником, либо смотрит каким-то чудачком. Многие педагоги, вероятно, чутьем чувствуют, что они нехорошие педагоги, когда преследуют таких учеников, как Карась, когда они строго говорят ученику: «Смотри прямо мне в глаза, имей лицо веселое и спокойное, отвечай урок твердо и четко!» — «Кто не может смотреть прямо в глаза начальнику, — утверждают такие педагоги, — у того совесть нечиста». Спорить нельзя, что это верно. Как же: ученик сознает ведь, что он должен плюнуть в лицо своего учителя, а вместо того должно улыбаться пред ним: на душе становится скверно, и улыбка выходит странная. Разумеется, Карась и сам не понимал, отчего он и говорит, и улыбается, и кланяется при встрече с начальником не по-людски; он не развился еще до анализа и не мог определить, что тут действовала именно совесть; он это только инстинктивно слышал в себе и уже гораздо позже сознательно разобрал источник своих отношений к властям. Впрочем, изо всего этого никоим обра-

зом не следует, чтобы потупленность ученика пред учителем всегда была следствием затаенной ненависти первого к последнему: она может происходить от простой застенчивости. Но мы говорим только о Карасе. Такая замаскированная ненависть Караса изредка разрешалась откровенною с его стороны дерзостью, а без покровов сказывалась очень сильно за спиной начальства, когда гадили ему секретным образом. Правда, и самое гаженье начальству в первые годы не было призванием Караса, но, что увидим из дальнейших очерков, оно впоследствии, когда Карась развился несколько, сделалось его сознательным делом... Сначала, и именно в то время, которое берем, он инстинктивно ненавидел своих педагогов, а после дошел до уверенности, что их следует ненавидеть, обязательно следует. Боязнь и совесть пред начальством в дальнейшем развитии его превратились в глубокую, органическую ненависть к нему. Но о втором периоде после. Теперь мы застаем его пока в состоянии этой придавленности и потупленности пред своими бурсацкими пестунами...

Но и в этот период своего развития, когда характер его еще не успел вполне сложиться, Карась стал несколько оригинально к своим властям сравнительно с другими бурсаками, протестовавшими против начальства. Карась занял почти исключительное положение в бурсе. По крайней мере половины вредных условий, имеющих злое влияние на бурсака, для него не существовало. Его человеческое достоинство было защищено простой, грубой, мышечной силой первого богатыря класса, и эта грубая сила спасла его. Ему не пришлось пред товарищами кланяться, льстить, говорить второкурсникам на ночь сказки, давать им деньги и булки, искать в их головах тварей разного рода, чесать пятки, бегать за водой и т. п. В продолжение бурсацкой жизни он только три раза дал взятку — и то подошли особые случаи. Он, под покровительством Силыча, еще будучи новичком, скоро приобрел все выгоды и льготы второкурсника. Четырех лет, пока не исключили Силыча, достаточно было, чтобы привыкнуть Карасю держать себя независимо, он знать не хотел ни аудиторов, ни цензоров, ни старших. Но при таком положении он не воспользовался кулаками Силыча, чтобы угнетать других: его самого чуть не оглушили навеки, он этого никогда не забывал и с тех пор относился к властям из

товарищей и к физической бурсацкой силе отрицатель-
но, притом Силыч и сам не любил взяток и утеснений,
потому не стал бы помогать в том и Карасю. Карась в
редких случаях прибегал к его помощи, большею част-
тию при нужде он сам дрался, и если бывал при этом
поколочен, то обыкновенно либо ругался, либо пускал
в противника камнем, книгой, линейкой, если же при
схватке с более сильным врагом не случалось под ру-
кой оружия, то он употреблял в дело зубы, когти и ноги,
то есть кусался, царапался и лягался. Нередко был Ка-
рась бит, бивал и других, но все это было в порядке бур-
сацких вещей — и только. Поэтому-то покровительство
Силыча, при таком направлении его, не навлекало на
Карася неприязни товарищей. Многие даже любили его.
Испытав на себе горькую участь беззащитного человека
в бурсе, он нередко употреблял кулаки Силыча, иногда
же свои зубы, когти и ноги в пользу угнетенных. В про-
должение последних четырех лет училищной жизни он
постоянно был аудитором, часто терпел наказания за
преувеличивание баллов — и только раз увлекся взят-
кой. Постоянный его протест в защиту заколоченных лич-
ностей выразился в том обстоятельстве, что он особен-
но любил дураков. Так, без него совершенно погиб бы
Петры Тетеры, упоминаемый нами в прошлом очерке.
Тетеры, обладавший воловьєю силою, по характеру был
чистейший теленок. Все его колотили, плевали на него,
обирали его. Карась в продолжение полугода защищал
его и успел-таки поставить своего Тетеры на ноги, даже
до того, что сам однажды получил от него трепку. Ка-
рась, не будучи сам дураком, любил глупцов, проводил
с ними целые часы, беседовал с ними, играл, делился
добром своим, помогал им. В этом, по-видимому, стран-
ном явлении выразился тоже своего рода протест против
некоторых сторон бурсацкой жизни. Карась был привязан
к своему родному дому, но большинство умных бур-
саков, к которым он обратился бы со своими интимно-
стями, непременно сделали бы ему смазь, потому что
интимности на языке бурсаков носят название *телячьих
нежностей*. Ни с кем так не был откровенен Карась, как
с дураками, только с ними говорил о родном доме,
вспоминал домашнюю жизнь, делил семейные тайны,
только с ними был задушевен не по-бурсацки, а по-чело-
вечески. Карась, по чувству ложного стыда и боязни на-
смешек, не только скрывал внутреннюю, самую дорогую

для него жизнь, но даже напускал на себя цинизм и сам смеялся над телячьими нежностями, так что это различие между внешним выражением и внутренним содержанием составило почти вторую натуру Карася. Но душа требовала отзыва, и Карась окружил себя особого рода дураками. Это род дураков честных, добрых, милых, задушевных. Благодаря бога, таких дураков немало на белом свете. Только в семинарии Карась вступил в дружбу с умными людьми. Но неужели, спросят, в бурсе Карась не нашел ни одного человека умного, с которым мог бы поговорить по душе? Как не найти, но на первых порах он не сошелся с ними, а потом так и пошло на долгое время.

Но всего оригинальнее относился Карась к бурсацкой науке. Поступив в училище, Карась знал более половины того, что требовала программа его класса. Учиться ему было легко. Только «Начатки», которые приходилось *жарить в долбяжку*, составляли для него такую же муку, какую испытывал один древний оратор, набивая себе рот камнями, чтобы усовершенствоваться в искусстве красноречия, но и то ничего: Карась набивал свой рот древесной тяжестью прогрызаемых «Начаток» очень усердно. По другим наукам он шел в первых, и не хотелось ему из-за одного предмета лишиться видного места в списке. Над чем товарищи просиживали по целому занятию, он приготавливал в полчаса. Но это самое и повредило впоследствии его бурсацкой карьере. У него было очень много свободного времени, и Карась, учась таким образом два года, привык гулять и ничего не делать. Когда перешел он в следующий класс, от него потребовались более усиленные занятия, и притом занятия бурсацкие, требующие особых туземно-специальных способностей, которые и развили в себе товарищи в продолжение двух лет, пущенных Карасем на ветер. Карасю хотелось и тогда гулять по-старому. *Долбежники* скоро обогнали его, он спускался все ниже и ниже, и дело дошло до того, что нотата была осквернена нулем Карасиным. Стали его сечь. «Что ж, — думал Карась, — посетите, да и бросьте — самим надоест!» Он неудержимо стремился в Камчатку и, несмотря на розги, достиг своей цели. Здесь лень его развилась до последних пределов. В первый год он по крайней мере носил в класс книги, но на другом бросил и этот, по его мнению, дурной обычай. В сундуке его безобразно были перемешаны между собою ключья

порванных вдоль и поперек разных грамматик, арифметик и хрестоматий; писчая бумага шла на беспутное маранье, перья — на свистульки и пушки, заряжаемые картофелем, репою и жеваную бумагою, нож перочинный — для порчи столов и строганья палок. Вначале Карась приходил к своему аудитору каждое утро, чтобы сообщить ему свой ученый нуль, но потом, для сокращения занятий, он объявлял ему нуль на целую неделю; но наконец ему надоело и это — он однажды сказал аудитору: *«Навеки мне ноль!»* Таким образом, Карась очень решительно отрицал и внешние и божественные науки бурсы. Изредка являлось в нем какое-то темное сознание необходимости учиться, он брался за книжку, но книжка валилась из рук. В одно время двоюродный брат Караса, кончивший курс семинарист, стал требовать к себе нотату и следить за его учением; но Карась нашелся и тут: он сделал другую нотату, свою, и этот документ, с отличными отметками против своей фамилии, отсылал к брату, за что и получал от него гостинцы. Сначала он ленился, собственно, потому, что было ему приятно лениться, но после дошло до того, что его *«навек ноль»* было возведено в сознательный принцип. Учитель Краснов обратил на него внимание, заставил его сидеть над книгой и в неучебное время, в своей квартире; против системы Краснова не устоял Карась и стал зубрить учебники, но когда его насильно заставили занять второе место в списке, тогда-то и созрел окончательно его бурсацкий *«навек ноль!»*. Он возненавидел вколоченную в него науку, и она поместилась в его голове как непрошенный гость; значит, в существе дела, он продолжал отрицать ее — разница в том, что прежде он не понимал, что такое отрицал, а теперь, выучив урок, знал, что вот именно этот урок, эти страницы, эти слова ему не нужны. Тогда он стал следить и изучать каждый урок как злейшего своего врага, который без его воли владеет его мозгами, и постепенно, с каждым днем открывал в учебниках множество чепухи и безобразия; это развило в нем анализ и критицизм, и впоследствии, отвечая бойко урок, он в то же время думал про себя: *«Этакую, святые отцы, я дичь несу»*. Карась после долгих личных исследований вполне убедился, что бурсацкая наука, изучаемая иначе, может погубить человека и что только при его методе она послужит материалом, поработав над которым как над уродливым явлением, можно, не заразившись чепу-

хой, развить в себе мыслительные способности, анализ, остроумие и даже опытность житейскую. И не догадывались богомудрые педагоги, что многие хорошие ученики относились к их учебникам, как психиатр относится к печальному явлению сумасшествия. Вот чем и объясняется то странное обстоятельство, каким это образом из бursы выходят так много дельных и даровитых людей, несмотря на то, что они поглощали учение, ставшее посмешищем всех образованных людей. Как, обыкновенно спрашивают, они не погибли, не ошалели и не оглупели, как сохранились они? Очень просто: в душе их относительно местной науки глубоко укоренился нуль... И да процветает бурсацкое «вовечи нуль!». В нем бурсака спасение. Итак, нуль, вовеки нуль, во веки веков нуль! Аминь, что значит — истинно, или да будет!

Вот вам более или менее подробная характеристика того, что создала из Карася бурса. Отношения его к начальству выразились во всегдашней потупленности, которая была признаком совестливости, рождавшейся от сознания своей ненависти к властям; отношения науки оказались вечным нулем; среди товарищей, исключая последних трех семинарских лет, он не нашел отзыва той стороне своей жизни, которая была всего дороже для него, составляла главный мотив всего его бурсацкого существа, то есть отзыва своей привязанности к дому — и одни лишь дураки были его задушевными приятелями.

Этот-то мотив и был главным двигателем тех пождений и действий Карася, которые мы хотим изложить далее и которые случились на четвертом году его пребывания в бурсе.

Воздух первоездного класса наполняется странными напевами и голосами.

— *Братие, не дерите платия, а берите нитки и зашивайте дырки,* — читает кто-то на манер чтения «Апостола».

— Не мешай, — говорят ему соседи...

— *Марфо, Марфо, что печалишися и молвиши о мнозе,* — продолжает чтец...

— *Замолчишь ли ты, сволочь?*

— *Печали и болезни вон полезла.*

— *Слушай, скотина, перестань...*

— *Ему же дань — дань, ему же честь — честь, а что и за честь, коли нечего есть?*

— Братцы, ударьте его хорошенько!

— *И бысть слышен глас с небесе — титпру!*

Вдруг чтец замычал — ему сделали очень невкусную, смазь. В классе сегодня *обиход церковного пения*, и чтец был наказан за то, что мешал другим петь.

— Я,— говорит *Лапша Голопузу* (оба отличные знатоки обихода),— *шарарахну по нотам.*

— А я,— отвечает тот,— *дергану по тексту.*

— Валяй!

— Лупи!

— *Ми-ре-ми-фа-соль-фа-ми-ре*,— запеваёт Лапша.

— *Все-е-ми-и-и-рну-ую-ю*,— аккомпанирует Голопуз каждым слогом в каждую ноту Лапши.

Шарахнуть по нотам, когда другой певец в то же время дерганет по тексту, и при этом не сбиться — составляло венец церковно-обиходного пения.

К певцам подходит четырнадцатилетний Карась. Лицо его озабоченно; он, по всему видно, ожидает учителя с тоской и страхом.

— Братцы,— начал он...

— Поди прочь, не мешай,— ответил Голопуз.

Но Лапша был добрее.

— Чего тебе? — спросил он...

— Не знаю, как *«Господи, воззвах»* на седьмой глас. Покажи, Лапша.

— Слушай! — И Лапша запел: *«Палася, перепалася, давно с милым не видалася»*. Так же поется и на глас. Ну-ко попробуй.

— *Господи, воззвах к тебе, услыши мя, услыши мя, господи*,— запел Карась.

— Напев тот, только разнишь сильно...

— А как на пятый глас?

В ответ Карасю Лапша запел:

— *Кто бы нам поднес, мы бы выпили.*

— А как на четвертый?

— Слушай: *«Шел баран; бя, бя, бя»*. Пой!

Карась на новый напев затянул: *«Господи, воззвах»*. Отправляясь на заднюю парту Камчатки, он все твердил: *«палася, перепалася»*, *«кто бы нам поднес»* и *«шел баран»*. В обиходе церковного пения употребляется 8 гласов, или напевов, на текст *«Господи, воззвах»*; слова одни и те же, а напевы разные. Это сильно затрудня-

ло бурсаков. Вот аборигены еще бурсы и придумали разные присловья, по образцу которых нетрудно было припомнить, как поется тот или другой глас... Но Карась не был одарен музыкальным ухом, за что давным-давно его выгнали из семинарского хора. Через несколько минут он перепутал напевы. Посмотрел Карась на Лапшу и Голопуза, думая, не пойти ли опять к ним, но, махнув рукою, оставил это намерение. «Все равно не пойму», — заключил он и печально опустил на ладони голову.

Горек пришелся ему обиход церковного пения.

Странное явление этот обиход. В церковной практике он никогда почти не употребляется. В состав его входят разные духовные песни. Музыка их сильна замогильным какофонием: она до того тягуча, что на один слог текста иногда приходится до семидесяти и более голосовых такт — и всё нижними, заунывными, душу тянущими, тошнющими нотами. И какая филармоническая голова ввела в бурсу и узаконила в ней это обиходно-церковно-музыкальное безобразие? Обиход был обязателен для всех, но не все имели голос или верное ухо, — были картавые, гугнивые, заики, имевшие зуб с присвистом — что было делать таким? — ничего: свищи соловьем и воспевай господу славу! Во всем блеске обиходное козлогласование являлось тогда, когда учитель назначал общее пение, хором всего класса, когда «поющими и вызывающими» были голосистые и безголосые, даровитые и бездарные: в то время в воздухе совершался террор музыкальный и петый *богородичен* представлялся партитурой из какой-то дикой византийской оперы, партитурой, о которой хочется сказать, что это отрывок из оперы «Заткни крепче уши». Удивляемся только, как не заклепаны уши бурсаков так называемым *столповым* пением? Но характеризуя обиходные композиции, мы должны сказать, что с них тошнило и само начальство, которое, кроме того, понимало, что не все же могли быть певцами, и потому на обиход не обращало внимания, незнание его не служило препятствием для перехода из класса в класс, даже и нотаты не существовало по этому предмету, потому что уроки прекращались иногда на целый год. Но направление бурсацкого образования зависит от главного епархиального начальника, со вкусом которого сообразуются училищные власти, а в то время, которое нами взято, старшим начальником был любитель всевозможной *столповщины*, и вот бурса на-

полнилась обиходным воем. Одно к одному, и учителем обихода поступил некто Всеволод Васильевич Разумников. Он один преподавал обиход в нескольких классах. Разумников обладал хорошим баритоном, отлично знал ноту и порядочно играл на скрипке.

О Разумникове мы должны сказать несколько слов, потому что он был одним из лучших педагогов бурсы. Мы упоминали о нем в первом очерке как о честном экономе училища. Он учредил должность *комиссара*, выбранного из старших учеников, обязанностью которого было наблюдать за количеством и качеством пищи. Прежде служителя, в заведывании которых находились жизненные продукты, имея каждый по несколько родственников, содержали их на счет бурсацкого питания; но лишь только комиссар вступил в свои права, он тотчас уличил повара в краже тридцати фунтов мяса и двух мешков гречневой крупы, за что повар был изгнан из училища. По крайней мере третья часть продуктов, прежде похищаемая служителями, была возвращена ученикам.

Кроме того, Разумников никого и никогда не наказывал лишением обеда и ужина, как будто боялся подозрения, что он из экономических¹ расчетов заставляет голодать провинившихся. Он всегда стоял против педагогического изречения: *Satur venter non studet libenter*². Ученики за это любили его.

Он, кроме того, преподавал «закон божий» и «священную историю». И здесь он пошел далее своих сотрудников. Он запретил носить в класс учебники и отвечать по ним. Рассказав ясно и толково урок, он тут же в классе заставлял повторять его со своих слов. Когда ученик не мог ответить, он заставлял другого растолковывать незнающему; если и этот оказывался плох, он поднимал третьего, четвертого и т. д. Урок учился сразу всеми учениками и оживлялся спорами. Но и после этого многие плоховато знали урок, особенно слабые, а Разумников

¹ Провинившихся в училище иногда бывало до ста человек сразу. Лишить такое количество, пятую часть всех учеников, обеда либо ужина, очевидно, было *выгодно* в экономическом отношении. Почти все экономы брали это во внимание и старались распространить наказание голодом. И действительно, наказание голодом было немаловажным источником так называемых остаточных сумм, из которых начальству даются награды. Скоро ли педагоги убедятся, что голодный ученик так же негоден для науки, как и обывшийся? Не знаем. Только наверное можем сказать, что эту простую истину позже всех поймут экономы учебных заведений.—
Примеч. автора.

² Сытое брюхо к ученью глухо (лат.).

хотел, чтобы у него все без исключения учились хорошо. Для достижения такой цели он постановил: «Авдиторы отвечают за незнание своих подавдиторных». Авдиторы выбирались из лучших учеников, успевали хорошо выслушать урок вовремя, и потому они были обязаны учить своих подавдиторных в приготовительные занятые часы. Для устранения случаев, когда ученик, по интриге с аудитором, являлся в класс с нулем, ссылаясь на то, что аудитор не хотел ему помочь, требовалось на то подтверждение со стороны товарищества, иначе незнающий подвергался сугубому наказанию, а аудитор был прав. Такие приемы для бурсы были слишком прогрессивны. Лентяи были уничтожены Разумниковым. Но главное достоинство его нововведений состояло в том, что с ним сама собою падала власть авдиторов и второкурсников, они из притеснителей должны превратиться в помощников своих подчиненных, из начальников — в их братьев. Таким образом Разумников положил начало к уничтожению подлой власти товарища над товарищем. Он не уничтожил наказаний и даже был очень строг, но все-таки явление такого учителя в бурсе было редкостью, тем более что в описываемое нами время и в других учебных заведениях, а не только в бурсе, царила дремучая ерунда и свинство.

Одно лишь лежит на совести Разумникова — это обиход. Положим, что косноязычных и безголосых он оставил в покое, но держался вредного убеждения, что всякий, имеющий какой-нибудь голос, при старании непременно постигнет нотное искусство. Горше всех пришлось от него Карасю, тем более что у Разумникова была система наказаний особого рода: он наблюдал, на кого какое наказание действует сильнее. Он понял, что для Карася всего хуже неувольнение в родительский дом. Несмотря на то, что Карась доказывал учителю свою бездарность изгнанием его из певческого хора, он ничего слушать не хотел.

Вошел учитель обихода в класс и вместе с учениками пропел звучным голосом «Царю небесный», после чего прямо обратился к Карасю:

— Пропой на седьмой глас...

Уши режет Карась.

Учитель говорит Лапше:

— Покажи ему.

Лапша заливается...

— Повтори, — говорят Карасю.

Уши режет Карась...

— И нынешний праздник не ходи в город...

— Всеволод Васильич, я уже три недели не был дома...

— И четвертую не ходи...

— Простите...

— А я вот что тебе скажу,— отвечал твердым, безапелляционным голосом учитель,— если ты не выучишься петь, я тебя на всю пасху не отпускаю...

Учитель отошел от него.

Карась побледнел и затрясся всем телом. Несчастный Карась. Замечательно широкая глотка, которою он был награжден от природы, служила вечным источником его несчастий. Еще дома ему досталось, когда он закричал на поповну, дразнившую его, так яростно, что его голос был слышен за рекой. В бурсе его нарекли Карасем в тот момент, когда он, по приказу регента, пустил нотку, которая надорвала животы слушателям. Впоследствии, в семинарии, голос его развился до необъятного горлобасия, его выбрали опять в хор, и регент, по прозванию *Капелла* (он же *Редакция*, *Конструкция* и *Мелочная лавочка*), употреблял его как стенобитную машину, как хоровой таран: подойдет крепкая нота, мигнет регент — и рявкнет Карась, а при тихих нотах ему велят молчать,— это оскорбляло Карася. Однажды Карась упражнял свой голос в комнате по соседству с семинарским экономом, он едва не оглушил его громовыми нотами, за что эконом, схватив Карася за шиворот, потащил к ректору и только по доброте своей помиловал его. Инспектор ненавидел его, говоря, что человек, обладающий рыканием льва, должен иметь характер зверский: должно быть, судил по себе, ибо, обладая семипушечным басом, несравненно сильнее Карасино, по натуре был настоящий зверь, за что и получил прозвище не рыбье, как Карась, а звериное, ибо имя его — *Медведь*. Даже по окончании курса Карась, хвативший однажды чарочку-другую и вышедши на улицу, пустил такую руладу, что городской должен был внушить, что подобные рулады суть не что иное, как нарушение общественной тишины и порядка. Одно из сильных несчастий, причиною которых был голос, посетило его теперь. «С таким альтом,— думал Разумников,— невозможно не научиться петь». Неувольнение на пасху для Карася было глубоким несчастием, которое подвигло его на многие скандальные похождения.

Он от слов Разумникова тихо плакал.

Кому горе, а кому радость. День поступления Разумникова в училище был днем торжества и счастья некоего Лапши... Лапша был чудаком, парень шальной и благой. Широкоскулое серого цвета лицо, голова, почти вросшая в плечи, выдававшаяся вперед неестественно грудь и остальная часть туловища, помещенная на коротких ногах,— делали фигуру его в высшей степени странную, попеременно то жалкою, то уморительною. Лицо его освещалось каким-то неразгаданным, постоянно меняющимся внутренним светом: оно серьезно, даже угрюмо, но вдруг Лапша без всякой причины покраснеет, а потом раскатится смехом, и все это совершается в нем быстро и неуловимо. Он при всем этом не был дураком. В лице его вы видите образчик бурсацкой застенчивости, которая особенно развилась от его несчастного безобразия. Не будь этой застенчивости, он, быть может, и не сидел бы в Камчатке. Таков был Лапша. Но он делался совершенно иным человеком, когда пел что-нибудь; значит, талант. Голосок он имел довольно приятный и владел тонко развитым слухом. Всегдашней, самой задушевной мечтой его было иметь свою скрипку и выучиться играть на ней, но мечта и осталась мечтой: теперь он где-то пастухом монастырских коров и, говорят, отлично играет на рожке...

— Подходит к Лапше Карась.

— Что тебе? — говорит Лапша, ежась, двигая плечами и выпячивая свое странное лицо.

— Поучи меня обиходу.

Лапшу медом не корми, а только дай в руки обиход.

— Пойдем. Сначала надо ноты выучить.*

Отправились они в Камчатку и затянули «ут, ре, ми, фа» и т. д.

— Не так: надо тоном выше!

Карась усиливается тоном выше.

— Чересчур высоко — теперь ниже надо!

Карась на новый манер.

Долго они упражнялись в церковногласии. Спотели оба.

Но вот Лапша съежился, перегнулся, вытянулся, сделал сначала тоскливую рожу, а потом вдруг поднес к носу Карася кукиш...

— Это что?

— Кукиш!

Лапша после этого захохотал.

— Да что с тобой?

- Не буду учить...
- Голубчик... Лапша...
- Не поймешь ничего...
- Лапша убежал...

Остервенение напало на Карася. Он грыз свои ногти и, мигая глазами, усиливался удержать злую, соленую слезу, которая ползет на щеку.

- Когда так, к черту всё!
- Он ударил об пол обиходом...

— Проклятое училище! — проговорил он...

Карась начал вести себя неприлично. Если бы не проклятое наказание, Карась от среды до воскресенья провел бы время, мирно почивая на лаврах, но теперь он был раздражен, и жизнь его пошла ломаным путем.

Подходит к нему один из его любимых дураков, бедная Катька.

- Нет ли у тебя хлебца?
- Этого не хочешь ли?

Карась предлагает голодному Катьке туго натянутую фигу. Катька отходит от него печально...

Карась идет развлечься на училищный двор.

— Карасики, пучеглазики! — говорит ему *Тальянец*, второкурсный мужлан старшего класса, ученик с вывороченными ногами.

— Кривы ножки, кочережки! — отвечает Карась. Тальянец начинает его преследовать.

— На кривых ногах пять верст дальше! — отвечает Карась, пускает в него комом грязи и удаляется опять в класс.

Подходит к нему другой дурак, *Зябуня*.

— Карасик, — говорит он ласково.

— Ты что, животное безмозглое?

— Карасик...

— Поди прочь, пустая башка!

Пустая башка тоже отходит от него печально...

Карась стал несговорчив и несправедлив. Он чувствует это, и его начинает мучить совесть...

— Черт знает какая тоска, — объясняет он приступы совести...

Идет Карась ко второуездному классу, берется за ручку двери и начинает стучать ею: ученики низших классов, не имевшие права входить в высший, так вызывали второуездных. Выходит ученик.

- Кого тебе?
- Тавлю.

— Сейчас.

Вышел Тавля.

— Что тебе?

— Дай в долг.

— Сколько?

— Пять копеек.

— В воскресенье семь.

— Нет, уж после воскресенья, в другое. Я не уволен. Откуда ж мне взять?

— Тогда десять.

Карась задумался на минуту.

— Давай,— сказал он, махнув рукою...

Тавля отсчитал ему пять копеек...

Карась отправился в сбитенную, съел там на три копейки сухарей, а на две выпил сбитню. И угощение не успокоило его. Оно напомнило ему только домашний чай и кофе. Затосковал Карась.

— Боже мой,— проговорил он,— неужели не отпустят меня на пасху? Пойду, попрошу еще Лапшу: не поучит ли? А нет! черт с ними!.. не выучиться мне!..

После этого Карась из пустяков каких-то полез в драку, и хотя пустил в дело зубы, когти и ноги, как обыкновенно, однако его все-таки поколотили.

Для Карася не было наказания тяжелее, как не-отпуск домой. И вот еще порядочный бурсацкий учитель Разумников не понимал же, что такое наказание гнусно, незаконно и вредно. Не понимают педагоги и понимать не хотят, что они когда запрещают человеку, в виде наказания, переступать порог отцовского дома, то этим самым вгоняют его в скуку, тоску и апатию, подвигают на скандалы разного рода, поселяют к уроку или нравственному правилу, за которое штрафуют и шельмуют, полное отвращение, лицемерное исполнение и страсть к запрещенному поступку. Неужли такие плоды в видах здоровой педагогики? Кроме того, чем виноваты отец и мать, когда они во время праздника, по приговору педагогов, не видят в своей семье сына, часто любимого, часто единственного сына? за что братья и сестры лишаются свидания со своим братом? за что их-то наказывают педагоги? Воскресный день во многих семействах один только и есть свободный день в неделе — к чему же он туманится печалью по сыне или брате? Портить чужой праздник никто не имеет права, это дело

нечестное, дело несправедливое. И неужели отец и мать, если они любят своего сына, меньшее могут иметь на него влияние, нежели черствый педагог? Многие педагоги скажут на это: «да». Был же, например, болван, которого мы называли Медведем, семинарский инспектор, который привязанность к родному дому ставил ученику в преступление на том основании, что желающий быть дома не желает быть в школе, значит ненавидит науку и нравственность, проводимые в ней. Диво, что такие черные педагоги, как лишенные деторождения, не наказывали детей за любовь к родителям!

Но таких педагогов скорее прошибешь колом, нежели добрым словом. Бог с ними. Лучше посмотрим, что стало с Карасем, когда он страдал от мысли, что его не отпустят домой на целую пасху.

Учителем арифметики того класса, где был Карась, был некто Павел Алексеевич Ливанов; собственно говоря, не один Ливанов, а два или, если угодно, один, но в двух *естествах* — Ливанов пьяный и Ливанов трезвый.

Третья перемена, которая была после обеда, назначалась для арифметики... Стоят при входе в класс караульные, ожидающие Ливанова. Ливанов входит в ворота училища...

— Каков? — спрашивает один караульный...

— Руками махает, значит того...

— Это еще ничего не значит...

— Да ты не видишь, что он у привратника просит понюхать табак?

— Именно так... Значит, пишет по восемнадцатому псалму.

Караульные бегут в класс и с восторгом возвещают:

— Братцы, Ливанов в пьяном естестве...

Класс оживляется, книги прячутся в парты. Хохот и шум. Один из великовозрастных, *Пушка*, надевает на себя шубу овчиной вверх... Он становится у дверей, чрез которые должен проходить Ливанов... Входит Ливанов. На него бросается Пушка...

— Господи, твоя воля,— говорит Ливанов, отступая назад и крестясь...

Пушка кубарем катится под парту.

— Мы разберем это,— говорит Ливанов и идет к столу.

В классе шум...

— Господа,— начинает Ливанов нетвердым голосом...

— Мы не господа, вовсе не господа,— кричат ему в ответ...

Ливанов подумал несколько времени и, собравшись с мыслями, начинает иначе:

— Братцы...

— Мы не братцы!

Ливанов приходит в удивление...

— Что? — спрашивает он строго...

— Мы не господа и не братцы...

— Так... это так... Я подумаю...

— Скорее думайте...

— Ученики,— говорит Ливанов...

— Мы не ученики...

— Что? как не ученики? кто же вы? а! знаю, кто.

— Кто, Павел Алексеевич, кто?

— Кто? а вот кто: вы — свинтусы!..

Эта сцена сопровождается постоянным смехом бурсаков. Ливанов начинает хмелеть все больше и больше...

— Милые дети,— начинает Ливанов...

— Ха-ха-ха! — раздается в классе...

— Милые дети,— продолжал Ливанов,— я... я жежнюсь... да... у меня есть невеста...

— Кто, кто такая?..

— Ах вы поросята!.. Ишь чего захотели: скажите им кто? Эва, не хотите ли чего?

Ливанов показывает им фигу...

— Сам съешь!

— Нет, вы съешьте! — отвечал он сердито.

На нескольких партах показали ему довольно ядреные фиги. Увлечшись их примером, один за другим ученики показывают своему педагогу фиги. Более ста бурсацких фиг было направлено на него...

— Черти!.. цыц!.. руки по швам!.. слушаться начальства!..

— Ребята, нос ему,— скомандовал Бодяга и, подставив к своему носу большой палец одной руки, зацепив за мизинец этой руки большой палец другой, он показал эту штуку своему учителю... Примеру Бодяги последовали его товарищи...

Учителя это сначала поразило, потом привело в раздумье, а наконец он печально поник головою. Долго он сидел, так долго, что ученики бросили показывать ему фиги и выставлять носы...

— Друзья,— заговорил учитель, очнувшись...

Господа, братцы, ученики, свинтусы, милые дети, поросята, черти и друзья захохотали...

— Послушайте же меня, добрые люди,— говорил Ливанов, совсем хмелея...

Лицо его покрылось пьяной печалью. Глаза стали влажны...

— Слушайте, слушайте!.. тише!..— заговорили ученики.

В классе стихло.

— Я, братцы, несчастлив... Я женюсь... нет, не то: у меня есть невеста... опять не то: мне отказали... Мне не отказали... Нет, отказали... О черти!.. о псы!.. Не смеяться же!

Ученики, разумеется, хохотали. Пьяная слеза оросила пьяное лицо Ливанова... Он заплакал...

— Голубчики,— начал он,— за меня никто не пойдет замуж, никто не пойдет...

Рыдать начал Ливанов.

— У меня рожа скверная,— говорил он,— пакостная рожа. Этакие рожи на улицу выбрасывают. Плюньте на меня, братцы: я гадок, братцы...

— Гадок, гадок, гадок,— подхватили бурсаки...

— Да,— отвечал их учитель,— да, да, да... Плюньте на меня... плюньте мне в рожу.

Ученики начинают плевать по направлению к нему.

— Так и надо... Спасибо, братцы,— говорит Ливанов, а сам рыдает...

У Ливанова была не рожа, а лицо, и притом довольно красивое, ему и не думала отказывать невеста, к которой он начал было свататься, напротив — он сам отказался от нее.

Спьяна Ливанов напустил на себя небывалое с ним горе. Со стороны посмотреть на него, так стало бы жалко, но для бурсаков он был *начальник*, и они не опустили случая потравить его.

— Братцы,— продолжал он,— я отхожу ко господину моему и к богу моему... Я вселюсь...

— Смазь ему, ребята! — крикнул Пушкиа.

— Что такое? — спросил Ливанов...

— Смазь...

— Что *суть* смазь?

— А вот я сейчас покажу тебе,— отвечал Пушкиа, вставая с места...

— Не надо!.. сам знаю... Сиди, скотина... Убью!.. Ах вы, каналы!.. Над учителем смеяться!.. а? — говорил Ливанов, приходя в себя...— Да я вас передеру всех... Розог! — крикнул он, совсем оправившись...

В классе стихло...

— Розог!

— Сейчас принесу,— отвечал секундатор.

— Живо!.. Я вам дам, мерзавцы!..

Хмель точно прошел в Ливанове. «Что за черт,— думали бурсаки,— неужли в другое естество перешел?» Но это была минутная реакция опьяненного состояния, после которого с большею силой продолжает действовать водка, и когда вернулся в класс секундатор, то он увидел Ливанова совершенно ошалевшим. Ливанов, стиснув зубы и поставив на стол кулак, смотрел на учеников безумными глазами...

— Розог,— сказал он, однако, не забывая своего желания...

— Что, Павел Алексеич? — отвечал секундатор, смекнув, как надо вести себя...

— Розог...

— Все люди происходят от Адама...— говорил ему секундатор...

— Так,— отвечал Ливанов, опять забываясь,— а роз...

— Добро зело, то есть чисто, прекрасно и безвредно...

— Не понимаю,— говорил Ливанов, уставясь на секундатора.

— Я родился в пятьдесят одиннадцатом году, не доходя, минувши казанский собор...

— Ей-богу не понимаю,— говорил Ливанов убедительно...

— Как же не понять-то? Ведь это написано у пророка Иеремии...

— Где?

— Под девятой сваей...

— Опять не понимаю...

— Очень просто: оттого-то и выходит, что числитель, будучи помножен на знаменатель, производит смертный грех...

— Ты говоришь: грех?

— Смертный грех...

— Ничего не понимаю...

— Всякое дыхание да хвалит...

— Что хвалит?.. скотина!.. винительного падежа нет

в твоей речи!.. черт ты этакой!.. По какому вопросу познается винительный падеж?

— По вопросу «кого, что?».

— Так кого же хвалит? что хвалит? черт ты этакой, отвечай!

— Черта хвалит.

Ливанов посмотрел на него злобно...

— Ты это серьезно говоришь? — спросил он.

— Вот тебе крест.

Ученик перекрестился.

— Ты мне сказал «тебе»?

— Я, тебе, мне, мною, обо всех...

— Уйди!.. убью! — отвечал, озлившись, Ливанов. —

Прошу тебя, уйди!.. Я в пьяном виде не ручаюсь за себя...

— Он ушел, — говорит ученик...

— Он?.. Что мне за дело до него?.. ты-то уйди!..

Черт же с тобой, скотина, — говорит опьяневший педагог, стуча по столу кулаком... — Не хочешь уйти? Так я же уйду... Я пьян... Я уйду...

Учитель после этих слов неожиданно встает со стула и направляется к двери. Его провожают хохотом, криком, визгом и лаем...

— Это всё пустяки, — говорил он, — в жизни всё пустяки, — и выходит на лестницу...

Лишь только он ступил на первую ступеньку, как тот же секундатор, следивший за ним, схватил его за ногу. Пьяный педагог полетел с лестницы вниз головою. Счастье его, что он не переломал себе ребер...

— Оступился, черт возьми, — говорил перепачканный учитель, вставая на площадке, у которой кончалась лестница.

Подле него уже очутился секундатор, дернувший его за ногу...

— Вы, кажется, замарались? — спрашивает он. — Позвольте, я вас почищу.

— Не надо, друг мой, вовсе не надо... Всё пустяки...

Учитель наконец ушел домой.

Вот каков был Павел Алексеевич Ливанов в пьяном естестве.

Описанная нами сцена была в четверг. В субботу Ливанов явился в трезвом естестве. Ученики держали себя, как и Ливанов, иначе — прилично, разумеется прилично по-бурсацки. С Ливановым, когда естество его

переменялось, из пьяного переходило в трезвое, шутить было опасно. Вообще Ливанов был не дурной человек; хотя как учитель не выдавался из среды своих товарищей; но по крайней мере он не запорывал своих учеников до отшибления затылка... Лобов, Долбежин и Батька были представителями террора педагогического, Краснов и Разумников — представителями прогрессивного бурсацизма, а Ливанов был какая-то помесь тех и других: иногда строг до лобнических размеров, иногда добр бестолково. Во всяком случае, не любили шутить с Ливановым, когда он был в трезвом естестве...

Карась не выходил на сцену, когда был пьян Ливанов, но сегодня, когда шутки с Ливановым были опасны, он решился на скандалы...

Хотя Карась сидел в Камчатке и заявил своему аудитору «ноль навеки», но он был все-таки довольно любознательная рыба. Вышел такой случай. Однажды от нечего делать Карась рвал арифметику Куминского; он в этом занятии прошел уже до деления. Тут его злодеяния вдруг прекратились. «Деление? — подумал он. — А ведь я знаю деление... А дальше что?.. Именованные числа... Это что за штука?.. Сначала узнаю, а потом раздеру...» Остановившись на такой мысли, он стал читать Куминского и без посторонних пособий понял именованные числа. «Дальше дроби — это что такое?» — сказал он. — Понял он и дроби... Все это было пройдено им в три приема. Значит, когда захочет человек учиться, то можно обойтись и без розги. «Дальше что? десятичные дроби... Не хочу читать... Довольно». После этого он Куминского обратил в ключья. Задано было о «приведении дробей к одинаковому знаменателю», и хотя у Карася стоял в нотате ноль, однако он знал урок, приготовив его без всякого поощрения и принуждения гораздо ранее, чем требовалось...

Учитель вызвал к доске *Секиру*. Секира, несмотря на то, что был аудитор, путался...

— Дурак, — сказал ему Ливанов...

— Дурак и есть, — подтвердил Карась из Камчатки...

— Кто это говорит? — рассердившись, спросил Ливанов... Ему дерзким показался отзыв Карася...

— Я, — отвечал Карась. — Помилуйте, Павел Алексеевич, не умеет привести к одному знаменателю: ну не дурак ли?

— Ах ты скотина! — закричал Ливанов.

— Помилуйте же, Павел Алексеевич. Я сижу в Камчатке; значит, дурак из дураков, а все-таки «приведение знаменателей» знаю!

— Если же ты не сделаешь мне «приведения», я тебя запорю...

— Запорите...

— К доске!..

Карась вышел и отлично ответил урок...

— Ну, не правду ли я сказал, что дурак он? — говорил Карась, показывая на Секиру. — Даже я умею это сделать.

Ливанов подошел к Карасю и Секире.

— Дай мел, — сказал он Карасю...

— Извольте...

Взявши в руки мел, Ливанов сделал на лице Секиры крупный крест. Делая крест, он говорил:

— Пентюх, перепентюх, выпентюх!..

— Ну, дурак и есть, — подтверждал Карась...

После этого Карась отправился в Камчатку. Развлеченный на несколько минут своим ответом, он, однако, скоро начал скучать. Пришла ему на мысль предстоявшая опасность неотпуска домой на святую. Злость на него нашла, которую он и выместил на грифельной доске, попавшей ему под руки. Сняв с краев ее боковые планки, он хотел обратить их в щепы, но, приложив палец ко лбу, сказал себе: «Подожди, дружище, тут выйдет скрипка». Из трех планок он сделал треугольник, к вершине его прикрепил четвертую, в треугольнике натянул веревочные струны, добыл из розог, лежавших в печке, по соседству его, прут, из которого смастерил смычок, и таким образом устроил нечто вроде цевницы... Это заняло его на время, но в голову его опять приходит мысль о пасхе. «Черти, — думал он, — неужли так-таки и не пустят на пасху?.. Лучше бы пересекли пополам! Сколько хочешь секи, мне все одно». — «Так ли?» — рефлектирует он. «А вот попробуем». Карась берет свою цевницу и начинает водить по ней смычком, то есть розгой...

Раздается на весь класс страшный визг, произведенный Карасем для скандала.

— Кто это? — спрашивает изумленный учитель.

— Я это, — отвечает храбро Карась...

Визг был до того неожидан и неуместен, что учитель растерялся...

— Что это значит?

— Ничего не значит.

— Скотина...

Карась сел спокойно. Учителя поразило этот случай, и потому только он не отпорол Карася...

«Врешь,— думает между тем Карась,— ты меня отпорешь!» — и берет в свои руки цевницу...

Раздается еще сильнееший его визг...

Ливанов на этот раз вышел из себя. Он, озлобленный, бросается к Карасю. Карась же становится коленями на ребро парты...

— Я наказан,— говорит он при приближении к нему Ливанова...

— Стой, скотина, весь класс...

— Буду стоять.

Учитель недоумевает, что случилось с Карасем. Однако мало-помалу он успокаивается.

«Нет, ты меня отпорешь!» — думает Карась...

Берет он в руки цевницу и, водя по ней прутком, производит третий, сильнееший визг...

На этот раз Ливанов совершенно сбесился. Он бросился на Карася с поднятыми кулаками...

— Убью, мерзавец!

Карась струсился, видя разъяренного учителя, и когда Ливанов подбежал к нему, он вскочил на ноги и понесся над головами товарищей, по партам, к двери, за которую и скрылся.

Учитель долго не мог прийти в себя.

Долго ходил учитель по классу. Он был страшно озлоблен и в то же время изумлен. «Понять не могу,— думал он,— что случилось с этим мерзавцем?» Факт выходил своею оригинальностью из ряда обыкновенных фактов, и, должно быть, именно это обстоятельство сделало то, что Ливанов не донес о Карасиных деяниях инспектору. Иначе Карасю пришлось бы целую неделю таскать из своего тела прутья: за подобные его дерзости в бурсе драли жестоко, до того жестоко, что после сечения относили в больницу на *рогожке*. Счастье Карася...

Но Карася все-таки высекли в тот день. Он в озлоблении пошел бить стекла училища, был пойман на этом деле, и хотя призывал всю небесную силу во свидетельство того, что он нечаянно разбил стекло, однако ему *влепили*, как выражается он, около пятидесяти.

Таким образом, наказание Разумникова имело свои добрые последствия: оно бесило только человека, а нисколько не наставляло на путь истины.

Посмотрим, что было после.

Ученики отпускались домой из бурсы по письменным билетикам от двенадцати часов субботы до пяти часов вокресенья. В субботу разошлись ученики, большинство, по домам. Училище опустело.

Карась остался в бурсе.

Ученики в свободное время обыкновенно сидели в спальнях. Карась находился в *Сапоге*. На него напала невыносимая тоска. Он бросился на кровать, покрыл свою голову подушкой и зарыдал. Мы, взрослые люди, на детское горе смотрим очень легко. Разве может ребенок серьезно страдать? Разумеется, большинство читателей ответит: нет. Между тем бывают детские печали глубокие и сильные, печали, за которые человек не может простить и тогда, когда станет взрослым. Карась в ту минуту, когда лежал на кровати, всех ненавидел. Разве может глубоко ненавидеть ребенок? Может. Если бы не учился человек ненавидеть в детстве, не умел бы он ненавидеть и в зрелых годах. Бурса дала Карасю сильные уроки ненависти, злости и мести — бурса превосходное адовоспитательное заведение!

Для городского, привыкшего проводить праздники дома, самый гадкий день — праздничный день в бурсе.

Карась кое-как дождался всенощного.

Учеников разделили на две партии: одна отправлялась в лаврскую церковь, другая оставалась в бурсе. К первой принадлежали имевшие сколько-нибудь приличную одежду, ко второй оборвыши и отрепыши, которых стыдно было даже бурсацкому начальству пустить на свет божий. Карась остался с отрепышами, потому что был не уволен в город, а таких не пускали в лаврскую церковь.

По звонку в шесть часов вечера оборвыши и отрепыши отправились на домашнюю всенощную в так называемый *пятый номер*, то есть класс под № 5. Это была большая длинная комната, уставленная партами. На передней стене ее висел огромный образ Христа, сидящего на престоле; пред тем образом и совершалась всенощная одним из лаврских монахов. Ученики сдвинули парты в одну сторону, к стене. Образовалась довольно обширная площадка, на которой и поместились рядами ученики. По правую руку образа поставили аналой, около которого поместилась *сборная братия*, то есть певчие-любители из оставшихся в бурсе оборвышей и отрепышей.

Карась в детстве был очень религиозный мальчик. Кроме того, на сердце его накопилось очень много горя. Он, лишь только началось всенощное, встал на колени и начал усердно молиться. Содержание его молитвы, как часто случается в детстве, было беспредметное, неопределенное. Он ни о чем не просил, ни на кого не жаловался богу; он, отрешаясь от внешнего мира, стремился куда-то всеми силами своей души. Тепла была его молитва и сильна... Так прошло около полчаса, и Карась с каждым поклоном разгорался духом. Но это благодатное настроение было неожиданно нарушено самым пасквильным образом.

Когда Карась кончал усердный поклон, сосед его, дурак Тетеры, сделал ему дружескую смазь. Карася это изумило, а Тетеры, рассматривая свою пясть, в которой сейчас держал лицо Карася, увидел ее мокрою...

— Ты плачешь? — сказал он Карасю...

Религиозный экстаз Карася миновался.

— У тебя слезы? — повторил Тетеры.

Карась озлился, тем более что ему было стыдно своих слез...

— Безмозглая башка, — отвечал он и дал пинка Тетеры.

— Да о чем ты плакал? — спрашивал глупец Тетеры.

— Отстань, осел!

— Скажи же, — допрашивал добродушный глупец.

— Вот тебе!

Карась дал ему очень чувствительный пинок.

— Подлый Карасище, — приветствовал его дурак...

Таким образом, молитвенное настроение Карасинога духа было нарушено. Карасю сделалось просто скучно. Он стал наблюдать религиозность своих сомолитвенников. Ученики любили свой бурсацкий храм более, нежели лаврский, потому что богослужение, которое они совершали, возможно было только в том именно храме, в котором и драли их. Домашняя служба была короче и веселее: ее по возможности сокращали и делали занимательною. Дьячок из учеников, читая псалмы, перебирал слова до того быстро, что слышалось только шелканье языком и губами, а смыслу... смыслу бурсакам и не требовалось... «Бог с ним!..» — говорили они... Для характеристики бурсацкого богослужения мы должны сообщить читателю следующего содержания рассказ. Сидели в горячей бане два купца, один очень жирный, другой так себе, и разго-

варивали они о духовных делах. «Нет, ты скажи мне,— говорит купец так себе,— что такое дьячок?» — «Известно, что: служитель божий»,— отвечает жирный.— «А вот и врешь».— «Что же такое дьячок, объясни!» — «Сейчас объясню»,— отвечает задавший вопрос.— Дьячок,— говорит он,— есть дудка, чрез которую глас божий проходит, но... ее не задевает,— вот что!» — «Это так,— подтвердил жирный,— ты в самую центру попал». После такого определения читатель поймет нас, когда мы скажем, что бурсаки во время всенощного были не молеельщиками, а чистыми дудками... Но, кроме бестолкового дьяческого чтения, было еще безобразное пение. *Сборная братия* любила хватить, ляпнуть, рывкнуть, отвести кончик — это термины означают громы-гласия бурсы. Поющая и взывающая бурса стоит и подзадоривает тех, у кого хорошо устроены дыхательные мехи и горловые связки... Ревет молящаяся бурса... Но это все еще ничего бы: у нас на Руси в большинстве случаев церковные службы сопровождаются нелепым чтением и аневричным пением, но богомольный русский человек давно привык к тому, и его религиозное чувство все-таки питается во время службы; но этот же отерпевшийся наш богомольный человек, посетив бурсацкую всенощную, непременно возмутится духом. Мы видели, как Карась во время службы смазь получил. Такие явления во время всенощной были очень обыкновенны. Молящиеся толкались, смеялись, плевались... Отрепыши в первых рядах только стояли прилично, а в середине, где ученики были заслонены окружающими их товарищами, играли в карты и *косяшки*. *Хорь* лазил по карманам. *Чихотка*, второкурсник, спал на тулупе, *Павка*, городской мальчик, не отпущенный домой за леность, учил урок... Смази, щипки, плевки, подзатыльники рассыпались только *несколько* реже и скромнее сравнительно с обыкновенными занятыми часами.

Все это в бурсе называлось богослужением. . . .

Но не можем удержаться от горячего слова. И не будем удерживаться. Договоримся до конца — благо, время такое подошло, что *можно* говорить и *следует* говорить.

Бурсацкая религиозность своеобычна. В бурсе вы всегда встретите смесь дикого фанатизма с полной личной апатией к делу веры. В бурсацком фанатизме, как и во

всяком фанатизме, нет капли, нет тени, намека нет на чувство всепрощающей, всепримиряющей, всесравнивающей христианской любви. По понятию бурсацкого фанатика, католик, особенно же лютеранин — это такие подлецы, для которых от сотворения мира топят в аду печи и куют железные крючья. Между тем всякий бурсак-фанатик более или менее непременно невежда, как и всякий фанатик. Спросите его, чем отличается католик от православного, православный от лютеранина, он ответит bestолковее всякой бабы, взятой из самой глухой деревни, но, несмотря на то, все-таки будет считать своей обязанностью, своим призванием ненависть к католику и протестанту. Но жаль учеников, жаль: если препарировать бурсацкую религиозность, сбросить с нее покрывало, которым маскируется и декорируется сущность дела пред неспециалистом или недалёковидным наблюдателем, распутать схоластические и диалектические тенета, мешающие анализировать факт смело и верно, то эта бурсацкая религиозность, знаете ли, чем окажется в большинстве случаев? — она окажется полным, абсолютным *атеизмом*, — не сознательным атеизмом, а животным атеизмом необразованного человека, атеизмом кошки и собаки. Они называют себя верующими, и лгут они: у них и для них не существует того бога, к которому так любят обращаться женщины, дети, идеалисты и люди, находящиеся в несчастьи. И что может развить в них религиозное чувство? Уж не *божественные* ли науки, которые зубрят они с проклятием и скрежетом зубовным? Эти-то науки, устилаемые их *сочинителями* дермом с чертоплешинами, и развращают человека. Науки бурсацкие таким писаны диким языком, вымощены таким непроходимым камнем, что могут произвести в душе человека разве только сыворотку, а никак не возбудить в нем религиозное чувство. Прочитать бурсацкий учебник так же легко, как перекусить толстую веревку. Но попытайтесь перекусить эту веревку, попытайтесь выучить наизусть, слово в слово, буква в букву, всю ерунду бурсацкую и в то же время ухитритесь поверить ей, обратиться ее в свое убеждение, «плоть и кровь», как приказывает своим ученикам один из семинарских педагогов, — тогда, честное слово, вы ошалаете навеки. Но главная причина, настоящая сущность дела все-таки не в каменологии, не в дресвологии, не в тёрнологии туземных наук. Религия, хотя и не проповедуется она в бурсе, как у поклонника Магомета, огнем и мечом, но проповедуется розгой, голо-

дом, дерганьем из головы волос, забиением и заушением. Например, Лобов велит *вознести* ученика *на воздусях*, положить под самый нос его «Закон божий», и в то же время кричит дико: «Учи, сейчас же и учи урок!» Мы думаем, что бурсацкое начальство, поступая так, постепенно и незаметно, однако самым радикальным путем, направляет мирозерцание своих учеников к полному атеизму. Когда дети начинают подрастать, то из них лишь одни идиоты остаются упорствующими в фанатизме, вынося из бурсы только боязнь черта и ада, да еще ненависть к иноверцам и ученым, а любви к человеку, заповеданной Христом, того чувства и тех начал, которые ныне называются гуманностью, они не получают от бурсы, потому что бурса вечно *аскоченствует*, убеждения ее носят на себе всегда несчастное клеймо «Домашней беседы», этой плевательницы нашей российской духовной литературы. Но при дальнейшем развитии большинство бурсаков, чуя человеческим чутьем неладность своей науки, делается вполне равнодушно к той вере, за которую так долго и так жестоко секли их. Так формируется большинство; но затем остается меньшинство — самые умные люди из семинаристов, цвет бурсацкого юношества... Эти умные бурсаки распадаются на три типа... Одни из них — по направлению своему идеалисты, спиритуалисты, мистики, и в то же время по натуре народ честный и славный, добрый народ. Они во время самостоятельного развития своего, силою собственного, личного ума и опыта, очищают бурсацкую веру, всеченную в их душу, от всевозможных ее ужасов, потом создают новую веру, свою, человеческую, которую, надев впоследствии рясы и сделавшись попами, и проповедуют в своих приходах под именем православной веры. Таких попов и народ любит и так называемые *нигилисты* уважают, потому что эти попы — люди хорошие. Другого типа бурсаки — это бурсаки материалистической натуры. Когда для них наступает время брожения идей, возникают в душе столбовые вопросы, требующие категорических ответов, начинается ломка убеждений, эти люди, силою своей диалектики, при помощи наблюдений над жизнью и природой, рвут сеть противоречий и сомнений, охватывающих их душу, начинают читать писателей, например вроде Фейербаха, запрещенная книга которого в переводе на русский язык даже и посвящена бурсакам, после того они делаются глубокими атеистами и сознательно, добровольно, честно оставляют духовное звание, считая делом непорядоч-

ным — проповедовать то, чего сами не понимают, и за это кормиться на счет прихожан. Это также народ хороший. Вначале этим бурсакам жаль вечности, которую им в качестве материалистов приходится отрицать, но потом они находят в себе силы помириться с своим отрицанием, успокоиваются духом, и тогда для бурсака-атеиста нет в развитии его попятного шага. Эти люди всегда бывают люди честные и, если не вдаются в эпикуреизм, люди деловые, которыми все дорожат. Они, сделавшись атеистами, никогда не думают проповедовать террор безбожия. Самый атеизм они определяют совсем не так, как принято у нас определять его. Вот как они резюмируют свой нигилизм: «В деле совести, в деле коренных убеждений насильственное вмешательство кого бы то ни было в чужую душу незаконно и вредно, и поэтому я, человек рациональных убеждений, не пойду ломать церквей, топить монахов, рвать у знакомых моих со стен образа, потому что через это не распространю своих убеждений; надо развивать человека, а не насиловать его, и я не враг, не насилователь совести добрых верующих людей. Даже на словах с человеком верующим я не употреблю насмешки, а не только что брани, и остроты над предметами, которые дороги для человека, будут допущены мною только тогда, когда позволяет их мой собеседник, — иначе я и говорить с ним не буду о делах веры. Но, не стесняя свободу совести моих ближних, не желаю, чтобы и мою теснили. Научи меня, если сумеешь? Не можешь, отойди прочь. Я тебя поучу, если желаешь? Не хочешь, и толковать не стану — тогда мое дело сторона. При таких отношениях мы можем ужиться, потому что честный атеист с честным деистом всегда отыщут пункты, на которых они сойтись могут. Что такое атеизм? Безбожие, неверие, заговор и бунт против религии? Нет, не то. Атеизм есть ни более ни менее как известная форма развития, которую может принять всякий порядочный человек, не боясь сделаться через то диким зверем, и кому ж какое дело, что я нахожусь в той или другой форме развития. А уж если кому она кажется горькою, то приди и развеяй меня в ином направлении. Если же будете насиловать меня, я прикинусь верующим, стану лицемерить и пакостить потихоньку — так лучше не троньте меня — вот и все!» — Вот какие иногда бывают бурсаки. Этих тоже все любят и уважают, и честный поп, встретясь с атеистом товарищем, охотно подаст ему руку, если только он в существе дела порядочный человек. Так и следует.

Но бурса из умных учеников своих создает еще род людей, которые, ставши атеистами, прикрывают свое неверие священнической рясой. Вот эти господа бывают существами отвратительными — они до глубины проникаются смрадною ложью, которая убивает в них всякий стыд и честь. Желая скрыть собственное неверие, рясоносные атеисты громче всех вопят о нравственности и религии и обыкновенно проповедуют самую крайнюю, безумную нетерпимость. Беда, если эти рясофорные атеисты делаются педагогами бурсы. Будучи убеждены, что неверие лежит в природе всякого человека, и между тем поставлены в необходимость учить религии, они вносят в свою педагогику сразу и иезуитство и принципы турецкой веры. По их понятию, самый лучший ангел-хранитель бурсацкого спасения — это фискал, наушник, доносчик, сикофант и предатель, а самое сильное средство развить религиозность — это плюха, розга и голод. Терпеть не могут они Христова правила, апостолам данного: «В доме, где не верят вам, отрясите прах ног ваших — и только»; нет, им хочется в христианскую веру напустить туретчины. «Ототрем, — думают они, — человека за погибель души его и стащим потом в царствие небесное за волоса хоть — и делу конец!» Эти рясофорные атеисты развивают в себе эгоизм — источник деятельности всякого атеиста, но который у хороших атеистов является прекрасным началом, а у этих, оскверняясь в их душе, становится гнусным. Они проповедуют яро не потому, что боятся за вечную погибель своего *прихода*, а потому, что боятся вечной погибели своего *дохода*: при каждой проповеди они щупают свои карманы, нет ли в них дыры и нельзя ли дыру, если она есть, вместо заплаты заклеить проповедью. Эти рясофорцы бывают главными прислужниками тех барынь и купчих, которые постоянно ханжат и благочестиво кукусятся на Руси; они обируют глупых женщин; кроме того, из них же выходят самые усердные церковные воры и святотатцы. Но, имея широкие карманы, в которых лежат деньги верующих и усердствующих прихожан, не хотят часто шевельнуть пальцем, чтобы помочь какой-нибудь вдове голодающей из их же ведомства — благо свое чрево давным-давно набито ассигнациями. Если в их руки попадает власть, то они употребляют ее возмутительным образом; если они чувствуют в своих руках силу, то употребляют ее на зло. Например, один знакомый нам литератор напечатал две очень дельных и честных статьи,

касающихся духовного вопроса, — так что же? он получил анонимное письмо, в котором говорится, что если он не прекратит своих статей, то его мать, вдова, будет выгнана из казенной квартиры и лишена последнего куска хлеба, а ему, литератору, лоб забреют. Я уверен, что это писал непременно рясофорный атеист, потому что когда к рясофорному являешься с откровенным словом, он против слова поднимается с дреколием. Вот каких господ заготовляет бурса! Но таких господ презирают честные бурсаки, которые считали себя не вправе надеть рясу, и верующее наше духовенство, образованная часть его — добрый поп всегда подаст руку доброму атеисту и с отвращением встанет спиной к своему же сослуживцу, но не верующему в свое призванье. Так и следует. Но пока довольно. Все эти мысли пришли нам в голову по поводу бурсацкого богослужения, которое для Карася началось так благоговейно, потом было прервано смазью, а кончилось тем, что он под конец всеобщего играл *в чет и нечет*

Кончился для Карася гадкий бурсацкий праздник. «Неужели меня не уволят и на пасху?» — думал он.

Страшно сделалось ему. Он знал, что такое в бурсе пасха.

Лучше бы совсем не существовало пасхи в бурсацком календаре. Этот праздник ожидался учениками с нетерпением, все думали встретить в святой день что-то особенное, выходящее из ряда вон; лица торжественные, светлые, добрые; товарищи внимательны друг к другу и ласковы; ни одной нет затрещины во всей бурсе. Хоры после спевки идут в церковь, поют с увлечением и звонко, весело христуруются и после службы возвращаются в бурсу, где и разговляются. Все это очень мило; но вместе с разговорьем улетает из бурсы и праздник. Если бы дали ученикам простую рекреацию, они и справили бы ее, как обыкновенно, но пасха — праздник особенный, и проводить его следует иначе. И вот бурсачки снуют из угла в угол, ищут своего праздника и найти не могут. Где же он? Затерялся где-то, а вернее всего, оставлен дома, на родине. Поневоле припоминают бурсачки Христов день под родным кровом, все чувствуют, что не так надо праздновать его, и уже христовский вечер становится невыносимо скучен, на всех нападает тоска и апатия. Прожить целую неделю в таком состоянии — дело крайне тяжелое. Оттого-то Карасю

и прописывали бурсацкую пасху вместо казни: на дельное что-нибудь она и не годилась.

Но Карась поклялся, что он во что бы то ни стало отделается от этой казни... Но что же он предпримет?

«Сбегу»,— чаще и чаще приходит ему на мысль.

С этой блаженной мыслью он и заснул в тот день.

«Сбегу»,— думал Карась, проснувшись, и на другой день поутру.

Эта мысль начинала нравиться Карасю и окончательно укоренилась по поводу одного маленького бегуна. Событие было такого рода. Привезли в училище *Фортунку*, деревенского мальчика, едва ли не семилетнего ребенка, который долго скучал по родине. Этот *Фортунка*, когда ему сделалось очень горько от бурсацкой жизни, ночью задумал совершить бегство. Он предпринял такой подвиг, не зная, где найдет приют, и не имея денег, а только полагаясь на слова песни, певавшейся в училище, в которой говорилось, что однажды шел бедный малютка, он весь перемок и дрожал от холоду, но думал: «Бог и в поле птичку кормит и росой кропит цветы,— и меня он не оставит», и действительно, мальчику попалась навстречу старушка, которая и приютила его у себя... Полагаться *Фортунке* больше было не на что, но он всё-таки встал с своей постельки глубокой ночью на ноги, натянул на себя свою одежду, завязал что-то в узелок и вышел на двор. «Вечер был, сверкали звезды», как говорилось в приведенной же нами песне. *Фортунка* полез через забор, вот он уже сидит под открытым небом и думает со страхом, куда ему направить путь. «Но ладно: бог и в поле птичку кормит». Бурсацкая птичка хотела спорхнуть с забора...

— Стой! — услышал *Фортунка* чей-то грозный голос...

Его сняла с забора чья-то сильная рука и поставила на землю... Пред *Фортункой* оказался солдат *Цепка*, училищный хлебопек, который и поймал его на месте преступления...

— Ты что затеял?

— Ей-богу, ничего не затевал...

— Пойдем-ко со мной, дружище...

— Прости, Цепка...

— Пойдем, пойдем...

Солдат повлек за собой *Фортунку*. Он привел его в свою пекарню. Об этом солдате мы уже однажды упоминали

как о человеке, несмотря на жесткость и грубость его характера, вообще добром...

— Ты что задумал, а?

— Я только погулять хотел...

— То есть в беги пуститься?.. это с чего?

— Здесь скучно, Цепа...

— Скучно? а инспектор отдерет, так весело станет?

И куда ты, этакой мальчишка, пойдешь?

— Домой пойду...

— Ах ты каналья! Где же тебе домой идти?

Однако Фортунка понравился солдату.

— Присядь-ко лучше вот здесь,— сказал он мальчику,— и поешь лепешек с маслом...

Фортунка от ласкового слова повеселел и начал есть данную ему лепешку. Солдат разговаривал с ним о его доме и совершенно приголубил.

— Ну, поел, и ступай с богом спать. И не думай уходить из училища — поймаю...

Фортунка пришел в свою спальню и заснул в ней сном птички божией.

Но на другой день Цепка, несмотря на доброту свою, счел обязанностью донести о попытке дезертира... «Отдеру»,— сказал инспектор. Но когда к нему привели Фортунку и он в лице его увидел совершенного ребенка, в котором и сечь-то нечего, тогда инспектор помиловал его...

Но бегство было одним из сильнейших преступлений бурсы. Поэтому замысел Фортунки, хотя и кончился он пустяками, возбудил в училище толки.

— Бегуна поймали,— рассказывали в Камчатке.

— Что же с ним сделали? — спрашивал с любопытством Карась.

— Ничего...

— Неужели?

— Инспектор простил.

«Убегу же и я,— укреплялся в своей затаенной мысли Карась,— ведь не заporют же, если и поймают».

Он стал разговаривать с товарищами о бегунах...

— Много у нас бегунов?

— Есть-таки...

— А ведь плохо им придется...

— И очень даже...

— А правда,— спросил один,— что наши на дровяном дворе *спасаются?*

— Правда, только ты никому не говори...

— Я фискал, что ли?

— То-то. Я сам бывал у них в гостях.

— Как же они живут?

— Отлично живут. В дровах поделали себе келью и спасаются в ней...

— Чем же они питаются?

— Воруют. Вот уже второй месяц живут так... Иногда милостыню просят... Иногда приходят сюда, в училище, и наши дают им хлеба...

— Не выдадим своих,— ответили слушатели с гордостью.

«Убегу и я»,— думал про себя Карась и с каждой минутой разгорался духом...

— А что жених наш? — спросил кто-то об ученике, упоминаемом в прошлом очерке.— Он никак теперь пятый раз состоит в бегах. Сколько раз его драли за бегство?

— Четыре раза, а все-таки неймайся... Отпорют его, он бежит за восемьдесят верст, да пешком лупит. Явится домой, его начинает драть отец, от отца он бежит в бурсу. Отстегают здесь, он опять домой: так и гоняют его розгами с места на место.

«Но ведь не засеки жениха,— ободряет себя Карась, жадно прислушиваясь к речам товарищей,— и я жив останусь».

— Но что жених? Нет, вот бегуны-то: Даниловы...

— И ведь городские еще?

— Да; напишут, бывало, фальшивые письма от родителей, что они оставлены дома по болезни, начальство не беспокоится, дома этого не знают, и Даниловы гуляют себе по городу. Так они однажды гуляли целую треть года...

— А правда, что их однажды поймали вместе с мошеннической шайкой?

— Еще бы. Но потом другие мошенники выкупили из полиции. Они опять долго торговали краденой нанкой и имели большие деньги. Когда же негде было стянуть, нанимались в поденную работу.

— Ай да ну! Но не слышно ли чего о *Меньшинском*?

— Что-то не слышно... А он тоже давно в бегах...

— Вот этот будет почище всех. Помните, как он однажды оборвал у инспектора часовую цепочку и бросился на него с перочинным ножом? Он когда-нибудь зарежет его. То ли еще было с ним: он раз кинулся с ножом на своего отца.

— И все это ему проходит. Отпорют, и только.

← Другому давно бы дали волчий паспорт, а у него покровители есть.

Про Меньшинского говорили правду. Он был примером того, что жестокое воспитание может сделать из человека. Из Меньшинского оно сделало чистого зверя, который не задумался бы под горячую руку и приколоть кого-нибудь. Долго толковали о нем, предполагая, чем разыграется последнее его бегство. Пред тем, по просьбе отца, его так наказали, что совершенно избитого *на рогожке* отнесли в больницу.

У Карася гвоздем села в голову мысль покинуть бурсу. «Если и накажут, то все же не так, как Меньшинского: я воровать не буду и с ножом ни на кого не брошусь. Пусть секут потом; теперь по крайней мере погуляю». Он стал обдумывать план бегства. И он, предпринимая такое смелое дело, был не много разумнее Фортунки. Но Карась ходил около ворот и выглядывал, как бы шмыгнуть за них: это было дело нелегкое, потому что привратник строго следил за бурсаками и без билета, данного от инспектора, никому не пропускал в ворота.

«Лишь бы только уйти, а там пойду отыщу дровяную келью и присоединюсь к спасенным. Не примут, удеру куда-нибудь — все одно».

Так размышлял Карась, стоя у ворот училища, с твердым намерением исполнить свой замысел.

Но вдруг распахнулись двери училища настежь, и в них показалась телега. Сзади шел священник. Телега остановилась у дома инспектора, к которому и отправился священник. Карась из любопытства заглянул в рогожку, которою был прикрыт экипаж, и невольно попятился назад. Из-под рогожки на него сверкнули два страшных глаза...

— Меньшинского привезли! — закричал он.

В телеге лежал, связанный по рукам и ногам, действительно Меньшинский. Он, убежав за несколько верст, в свою деревню, был накрыт отцом ночью, скручен веревками и отправлен в бурсу. Свободным везти его боялись — непременно убежит снова...

Около телеги образовалась толпа учеников.

— Меньшинский! — говорили бурсаки...

Он посмотрел только со злобой на своих товарищей; он всех их ненавидел в ту минуту.

— Как тебя поймали?

— Связанного так и везли?

— Сорок с лишком верст?

— Убирайтесь к черту,— отвечал он и закрыл глаза.

Появился инспектор, и толпа рассыпалась в стороны.

Через полчаса велено было ученикам собраться в Пятом номере. Туда притащили связанного Меишинского, повалили его на пол, раздели, два служителя сели ему на плеча, два на ноги, два встали с розгами по бокам, и началось сечение.

Жестоко наказали знаменитого бегуна. Он получил около *трехсот* ударов и замертво был сташен в больницу на рогожке...

Впечатление от этой порки было потрясающее.

«Страшно,— подумал Карась,— бог с ним и с бегством! Лучше на пасху не пойду».

После того у Карася прошла охота бежать.

«Однако на пасху не идти? Нет, как-нибудь да урвусь из бурсы. Завтра обиход,— думал Карась,— решится дело — идти мне на пасху или нет?»

Вот когда сделалось ему страшно. Чем ближе подходил грозный день неотпуска, тем становилось ему тошнее. К чувству ненависти и тоски присоединялось еще какое-то новое чувство: все стало казаться пустяками, зарождалась мизантропия, мрачный взгляд на мир божий. Пробовал он чем-нибудь развлечься — ничего не выходило. Купил он костяшек и стал играть в *юлу*. «Какое нелепое занятие!» — сказал он через несколько минут и раскидал костяшки по полу. Добыл пряник из кармана, стал лакомиться, но скоро и пряник полетел на печку. Пошел к своим дуракам, но дураки только бесили его. В душе Карася начали подниматься вопросы, на которые ни йоты не могли ответить дураки. «Отчего все так гадко устроено на свете? Отчего люди злы? Отчего слабосильного человека всегда давят и теснят? Где всему этому начало? Говорят, дьявол всему причина, он соблазнил людей, но кто же дьявола-то соблазнил? Был когда-то рай на земле, но теперь все гадко на свете: отчего это? откуда?» Дуракам до таких вопросов, разумеется, не было дела. Сновал Карась из угла в угол и сильно волновался, наконец забился он в своей Камчатке под парту, накрыл победную голову шинелью и горько зарыдал. Слезы, однако, мало облегчили его. Он мало-помалу, однако, забылся и, утомленный впечатлениями дня, заснул кое-как. Пробудился

он с головной болью, и первый вопрос опять был о пасхе.

Карась думал, что он с ума сойдет от горя. Но вдруг лицо его стало проясняться, какая-то надежда прокрадывалась в сердце, точно он видел исход своего положения. Карась решался на что-то и не решался. Но борьба быстро кончилась.

— Не умру же, господи, твоя воля! — проговорил и приступил к занятиям такого странного рода, что человеку, не знакомому с тайнами бурсацкой жизни, мог показаться уже лишившимся рассудка.

Вечер. Занятия кончаются. Скоро ужин.

Карась вышел на двор, отыскал большую лужу, уселся около нее и стал снимать сапоги. Потом, оставшись в одних чулках, принялся бродить по воде, как будто и в самом деле превратился в большую рыбу. После такой операции он надел сапоги сверху мокрых чулков и долго ходил по двору. Хотя уже весенний лед прошел и время стояло довольно теплое, но на дворе по вечерам стояла легкая изморозь. Карась рисковал поплатиться здоровьем; но когда чулки на нем просохли, он опять стал плавать в луже и снова повторил свою проделку. Все это было очень дико. Но Карась не унимался. За ужином он нарочно ничего не ел, хотя не мог пожаловаться на дурной аппетит. После ужина он опять ходил в намоченных чулках. Пришедши в спальную, он намочил холодной водой галстук и надел его себе на шею. Все заснуло, а он все ворочался в постели. Когда же стал одолевать сон Карася, он встал с кровати, добыл свои подтяжки, привязал ими себя за ногу к спинке кровати — положение, в котором невозможно заснуть. Он гнал свой сон. Мучил себя Карась добровольно.

Но что все это значит?

«Как бы захворать? — думал Карась.— Завтра меня стащут в больницу; обиход пройдет без меня, и я останусь уволенным на пасху. Не умру же я. Хоть и больного возьмут домой, все же лучше!..»

Вот чем объясняется сумасбродство Карася...

Когда бурсак уходил от какой-нибудь беды в больницу, прятался в отхожих местах, строил келью на дровяном дворе, утекал в лес либо домой, то это на местном языке называлось — *спасаться*.

Спасаящихся в больнице было немало. Мы видели, что делал Карась, чтобы поселиться в ней. Для той же цели многие развивали на теле чесотку и нарочно не лечили ее, смотрели долго на солнце, чтобы получить куриную

слепоту, натирали шею сукном либо накалывали ее булавками, чтобы распухла она, расковыривали страшно свои носы, растревляли на ногах раны и т. п.

Черт бы побрал бурсу, заставлявшую человека прибегать к тем же средствам, чтобы избавиться от нее, к каким прибегают рекруты для избавления от солдатчины, то есть обрубают себе пальцы и рвут вон зубы. Отлично.

Поутру на другой день Карась, бледный, растрепанный, еле держась на ногах, был отведен *старшим* в местную больницу.

Но такое *спасение*, на которое решился Карась, обошлось очень дорого: во-первых, потому что приходилось рисковать здоровьем, а во-вторых, больница была одним из самых страшных мест бурсы.

Она делилась на два отделения: *чистое* и *чесотное*.

Чистое имело в себе комнату под аптекой; потом шли палаты для больных. В палатах на железные кровати были брошены слежавшиеся матрацы, жесткие, как камень,— в них гнездами гнездились клопы и другие паразиты. Комнаты были с линючими стенами, в пятнах, плесени, зелени; пол проеден мышами и крысами. *Чесотное* отделение, находящееся от *чистого* через коридор, в одной огромной комнате, было еще милее: это была какая-то прокаженная яма, кипящая коростой, струпьями и всякою заразою. Подле той ямы находилась кухня, из которой неслась нос рвущая гниль и вонь. Близлежащие ватерклозеты увеличивали впечатление. Содержание больных было очень нездорово. Воздух, при дурной вентиляции, былдохлый, пища скудная и скверная.— *габер-суп*, прозванный от бурсаков *храбрым супом*, вместе с *пятибулкой* (булка в пятак ассигнациями), прополаскивая желудок, мало питали организм; белье было грязное и рваное; верхняя одежда тоже, но особенно замечательны были так называемые *саккосы* (древнее слово, означающее вретиче, рубище, лохмотьище и одежду смирения), то есть дерюжные, сероармяжные халаты; при этом строго наблюдалось, чтобы грязный колпак был на голове больного, так что больные сразу казались и нищими и дураками. Лекарства, нечего и говорить, были пустые; мушки, рожки, горчица, ромашка, *oleum ricini*¹, рыбий жир, мазь от чесотки да

¹ Касторка (лат.).

несколько пластырей — вот, кажется, и все; только в крайних случаях решались на что-нибудь подороже.

Ко всему этому фельдшером был некто Мокеич. Он был глух на правое ухо и глух на левое ухо, глуп с фронтона и глуп с затылка, хотя и был человек души доброй. Он был глубоко убежден, что доктора всегда глупее фельдшеров, особенно молодые. Мокеич хвастовался главным образом тем, что у него счастливая рука, и, вероятно, на этом основании пропил аптекарские весы, а после всегда узнавал вес рукою — подтряхнет на ладони какую-нибудь специю, «пол-унце», — говорит и сыплет в банку. Он лечил обыкновенно прислугу училищную и кой-кого из окрестных обывателей, перед которыми и ругал своего доктора.

Бурсаков в такой больнице спасал от смерти служащий при ней Доброволин. Если бы не он, то мором бы морило бурсаков. Ученики, помнящие его, вспоминают об этом человеке с глубоким уважением и любовью. Он обладал отличною ученостью, постоянно следил за наукой и в какие-нибудь три года составил себе огромную репутацию. Кроме того, что он всегда был готов помочь, уже один вид его доброго лица, ласковый, задушевный голос, умение обойтись с больным оживляли пациента доброй надеждой. Бедные люди во всякое время дня и ночи могли найти его готовым на помощь им: посещая лачугу какого-нибудь бедняка, он приносил ему лекарство, пищу и деньги. Несмотря на то, что он имел богатую практику, Доброволин, вследствие необъятной доброты своего сердца, по смерти оставил капиталу только *пятиалтынный*. Когда газеты напечатали его некролог, то огромное количество почитателей стеклись, чтобы помочь его семейству в несчастье.

Доброволин был духовного происхождения и очень любил бурсаков. Он вел деятельную и усердную войну с училищным начальством. Но, несмотря на всю энергию свою, ничего не мог сделать в этом несчастном гнезде. Больница осталась страшным местом.

И вот все-таки в это место, полное срада, нечистоты и болезней, бурсак прибегал, как в древности прибегали люди к священному алтарю своему, искать защиты и спасения. Бурсак в гнусной больнице искал спасения. И знаете ли, что и здесь не всегда ученик избегал зол бурсацких: бывали, хотя очень редко, примеры, что *больных секли*. Да.

Но Карась все выжил, все перенес, лишь бы только

бурсацкое начальство не украло у него домашнюю пасху.

Пасху Карась провел дома. Дорогонько она обошлась ему.

Вот, господа, как бегают и спасаются наши бурсачки.

1863

ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ БУРСЫ

О черк пятый

Несколько бурсачков в спальном коридоре играли в жмурки. Один из них, с завязанными глазами и распростертыми руками, ловил товарищей. Игроки то дергали его за сюртук с веселым смехом и шутками, то прятались от него по углам или тихо ходили около него на цыпочках. Наводивший, по прозвищу *Копчик*, бежал по направлению слышанных голосов. Но вдруг стихло все, и Копчик встретил на пути своем неожиданное препятствие, ударившись головою во что-то мягкое, по ощущению похожее на подушку, набитую хорошим пухом. Он схватил руками этот странный предмет. По всем соображениям, в руки попался человек, но что за человек? — такого мягкого, пузатого, шарообразного не было среди играющих. Однако Копчик, не разобрав в чем дело, радостно закричал:

— Ага, попался, голубчик!

Он стал ощупывать круглый предмет, потому что в жмурках недостаточно только поймать кого-нибудь, а следует еще угадать, кто пойман... Но Копчик вдруг услышал над собою грозный голос:

— Сам попался, мерзавец!..

Голос был незнакомый.

— Кто это? — спросил Копчик.

— Я это!

Копчик почувствовал, что в его волоса вцепился какой-то зверь и теперь свирепо таскает его. Он быстро сдернул с глаз повязку и диву дался: он увидел перед собою какого-то человека, очень толстого, круглого и красного, в корпусе которого по крайней мере две трети пошло на пузо.

— Батюшка, что вы? — говорил изумленный Копчик.

— А вот что!

Незнакомец, оставив волоса Копчика, стал бить его по щекам серыми замшевыми перчатками...

— Ты не узнал своего начальника, каналья?.. Ты не узнал его?.. Так-то вы уважаете власти?

Он продолжал бить Копчика перчатками.

— Шапки долой! — обратился он к другим ученикам. Те машинально обнажили головы.

— По классам!.. живо!..

Бурсаки мгновенно исчезли. Новый же начальник отправился к инспектору.

— Новый!.. Новый!..— раздавалось по всему училищу...

Особенно сильное волнение было во второуездном классе, самом влиятельном во всей бурсе.

— Копчика уже успел оттащить,— говорили в кучках.

— Жирный черт!

— Плешивый!

— Круглее шара!

— Жирнее сала!..

— Мягче воску!

— Легче пуху!

— Чище хрусталою!

— Это не поп, а пуп!

Озлобленные бурсаки ругались и крепко острили.

— А вот еще черта-то посадили на шею!

— А говорил я, братцы,— начал один бурсак,— что лучше *Звездочета* нам не дожидаться начальника...

— Что же, Звездочет был, ей-богу, добрый человек!

Звездочетом называли смотрителя, который выходил в отставку. О нем мы редко упоминали в своих очерках. Сила, сдерживающая грозный поток бурсацкой жизни, у нас всегда являлась в лице инспектора. Так было и на деле. Он редко являлся в классы, спальню или столовую; даже на дворе он показывался не часто, стараясь выходить из училища в занятные часы. Он для бурсы был каким-то мифом, высшим существом, которое таинственно правило судьбами бурсы, являясь ученикам большею частью в образе инспектора и лично почти только что во время экзаменов. Среди учеников ходило много предрассудков и суеверий насчет этой таинственной силы. Его считали в высшей степени ученым астрономом и математиком. Причиной тому было то обстоятельство, что Звездочет однажды за несколько дней объявил своим вос-

питанникам, что такого-то числа ночью будет лунное затмение, выбрал из них лучших и вместе с ними наблюдал интересное явление природы, объясняя его своим слушателям, которые, разумеется, ничего не поняли из его слов, но это-то именно главным образом и утвердило их в мысли о громадной учености смотрителя. Потом ученики видали, как смотритель по ночам смотрел в зрительную трубу на небо, а днем, закрывшись стором, направлял ее на окна классов... «Наш смотритель — звездочет», — говорили ученики, соединяя с словом «звездочет» понятие о недостижимой для простого смертного учености. Зрительная же трубка, направленная на класс, производила трепет в учениках. Многие серьезно были убеждены, что Звездочет мог видеть все, что делается в классе, даже сквозь каменные стены. «Есть такие трубки», — говорили они. Были и такие, которые думали, что есть инструменты, посредством которых можно даже слышать, кто и что говорит. Разумеется, либералы бурсы, развившиеся до отрицания шляющихся по ночам мертвецов, домовых и чертей (немало было и таких в бурсе), смеялись над всевидящими и слышащими препаратами, но тем не менее и они верили в бездонную ученость Звездочета и, кроме того, невольно поддавались влиянию того таинственного страха, который распространял вокруг них Звездочет, как будто стараясь поддерживать этот страх. Являясь неожиданно, он всегда озадачивал учеников чем-нибудь необычайным. Так, однажды растворилась дверь класса, в ней показались служителя, несшие черную доску, на доске была изображена «слепая» карта Европы, то есть без надписей гор, рек, городов и проч., города обозначались медными гвоздиками. Ученики в жизнь свою не видали такого дива. Пришел и сам Звездочет. Он стал спрашивать лучших учеников по слепой карте. Ученики, как говорится в бурсе, *ни в зуб толкануть*. Тогда Звездочет стал объяснять им географию России — *со всеми замечаниями*, то есть рассказывая, чем замечательна та или другая гора, озеро, место, тогда как бурсаки *жарили в долбяжку* одну номенклатуру, но главное, их поразило, что он тот или другой гвоздик на доске называл каким-нибудь городом, всякую извивающуюся линию рекою и т. д. «Как это помнит он? Как не собьется?» После подобной штуки Звездочет опять скрывался в своем таинственном жилище надолго... Все трепетало при его появлении в класс. Ученики не запомнят случая, чтобы он, когда наказывал сам (чрезвычайно

редко), давал более десяти ударов (жестокне порки были делом инспектора), но его боялись несравненно более, нежели инспектора. Эти десять ударов сопровождались обычно непроницаемою таинственностью. Он объявлял ученику какой-нибудь его проступок; о котором никто не знал, кроме провинившегося, и притом проступок его всегда был серьезный, за который инспектор отодрал бы до страшного кровопролития, но тут имела силу уже не физическая боль, а именно то, что высек сам смотритель. Откуда он все знает? Бурсакам хорошо известно было, что у него хранится страшная *черная книга* (упоминаемая нами в первом очерке), в которую вносились все преступления учеников и на основании которой составлялись аттестаты их поведения, но как наполнялась эта демонская книга, в свою очередь клавшая темноту и мрак на лицо Звездочета? Дуракам приходили в голову зрительные и слуховые инструменты. Самые беззатылочные глупцы уверяли, что Звездочет давно продал черту душу, что он по звездам все знать может, и считали его колдуном. Люди поумнее подозревали тут фискальство; но сколько ни следили они за Звездочетом, какие *пластыри*¹ ни употребляли,— и признака и тени фискальства не открыли: оно, как и розги, было в руках инспектора. Все были в недоумении насчет этого обстоятельства. Все располагало к тому, чтобы окружить таинственностью, мраком, чуть не чародейством личность Звездочета. Жил он один, скромно, тихо, женщины никогда его не посещали. Во время экзамена бурсаки видели его, окруженного другими начальниками, относящимися в большинстве тоже с каким-то страхом и все с глубоким почтением... Ходили слухи, что и высшее начальство смотрело на него с уважением и ценило его деятельность. Говорили, что он однажды предложил поднять на воздух здание духовной академии и что поднял бы непременно, только потребовал очень много денег; что англичане изобрели лодку, которая ходит под водой, и что, когда у них дело не ладилось, они,

¹ Когда бурсаки выслеживали фискаля, переносящего всю скверную нечистоту бурсы в уши начальника *по ночам*, чтобы скрыть свою подлую службу от товарищества, то они, между множеством средств, употребляли *пластырь гуммозный*, который всегда можно было достать в лазарете. Пластырь кладется по лестнице, ведущей к дверям начальника, и около его дверей. На другой день осматривали сапоги учеников и если на подошве их находили улику, то обыкновенно вели себя по отношению к ним как к несомненным фискалам.— *Примеч. автора.*

услышав о великой учености бурсацкого Звездочета, пригласили его, и лодка пошла под водой. Таков был Звездочет по взгляду учеников. Он всегда был загадочен, таинственен, и существование его кончилось для бурсы как-то странно; пришел какой-то пузатый человек, оттрепал ученика и объявил себя не смотрителем уже, а ректором — ректоров до сих пор в училище не бывало. Но что же это был, в самом деле, за человек, заключавший в себе высшую и таинственную силу бурсацкого управления? Не астролог же он был или алхимик, не колдун, не демон, наконец? Ученики его уже по окончании курса узнали, что Звездочет в действительности был очень обыкновенный смертный. Это был человек довольно образованный, хотя подводных лодок и слуховых инструментов и не думал изобретать. Нам кажется, всю таинственность его персоны очень просто объяснить. В описываемые нами времена, при нелепых порядках, существовавших почти везде на Руси, трудно, часто невозможно было служить вполне честно и гуманно. Мы объясняли не раз, что бурсацкая наука и нравственность были до того аномальны, что без жестокостей они не могли быть поддерживаемы в бурсе. Звездочет же был человек добрый и не мог выносить ужасов бурсы; поэтому он среди ее уединился в своей квартире, предоставив все дело инспектору. Этого, разумеется, не могли понять бурсаки. Значит, вся сила в том, что Звездочет попал не на свое место, что он был человек без призвания, а не то чтобы колдун или демон. Он старался как можно менее иметь соприкосновения к бурсе. Вот почему он редко выходил на сцену в наших очерках, а всегда решителем всех дел являлся инспектор.

Но и этот решитель, сослуживец его, давно вышел в отставку, еще ранее его. Подошли другие времена, настали иные нравы бурсы. Вместе с выходом старого инспектора по крайней мере наполовину уменьшились в училище спартанские наказания, бросили драть *под колоколом*, не заставляли держать кирпич в поднятой руке, стоя на коленях среди двора, нередко в грязи, не ставили коленями на ребро парты, не относили на рогожках жестоко сеченных учеников, начальство реже расшибало зубы и ломало ребра своим питомцам. И самая бурса измельчала и выродилась: прежде по крайней мере наполовину учеников было великовозрастных, теперь их осталось не более десятой части. Бурса прогрессировала по-своему.

С о д е р ж а н и е

МЕЩАНСКОЕ СЧАСТЬЕ. Повесть	3
МОЛОТОВ. Повесть	91
ОЧЕРКИ БУРСЫ	241
ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В БУРСЕ	241
БУРСАЦКИЕ ТИПЫ	280
ЖЕНИХИ БУРСЫ	310
БЕГУНЫ И СПАСЕННЫЕ БУРСЫ	337
ПЕРЕХОДНОЕ ВРЕМЯ БУРСЫ	396

ИБ № 1908

Николай Герасимович Помяловский

ПОВЕСТИ

Звездующая редакцией *Л. Сурова*. Редактор *И. Колчина*. Художник *И. Огурцов*. Художественный редактор *Э. Розен*. Технический редактор *Л. Бесседина*. Корректоры *М. Калязина, О. Погосян, Л. Царская*.

Сдано в набор 18.03.81. Подписано к печати 06.07.81. Формат 84 × 108¹/₃₂. Бумага газетная. Гарнитура «Литературная». Печать офсетная. Усл. печ. л. 21,0. Уч.-изд. л. 22,38. Тираж 200 000 экз. Заказ 454. Цена 2 р. 10 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Московский рабочий». 101854, ГСП, Москва, Центр, Чистопрудный бульвар, 8. Ордена Трудового Красного Знамени типография издательства ЦК КП Белоруссии. Минск, Ленинский проспект, 79.

2510